

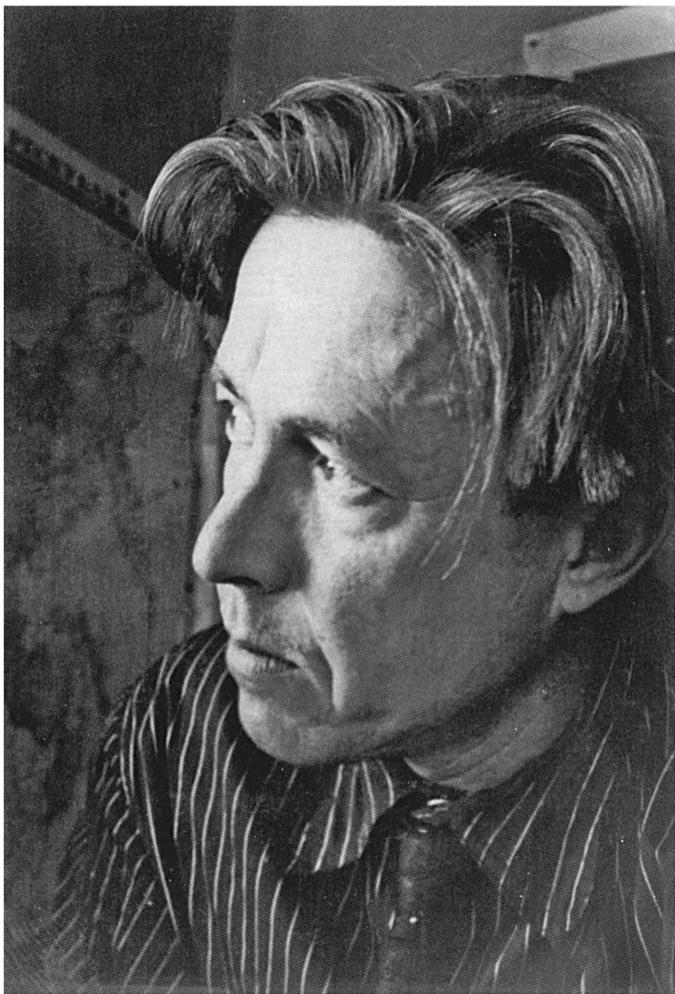
АЛЕКСАНДР  
СОЛЖЕНИЦЫН

РАННЕЕ

АЛЕКСАНДР  
СОЛЖЕНИЦЫН

РАННЕЕ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



В ССЫЛКЕ. КОК-ТЕРЕК, 1954

**АЛЕКСАНДР  
СОЛЖЕНИЦЫН**

АЛЕКСАНДР

# СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

АЛЕКСАНДР

# СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
ТОМ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

РАННЕЕ



МОСКВА 2016

УДК 821.161.1-3  
ББК 84Р7-4  
С60

*редактор-составитель*  
Наталья Солженицына

*дизайн, макет*  
Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-1357-2  
ISBN 978-5-9691-0032-9  
(общий для собрания)

© А. И. Солженицын, наследники, 2016  
© Н. Д. Солженицына, составление, 2016  
© В. В. Радзишевский, комментарии, 2016  
© «Время», 2016

Здесь помещены мои произведения  
Торекчи - лагерчи - с салыхлах мѣ.

Я складывал их в чуме и кѣс в памяти  
все лагерные годы, не доверил бумаже.

Они дали меня дахашем и Асиртѣ  
тогда. Помогли мне выжить.

А. Сафаровичи  
2004



# ДОРОЖЕНЬКА

ПОВЕСТЬ В СТИХАХ



## ЗАРОЖДЕНИЕ

Чернеют вышки очерком знакомым.  
От вышки к вышке день сочится над державою.  
От зоны к зоне звонами подъёмов  
Задолго до́ свету ликуют рельсы ржавые.  
Похлёбка с рыбкой ко́шачьей, мучная за́тирка.  
В прохуженном, пролатанном томительный развод.  
Идут работать лагеря! И наша каторга  
Четырежды клеймённая идёт.  
Так будет год. И десять так. И так же двадцать пять.  
Всё то же самое. Опять. Опять.  
Обыскивать. Считать. Обыскивать. Считать.  
Запястья за спину, покорные, по пять,  
Бушлаты чёрные, вступаем меж тулупов,  
Как медных статуй в отблесках кострового огня,  
И, спины сгорбивши, глаза потупив,  
Идём, как будто бы кого-то хороня.  
Да каждый день и хоронят кого-нибудь —  
На палец бирку голому. Для верности — прокол штыка...  
Заря.  
И — день.  
Жестоко-медленно катится солнце по небу,  
Искрит о землю мёрзлую безсильная кирка.  
Не будет, не было сверкающего мира!  
Портянка в инее — повязкой у лица,  
О кашах спор да окрик бригадира, —  
И — день, и — день, и — нет ему конца!  
К закату стынет степь. Встаёт луна багровым диском.  
Во тьме толкаемся, скользим, спешим к себе в загон,  
Бригадами суровыми  
Врываемся в столовую,  
Где доходягу, лижущего миски,  
Казнит презрением лагерный закон.

Глотаешь жадно щи, не видя где ты, с кем ты, —  
 А через стол, в пару, над глиняной посудой,  
 То обнищалое лицо интеллигента,  
 То дистрофией обезволенная удаль.  
 Но тот, кто время здесь расчёл, — расчёл его неплохо.  
 Не обменяться словом нам, лишь только вздохом.  
 Опять, опять гудит над лагерем звонок.  
 Тебе в один барак, а мне в другой.  
 Проверка. Строем под замок.  
 Отбой.

Не кончено, не верь! — Я знаю, жду, но мне  
 Не победить, не разомкнуть ни на щель век усталых.  
 Едва уснём — звонок!! И в ослепительно торжественной луне  
 Мы, как в плащах комических, выходим в одеялах.  
 Выходим клокоча, выходим проклиная,  
 До самых звёзд безжалостных всё вымерзло, всё ярко, —  
 И вдруг из репродуктора, рыдая,  
 Наплывом нанесёт бетховенское *largo*.  
 Я встрепенусь, едва его услышу,  
 Я обернусь к нему огрубнувшему лицом, —  
 Кто и когда узнает и напишет  
 Об этом обо всём?  
 Со светлым пониманием, не в гневе —  
 И надобно *теперь* писать, теперь! Довлеет злоба дневи,  
 Но равнодушен день к минувшим дням.  
 Едва ворочаются мысли жерновами,  
 Чуть вспыхнет свет в душе по временам —  
 «Но и в цепях должны свершить мы сами  
 Тот круг, что боги очертили нам»!  
 Свой круг начну и я. И поведу — стихами:  
 Созвучной, мерной, может быть, сумею уберечь  
 Такой ценой открывшуюся речь!

Тогда напрасно вы по телу шарить станете —  
Вот я. Весь — ваш. Ни клока, ни строки!  
А к чуду Божьему, к неистребимой нашей памяти  
Вы не дотянете палаческой руки!!!

Мой труд! Год за год ты со мной созреешь,  
Год по году Владимиркой пройдёшь,  
Наступит день — не одного меня согреешь,  
Не одного меня ознобом обоймёшь...

## ВСТУПЛЕНИЕ

Где и когда это началось?..  
 Друг мой издавний, — когда?  
 Чистое стёклышко мира ребячьего,  
 Грозно дохнув, замутила беда?  
 Вспомним ли крест перепутья  
 Трудного,  
 Скращенных прутьев  
 Над нами тень,  
 Ужаса безрассудного  
 Первый день?

Изредка нам проступали зримо  
 Знаменья страхов *потусторонних*, —  
 Мы проходили вчуже, мимо,  
 Скрывши лицо в ладонях.  
 Слабым, хотелось нам просто  
 Забыть их,  
 Лад своей жизни оберегая,  
 Дом свой, уют свой, вещи —  
 Поступь  
 Событий  
 Зловещих  
 Минула, не задевая...

Так и теперь, когда стонами  
*Наша* душа пролилась, —  
 Те, кого это не тронуло,  
 Думают ли о нас?..  
 Не слышать, имея уши,  
 Не видеть, глаза имея, —  
 Коровьего равнодушья  
 Что в тебе, Русь, страшнее?

ГЛАВА ПЕРВАЯ  
МАЛЬЧИКИ С ЛУНЫ

Странствовать!.. Ликует сок бродяжий!  
Дорвались и мы с тобой до воли!  
В двадцать лет — сопеть на крымском пляже?  
Наша, наша! — бьётся на приколе —  
Вёсла сложены, как связанные крылья,

Просится в полёт!

Водяной зеленоватой пылью  
Обомшелую бударку обдаёт.  
Первобытно раздувая городские ноздри,  
Тянет с Волги свежестью, и остро  
Побережье пахнет рыбой и смолой.  
Хлеба — не купить. Припасено немножко  
Сухарей у нас да пуда два картошки,  
Высыпанной в ящик носовой.  
Не щенки мы, нет! — как мореходы встарь,  
В краску белую макая голый палец —  
Уж давно продумано: «Волгарь —  
Скиталец».

Ну, толкай! *Примат матери*, на слове не лови,  
Всё же — Господи, благослови!..

---

Звон и гуд... И тракторы рычат у перевозов,  
Кони ржут, скрипят грузовики,  
Сизо-масляна идёт вода с навозом,  
И толкуются волны поперёк реки.  
Густо-чёрный выстилая дым,  
Буксирок, вцепившись неподым,  
Тянет баржи две, как две скалы.  
Двухэтажные, легки, белы,  
Разминутся пароходы, радостно гудя.

И деревни целые — плотами  
 С избами, коровами, бельём и петухами  
 Медленно спускаются, реку загромоздя.

А и в русле не одна дорожка:  
 Не гребём — течение выбивает  
 В мирную воложку,  
 В нераспуганную тишь  
 Рыба на-солнце серебряно зыграет,  
 Юркнет птица в островной камыш.  
 Изливает с неба синева.  
 Вёсла трепетные вывесим — и движемся едва.  
 Что-то дед смолёный ладит топором...  
 С ним малыш, две удочки забросил...  
 Нестерпимо брызжут серебром  
 И топор, и капли с наших вёсел...  
 И опять затягивает в стрежень.  
 И блеснёт едва повыше осоки  
 Уцелевшей церкви в глубине побережья  
 Крест — и серенькие куполки...

Вечер. Солнце западёт за берег горный,  
 И вода сгустеет в изумруд,  
 И огни зажгутся в белых знаках створных,  
 Шумы дня притихнут и замрут.  
 Отразятся с кручи в стынущие воды  
 Скалы, обнажённые породы,  
 Купы лиственных и пики чёрные хвои, —  
 Бакенщик, старик рыжебородый,  
 Объезжает бакены свои.  
 И уж на ночь, только солнце сгаснет,  
 Водный путь отмечен столбовой —  
 Там, где горный берег — бакен красный,  
 И — зелёный там, где луговой.  
 Исчезают тени, и мягчеет небо.  
 Проступает точка первая Денеба,  
 Все созвездья выводя изглубока.  
 Плёт утих. Ни лодки рыбака.

Осеняет Волгу только звёзд шатёр.  
 Ну, и нам на берег: сушняка  
 Подсобрать да развести костёр.  
 От костра всё сразу потемнеет —  
 Волга, небо, побережья глубь,  
 Мы — к огню плотней и ждём, пока поспеет  
 В котелке картошка или суп.  
 Из-под крышки сладкий пар клубится,  
 Зверь-костёр клыками сучья рвёт,  
 По воде прошлёпают неслышно плицы,  
 Проскользит, сверкая, пароход  
 И, по тёмной глади бледным светом мрея,  
 В полноту беззвучной ночи канет...  
 В смуглых отсветах лицо Андрея,  
 Лоб его печаль пытливая туманит.  
 Внутренне сцеплённых выводов коварство  
 Вот не ждал, куда его направит! —  
 «Оглянись, Сергей, подумай.

Чувствуешь, как *давит*

На тебя, на всех нас — государство?»  
 Я смотрю на звёздный свод извечный,  
 Слышу вольный шорох всплесков в тишине  
 И от всей души, чистосердечно  
 Удивляюсь: «Давит? Государство? Не-е».  
 После гребли по́ телу приятная истома,  
 Что к краям — расплывчатей лицо освещено...  
 Как давно, дружище, мы знакомы,

Как давно!..

Помню твоей детской курточки вельвет,  
 Несогласие упрямое с немецкими глаголами,  
 Наши шахматные страсти, меж двумя  
 футболами.

Вместе нас кружил извивами весёлыми  
 От Байдар к Ливадии велосипед,  
 Подымал Военно-Грузинскою от Ларса.  
 Вместе аттестаты понесли в Универс'тет,  
 И обоим нам ударил буйный свет

Гегеля и Маркса.

Математика. И физика. Но для души  
 Их священной строгости нам оказалось мало:

Подлинно, что точные науки — хороши,  
Да не строгости, а счастья людям не достало.  
И пошли на исторический в МИФЛИ,  
Порешив, что с парой факультетов справимся,  
И давно согласно к выводу пришли:

«Мы нам нравимся».

Как не нравиться, когда так чётко сведены  
К стройным формам мир и человек?  
Сколько нами дивных вечеров проведено  
В мудрой тишине библиотек!  
Сколько раз не хожено в кино!  
Сколько жертвовано вечеринок!

Я безумец, я фанатик, — но —

Но Андрей мой — инок.

В миллионном городе, в блистании огней,  
Там, где вечер — лучшая пора,  
В пять минут десятого ложится спать Андрей  
И встаёт — чтоб думать — в пять утра.  
Как по Канту время мерь —

он в шесть пройдёт по дворику

И вернётся записать, что понял

в утре чистом.

Хочет стать он, как и я, историком,

Но для этого ещё — экономистом.

Том за томом я гоню взаглот,

Я истерзан весь, я в спор нырну с наскока,

Взор застит восторженно слеза, —

Он мне тихо, мудростью Востока:

«Прежде, нежели открыть свой рот,

Друг, открой глаза!»

Это — то влеченье, род недуга,

О котором написал поэт:

Книга, стол и мы друг против друга, —

Никого на свете больше нет!

Распадутся волосы-неулежни мои

Над лицом горячечным, но бледным,

Ближе — сходимся — яснеем — и! —

Запись отточенная о выводе последнем.

И не жаль обоим эту странную,

Без вина, без девушек сухую юность нашу...

...Вот и ужин! Ложки расписные деревянные  
Мы вонзаем в ячневую кашу.  
После ужина на сене в лодке мягко.  
Лёгкой зыбью чуть вздымается корма.  
Всю Историю — от нас до братьев Гракхов,  
Всвечетил прожектор Марксова ума.  
Маркс! — как меч, рубящий путаницу партий!  
Не блуждать у Лейбница, у Юма, у Декарта,  
Только-только вылупясь из жёлтеньких скорлуп,  
Держим в клювах Истину и мечем взоры вглубь!  
Есть закон движения! Другого Абсолюта  
Нет! И как там было — сердобольно, круто,  
Нравилось, не нравилось, — минует постепенно.  
Всё пройдёт: Сената гнев и куриий плеск и пена.  
Желчь упрёков, звон разящих слов  
Не всплывут на высоту веков.  
Воин Рим, бронёю перевитый!  
Шаг Истории, не знающей пощады! —  
Гордое отчаянье самнитов,  
Умное безсилие Эллады,  
Ярость Брута, Ганнибала гений —  
Всё должно быть сметено и сбито,  
Что само не станет на колени.  
*Dura lex, sed lex\**. Во всём закон.  
Ничего, что б в сторону свернуло.  
Ничего? И даже шут Нерон?  
И кровавое захлёбыванье Суллы?  
Фатализм! Эклектика! Неверно!..  
..Но Андрей молчит и дышит мерно  
В лад дремотным заплескам волны.  
И спине тепло от дружеской спины.  
За ночь иней нас покроет впробель.  
Утром вспрыгнем, зубы бьёт ознобик,  
И — бултых в синеющую воду!  
Холодом озноб тот вышибить приятно!  
И — бегом, в чём родила природа,  
По камням! на взгорок! и обратно  
На песок! поборемся! и в танец!

---

\* Закон суров, но это закон (лат.).

Дикарём разнузданным пляши,  
Пока тело вызорит румянец,  
Да ори! — всю Волгу полоши!  
А теперь хватайся каждый за весло —  
Оттолкнись! Понесло!

---

Солнышко пригреет — не гребём, лежим.  
Лодку сносит тихо, мы себе зубрим —  
Снова диамат, латынь и древний Рим.  
Купим яблок, тут их мерят на ведро,  
И грызём, и дремлем... Всё б у нас добро,  
Только ни брезента, ни плаща —  
И на небо часто смотрим, трепеща.  
От грозы, дождя мы беззащитны.  
Как нам стал понятен первобытный  
Ужас перед силою богов:  
Только что покинули мы крыши  
Наших равнодушных городов —  
И уже иначе видим, слышим,  
Туча наплывёт — мы сжались, мы не дышим,  
Ветер кажется — злопамятный, живой,  
«Завтра я...» — не скажем, верим в глаз дурной.  
Завтра день — смотри ещё какой!..  
На недели тучами затянет  
Небо. Будет Волга холодна,  
Закольшется, волною спорной станет  
Глину выворачивать со дна.  
Попадись тогда на волнобое!  
Повернись бортом! —  
Пляшет, мечется седое, водяное  
То на этом, то на том!  
Берег в брызгах. Чёрно дышат трубы.  
Грязь на пристанях. И дождь — безúгомонь.  
Шутки грузчиков и ругань дерзко грубы,  
Но и труд их стоит этой ругани.  
Экую ворочают махину!  
В сорок рук вздымают! Ну как рухнет?..  
«Э – э – эх, ду – би – на!..»

*Ух – нем!!*

*Зелёная! Сама пойдёт! Сама пойдёт!*

*Подёрнем! Подёрнем!»*

Вымахали с покриком задорным —

Там, голубушка! — и с паром, хрипом, храпом

Сыпят, топают, валят на берег трапом.

Те мешки подкинули, те бочки катят ловко...

Третьяковка??

Обогнали Англию в лебёдках, кранах, планах, —

Так откуда ж этих дьяволов-то рваных?!.

---

Дождь и дождь. Уж нам не плыть сегодня.

Подгребаем к дебаркадеру под сходни —

Всё же крыша, хоть и брызжет из щелей —

И идём в черёд порыскать чаю.

Новодевичье в лаптях тебя встречает

И в азиях рваных Сенгилей.

Райпартпрос, Райком и Райкомол,

Райуполминзаг и Райзаготконтора.

И районный юридивый, полугол,

Смуглогрудый, клянчит у забора.

Чаю мне! — продрог на сумрачной воде.

Раймилиция. Райплан. И РайНКВД.

Мокнет «Правда» на витринке. С тёмно-хмурых

Сеет мелкий-мелкий дождь с небес.

Райтюрьма, Райсуд и Райпрокуратура,

Райсоцстрах, Райздрав и Райсобес.

Там, где, дети горя и отваги,

Бурлаки под бичевой тянулись в на́пряге, —

Закрывая полки голые, в Раймаге

Продают физическую карту... Африки...

На столбах бубнят колхозные частушки

Близ Райклуба громкоговорители,

Под забором рубят головы косушкам

Жители.

Нет теперь ни кабаков на Волге,

Ни Николки нет, ни монополки,

Ни в церквях колен не гнёт никто, —

«Эй, молодка!

Литру водки!

Два по двести!.. Три по сто!»

Пар одежд сырых и сизый дым махры,

Окна мутные, спиртовые пары.

Густо-густо вокруг некрашенных столов —

«Нам салатику! — вопят, рыдают, — огурцов!»

Вот охотник смяк, склонясь к дробовику,

Ловит блох борзая под столом.

«Будьте так любезны! Дайте мне чайку!»

— «Ча-ай?? Не подаём!»

Над столами русский чин трисловьями порхает,

Лица смотрят масляно, слепо.

И ревут «Златые горы», оглашая

Чайную Райпо.

И лохматый грузчик, мой сосед,

Дядя Миша, мужичина-глыба:

«Чаю зря ты, малый, просишь. Чаю нет.

На́ сто грамм перцовки».

— «Я не пью. Спасибо».

— «Ах, культуриш руссиш!.. Ну, кажи свой ум.

Ну, скажи, что водка — это *а-пи-ум...*»

— «Хвастать тоже нечем. Лёгкие и печень...»

— «Хо! Ты — тюря! Печень! Этим душу лечим!

К-комсомолец! Пожалел!.. А дать тебе винтовку,

Да — на вышку?.. Ну, не зявься, выпей

стограммовку.

И мои б такие были... Пей, не брезгуй».

— «Где ж они?»

— «Сопрели. Под сосной карельской».

— «Отчего ж?»

— «А это очень просто мы:

В тундру высадили голыми да босыми,

Ну, а в тундре и волкам не рай.

Рыбу пальцами словить сумеешь — ешь.

Ягоду найдёшь дикую — собирай!

Хочешь если, так друг дружку режь.

Хочешь — помирай...»

— «Но простите, но за что же вас?»

— «Ты — с луны? В тридцатом-то?»

Не знаешь, что да как?

Потому что был сочтён кулак,  
Ну и... Ликвидировать. Как класс.

...Я за землю, парень, да за волю,  
Да за эту грёбаную власть

Шёл на Колчака...

Землю дали — тёр, дурак, мозоли,

А они меня — ша-расть

В кулака!

Да кого ж она, земля, не богатит,

Если только вкалывать здоров?

Государство! Чтó ему претит,

Если у крестьян да по три пары лошадей?»

---

Юность верит. И она права.

...Но прошло-то года, слушай, двадцать два!

До каких же пор мы будем зря

Сваливать на бедного царя?

Зафиксируем: в раймаге — ни черта?

Это — нищета?

Тише! Тише! Склонность к выводам

поспешным.

Никакой прогресс не может быть безгрешным.

Отклоненья, исключенья — кто же говорит?

Ведь писал Истории законы не Эвклид!

Роят трудно, роят по-кротовьи,

А оглянешься — и мир уже не тот.

Жестоко? Приходится и кровью

Заплатить за тяжкий путь вперёд.

Мы не только что не против —

мы оправдываем даже:

Ликвидировать? Конкретно — как? Куда ж их?

В тундру. В дикий лес.

*Dura lex, sed lex.*

Трудно мы живём. Дай время, будет лучше.  
Внуки примут жизнь, не зная, как далась...

---

Вот и солнце прорвалось сквозь тучи,  
И покорно Волга улеглась.  
Так за вёсла твёрдою рукою!  
    Поплылй,  
Где на двести вёрст Самарскою лукою  
Волгу отшвырнули Жигули.  
Сладость есть и в малом и в великом.  
Между сосен, вперегонку, с перекриком  
Вымахнуть, запыхавшись, на кручу! —  
Тут раскинуться на выгретой, пахучей  
И никем ещё не топтанной траве;  
Отдаваясь тишине дремучей,  
В небо жмуриться без мыслей в голове,  
Никому и ничего не должен...  
Жи-гу-ли!.. Какая-то в вас правда!..  
Раздробилось зеркало в Заволжья  
И застыло в озерах-бакалдах.  
Нет теченья! Плёсы недвижимы.  
Близко дальнее, а крупное —  
    мало́ непостижимо.  
С коробок от спичек — баржа на подчале.  
Замерла ли? Тянут её таском?  
Хоть заплачь от этой веющей печали!  
Хоть христосуйся — такая в сердце Пасха!..  
Мирный бор овершьями колышет,  
Запахом смолы и солнца пышет.  
Жёлто тлеют иглы в медном сосняке.  
    К югу, поверх сосен  
    Облачко относит  
Медленно, в покойном высоке.  
Под травой краснеет земляника,  
И грибы столпились возле пней.  
Разве в малом меньше, чем в великом,  
Веской мудрости коротких наших дней?..

---

Через день взгляни на правый берег —  
Сланец, скалами пластованный, белесый,  
Стук стволов паденья, пил железный верезг,  
Люди серые с лопатами, кирками  
Горы облепили муравьями.  
Экскаваторы, лебёдки, вагонетки,  
Грохот, скрежет, и столбится едко  
В лёгкие и в небо каменная мгла...  
Это будет чудо Третьей Пятилетки —  
Перемычка Волжского Узла.  
О, грядущее переустройство мира!  
Мы войдём в тебя наукой и уменьем!  
...А кому кирку?.. Не из-под наших кирок  
Пусть разбрызгиваются камни!  
Привезут, найдут неученную рать, —  
Что над этим голову ломать!  
...Так мы плыли в гладком беззаботьи,  
И, наверно б, нам на ум не вспало:  
Что за люди там кишат в лохмотьях?  
Что за люди бьют вручную скалы,  
Катят тачки в гору по тропинкам? —  
Сам, как глина, побуреет человек...

В невесёлом месте, в Красной Глинке,  
Мы однажды стали на ночлег.  
Правый берег вскопан, взбугрен, бурый.  
Штабелями досок и бревён,  
Мусором, щебёнкой — левый завалён.  
Перекатом Волга мчится хмуρο.  
Мы причалили, да плох нам выпал сон:  
Выстрел. — Новый. — Очередь. — И ржавый  
Звон от рельс на нашем берегу.  
С фонарями в зарослях облава  
Заплясала, заметалась на лугу.  
Засветились пристань и бараки,  
Шли моторки, воду Волги пеня...

Из моторок прыгали собаки,  
 Заливаясь в ярости и пене,  
 За собой вожатых мчали в темень,  
 Хрипло лаяли и обрывали привязь,  
 Кто-то выволоч на берег пулемёт.  
 Словно в бой, с винтовками навывес,  
 Пробежал запыхавшийся взвод.  
 Не понять — война или охота?  
 Ладно, греемся; не трогают — и рады.  
 Вдруг у нас над самым ухом кто-то:  
 «Вот они! А ну, вставайте, гады!  
 Подымайтесь! Застрелю, заразы!»  
 Шутки плохи, тут не отлежаться.  
 Из-под одеяла высунулись разом —  
 Вислоухие испуганные зайцы:  
 — «Мы — туристы. Что вы к нам, товарищ?»  
 Но *товарищ* плюнул от обиды.  
 — «Хто? Туристы?? Шляются здесь, твари...  
 Чтобы я на Волге больше вас не видел!»  
 Перекошенный, разгорячённый,  
 Освещён недоброй дрожью света,  
 Пляшущую руку с пистолетом  
 Долго опускал он, огорчённый.

---

Их всю ночь ловили. С места заклятого  
 Мы ушли под утро, торопясь уплыть,  
 Чтоб не рвать, что в сердце дорогого.  
 Чтоб не думать. Чтобы позабыть.  
 Подымалось солнце над лугами.  
 Красное, в торжественной игре,  
 Жигули оно зажгло, как пламя,  
 Озарило мёртвые машины на горе,  
 Раздробилось радугой росяной через лес,  
 Багрянницей разостлало водной глади скатерть, —  
 И вот тут-то вывернулся нам наперерез  
     Арестантский катер!  
 Он скользнул, едва нам нос не срезав,  
 И послал короткий частобой,

Он прошёл, как будто гром железа  
Кандалов рассыпал за собой.  
Бугорками волн взбелели волоконца,  
Закипела, забурлила полоса реки —  
Эти лица! лица, обернувшиеся к солнцу!  
И с бортов — конвойные штыки.  
Вот они, кто там кирками машут! —  
Только нескольких и рассмотрели мы.  
Кто они?.. За что их?.. Не расскажут...

Тихие, стояли у кормы.

Что-то было в лицах их заросших,  
В складках, не черствеющих у глаз,  
От чего пахло всем хорошим,  
С детских лет несбывшимся повеяло на нас.  
Оба без отцов, ведь мы и шли бродяжить  
По краям родной неведомой земли,  
Чтоб мужскую взвесить эту тяжесть,  
От которой матери, солгав, уберегли.  
Нас заметили. Переглянулись.  
Может, вспомнили своих мальчишек-сыновей.

Чуть заметно

Вслед нам

Улыбнулись,

И у каждого по-своему взметнулось у бровей.

И — промчало катер. И Андрей в сомненьи  
Протянул: «А что, сейчас бы к Самому  
Молодой, второй явись бы Ленин, —  
Он бы — не попал в тюрьму?..»

ГЛАВА ВТОРАЯ  
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

*Несу я сознание мира.  
Боюсь, что не в силах донести.*

В. Гофман

До опушки — один переклик без малого.  
В сени яблонь при тлеющем самоваре  
Вечерами чаюют московские баре:  
Слева в садике спорят о Ваське Качалове,  
На террасе направо читают сценарий.  
За кустами белеют мужские фигуры,  
Праздных женщин движения — не лёгкий, —  
От самих же себя, от своей же культуры  
Убегают на лето сюда толстяки —  
От редакций и секций, премьер театральных,  
От квартирных теснот, телефонной судьбы, —  
Убегают сюда, в край ремёсл вышивальных,  
Безпривозных базаров, прилавков печальных,  
Где сельпо продаёт лишь сухие грибы.  
Оттрубивши своё песнословие веку,  
Отнеся гонорар к Елисееву,  
За сто вёрст сюда сахар везут по рассеяню,  
Чемоданами сало и бэкон,  
Для хозяйки стговоренной — ситчику в дар,  
Для работы полуночной — пачки сигар,  
Кофе в зёрнах, вино и запас керосина.  
...Над Тарусою сумерки звёздные сини,  
Слышен блюдечек позвон и пенье гитар.  
Ждут их осенью кассы столицы грешной  
И страницы журнальной хвальбы.  
В ряд их дач, не по чину — бревёнки потешной,

Кругляши нашей маленькой тихой избы.  
 Нет в саду у нас кресел и столика чайного,  
 Нет огней и гостей под навесом крыльца, —  
 Всё вдвоём... И на пальце твоём — обручального  
 Золотой отлив кольца.

Нет у нас нагружённого доверху ледника,  
 Порожнём мы с базара приходим нередко,  
 Но как мило хлопочешь ты в белом переднике,  
 Увильнув: «Подгорит», убегаешь к загнетке.  
 ...Драгоценного света дневного крупичицы  
 Вот-вот-вот разойдутся меж теней вечерних, —  
 Дальше-дальше в окно, ближе-ближе к странице  
 Я слеплю себя строк неразборчивой чернью.  
 И уж всё отшвырнуть бы давно мне пора,  
 Встать, схватить тебя за плечи, закружить, —  
 Не могу, не додумавши, отложить  
 Годы царствования Петра.  
 Всё понятно — *прогресс!* А сидит во мне ересь:  
 Всю страну на дыбы — по какому праву?  
 Запишу! Назову его — «шведский тезис»,  
 Оправдала ли цену свою Полтава?  
 Двести лет всё победы, победы, победы,  
 От разора к разору, к войне от войны, —  
 А разбитые нами на Ворксле шведы  
 Разжирели, как каплуны.  
 Рок зловещий российские полчища водит.

Славы мало!

Земли не достало! —

Да...

Видно, слово «победа» не зря происходит  
 От слова «беда».

Погоди ж, дорогая, окончу, дочту,  
 Тени вечера выйдут из-за леса —  
 Мы пойдём, обнявшись, и на нашу чету  
 Будут встречные взглядывать с завистью.  
 Вот не думал, что буду на даче  
 Жить, как дачник исправный живёт...  
 Есть у каждого годы удачи,  
 И таким обернулся мне мѳнувший год —

Словно звёздным дождём мне дороги усыпало,  
Словно горы верстались мне по плечу,  
Словно есть это счастье, и мне оно выпало:

Всё могу, чего захочу!

Под ногами любая наука стлалась,  
Быстромудрые бесы вселились, казалось,  
В грудь мою — и толкал меня каждый бес,  
Одержимый мгновенными планами,  
Томы будущих лет выросли до небес  
Краснокрылыми великанами,  
И вползла ядовитая слава. О славе  
Где те юноши, что не чахли?  
Незнакомые девушки письма мне слали,  
И таинственно письма их пахли.  
Содрогалась Европа надменная, отдана  
Шагу армий, невиданных раньше,  
Чёрным гневом возмездия небо над Лондоном  
Застилалось из-за Ла-Манша,  
Воды пенились, судна роились,  
Напрягались десанты, готовясь к прыжку... —

В это лето мы поженились

И поехали на Оку.

---

Мы привыкли к южным степям —  
Золотая в сто вёрст ладонь,  
Ни единого взгорка там  
На бегу не встречает конь,  
И нигде ни единый лесок  
Не вклиняется в звень пшеницы,  
И, едва только вспыхнет восток, —  
Степь до запада озарится.  
Здесь же — падей прохлады, здесь — синяя тень,  
Ямку каждую дождь наливает всклень,  
Позарос, весь в отрощках изрезан овраг,  
Там спустился в него, там поднялся большак.  
Сосны стройные веют на взлобке,  
Между ними — дубы вперемес,

Там — ольха, там — берёза. Подыдемся. Робко  
Вступим в бело-зелёный лес.

Это счастье  
Дётся не часто,  
А не каждый его оценит —  
Забрести вот в такую чашу,  
Где листов прошлогодних олово,  
Положить к тебе на колени  
Голову.

Солнце еле пробрызнет сюда,  
Небо еле сюда просветит,  
Разве только, беспутный чудаки,  
Забредёт, заблудившись, ветер  
И доносит, как где-то аукают  
И хохочут девчёнки-грибовницы,  
Помавая ветвями, баюкает:  
«Всё достигнется... всё исполнится...»

#### ЖАЛОБА

«А чему исполняться? Чему?  
Я о большем и не мечтала.  
Всё исполнилось. Почему  
Тебе этого счастья мало?  
Мало нравлюсь тебе? Плетёницей  
Из цветов себе лоб украшу.  
Хочешь думать? Какую страницу  
Распахнуть тебе в книге нашей?..  
...Как бежал молодой дворянин  
Со знаменем,  
Как очнулся он навзничь, раненым,  
С небесами один на один —  
И увидел, какой  
Покой  
Был по небу высокому разлит.  
В суматохе большого боя,  
Когда к славе рвалась рука,  
Разве  
Мог увидеть он над собою

Эти медленные облака?..  
Но ведь мы-то, ведь мы-то можем!  
Посмотри — и сейчас плывут.  
Что же ищешь ты, что же?  
Я не верю, что люди на свете живут  
Кроме нас и ещё там где-то,  
Когда ты меня обнимаешь...  
Повторяй мне, что любишь меня, только это,  
Понимаешь?..  
Ты настойчиво, ты упорно  
Что-то хмуришься о своём.  
Не легко тебе, не просторно  
Со мной вдвоём?  
Выпить, вытянуть сердце из груди,  
Чтобы мой был, чтоб мой был весь!  
Я не знаю, что завтра будет, —  
Я люблю, что сегодня есть.  
Только ты ведь обманешь: кольцо  
Моих рук на заре разомкнёшь —  
Почужевший, холодный, уйдёшь  
Карла Маркса читать на крыльцо.  
Станет звонкий пастуший рожок  
По заре собирать своё стадо,  
Я проснусь и увижу, что рядом  
Нет тебя, что опять уволок  
Тебя жребий твой, выбор жестокий.  
Я неделю всего как жена,  
А опять просыпаюсь одна  
И полдня провожу одинокой.  
Милый, славный, ты брови не хмурь  
И не бойся — я не заплачу.  
Значит, надо забыть мою девичью дурь, —  
Мне ведь всё представлялось иначе.  
Не мужчина я. Жалобу слабости  
Ты прости мне на этот раз...»  
И украдкой влажные заблесты  
Она пальцем снимает с глаз.  
Вот оно!.. Я кошусь с опаскою  
На лицо неразгаданно женское...

---

Вспоминаю: акации спуска Крещенского,  
Седину оснежённого Новочеркаска...  
Мы проходим вокзал, за вокзалом крыльцо,  
В сто одежек окутаны, ждут лихачи, —  
И у каждого жёлто манит копыцецо  
Недрожаще-горящей свечи.  
Полусонного мальчика взяв из вагона,  
Высоко посадив, меня взвозят покачливо  
В город, на гору, — фэтоном  
Меж сугробов, огромных взгляду ребячьему.  
Фэтон проплывает спокойно, как лебедь,  
Лёд цветится огнями в оконных рамах,  
И сияет луна в замороженном небе,  
Отражаясь в крестах и на куполах храмов.  
Позади пятиглавой громады собора —  
Попирающий камень строптивный Ермак,  
Что ни дом — за твердыней ворот и забора  
Взаперти от Советов упрямый казак,  
Сберегая течение обычья богатого,  
Сведомно живёт, как живали отцы.  
Двудорожным широким проспектом Платова  
Заливаются лёгких саней бубенцы:  
— Эх ты, удаль-тоска, раскружить тебя не на что!  
Хеп-па-пá-берегись застоялых зверей!! —  
Богомольный народ, разбредаясь от всенощной,  
Подаёт милостыню калечным и немощным  
На изглаженных папертях стройных церквей.  
Их степенному шествию дерзко не в лад,  
Хохоча и толкаясь, студенты валят,  
Неуёмные, жадные жить, несытые,  
В институтской столовой свой ужин выстояв, —  
На свиданья, в читальни, в кино, в общежития  
Тротуарами улицы Декабристов.  
И гудят до полуночи лаборатории,  
Ослепительный свет над столами чертёжников,  
В клубе — диспут любителей Новой Истории  
И Союза Воинствующих Безбожников.

А за ставнями тихих домов затаивший  
Неушедших, непойманных, белых, *бывших* —  
Что за город такой? Всё кипит, но ни слова  
Не сойдёт у прохожего с замкнутых губ, —  
Стольный город разбитого Войска Донского, —  
Антиквар, книгочей, книголюб.  
Слишком мал понимать, только щурю глазёнки,  
Как на сбруе звенящей играет луна,  
И не знаю, что в доме, — вот в этом, — ребёнком,  
Моя будущая растёт жена.

Семилетье российской лихой безвременщины!  
Свист и дым по стране от конца до конца! —  
Сколько нас воспитали пониклые женщины,  
Сколько нас не знавало руки отца!  
Пятилетнею девочкой в кружевцах  
Ты отведала первых учений тернии,  
Изъяснялась в учтивых французских словах  
И разыгрывала этюды Черни.  
Ни за дверь, ни в толпу! (Наберётся, *ma chère*,  
Этих выходов, этих манер!)  
Тем охотней узнала ты книгам цену,  
А в семейном кругу, в воскресенье,  
Дверь из комнаты в комнату делала сцену  
Для домашнего представленья.  
И когда собирались по сходству подружки,  
Повелитель был обществу вашему нервному  
Реже — добрый весёлый Пушкин,  
Чаще — жёлчный презрительный Лермонтов.  
Лет в четырнадцать сердца отчётливей стук,  
Что-то смутно томит, что-то поймано понаслышке,  
Но *посмотришь с холодным вниманьем вокруг*,  
А вокруг — *мальчишки!*..  
Так пускай литераторша мажет тетрадки,  
Пусть галдит, что герой ваш — одни недостатки, —  
Разве это в его фосфорическом взоре?  
Бледном лбу? сжатъи губ? и в усах завитых?

Через всё полюбился девчѣнке Печорин!  
А Печорина нет давно в живых.  
Ждѣшь, что жизнью тебе уготовано диво,  
Но проходит юность, в меру счастливо,  
В меру ровно, — а дива нет.  
Выпускные экзамены сдав торопливо,  
Поступаешь в Универс'тет.  
...Образ к образу рядом затенчивым,  
Местом меркнувшим, местом ярким,  
То я вижу тебя на балу студенческом,  
То в измученном зном вечернем парке.

Не Печорина — духов сомнения едких,  
Подмело их при сталинских пятилетках.  
Их приносное семя и раньше-то плавало,  
Не ныряя по омутам русской реки.  
А коряги в ней — мы, убеждённости дьяволы, —  
Духоборы, самосжигатели,  
Бунтари, проповедники, отлучатели,  
Просветители, вешатели, большевики!  
Угораздило же тебя родиться  
В тре-тревожной стране, под разбойный шум,  
Где как прежде, где в каждом десятом таится

Протопоп Аввакум.

Однолюб. Однодум.

Я! Я верю до судорог. Мне несвойственны  
Колебанья, сомненья, мне жизнь ясна,  
И влечѣт меня жертвенное беспокойство  
От постели, от нежности, ото сна.  
Рвѣт и рвѣт моѣ мясо Дракон,  
И где лапу положит — отдай, оставь ему! —  
Это Горе Истории, Боль Времѣн,  
Мне волочь его, как анафему!  
Да, я звал тебя, звал. А дороги круты.  
Я зачем тебя влѣк? В каком чаду?  
Не иди! Ты слаба. Переломишься ты! —  
Я не знаю — я ли дойду...

Рай зелёный... Ничто не радует.  
Там столицы взрываются, бомбы падают!  
Вся планета в ознобе! планета в трясении! —  
Вот! Пишу:

М О Е М Ы   П О К О Л Е Н И Ю

Родились мы — не для счастья  
Бредит, буен мир больной.  
Небывалое ненастье  
Захлестнёт нас! Будет бой!!

Перед тяжким наступленьем  
Пусть же скажут правду нам,  
Как умел Владимир Ленин  
Говорить её отцам:

Враг — не трус, не слаб, не глуп он! —  
В нас не верит тот, кто лжёт.  
Мы — умрём!! По нашим трупам  
Революция взойдёт!!!

Из Октябрьской мятели  
Поколение пришло.  
Чтоб потом цвели и пели,  
Надо, чтоб оно — легло...

Уж не помню, ещё что слетело  
С языка у меня в пылу,  
Только помню: жена побледнела  
И щекой прислонилась к стволу.

Так я бил, беспощадный и мрачный,  
Словом ó слово, в слово словом.  
Этот месяц — первый побрачный,  
Называют в России медовым,  
*Hopeu-toon* окрестили его за проливом,  
У французов он назван — *la lune de miel*,

Одарён и у немцев прозванием счастливым  
*Flitter-Wochen* — поблескивающих недель.  
Как обманчива ласковость этих названий!  
Даже камни — притрёшь ли, не обломав?  
Два бунтующих сердца! Меж вами  
Кто виновен? кто прав?..

Ветер осени  
Шепчет на уши.  
Лес обрызгало  
Желтизной.  
Лето кончилось,  
И пора уже  
В грохот города  
Нам домой.  
Первый замороз,  
Утро терпкое.  
Окский катер.  
Речная рань.  
Дом Поленова.  
Старый Серпухов.  
И дорога  
Через Рязань.  
Русских станций  
Скончанье света.  
Все вповалку  
До загородок.  
Лица в мухах.  
Лежат в проходах  
В полушубках.  
И ждут билетов.  
Нет билетов!  
Посадки нету.  
Манька, где ты?  
Маманька, тута!  
Кто с мешками,  
Без пропусков,

С пропусками  
И без мешков.  
Смех и молодость  
Нам защитюю.  
Ещё б с ними  
Не уместиться!  
Встречный ветер  
В лицо раскрытое  
Облохмачивает  
Наши лица.  
Звонко-кованый  
Быстрый поезд.  
Машет мельница  
Вдалеке.  
Мы уходим  
В окно по пояс,  
Прижимаясь  
Щека к щеке.  
Скоро станция.  
Ходу сбавило.  
— Отодвинься же.  
Слышишь, милый?..  
На полуслове

Вздрыгнула Надя и руку мне боязно  
Сжала. И я ей сжал.  
С грохотом поезд наш вкопанно стал  
Против товарного поезда.  
Красные доски вагонов измечены —  
Нетто и брутто, осмотр и ремонт, —  
Только окошки у них обрешечены  
Да через двери — болт.  
Красным закатным лучом озарённое,  
Вровень над нами пришлось одно  
Прутьями перекрещённое  
Маленькое окно.  
Лбы и глаза и небритые лица —  
Сколько их сразу тянулось взглянуть! —  
Кажется, там одному не вместиться  
Воздуха воли глотнуть.  
В грязном поту, в духоте, в изнуреньи,

Скулы до боли друг к другу притиснув,  
Глянули злобно на наше цветенье —  
Выругались завистно —  
Грубо плеснули в лицо нам побранку  
Липкой несмывчивой грязью! —  
Наш отлощённый состав с полустанка  
Тронул с негромким лязгом.  
Тронул, но ты-ся-че-ле-тье волок он  
    Нас! нас! нас! —  
Вдоль новых и новых закрешенных окон,  
Под ненависть новых глаз.  
Резко проёмы вагонные хлопали,  
Вот уж мы вырвались, вот уж мы во поле!..

Сумерки. Отблики топки по шпалам.  
Низко курилась туманцем елань.  
...Но как проклятье в ушах звучала,  
Но как пророчество не смолкала  
Та арестантская брань.

\* \* \*

Нет, не тогда это началось, —  
Раньше... гораздо раньше...  
В детстве моём обозначилось,  
В песнях, что пели мне, няньча, —  
Крест перепутья  
Трудного,  
Скрещенных прутьев  
Тень,  
Ужаса безрассудного  
Первый день.  
Книг ещё в сумке я в школу не нашивал,  
Буквы нетвёрдо писала рука, —  
Мне повторяли преданья домашние,  
Я уже слышал шуршание страшное —  
Чёрные крылья ЧК.  
В играх и в радостях детского мира  
Слышал я шорох зловещих крыл.  
...Где-то на хуторе, близ Армавира  
Старый затравленный дед мой жил.  
Первовесеньем, межою знакомою  
Медленно с посохом вдоль экономики  
Шёл, где когда-то хозяином был.  
Щурился в небо — солнце на лето.  
Сев на завалинке, вынув газету,  
Долго смоктал заграничный столбец:  
В прошлом году не случилось, но в этом  
Будет Советам  
Конец.  
Может быть, к лучшему умер отец  
В год восемнадцатый смертью случайной:  
С фронта вернувшийся офицер,  
Кончил бы он в Чрезвычайной.

Наши метались из города в город,  
С юга на север, с места на место.  
Ставни и дверь заложив на запоры  
И оштитивши их знаменьем крестным,  
Ждали — ночами не спали — ареста.  
Дядя уже побывал под расстрелом,  
Тётя ходила его спасать;  
Сильная духом, слабая телом,  
Яркая речью, она умела  
Мальчику рассказать.  
В годы, когда десятивековая  
Летопись русских была изорвана,  
Тётя мне в ёмкое сердце вковала  
Игоря-князя, Петра и Суворова.  
Лозунги, песни, салюты не меркли:  
«Красный Кантон!.. Всеобщая в Англии!» —  
Тётя водила тогда меня в церковь  
И толковала Евангелие.  
«В бой за всемирный Октябрь!» — в восторге  
Мы у костров пионерских кричали... —  
В землю зарыт офицерский Георгий  
Папин, и Анна с мечами.

Жарко-костровый, бледно-лампадный,  
Рос я запутанный, трудный, двуправдный.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  
СЕРЕБРЯНЫЕ ОРЕХИ

Мой милый город! Ты не знаменит  
 Ни мятежом декабрьским, ни казнию стрелецкой.  
 Твой камень царских усыпальниц не хранит  
 И не хранит он урн вождей советских.

Не возвели в тебе дворцов чудесно величавых  
 По линиям торцовых мостовых,  
 Не взнесены ни Столп Российской Славы,  
 Ни Место Лобное на площадях твоих.

Не приючал ты орд чиновников столичных  
 И пауком звезды не бух на картах,  
 Не жёг раскольников, не буйствовал опричной,  
 Не сокликал парламентов и партий.

Пока в Москве на дыбе рвали сухожилья,  
 Сгоняли в Петербург Империи служить, —  
 Здесь люди русские всего лишь только — жили,  
 Сюда бежали русские всего лишь только — жить.

Здесь можно было жатвы ждать, посеяв,  
 Здесь Петропавловских не складывали стен, —  
 Зато теперь — ни Всадников, ни холода музеев,  
 Ни золотом по мрамору иссеченных письмен.

Стоял тогда, как и сейчас стоит.  
 На гребне долгого холма над Доном, —  
 То зноем лета нестерпимого облит,  
 То тёплым октябрём озолочённый.

И всех, кто с юга подъезжал к нему,  
 На двадцать вёрст встречал он с крутогорья  
 В полнеба белым пламенем в ночную тьму,  
 В закат — слепящих стёкол морем.

Дома уступами по склону к Дону сжало,  
 Стрела Садовой улицы легла на гребень;

Скользило солнце вдоль по ней, когда вставало,  
 И снова вдоль, когда спадало с неба.  
 Тогда ещё звонили спозаранку,  
 Плыл гул колоколов над зеленью бульваров,  
 Бурел один собор над серой тушей банка,  
 Белел другой собор над гомоном базара.  
     Звенели старомодные бельгийские трамваи,  
     В извозчиков лихих чадили лимузины,  
     Полотен козырьки от зноя прикрывали  
     Товаров ворохи в витринах магазинов.  
 Как сазаны на стороне зарецкой,  
 Ростов забился, заблистал, едва лишь венул НЭП, —  
 Той прежней южной ярмаркой купецкой  
 На шерсть, на скот, на рыбу и на хлеб.  
     Фасады прежние и прежние жилеты,  
     Зонты, панамы, тросточки — и мнилось,  
     Что только Думы вывеску сменили на Советы,  
     А больше ничего не изменилось;  
 Что вновь простор для воли и для денег;  
 В порту то греческий, то итальянский флаг, —  
 Порт ликовал, как в полдень муравейник,  
 Плескались волны в Греки из Варяг.  
     Тогда ещё церковей не раздробляли в щебень,  
     И новый Герострат не строил театр-трактор,  
     И к пятерым проспектам, пересекившим гребень,  
     Названья новые не притирались как-то.  
 Дышали солнцем в парках кружева акаций,  
 Кусты сирени в скверах — свежестью дождей,  
 И всё никак не шло тем паркам называться  
 В честь краевых и окружных вождей.  
     Внизу покинув громыхающий вокзал,  
     Садовая к Почтовому вздымалась круто.  
 Ещё не став  
     «Индустриальных педагогов институтом»,  
     Уже не «Императорский», Университет стоял.  
 Впримык к его последнему ребрѣному столбу,  
 В коричневатой охре, на длину квартала,  
 В четыре этажа четыре зданья занимало  
     ПП ОГПУ.

Недвижный часовой. Из дуба двери входов.  
 Листами жести чёрной ворота обиты.  
 И если замедлялись на асфальте пешеходы,  
 То некто в кэпи их протрагивал: «Пройдите!»  
 А со времён торговли той бывалой  
 Складские шли под улицей подвалы.  
 Их окна-потолки вросли в асфальта ленту —  
 Толщ омутнённого стекла — и, попирая толщу ту,  
 Жил город странной, страшною легендой,  
 Что там, под улицей, — застенки ГПУ.  
 И по фасадам окна, добрых полтораста.  
 Никто к ним изнутри не приближался никогда,  
 Никто не открывал их. Матово безстрастны,  
 Светились окна тускло, как слюда.  
 Лишь раз, когда толпа привычная текла, —  
 Одно из верхних брызнуло со звоном, —  
 И головой вперёд, сквозь этот звон стекла  
 Безвестный человек швырнул себя с разгону.  
 С лицом, кровавым от удара,  
 Ныряя в смерть дугой отлогой,  
 Он промелькнул над тротуаром  
 И разможился о дорогу.  
 Автобус завизжал, давя на тормоза.  
 Уставились толпы застылые глаза!  
 Толпу молчашую — локтями парни в кэпи,  
 Останки увернули, унесли бегом, —  
 Брандспойтом дворник смыл пятно крови нелепой  
 И след засыпал беленьким песком.

Я на день сколько раз мальчишкой юлким,  
 На этажи косясь, там мимо пробежал  
 И поворачивал Никольским переулком  
 В крутой и грязный каменный провал.  
 Промежду стен, домов, облупленных снаружи, —  
 Плитняк потресканный, булыжник, люки стоков:  
 В дожди и в таянье со всех холмов окружных  
 Сюда стекались мутные потоки.  
 Из глубины огромного квартала  
 Сюда, на дно, где люков чёрная дыра,

ОГПУ опять домами выступало  
И воротами заднего двора.  
Что день, под тихий говор, жалобы и плач,  
За часом час, кто в шляпках, кто в платках,  
Здесь ждали женщины с узлами передач,  
И с робким узелком, и с сыном на руках.  
Я на день сколько раз притихшим мальчуганом  
Их обходил, идя к себе в тупик,  
Где в кучах мусора шёл ярый бой в айданы,  
Где «красных дьяволят» носился резвый крик.  
Громада кирпича, полнеба застенив,  
Мальчишкам тупика загородила свет.  
С шести и до пятнадцати в её сырой тени  
Я прожил девять детских лет.  
Чего ж ещё хочу? Какое мне начало?  
Каких ещё корней ищу в моей судьбе?  
Я мальчик был — ЧК мне небо заслоняла,  
В солдата вырос я, она — в НКГБ.

---

Мы жили с мамой в тупике,  
В дощатом низеньком домке,  
Где зимний ветер свистел в утычках щельных.  
Мечась, ища — чего, не зная сам,  
Приехал дед однажды к нам  
В рождественский сочельник.  
Попил колодезной воды  
И пропостился до звезды.  
Мы в шумный дом в тот вечер собирались,  
Где в тридцать человек встречали Рождество,  
Но для него  
Втроём остались,  
Размётанной семьи  
Осколком.  
Со взваром чаша. Блюдечки кутьи.  
В серебряных орехах крохотная ёлка.  
Дрожало несколько свечей в её ветвях.  
Лампада кроткая светилась пред иконой.  
В малютке-комнатке, неровно освещённой,

Огромный дед сидел — в поддёвке, в сапогах,  
С багрово-сизым носом, бритый наголо,  
Меж нашей мелкой мебелью затиснут.  
Ему под семьдесят в ту пору подошло,  
Но он смотрел сурово и светло  
Из-под бровей навислых.

Дед начал жизнь с чебанскою герлыгой  
В Тавриде выжженной, средь тысячных отар,  
В степи учился сам, детей не вадил к книгам,  
Лишь дочь послал одну — лоск перенять у бар.  
Она выросла неприобретливого склада,  
И мне отца нашла не деньгами богата —  
Был Чехов им дороже Цареграда,  
Внушительней Империи — премьеры МХАТа.  
Сникали долгие усы у старика, какие раньше  
Носили прадеды его и деды на Сечи.  
Светилась кожа мамина оранжево  
От ёлочной свечи.

И тихо тѣк покойный тѣмный вечер.  
Кивала мама мне, чтоб деду не перечил,  
А он, подавленный, неторопливый,  
С какой-то вещей скорбью говорил.  
Раскрыла Библию на повести об Иове  
Его рука в узлах набухших жил.

...Сходились судьбы их, однако не совсем:  
Начавши с ничего и снова став ничем,  
Всѣ потеряв — детей, стада, именье, —  
Молил смиренья дед, но не было смиренья!  
Одиннадцатилетний, в утешенье  
я дедушке сказал:

«Ты — не жалея.

Наследства б я из принципа не взял».

Ещё мы спали — дед поднялся, охая,  
И, половицами скрипя, ушёл в собор к заутрене.  
Ещё мы нежились в приятной тёплой судреми —  
И вздрогнули от грохота:  
Долбили в дверь ногою, как тараном.

На локте мама вскинулась с дивана,  
 К окну, к двери метнулась,  
 Опять к окну,  
 Неменя повернулась:  
 «О Боже! Г П У!»

И двое их вошли в морозных клубях,  
 Огромных, чудилось, широкоплечих, —  
 В перепоясанных тулупах.

И дверь оставили распахнутой на стужу.  
 И сбили ёлку локтем неуклюжим.  
 Отпали ставни. Из кровати строго  
 Я в свете дня на старшего взглянул.  
 Лицо его чернело, закалев от ветрожога,  
 И круто выступали кости скул.  
 Будёновки засаленный шишак.  
 Петелька рваная. Чугунный подбородок.  
 «Гражданка Нержина? А гражданин Щербак —  
 Отец ваш — где?.. Ушёл молиться? Вот как...  
 Должно быть, есть что волку старому замаливать —  
 Поплёлся по такому холоду!  
 Ну что ж, гражданочка, а вам пока — вываливать  
 Золото».

— «Ка-кое?!» — «Жёлтое». — «Нет у меня». — «Но-но!»  
 — «Оно не нужно мне!» — «Так нам зато нужно!»  
 — «Ей-богу — нет...» — «Чего? Монет?  
 Не обязательно. Шитьём от эполет.  
 Посудой можно, бриллиантами и слитками,  
 Идём навстречу, понимаем.  
 И если золотом мундирчик вытканый,  
 То — принимаем».

— «Как странно... Бриллианты и посуда...  
 Прошло двенадцать лет. Откуда?  
 В голодный год на масло, на муку...»  
 — «Ку-ку!  
 Я вам напомню: выдавлена проба  
 Такая — девяносто шесть.  
 Взломаем пол, диван распорем. Обыск?..  
 Я знаю — есть!»

— «Товарищ, верьте, я...» — «Я не товарищ вам!»

Я, может быть, руки вам не подам!  
 Я — *гражданин* для вас, мадам!  
 И вам придётся ехать с нами, если...»  
 — «Мне?.. Как же я?.. А сын?!.»  
 Он снял тулуп, уселся прочно в кресле:  
 «Но вам дороже — золото? Сын проживёт один».  
 Мать заметалась. Дрожью губ  
 Ловила воздух ли, молилась.  
 «Я не пойду! Я не могу!!»  
 И, пальцами хрустя, остановилась.  
 Упали шпильки — и рассыпались каштановые пряди  
 Её волос, причёсанных поспешно, —  
 Я видел только взгляд его, и в этом взгляде —  
 Усмешку.  
 Себя не помня, с потемневшими глазами  
 Я на кровати встал на помощь маме  
 И, весь дрожа, что мне в ответ  
 Над головой засвищет? —  
 «О чём ты просишь их? Сказала *нет* — и нет!  
 Пусть ищут!»  
 Но — улыбнулся старший. Я стоял.  
 Чуть до колен спускалась рубашонка...  
 Он подошёл и пробурчал:  
 «А? Выкормили тут волчонка...  
 Ну, расскажи, с кого берёшь пример?  
 Кричать ты, вижу, звонок».  
 — «А что грозитесь? Ордер есть? Я пионер,  
 А не волчонок».  
 — «Да... Цепкие растут они в советский век...  
 Читаешь что?» — Взял книгу. — «Лондон. Джек».  
 Я чувствовал, я знал, что с нами всё он мог.  
 Смущал меня в словах его задумчивый привет  
 И глаз жестоких размягчённый свет.  
 Мать успокоилась: «Не простудись, сынок.  
 Ищите. Нет».  
 Он сел писать. И, протянув ей лист,  
 Чернильницу придвинувши, сощурился чекист:  
 Не дрогнет ли её рука?  
 «Я... заверяю... золота ни грамма...  
 Во время обыска откроется... статья УК...»

Уже перо макнув, спросила мама:  
«А обручальное кольцо?.. О муже память... Ничего?»  
Но младший вырвался: «Хо-го!  
Какого ж чёрта вы молчите?  
Тащите, дамочка, тащите!»  
Ни на кого не глядя, от стола  
Мать тихими шагами отошла,  
Спиной к обоим стала,  
Из бисерной шкатулки потемневшее достала,  
Упала головой,  
Губами и щекой  
Прижалась, —  
Вернулась лебединым шагом,  
Взяла бумагу,  
Расписалась.  
Чекист швырнул кольцо, как будто горячо,  
С ладони на ладони мякоть,  
Спустил в карман — и с чем-то там ещё  
Оно столкнулось тихим звяком.

Как всякий раз от литургии,  
Мой дедушка вернулся тих и светел.  
Под притолкой нагнулся, где другие  
Не нагибались, и... заметил.  
Ни бровью не повёл. Спокойно стал под образ,  
Прочёл молитву вслух, перекрестился истово,  
Как будто и не видел он гостей недобрых  
Иль не признал чекистов в них.  
Поцеловал, поздравил мать  
И подошёл меня поцеловать.  
И лишь когда усами жёсткими к щеке моей приник,  
Я ощутил, как изнутри  
Дрожал старик.  
Подручный тотчас пересел к двери.  
А старший, ó-локоть на стол,  
На скатерть — пепел от махорки,  
Не отрываясь, снизу, зорко  
За дедом следом взглядом вёл.  
Дед выпрямился, снял кожух,

- Подбитый вытертой мерлушкой.  
 Поставить ногу негде было в комнатушке, —  
 Он всё не видел этих двух.  
 И усмехнулся старший: «Что ж вы нас не поздравляете?  
 Захар Фёдорович, а? На Органы ль вы злы?»  
 — «Шось я нэ чув,  
 шо вы Господни праздники справляеэ.  
 То — видколы?»  
 — «Ну, расскажите, как пришёлс вам собор?  
 Заутреня? Как — хор?  
 Служил — архиерей?»  
 — «Вин...» — «Замечательно. И с клиром?  
 Его послушать вы и ехали из Армавира?..  
 Да что вы смотрите на нас, как на зверей?  
 Мы — к вам... У вас — большой багаж?  
 С собою? На вокзале малость?»  
 — «Якый багаж? Хиба ж  
 У мэнэ шо осталось?»  
 — «Ограбили?» — «Дочіста».  
 — «В вагоне?!»  
 — «Ни. Та хай бы им сказыться — коммунисты.  
 Як був переворот. Шоб людэй грабыть,  
 Ума вэлыкого нэ трэба, мабуць».  
 — «Вот неприятность! Ай-ай-ай!..  
 Ну что ж, погреемся. Хозяйка, ставь нам чай,  
 Да, может, рафина-адик недоко-олотый...»  
 И вспрыгнул тигром: «От-ве-чай!!!  
 Где — золото?!»  
 Отпрянул дед: «Якэ?  
 Шо вы?»  
 — «Собака! Пёс! Такого слова  
 Не знаешь в русском языке?  
 Где золото?» — «Якэ?» — «А то, что в бочке.  
 В бочоночке! В земле!! В ларце!!!  
 Пятёрки николаевские! По мешочкам!  
 И то, что ты привёз до дочки...  
 Спиной, мадам... Вот подпись, ну!» — «О це?»  
 — «Да, це! Она призналась, где ты прячешь».

- Сверкнув глазами, дед отвёл бумагу: «Як скаженный,  
 Шо причипывся ты до мэнэ?  
 Я бэз очёк нэ бачу».
- «Надень очки». — «Мэни нэ трэба. Сами и смотреть.  
 Ось, в роте ё два зуба золотых — возьмишь,  
 А золота я никола не ймав  
 И нэ ховав».
- «А что ж ты ймав?»  
 — «Земли две тыщи десятин. Худобу».
- «Две тысячи??» — «Булы за мэнэ бильш».
- «А золото?» — «У зимлю сиять? Хлеборобу  
 Який з ёго барыш?»
- «И что имел — куда ж ты дел?» — «Куды?  
 Та я ж кажу — забрали». — «Кто?!» — «Жиды».
- «Но столько лет ты чем живёшь? Каков твой труд?»  
 — «А побыраюсь я. Шо люды добрые дадут,  
 Кто в мэнэ запрежь зароблялы гроши».
- «И что ж, дают?» — «Дают. Кто хлиба, хто сальца».
- Чекист осклабился: — «Ка-ким ты был хорошим!  
 За ридного отца?..»
- Вздыхнул старик: — «Нэ так, як вы, хозяйнував:  
 Сам жив — и людям жить давав.  
 А шоб уси равны булы —  
 Того нэ будэ никола.  
 Нэ будэ нас, так будут иньши,  
 Ще, мабуть, гириши люды, злиши...»
- Чекист поднялся резко: «Ну,  
 Там разберёмся, в ГПУ.  
 Не из таких в подвалах выбивали блажь.  
 Подумаешь — и зубы сдашь».

---

Но не нашли у деда золота. Отпущен был домой  
 Развалиной оглохшей, с перешибленной спиной.  
 Два года жил ещё. Похоронил жену.  
 — «Пиду к остроголовым подыхать.  
 Нэ прожинут!»

Огонь глаза тускнеющие облил.  
«Воны мэнэ ограбылы, убылы, так нехай  
На гроши на мои хочь гроб мни зроблять».

Надел поверху рубахи деревянный крест,  
В дверь ГПУ вошёл — и навсегда исчез.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ  
ТЫ, КОГО ВСЕГО СИЛЬНЕЙ...

*Ты, кого всего сильней  
В мире любишь ты, — убей!*

Из романа 20-х годов

Теперь уж кажется преданьем  
Такой приветный щедрый дом —  
Нароспашь, искренно, ребром —  
Где рады близким, рады дальним,  
Где остро спорят вокруг стола,  
Где пьют-едят довесела,  
Где заливаются девчѐнки,  
Где за минуту комнатѐнку  
То в зал расчистят танцевальный,  
То разделят на десять спален,  
Старинный ветхий шкаф зеркальный  
Перенесут и повернут,  
Где книг расходных не ведут,  
И не считают ртов утайкой,  
Где дышит доброю хозяйкой  
Ненарушаемый уют.  
Всѐ было просто. Все — просты.  
Теперь не то. Теперь не так.  
И если где горит очаг —  
То двери заперты.  
Всегда открытое радушьё!  
Тебя всё меньше в русской жизни.  
Твой дар усталостью иссушен  
И подозрительностью изгнан.  
Наш быт рассчитан и суров.  
Уж больше нет таких домов.

---

Немало лет прошло с тех пор.  
От взгорбка Среднего проспекта,  
Где взбросил в небо архитектор  
Теперь уж снесенный собор,  
Где в сквере, убранные в ленты,  
Детей возили чинно пони,  
Где спали львы на постаментах,  
А на колончатом балконе  
Встречали девушек студенты,  
Где Банк приземистый с фронтоном  
Улёгся чудищем ампира, —  
Оттуда, в ряд домов втеснённый,  
Стоял их дом неподалёку,  
И в первом этаже квартира  
Во двор сияла светом окон,  
Звала субботами заманно,  
Внутри гостей кружился рой,  
Гудели струны фортепьяно,  
Пел мягкий голос молодой:  
*«Там, где Ганг струится в океан...  
Где по джунглям бродит дикий слон...»*  
Их дом всегда открыт был нам:  
Екатерина Николавна  
Дружила с мамой дружбой давней  
По гимназическим годам,  
А Миша, сын её, — ровесник  
Пришёлся мне, и складом в склад,  
И страстью к странствиям чудесным, —  
И я провёл у них полдетства,  
Как сын второй, как сына брат.  
Великий мир, подвластный нам!  
То, бабушкину шаль распялив,  
Мы вили в прериях вигвам;  
То клад в пещере под роялем  
Во тьме таинственной искали;  
То, через комнаты бегом,  
Хлеща собак, наперегон

Мы занимали на Аляске  
Золотоносные участки.  
Метнувши мнимым томагавком,  
И сняв с врага привычно скальп,  
Мы громоздили в кухне лавки,  
Взбирались на вершины Альп.  
Под стол, к браминам, в храм Бомбея  
Нас вёл факир, знакомый наш.  
Из кубиков фрегаты склеив,  
Мы храбро шли на абордаж,  
Вели корабль по Ориноко  
Меж двух ковров полоской пола,  
Грузили пряности Востока  
На караваны Марко Поло.  
Мир старых книг едва надчерпан —  
Экранов первое мельканье! —  
И д'Артаньян, и Дуглас Фербенкс,  
И конквистадоры Испании!

Так вплоть до вечера, пока  
Со стен, столов и с потолка,  
Из абажуров разноцветных  
Не вспыхнут лампы — беззапретно  
Владели мы землёй ничейной,  
Резвясь по всем её углам.  
Но, затаясь благоговейно,  
В отцовский строгий кабинет  
Вступали, дерзостные. Там  
Из многих стран, за много лет  
На долгих полках по стенам,  
То плотно сдвинув корешки,  
То мелочь меж больших навалом —  
Теснились мудрых книг полки  
И стопы глянцевого журналов,  
Как крылья бабочек яркие.  
Отдельно в восемь этажей  
Хранились кипы чертежей  
На кальке, на миллиметровой,

Александрийской и слоновой,  
В альбомах, папках и рулонах.  
В углу остойчивой колонной,  
Как снег, едва голубоватый  
Отлив отбрасывая, — ватман;  
Дубовый стол на зверьих лапах,  
С крылом чертёжная доска,  
Особый свет, особый запах  
Журналов, туши, табака.

В шестом часу, портфель неся —  
Подарок слушателей, в носке  
Истёртый, пухлый донельзя,  
Олег Иваныч Федоровский  
С работы тихо шёл, устав.  
Его завидевши, стремглав  
Бросались мы встречать. Забросив  
За плечи шёлковые косы,  
Едва касаясь плит двора,  
Ирина, старшая сестра,  
Бежала. Брат бежал быстрее  
И не давал портфеля ей.  
Олег Иваныч с лет давнишних,  
Всю жизнь над книгами сидя  
И за фигурой не следя,  
Одно плечо держал повыше,  
Чуть горбился, был невысок, —  
Ему по грудь тянулся Миша,  
А дочь равнялась по висок.  
Искря глазами сквозь пенсне,  
Всех трёх обняв, спеша узнать  
О школе, о минувшем дне, —  
Он тут же нам давал решать  
Задачку хитрую в уме.

За круглым столиком в гостиной,  
Седая вся, с осанкой львиной,

Старуха в семьдесят два года,  
Сухими пальцами в колоду  
Французских карт собрав атлас, —  
Опять не вышло в этот раз, —  
Кивала зятю от пасьянса.  
Держа гимназию, она  
В былое время мезальянса  
Боялась больше, чем огня.  
Эмансипация и курсы,  
Москва, Козихинский на Бронной...  
— «Какой-то внук дьячка из бурсы...  
Ещё студент?» — «Но одарённый!»  
— «Белья — две пары... Не галантен».  
— «Но, мама, слушай, он талантлив!»  
— «Как за столом локтями двигал,  
*Fi donc!*» — «Он милый, пригляди!»  
— «Наш предок в Бархатную Книгу  
Записан был!» И — не сошлись.  
И — врозь. Да где же было знать им,  
Какая выгрохнет пора?! —  
Ушли за море братья Кати,  
Восторженные юнкера.  
Все вихри русские сплеснулись,  
Все судьбы щепками стремя! —  
Простила дочь... Они вернулись  
Уже с внучатами двумя.  
Был зять из той людской породы,  
Вся жизнь которой — знать и строить.  
Такие стояли в те годы,  
Да и когда они не стоят?  
Рефрижираторы. Тепло.  
Подземный газ. Турбокомпрессор.  
Один диплом, второй диплом.  
Конструктор. Инженер. Профессор.  
— Из Шахт звонят. — Ждут в Сулине.  
— Прочтите курс в Новочеркасске! —  
И лишь тогда сменён был гнев  
На снисходительную ласку.  
А зять, нимало не заносчив,

Шутил, когда кругом свои,  
Что попадёт он с этой тещей  
Не в ВКП, так в РКИ.

С обеда шёл Олег Иваныч  
Вздremнуть: читая поздно, за ночь  
Никак не выспался он.  
Звонил безразличный телефон —  
«Тепло и Сила» — там совет,  
Из института. Если ж нет —  
Засвечивался кабинет.  
И целый вечер шли и шли,  
И свёртки ватмана несли  
Студентки робкие, студенты —  
Самодовольно дипломанты,  
С ленцой весёлой практиканты,  
Неслышным шагом ассистенты.  
В неповторимые те годы  
Два стиля, две несхожих моды,  
Два мира разных, два дыханья  
Столкнулись в жизни обновлённой,  
Их переплеск и колыханье  
Рождали ропот напряжённый,  
И этой недотканной ткани,  
Переплетённой пестроты  
Тянулись всюду туго нити:  
— Товарищ Федоровский, ты...  
— Олег Иванович, простите...  
Кто властной поступью рабфака,  
В косоворотке, френче хаки,  
С ЛКСМовским значком:  
За что боролись? При своём  
Живём и учимся режиме! —  
Кто в остро-круглых длинных *джимми*,  
Носки открыты, в яркой клетке,  
Утиный козырь мягкой кепки:  
— Танцуем чарльстон! Для вас  
Не *Восемнадцатый* сейчас!  
И только девушки, подвластны

Волнам парижских перемен,  
Все дружно были в том согласны,  
Что юбки носят до колен,  
Чтоб чуть на кнопочках держались,  
И чтоб колена обнажались! —  
И ложных пуговиц рядки  
Сверх скрытых кнопок нашивали  
(Их юбки лет тех остряки  
«Мужчинам некогда» прозвали).  
Да сохранив отличья касты —  
Фуражки, ключ и молоточек,  
Тужурки с синью оторочек, —  
От старой власти к новой власти  
Из инженеров *совспецы* —  
Шли русской техники творцы.  
Так, дверь стеклянную зашторя,  
Всегда с дымком иссиза-бледным  
Меж указательным и средним,  
То консультируя, то споря,  
Шутя, сердясь, доступен всем,  
Он принимал.

А между тем...

А между тем в углу гостиной,  
Отгороженном у окна,  
У своего стола Ирина  
Сидела, к книгам склонена.  
Пишу — Ирина, помню — Ляля —  
Её в семье по-детски звали.  
«Стол» говорю, а помню — столик,  
Точёных ножек карий лак..  
На нём по прихотливой воле —  
Тетради, писанные в школе,  
И многозначаций пустяк,  
Какой-то камешек с приморья  
И снопик ландышей в фарфоре,  
Фрагмент роденовской «Весны»,  
Мал меньше меньшего слоны.  
Вразброс над столиком висели  
Её же кисти акварели  
Неярких, вдумчивых тонов —

Прочтённых книг, неясных снов  
 И властной жизни отпечатки:  
 То у окна в старинной зале  
 Склонилась девушка, перчатку  
 В раздумьи смутном теребя;  
 То поезд в розовые дали  
 Уходит, дымами клубя;  
 Там — рвётся, сжавши боли крик,  
 В костре фанатик-еретик;  
 Тут — спад покойных мягких линий  
 И будуара сумрак синий...  
 Кто знает — как, когда, какою  
 Незъяснимою тропею,  
 Не зная разницы в летах,  
 Сама себя стыдясь, крадётся  
 Любовь в мальчишеских сердцах?  
 То ей обнять меня придётся,  
 А то послать за пустяком —  
 Несусь с готовностью бегом,  
 И тёмным боем сердце бьётся.  
 Ни слов ещё, ни тех понятий,  
 А вот — духи... коснуться платья;  
 Тайком, чтоб не видал никто,  
 В томленьи радостном, незрелом,  
 Прийти и сесть на место то,  
 Где только что она сидела:  
 Бином. Арксинус. Вектор поля.  
 Ламарк. Бензольная основа.  
 Оторванность «Народной Воли».  
 «Реакционность Льва Толстого...»  
 Давно ль мы трое на тахте,  
 Усевшись в дружной тесноте,  
 Читали «Морица и Макса»? —  
 Но вот — *надстройка*. Т — Д — Т\*.  
 «О Фейербахе» — Карла Маркса...

Всё те же два, всё те же два  
 И в ней столкнулись мира чуждых:

---

\* Товар — Деньги — Товар.

Огняно-красные слова —  
Нюансы сумерек недужных.  
Из девушек тех кратких лет,  
Лет ошельмованного НЭПа,  
Двойной кумачно-лунный свет,  
Палящий без огня до пепла, —  
В ком сердца слабого не сжёг,  
В кого не впрыснул жидкой стали,  
Зоя, толкая на прыжок,  
В котором головы ломали?  
Прибой трибун. Наплывы танго.  
Многоречивый лепет муз...  
Но свой жестокий табель рангов  
На мраморных ступенях в ВУЗ.  
Ранг первый — на руке мозоли,  
Второй — потомственный рабочий,  
Ранг третий — членство в комсомоле,  
Четвёртый — гниль, буржуй и прочий.  
Закон — мороз! да сердце зябко...  
Нельзя без мягкости на свете.  
И Лялю приняли («наш папка —  
На паровозном факультете»)  
Средь чертежей, средь новых лиц,  
Расчётов, допусков, таблиц,  
Сердечко девичье щемило,  
Но группа школьная друзей  
По вечерам собиралась к ней —  
И всё опять как прежде было:  
Движеньё, хохот, шум при входе,  
«Из слов слова» и «бой морской»,  
Остап — «Телёнок золотой»,  
Жестокий спор о Мейерхольде,  
Журнал домашний сгоряча,  
Кроссворд, шарады, буриме ли,  
Там в лёгком цоканьи мяча  
Пинг-понг стремительный, Джемелли,  
Там рокот струн, напев свободный  
Без боли к слову песни модной:  
*«Ты, кого всего сильней  
В мире любишь ты, — убей!*

*Ты мне так сказал,  
Ты мне приказал,  
Ма – га – ра – джа!»*

Джемели! Александр! Саша! —  
Ему, герою школы нашей,  
Мы поклонялись, детвора,  
Ему дорогу уступали,  
Его манеры повторяли,  
Его с восторгом избирали  
В бюро, в учкомы, в сектора.  
Он итальянец был по деду,  
Но русский речью и в чертах.  
Он знал счастливые победы  
В науке, в играх и в боях.  
Взглянув в учебник для порядка  
С едва небрежною повадкой  
Блестящего ученика,  
Он отвечал лениво-гладко,  
Играя камешком мелка.  
Лишь на истории одной,  
К ошибкам зорок, в спорах злой,  
Из головы своей богатой  
На память сыпал он цитаты,  
Изданья, мненья, имена,  
Подробности событий, даты  
И цифры плавок чугуна.  
Он цену знал себе. Держался  
Свободно, гибко тело нёс.  
Темнел, гневясь. Блеснув, смеялся.  
Высокий лоб его венчался  
Зачёсом взвихренных волос.  
На вечерах со школьной сцены  
Он в зал бросал: «Сергей Есенин» —  
И, замерев, следили мы  
Из напряжённой сизой тьмы  
За каждым брови шевеленьем,  
За каждым губ его движенъем,  
За звуком голоса его.

Быть может — детство, но второго  
Я наслаждения такого  
Не получал ни от кого:  
Уйдя в себя, печален, тих,  
Без завываний, благородно,  
Легко, естественно, свободно  
Умел читать он русский стих.  
Заботой памяти не скован,  
Он жил строкой, единым словом,  
Как будто было самому  
Ещё неизвестно ему —  
Что дальше? Будто бы рождались  
И лишь при нас в стихи слагались  
Переживания поэта.  
И вот он сам, Джемелли сам,  
Вожак мальчишеского света,  
Сюда ходил по вечерам,  
У Федоровских был как свой,  
Неистошимый, озорной,  
Шутник, актёр, душа веселья.  
Но не всегда. Вдруг — нет неделю;  
Вернётся — скован, насторожен,  
Какой-то сдержанною, скрытой  
Заботой внутренней встревожен,  
Из уголка сторонний зритель  
Забав досузей молодёжи.  
То вдруг в окошко стукнет Ляле —  
И не зайдёт — и с быстротой,  
Накинув шляпку и пальто,  
Она уйдёт с ним и гуляет  
Глубоко за полночь. А то  
Она нас двух возьмёт за плечи:  
«Гостей не жду. Ко мне ни-ни!»  
Но он придёт, и целый вечер  
Они до ужина одни.

А в ужин, сколько их ни будь —  
Один ли гость, гостей ли шайка, —  
Ни им столовую минуту,

Ни им раскланяться с хозяйкой.  
От Ляли — молодёжь горохом,  
Плывут от тёщи те, кто в летах,  
И, настезь дверь, с весёлым вздохом  
Идёт отец из кабинета.  
Вершат одиннадцать ударов  
Часы стенные 6-шесть граней —  
Шипит парок над самоваром,  
И плещется вино в стакане.  
И — все за стол! И вольный смех,  
И говор воедино спаян,  
И кажется, что меньше всех  
Устал за сутки сам хозяин.  
Кто с кем и что за чем — известно,  
И смена блюд идёт проворно,  
И на столе тарелкам тесно,  
И вокруг стола душе просторно.  
Винцом и шуткою согретый,  
Так начинался вилок бег.  
Отец с собой из кабинета  
Не упускал зазвать коллег.  
Приняв их запросто и мило,  
К столу хозяйка подводила  
Старинного любимца дома,  
Механика и астронома,  
Горяинова-Шаховского.  
Седой полнеющий старик,  
Учёный с титлом мирового,  
Владелец шапочек и мантий,  
Известный автор многих книг,  
Не утерял ещё таланта,  
Прикрывши грудь волной салфетки,  
Следить за вкусами соседки,  
Приправить анекдотом метким  
Рассказ о новом *культпоходе*,  
Прочесть из Блока мимоходом,  
Новейший высмеять романс  
(Джемели: «Браво! Декаданс!»),  
Над Маяковским посмеяться  
(Задорно Ляля: «А Кузмин?»),

И оживлённо средь мужчин  
Поговорить о Лиге Наций,  
О том, куда идёт страна,  
И о записках Шульгина.  
Среди гостей для полноты —  
Ещё всегда две-три четы  
Мужей и жён, да неизменный,  
Безпомощный, несовременный  
Чудак — учитель рисованья,  
Из тех, кто в коммунизм военный  
Искал разгадок мирозданья.  
Семьи не знавший, вечно холост,  
Успехи лёгкие отринув,  
Всю жизнь отдавший, чтоб на холст  
Нанести одну — одну картину! —  
Мучительно не находя  
Достойных красок сочетанья,  
Он сердцем всё не стыл, хотя  
Лишь неудачи и страданья  
В его скитаниях сплелись.  
За сорок лет, в очках и лыс,  
То захолустных пошлых театров  
Излишне чуткий декоратор,  
То разрисовщик по фарфору,  
А то и вовсе не у дел,  
Он странно нравиться умел  
Проникновенным разговором,  
Большим чутьём, вниманьем добрым,  
Уменьем видеть красоту  
И смело бросить яркий образ  
В души смятенной темноту.

В разгаре ужин был, но спать  
Нас с Мишей слали со середины.  
Удел жестокий! Там в гостиной,  
Ещё сойдутся танцевать,  
Олег Иваныч меж гостями  
Разыщет жертву — полной даме  
Платком глаза схватят вплотную,

И все, как дети, врассыпную, —  
 Бродить на ощупь в Опанаса,  
 Шарады в лицах представлять  
 И в Папу Римского играть.  
 В расчётах тонких преферанса  
 В углу, за ломберным столом,  
 Сойдутся старшие кружком;  
 И строки грустного романа  
 Учитель живописи Лялин,  
 Склонясь над зеркалом роля,  
 Споёт:  
 «Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога,  
 Вы можете смеяться и шутить!..  
 А я старик седой, я пережил так много...»  
 И всё,  
 И это тоже всё  
 Оборвалось...

---

...Вечером как-то спешил я к их дому,  
 Слякотью мартовской, поздней зимой, —  
 Перед дверьми их стоял незнакомый  
 Автомобиль легковой.  
 Тускло желтелся в дожде-косохлёсте  
 С визгом качаемый ветром фонарь —  
 Дверь отворилась — и странные гости  
 Вышли в ночную недобрую хмарь:  
 В гладких пальто одинаковых двое,  
 С поднятым чёрным воротником,  
 И между ними — отец, расстроен,  
 С беленьким узелком.  
 Видя меня — он не видел. И сердце  
 Сжалось, предчувствуя бьль.  
 Вспыхнули фары — хлопнули дверцы —  
 Брызгая, вырвался автомобиль...

В дому ещё дымилось жертвоприношеньё  
 Каким-то злым, неведомым богам...

Лежали в грудях книги после потрошенья  
И оползнями рушились к ногам.  
Ковры комком. Столы и шкафы — настезь.  
Бельё, посуда и постели в кучи свалены.  
И — шкура на полу.  
Как будто этой вот ощеренною пастью  
Медведь налютовал, сорвавшись со стены.  
Здесь сутки обыск шёл. А найден был лишь снимок  
И унесён трофеем он один:  
Съезд энергетиков; меж ними —  
И Федоровский, и... Рамзин\*.

Кто б знал тогда, что не удастся навести  
В квартире этой — раз разрушенный уют?  
Лиха беда — беде прийти,  
А пáбедки добьют.  
Исчез, как канул зять. И тёща в тех же днях  
Была параличом разбита.  
Недели не прошло — и Миша на коньках  
Упал — ударился — сгорел от менингита.  
В их мрачный дом, потуплен и стеснён,  
Я редко стал. Мне чудилось, что мать пытала немо:  
Ведь вот, ты жив. Ты — жив. Зачем же он?  
Зачем же он так рано взят на небо?  
Но заболела Ляля. И  
В день солнечный, скача через ручьи,  
В день, бурно лившийся водою талой,  
Я к ней пришёл. Она одна лежала,  
Худые руки белые за головой держала,  
Рукав халата повисал крылом безсильным птицы,  
Сползала книга с одеяла.  
И вздрогнула: «Серёженька! Иди сюда, мой рыцарь!  
Что долго не был ты? Я так тебя ждала.  
Ты так мне нужен, так сейчас мне нужен!  
Ну, расскажи — как школа? Я давно там не была...  
Погода как? Снег почернел? И лужи?..

---

\* Л.К. Рамзин — в 1930 был осуждён как «глава Промпартии».

Шёл ночью дождь. Я ночью не спала,  
К окну вставала, слушала из темноты,  
Как трубы водосточные шумели...

Скажи, дружок, а ты...

Ты знаешь, где живёт Джемелли?»

— «Да кто ж не знает?!» — «А не выдашь тайну?..»

Вот это вот письмо — мгновенно, моментально...»

— «Конечно, Ляля, дай!» Порывисто привстав,

За шею обняла меня ладонями в жару:

«...Но если не пойдёт с тобой,

не станет отвечать — добавь,

Что я — умру!»

Клонился день. Израненно тянулись облака.  
Багрец и хмурились мешались над холмом Темерника.  
Ручьи стихающие морщило холодным ветерком,  
И лужи подстывающие трогало ледком.  
Запыхавшись, взбежал я лестницей крутой,  
Взволнованным чутьём необычайное предвидя, —  
Джемелли встал передо мной

Таким,

Каким

Я никогда его не видел:

Открытый лоб морщинами раскроен,

Упрямым гневом сдвинутые брови,

В распах сорочки — матовость груди...

«Сергей?! Входи!»

Стремительно втащив меня через порог  
(А дверь на ключ! а дверь на цепь!), — по комнатам повлёк.

«Тебе письмо!» — «Что с ней? Что с ней?»

— «Она больна!» — «Сядь. На пол. Так. Молчи.

А вот — моё. Моё письмо, Сергей,

От слова и до слова заучи».

Я стал учить, не понимая сам,

Какой же смысл разгорался по строкам,

Ещё не уловив их гибельную связь.

А он читал письмо, в окно косясь,

Прислушиваясь к лестничным шагам.

Шли к нам.

И на площадке стихли.

«Учи, учи!» — Ушёл. Стерёг там кто кого:

Он — их ли?  
 Иль они — его?  
 Сжимая кулачками виски  
 В тиски,  
 Я одолел ещё с десяток строк.  
 Ударил в тишину звонок.  
 Потом как будто по железу процарапала отмычка.  
 Вернулся крадучись. Зажёг,ломавши, спичку.  
 Прошёлся в угол, умеряя шаг.  
 «Ну — как?» —  
 «Ещё». — «Учи-учи. От слова и до слова».  
 Застыл, куря у косяка двери.  
 Я вспрыгнул на ноги: «Готово!»  
 Он сел спокойно: «Говори».  
 Горячим шёпотом, взахлёб,  
 Я строку в строку повторил, —  
 И только тут, смотря на бледный потный лоб,  
 Я понял, что я заучил.

## П И С Ъ М О Д Ж Е М Е Л Л И

«Друг и невеста! Что, кроме боли,  
 Что, кроме зла,  
 Близость со мною тебе принесла?  
 Я был один у тебя — ты у меня не одна:  
 Ленинскому боевому подполью  
 Вся моя жизнь отдана.  
 Где я бываю,  
 Что я скрываю,  
 Что тяготит меня в нашей судьбе, —  
 Легко ли  
 Было мне лгать тебе?  
 Страшно сейчас тебе будет, — страшнее  
 Мог я тебя завести.  
 Время такое неумолимое —  
 Третьего нет пути!  
 Если сумеешь,  
 Любимая, —  
 Прости!..  
 Всё наше бывшее, всё наше прежнее

Я сберегу с благодарною болью.  
 Девушка милая! Девочка нежная!  
 Мы не увидимся больше с тобою.

Дом оцепили. Следят...

Вижу в окно их — дежурят у лестницы.  
 В прошлую ночь мой двоюродный брат,  
 По телефону простясь, — повесился...

Я б убежал, да бежать нам некуда!

И не могу — ожиданьем прикован:  
 Должен приехать ко мне человек один,  
 Если не арестован.

Пятеро суток мечусь в западне:  
 Только бы ты не пришла ко мне!  
 Пятеро суток бьюсь, как больной:  
 — Ты не приходишь! Что с тобой?  
 Выйду на улицу, брошусь путлять  
 И, зачумлённый, глазами ловлю:

Некого! Некого мне послать

К той, кого люблю.

Только скрывайся! Только молчи!  
 Только себя сбереги от лап их! —

Знают, что делают, палачи

Сталинского Гестапо!

Ты доживёшь — это всё переменится!  
 Снова придут революцией оздоровлённые дни.

Люди узнают, что подлинно ленинцы

Были — мы — одни.

Партию нашу трудно обманывать,  
 Класс-пролетарий подыметя!

Нас растоптать не сумели Романовы, —

Где же ему, проходимцу?

Вера в победу тверда моя:

В этом ли, в том ли году —

Мы воротимся, но я... но я...

Кажется мне — не приду.

Первые годы минуют, клубя,

Первого горя уляжется пыль, —

Кто-то придёт и полюбит тебя

Лучше, чем я любил...

Будь же свободною, дорогая!

Ты молода. Цвети. Живи.  
 Этим письмом я с тебя слагаю  
 Тяжесть нескладной моей любви...»

Два раза нас перерывали стуком.  
 Надолго залился звонок.  
 Джемелли по-мужски пожал мне руку,  
 К письму оранжевый подставил огонёк.  
 В темневшей комнате письмо вздохнуло, заалело  
 И, в чёрный шорох съёжившись, сгорело.  
 «Не трусь, малыш! Они боятся сами шума.  
 Им по ночам да кроликов выхватывать покорных.  
 Теперь беги, беги проворно  
 И ни о чём другом не думай!  
 Задержат — твёрдо отвечай, руби, чтоб верили:  
 Ты приходил просить — держи —  
 ракетку для пинг-понга.  
 А задержался? Марки выбирал: вот эти — Конго  
 И Золотого Берега.  
 Но — не задержат».

Он на цыпочках провёл меня сквозь кухню  
 И, в паутине, пыльное оконце распахнул.  
 Жестоко красная на западе заря уже потухла,  
 И вечер тёмной сыростью в лицо пахнул.  
 «Сарайчик видишь? Я спущу тебя на крышу.  
 Через забор — во двор — а он сквозной — и вышел.  
 Иди не сразу — сразу не иди.  
 На мелочи. Трамваями следы свои запутай.  
 Вскочил — проехал две минуты —  
 Сходи.

...И скажешь Ляленьке: фамилии моей она не знает,  
 И где встречались мы — не помнит этих мест.  
 Что легче б — умер я! Что ГПУ живых не отпускает  
 И не прощает верности невест».

\* \* \*

Что дважды два так часто — не четыре,  
 Не знал я. Оттого был свят и нетерпим.  
 Узнал — и хорошо и смутно мне в подлунном мире,  
 И по-сердечному мне просто стало с ним.  
 Не привелось спираль наук исполнить.  
 От философии, от споров я поник устало, —  
 Искусства искорка осколком русских молний  
 Ко мне на камень сердца пала.  
 Ка-кая ло-ги-ка?! Моих родных в застенках  
 Терзали, — я — я рвался умереть  
 За слов их медь,  
 От доброты чрезмерной чрезмерно злых!  
 Цветов немного есть, но много есть оттенков,  
 И полюбился мне тогда один из них.  
 В те годы красный цвет дробился радугой,  
 И, жаром переливчатых полос его обваренный,  
 Я недоумевал речам Смирнова, Радека,  
 Стонал перед загадочным молчанием Бухарина.  
 Я понимал, я чувствовал, что что-то здесь не то,  
 Что правды ни следа  
 В судебных строках нет, —  
 И я метался: что? —  
 Когда?  
 Сломило Революции хребет?  
 Делил их камер немоту — и наконец  
 В затылок свой я принял их свинец.

А годы шли. Цвета бежали за цветами,  
 Безшумно выскользнув, из красного ушла его душа —  
 И беззастенчиво внесли над площадями  
 Всё то, над чем глумились, потроша.  
 Сегодня марши слушаю по радио — шагают  
 Лейб-гвардии Преображенский и Измайловский полки!! —

Что я? Где я? Мне уши изменяют?  
 Их марши бывшие играют —  
 Бывшие большевики...  
 Шли годы. Воздвигались монументы,  
 Вшивалось золото в чиновничьи мундиры позументом,  
 Ораторы коснели, запинаясь по шпаргалкам,  
 И на трибуны под унылые аплодисменты  
 Вожди являлись жирною развалкой.  
 И сверх могил, нарыхленных как грядок,  
 Парил немыслимый, неслышанный *порядок*.

Я помню зал Ленмастерских. Собрание рабочих,  
 Какие в годы те до изнуренья длились.  
 В однообразных прениях часами ночи  
 Часы вечерние давно сменились.  
 Молчали, хлопали, вставали в нужный миг.  
 Всё было, как заведено. Всё было, как везде.  
 И вдруг на сцену поднялся старик,  
 Очки, обмотанные ниточкой, воздев.  
 Он был — как старых пролетариев рисуют на плакатах,  
 Годов десятых неприлично ожившая бль.  
 В углубинах лица его осела черновато  
 Металла и металла спиленная пыль.  
 Никто не доглядел, когда просил он слова,  
 И не заметили, как был он неположено взволнован,  
 Когда, уставясь отрешённо в зал,  
 Глубоким голосом сказал,  
 Как в жизни говорят не в каждой  
 И говорят — однажды:  
 «Вот она — звёздочка — в сердце моём,  
 Зажжённая — Владимиром — Ильичом  
 В Тысяча — Девятьсот — Пятом!..»  
 Устало морщились: оратор!  
 Сейчас международных дел коснётся,  
 Глади, за час до сути доберётся.  
 А он, вцепясь в трибуны аналой,  
 Гремел перед толпой,  
 Раздвинув междубровье:

«Зря  
     — баррикады  
                             — строили  
   — встарь?  
 Зря, значит,  
                             — мы  
   — умирали?  
 К ТРОНУ  
     — бредёт  
                             — по рабочей  
   — крови  
                             ЦАРЬ!  
                             СТАЛИН!!!»  
 Партер откинулся, нагнулся бельэтаж,  
     И сладкий ужас оковал  
         Оцепеневший зал,  
     И слышно было, как упал  
         Стенографистки карандаш, —  
 Слова, как кони, понесли упряжкой взбешенной,  
 Дробя по лбам, по головам, по памяти, по лжи, —  
 И кто-то крикнул одиноко: «Он — помешанный!»  
     И кто-то закричал испуганно: «Держи!»  
         На сцене топот,  
         В первом ряде шум, —  
 А он разил, разил их словом протопопа,  
         Безсмертный Аввакум!  
 Ему заткнули рот, уволокли за сцену,  
         Ещё донёсся хрип из-за кулис,  
 Забегали посланцы вверх и вниз, —  
         А зал,  
         Огромный зал —  
                 Молчал...  
     И на трибуну, на замену,  
     Не сразу вышел кто-то полный.  
 Как верноподданного гнева сдерживая волны,  
     Застыл с рукою вскинутой:  
     «Товарищи! Спокойно. Меры приняты».

ГЛАВА ПЯТАЯ  
БЕСЕДЬ

*...восстановить каторгу  
и смертную казнь через повешение.*

(Из Указа Президиума Верховного  
Совета, апрель 1943.)

Я там нѣ жил. Я не там родился.  
И уже не побываю там.  
А ведь вот как сердцем природнился  
К этим недобычливым местам...  
Топь. Да лес. Пшеница не возьмѣтся.  
Нет бахчей. Сады родят не буйно.  
По песку к холодному болотцу  
Только рожь да бульба.  
На пригорках — серые не машущие *млыны*.  
На толоках — жѣлтые без запаха цветы.  
Церкви обезглавленные... Срубы изб унылых...  
Гати хлипкие... Изгнившие мосты...  
Турск, Чечерск, Мадоры и Святое...  
Жлобин... Рогачѣв...  
Что-то я оставил там такое,  
Что уж больше не вернѣтся нипочѣм...  
Вечно быть готовым в путь далѣкий,  
Заставлять служить и самому служить, —  
Снова мне таким бездумно лѣгким  
Никогда не быть.  
Отступаем — мрачен, наступаем — весел,  
Воевал да спирт тянул из фляги.  
Ола. Вишеньки. Шипарня. Бѣседь.  
Свержень. Заболотьѣ. Рудня-Шляги.  
Страх, и смех, и смерть солдатская простая...  
Днепр и Сож. Березина и Друть.  
Что-то я такое там оставил, —  
Не вернуть...

Доходя до быстрой мути Сожа,  
В прутьяке, в осиновых лесках,  
Осенью холодной и погожей  
Медленная Беседь стынет в берегах  
Озерком без ряби и без стрежня.  
Изжелта-багряный прибережник  
Ветви вполреки переклоняет...  
В тихую погоду  
Слышно, как на воду  
Дерево листы свои роняет...  
Хорошо сюда прокрасться в тишине,  
Белку высмотреть, услышать мыши шорох, —  
Хорошо сюда вомчаться на коне,  
В хлёт ветвей, копытом в жёлтый ворох,  
Выпугнуть ушкана-зайченёнка —  
«Э-ге-ге!» — кричать ему вдогонку.  
Мы ж врубались в эту дремлющую глушь  
Шалыми размахами армейских топоров,  
Со змеиным стрепетом *катюш*,  
В перегуле пушек, под моторный рёв.  
От Десны рванувши вёрст на двести,  
Мы за Сожем с ходу заняли плацдарм  
И, пройдя, покинули деревню Беседь  
Штабам, журналистам, комиссарам.

Тяжек был плацдарм Юрковичи-Шерстин.  
Много мы оставили голов  
У его поваленных осин,  
У его разваленных домов.  
Жилку тонкую единственного моста  
Мины рвали...  
Что ни день — в атаку подымались ростом —  
И в сырые норы уползали.  
Тёмной ночью осени, отрезанных от армии,  
Били нас, толкали нас в чёрную реку —  
*Бой по расширению плацдарма!*  
Кто поймёт твой ужас и твою тоску?  
Вся в воронках мёртвая, открытая земля...

Всё изрыто, всё, что можно рыть, —  
 Ни бревёнышка, ни локтя горбыля  
 Над собой окопчик перекрыть.  
 День и ночь долбят, долбят, долбят  
 В тесноту людскую,  
 И не ляжет ни один снаряд  
 Впустую...  
 В рыжей глине пепельные лица,  
 Штык копнёшь — она уже мокра, —  
 Деться некуда! Убогий клочок землицы,  
 Километра два на полтора.  
 Нас и нас клюют из самолётов,  
 Нас и нас секут из миномётов,  
*Шестиствольным* прошипеть, прорывкать *скрипунам* —  
 Жмись к земле! И эти все — по нам!..  
 День и ночь сапёры мост латают,  
 И в воде связисты ловят провода, —  
 Немцы сыпят, сыпят на мост — и сливает  
 С моста розовенькая вода...  
 Связь наладят — и с Большой Земли  
 Сыпят, сыпят в Бога, в крест и в веру:  
 — Залегли,  
 Такую вашу мать?  
 До последнего бойца и офицера  
 НА – СТУ – ПАТЬ!!!

---

Как-то раз в щели, на вымокшей сололке,  
 Дудку стебелька бессмысленно жуя,  
 Опрокинулся, не знаю — я? не я?..  
 Я не слышал — били тихо? громко?  
 Плохо видел — что? темно? светло?  
 Вся душа — одно дупло,  
 И направить — ничего не мог.  
 Я отерп, не помнил я ни прежних лет, ни дома,  
 Только вот жевал, жевал трубчатый стебелёк  
 Соломы,  
 И дрема душила, как стена.  
 В щель — боец, с земли переклонённый:

«Где комбат?.. Товарищ старший лейтенант!  
 Вызывают! В штаб дивизиона!»  
 Штаб? Какой там штаб?.. Ах штаб!.. Да будь ты трижды!  
 Где-то живы люди? Пусть живут, но лишь бы  
 Нас не трогали. Да драть их в лоб с комдивом —  
 Это вылезать и ехать под обстрел?  
 Мост-то как? Неуж' на диво  
 Цел?  
 Ха, гляди! *Культурно рус воюет!*  
 Год назад не встретить бы такую  
 Распорядливую переправу:  
 Вскачь коней! Шофёры — газ! Не кучась,  
 С правого — на левый, с левого — на правый, —  
 Есть ещё солдаты на Руси!  
 Ветерком на левый берег, в кручу —  
 Выноси!  
 И теперь уж рад, что я хоть на час вызван  
 Из проклятых мест, из чёрной ямы той,  
 Глубоко вдыхая воздух жизни,  
 Медленно я ехал просекой лесной.  
 Лес бурлил. Здесь двигались открыто.  
 На пору худую блиндажи покрыты  
 Были в два, и в три, и даже в шесть накатов.  
 Как всегда, шофёры первыми нагтели —  
 Заведя машины мелко в аппарели,  
 Под осколки выставили скаты.  
 ПМП\*, конюшни, склады — не ступить!  
 Лес редя, стволы пилили и валили,  
 Тракторами к котлованам их тащили,  
 И дымили кухни, и топить  
 Собирались баньку полевую,  
 Батарея пушек занимала огневую,  
 Батарея гаубиц с поляны надрывалась,  
 Раздавали водку радостной толпе, —  
 И в войну играло, и скрывалось  
 Только генеральское НП\*\*.  
 Как это устроено! — приди сюда из тыла —

---

\* Передовой медицинский пункт.

\*\* Наблюдательный пункт.

Здесь передовая  
И куда какая! —  
Жить тебе не мило,  
Свет тебе не мил, —  
А приди сюда с передовой  
— Ты  
Какой!..

---

Бесесть — вся в сугробах серого песка.  
Люди, лошади, машины — ни свободного домка.  
Мастерские, рации — бомбёжкой не сдунь их! —  
Всё забито в банях, всё забито в клунях.  
Улицей мелькали в беленьких халатах  
Девушки из медсанбата:  
Редко — скромная (солдатской истой доли  
Волею? неволею? отведать привелось),  
Больше — дерзкие, балованные в холе,  
Набекрень кубанки на копне волос.  
Из-за Сожа доносился бой,  
Утомлённо били батареи.  
Кроткое, неяркое, низко над землёй  
Плыло солнце осени, не грея.  
В штабе — занавески накрахмалены.  
Бьют часы. Простелены дорожки из полсти.  
На стене — плакаты: два — со Сталиным,  
«Папа! Убей немца!», «Не забудем — не простим!»  
Писари выскрипывали чётко.  
Буркнули при входе: «Здравия желаем».  
— «Как, орлы?» — «Да плохо». — «Что же?» — «Самоходка.  
Что ни ночь — *кидает*. Отдыху не знаем».  
...Как положено, комдив меня ругал:  
— «Вот что... это... я тебя... не вызывал...  
Думал — опытный... сумеешь... это... возлагал...  
Ночью был налёт! по корпусу!! по штабу!!!  
Кто стрелял?? Не знаешь? Ну, сбреси хотя бы...  
Мне вот надо к ним, а спросят цели?.. не могу...  
Ты — мышей не ловите на правом берегу!  
Что-то я не вижу *огневой культуры*.

Можете идти!» Я — в дверь. Из двери — замполит:  
 — «Обер-лейтенант! Здоров! Ты почему не брит?  
 Вот тебе газеты, вот тебе брошюры, —  
 Разъяснить, раздать. Провёл политбеседу —  
 “Смерть за смерть и кровь за кровь”?  
 На вот, переделай вновь  
 И верни, чтоб завтра же к обеду —  
 На бойцов доклады наградные:  
 Коротки одни, растянуты иные.  
 Подвиг Рыбакова как-то слишком выпячен,  
 Подвиг Иванова по стандарту выпечен.  
 Я шагнул — и помпохоз тут: «Подтверждайте ж факты!  
 Если потонуло трое карабинов —  
 Дайте акты!  
 А с бензином?  
 Против нормы пятерной перерасход?!  
 Дайте оправдательный отчёт!  
 Эй, Москва слезам не верит! Что, велик оклад?  
 Вычтем, вот в двенадцать с половиной крат!»  
 За рукав — парторг: «Ну, как там ваш народ?  
 Заявления о приеме подаёт?  
 Твоего — не видно.  
 Покажи пример.  
 Стыдно! —  
 Офицер!»  
 Помначштаба: «На-ка вот армейские приказы.  
 Очень важные, знакомься, не спеши».

Тут начхим: «А как у вас противогазы?»  
 Тут и врач: «А баня как? А вши?»  
 Я — вслужился, знаю доблесть воина:  
 Козыряю — слушаю — не слышу.  
 Всё равно я сделаю по-своему,  
 А они по-своему опишут.

День не первый в армии, с порядками знаком.  
 Прикажете на небо — прищёлкни каблуком:  
 — «Разрешите ехать?» Но начальник штаба:  
 — «Оставайся ночевать. Торопишься — куда?  
 В волосах — соломка... У тебя там — баба  
 На плацдарме, да?»  
 Руку на плечо мне положив с приязнью:

— «Нержин! Ты когда-нибудь на настоящей казни  
Был?..»

---

Там, где улица села кончалась  
И кустился ельник, там, у свежего столба,  
В уброд по песку глубокому собиралась  
Зрителей толпа:  
Подполковники, майоры, лейтенанты,  
Девушки-ефрейторы, мальчики-сержанты,  
Смершевцы, врачи, политотдельцы,  
Бабы здешние в платочках, мимоезжие гвардейцы.  
Место лобное — нехитро, без затей.  
Всё готово:  
В бурых полосах, едва обтёсан, столб сосновый,  
На столбе наставка, крюк на ней.  
Ровно в пять дорогою из тыла  
Подкатил по гати лёгкий «виллис».  
Два полковника в машине было.  
На средину вышли и остановились.  
С узкими погонами юристов были оба —  
Низенький еврей и русский, крутолобый.  
Пистолетным ремешком играя,  
Маленький визгливо крикнул: «Приведите!»  
Вышли двое автоматчиков из свиты  
И с заносом распахнули полотно сарая.  
Вывели. Одет в гражданское, кой-как.  
Полусонный. И соломка в волосах взлохмаченных.  
Руки за спину связали. Смотрит озадаченно.  
— Он не немец? — шепчут. Нет. Русак.  
На толпу уставился. Меж автоматами хромая,  
Подошёл спокойным вялым шагом.  
— Не читали приговор... — Не знает!.. — Он не знает!..  
Маленький полковник развернул бумагу,  
Переправил матовую портупею  
Щегольской планшетки.  
Старшина с широкой красной шеей  
Вынес и под столб поставил табуретку.  
Неестественно, с руками за спиной,

Опустивши голову, глаза потупя,  
 Подсудимый стал, как тот актёр плохой,  
 Чтоб с галёрки видели, что он преступник.  
 Рваные портки. Ошмыганная блуза.  
 Слышал он? не слышал? как судья картавил:  
 «Именем Советского Союза...  
 Трибунал... дивизии... в составе...»  
 Не могли найти чтеца другого!  
 Торопливо выплюнет два слова,  
 За губой другие два оставит:  
 — «Родине... изменник... Николаев...  
 Будучи... немецких оккупантов...»  
 Напряжённо сгрудились, внимая,  
 Бабы робкие, лихие лейтенанты.  
 Рыжий столб лучом последним золотя,  
 Заходило солнце жёлтое за Сожем,  
 В трёх верстах, за лесом, в грохоте и дрожи,  
 В очередь пикируя, бомбили, залетя,  
 Переправу «юнкерсы» одномоторные.  
 Выше них, над ними, лёгкие, проворные,  
 «Яки» с «мессершмиттами»  
 Дрались,  
 И в дыму и в пламени валились вниз  
 Самолёты сбитые.  
 С переправы в «юнкерсов» зенитки  
 Густо и неметко хлопали.  
 Белые разрывы вспыхивали хлопьями.  
 ...Эх, сейчас сапёры, вымокнув до нитки,  
 Брёвна уплывающие ловят, чем придётся.  
 И никто, никто туда не обернётся!  
 «По апрельскому указу... по статье... казнить...»  
 И не вскинут глаз, как подошла в зенит  
 Сквозь закатно-солнечную невидь,  
 Замерла над головами прямо  
 «Фокке-вульф сто восемьдесят девять» —  
 Рама.  
 Нет, гвардейцы видят. Вот её заметил  
 Из штабных один. За ним другой и третий,  
 Бросив слушать, головою запрокинулся,  
 Вот ещё, ещё — и вся толпа.

Кто-то от середины в сторону подвинулся,  
Кто-то прочь шарахнулся сглупа.  
Приговор умолк. С надеждой напряжённой  
Поднял голову на смерть приговорённый,  
Приглашая судей вместе умереть.  
Ей, разведчику дотошному, сквозь трубы  
Наше стадо до песчинки рассмотреть —  
Много ли труда?!

Ну бы

Бомбочку сюда?!

И была, была одна минута:

Кто умрёт — качалось на весах,  
Будто бы решалось не людьми, не тут, а —  
В небесах.

Но — была ль она без бомбового груза  
Или бомбы на другое берегла, —  
Оставляя в силе «именем Союза»,  
Рама дрогнула — и уплыла.

Все вздохнули. Застонал негромко  
Подсудимый, опуская взор,  
И полковник чёрный кое-как докомкал  
Приговор.

Крутолобый раскатил поверх голов: «Понятно?!»

Грохот переправы... Тишина...

И тотчас же, очень аккуратно,

Приступил к работе старшина.

Ни движенья лишнего. На всё — ухватка:  
В спину — толк! — к столбу направил, не грубя,

Там его поставил около себя,

Первый взлез и снасть проверил для порядка.

Крюк найдя добротным и хорошей —

Толстую верёвку,

Человека, не натужась, взвошил,

В петлю головой просунул ловко,

Петлю сузил, оглядел кругом —

Не легла ли ниже или выше, —

Спрыгнул — и мгновенно сапогом

Табуретку вышиб.

А повешенный, до смерти домолчав,

Застонал теперь, задёргался, хрипя.

Может, думал он, что он — кричал?  
Может, помощи искал вокруг себя,  
Когда стал он медленно кружиться,  
Поворот за поворотом обходя, —  
Словно бы искал он дружеские лица  
И отвёртывался, не найдя.  
За спиной его сгибались,  
Разгибались  
Десять пальцев — каждый по себе! —  
Словно он считал свои мученья,  
Словно пересчитывал мгновенья,  
Прожитые на столбе.  
Заслудило незакрытые глаза его,  
Рот застыл, как корчился, дрожа, —  
И не стало больше Николаева,  
А остались два спинных тяжа:  
Правый, левый — каждый сам собой,  
То плечо подкинет, то потрянёт ногой —  
Как на ниточках невидимых Петрушка,  
Как под током мёртвая лягушка,  
Танец небывалый, танец дикий  
Выплясал и — весь...

— «Что с тобою, Нержин, погоди-ка!..  
Ночевать останься!» — «Ехать надо. Шесть».  
Утопая вязко по песчаной толче,  
Расходились люди. Расходились молча.

Ночевать? Нескоро тут привыкнешь.  
Легче ехать в ад плацдарменной ночи.  
Николаев! Почему не крикнешь?!?  
Почему — молчишь?..

\* \* \*

В день, когда узнал я вас по имени,  
Бытию и плоти вашей я не придавал веры.  
Это было в мае. Из болот, от Ильменя,  
Мы пришли к Орлу, на солнечную Неручь.  
Ни зерна ржаного. Ни плода. Ни огородины.  
Край тургеневский, заброшенный и дикий...  
Вот когда я понял слово *Родина* —  
Над крестьянским хлебцем, спеченным из вики, —  
Горьким, серым, твёрдым, как булыга,  
В мелких чёрных блёстках, как угля кристаллах...  
Сморщенная бабушка невсхожею ковригой  
Нас, солдат голодных, угощала.  
Были мы обстреляны и на пустое слово — кремни,  
Но, выдав под Руссой только ржавую болотистую мредь,  
Мы сошлись на том, что здесь, за эту землю,  
Как-то и не жалко умереть.  
То весенним дождиком омыта,  
То теплом безудержным облита,  
Не обсеяна, — травинками тянулась к благодати,  
Колыхая радостную боль в солдате.  
Перекрестки, церкви, избоньки косые  
Оспины войны носили.  
На горе алели на закате  
Камни неживого Новосия.  
По овражкам — мирные ручьи.  
В сочных рощах — соловьи!..  
В полдень — пчёл жужжание. Степных цветов головки.  
По колено — шелестящая духмяная трава.  
И в стеблях её запутались листовки  
О какой-то армии РОА,  
О Смоленском Русском Комитете,  
Имена неизвестные, Власов на портрете.

Не скрестясь в бою — в листках, дождями съёженных,  
Нам *сдаваться* предлагали нагло.  
Так это казалось мертворожденно!  
Так это немецким духом пахло!  
И написано — чужой рукой, без боли,  
Русскими? Не верилось никак.  
И рассеивал-то их по полю  
Равнодушный враг.

Но — пришлось поверить. Наши одноземцы  
В униформе вражеской держали оборону  
Намертво! дрались отчаянней, чем немцы! —  
Для кого? — несчастные! — для чьей короны?..  
Легче немцам было к нам попасть, чем русским.  
Наши ваших, ой, не жаловали в плен!  
...Помню дымный жаркий полдень под Бобруйском,  
Взрывы складов и пожарищ тлен.  
Закипающее торжество *котла*!  
На дыбках и вперевёрть немецкие машины.  
По шоссе катилась, ехала и шла  
Наша победившая лавина.  
Хруст *крестов железных* под ногами,  
Треск противогозов под колёсами,  
Туши восьмитонок под мостами,  
Целенькие пушки под откосами,  
Битюги, потерянно бродящие стадами,  
«Фердинандов» обожжённых розовый металл,  
Из штабных автобусов сверканье зеркал,  
Фотоаппараты, рации и лампы,  
Пламя по асфальту от разбитых ампул,  
Ящиками порох, бочками бензин,  
Шпроты вод норвежских и бенедиктин.  
А навстречу, без охраны, бесконечной вереницей  
Тысячами шли усталые враги,  
У переднего записка: «Посылаю фрицев.  
Кто там будет ближе — в плен им помощи».  
Обессиленные, ложились у дороги и вставали,  
И, поддерживая раненых, опять брели.  
Их не трогали. Из них шофёров выкликали  
И сажали за трофейные рули.

Но когда под иззелена-серым  
Дознавались братца-землячка, —  
Прыгали, соскучась,  
Окружали, сучась,  
Матерились, били  
Или,  
Взглядом допросясь у офицера  
Дозволяюще-небрежного кивка,  
Отведя в сторонку, там решали участь  
Облачком дымка.  
Робкой группкой, помню, шло вас до десятка,  
Я катил своих машин шестёркой,  
Спрыгнул на ходу и, развевая плащ-палаткой,  
Опустился перед вами с горки.  
Руки на-грудь, замер изваяньем:  
«Русские? — «Так точно». — «Власовцы?» — Молчанье.  
Вдруг поняв, что я принёс не злое,  
Сдвинулись ко мне с доверчивым теплом,  
Словно лоб мой не таврэн эмалевой звездой,  
Ваша грудь — серебряным орлом.  
Оглядысь — не слушает услужливое ухо? —  
Я не больно вольно княжествую сам, —  
Гневно, повелительно и глухо  
Я сказал, переклоняясь к вам:  
«Ну, куда, куда вы, остолопы?  
И зачем же — из Европы?!  
Да мундиры сбросили хотя бы!  
Рас-сыпайсь по деревням! Лепись по бабам!..»  
Онемели. Почесали в затылях.  
Потоптались. Скрылись в зеленях.  
И хотел бы верить, что с моей руки  
Кто-нибудь да вышел в приймаки.  
На шоссе взбежав, я сел, поехал дальше.  
Солнце било мне в стекло кабины.  
Потаённые я открывал в себе глубины,  
О которых не догадывался раньше.  
  
...Вашей жизни, ваших мыслей след  
Я искал в берлинских передачах

И страницы власовских газет  
 Перелистывая наудачу —  
 Подымал на поле боя и искал чего-то,  
 Что за фронтом и за далью скрылось от меня.  
 И — бросал. Бездарная работа,  
 Шиворот-навыворот советская стряпня:  
 То артист заезжий выступал паяцем,  
 Тужились смешить поэмкой «Марксиада»  
 Со страниц листка, —  
 Но от этого всего хотелось не смеяться:  
 Душу опустелую рвала досада  
 И тоска.  
 Зренья одноцветного, мертвённости руки  
 Я узнал разгадку много позже:  
 Всё это писали, оскоромясь, те же, тоже  
 Школы сталинской политруки.  
 Утолить мою раздвоенность и жажду  
 Мог бы кто-то, на тропу мою война его закинъ,  
 Но — не шёл. Лишь подразнить однажды  
 С власовцем таким свела меня латынь.  
 Хоть латынь из моды вышла ныне  
 (Да была ль ей мода в вотчине монголов?) —  
 Я люблю мужскую собранность латыни,  
 Фраз чекан и грозный звон глаголов.  
 Я люблю, когда из-под забрала  
 Мне латынью посвящённый просверкнёт.  
 В польскую деревню на закате алом,  
 Выбив русских, мы вошли. На полотне ворот,  
 Четырьмя изломами черты четыре выгнув,  
 Кто-то мелом начертил врага эмблему  
 И, пониже, круглым почерком: «*Hoc signo*  
*Vincemus!*»\*  
 Кто ты, враг неведомый? Ты с Дона? Или с Клязьмы?  
 И давно ли на чужбине? и собой каков?  
 И кому писал ты? Разве  
 Учат Тита Ливия в гимназиях большевиков?  
 И ещё — что ослепило вас, что знак паучий

---

\* С этим знаком победим (лат.).

Вы могли принять за русскую звезду?  
И — когда нас, русских, жизнь научит  
Не бедой выклинивать беду?

Для поляков клеили Осубкины\* воззвания...  
Шли эР-эСы\*\* в пыльном розовом тумане...  
Реактивный век катился по деревне...  
Я стоял перед девизом древним  
Как карфагенянин.

---

\* Осубка-Моравский — глава марионетчного польского правительства.

\*\* Реактивные снаряды («катюши»).

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

## ВАНЬКА

И напишут в книгах, и расскажут в школах,  
Как бойцы стальные выбили врага  
За Днепра священные берега,  
Сев на башни танков, промеж пуль весёлых,  
«Агитатора блокнот» сжимая, как сокровище,  
ДОТы затыкаячи то мякотью, то грудью, —  
И никто не бился лбом о Малые Козловичи,  
И никто не гнил, покинутый за Друтью...  
В мартовское хилое погоды  
На плацдармах — всемеро тоска:  
Ночь от ночи слушай — половодьем  
Не взломило лёд? не тронулась река?  
Недолга и ненадёжна белорусская зима.  
Хорошо, что кто-то, очень старший,  
Догадался за добра ума  
И своею волею монаршей,  
Указующий под Жлобин устремля,  
Бросил нас туда форсированным маршем,  
Через лёд, болота, чащи, голову сломя, —  
Так стремительно, как будто главный бой  
Там не выиграть без нашего дивизиона.  
Прибежали — тих, покоен лес пустой,  
Нáледень на ветках оголённых,  
На сугревах — первые проталины,  
Лужами в ложбинках талая снежница,  
И когда ударит где-то пушка дальняя,  
В блиндаже у печки так уютно спится...  
Временами — оголтелый бой,  
Сонный мир — такой же полосой, —  
Кто б тебя, война, иначе вынести мог?  
Распускающейся медленной весной,  
Прикорнувши на полянке в солнцепёк,  
Набирайся соков с лесом и землёй!

Голубою глубио небо налилось над нами,  
 Распушились ветви, жили птицы в них,  
 Фронтовые лошади резвились табунами  
 Вольной травкою пролесков луговых.  
 Но, живя на фронте, жди худого дня.  
 Солнце — на весну, и в штабах колготня.  
 Заметались «виллисы» дорогами лесными,  
 Зазвонили телефоны в полуночи,  
 Пушки шли ночью, пехота шла за ними, —  
 И с высот штабных к нам докатилось снова:

«Срочно!

Через Днепр — на место старое опять!  
 Стать дивизиону возле Рогачёва,  
 Батарее Нержина отдельно слева стать!»  
 Беды полосой и полосой везенье.  
 Лихо козырнувши, принял я приказ:  
 Сколько понимаю, тяжесть наступленья  
 Минет моих мальчиков на этот раз.  
 Фронтовую мудростью не первый год владея,  
 Не промедля мига — маху из-под Жлобина! —  
 И как в воду канул. Вывел батарею  
 Не путём указанным — путём особенным:  
 Где поглуше, где и ехать-то нескладно,  
 Где зато начальству нас искать накладно,  
 Где безлюден, отчуждён, *ничей* передний край, —  
 Адьютанты и пакеты, будьте вы неладны! —  
 И без вас недолог он, солдатский рай!..  
 За Днепром по краю круч — немецкие траншеи,  
 Сзади нас — рокадные дороги тыловые,  
 Здесь — провал. И только вечность веет  
 На просторы эти неживые.  
 В содроганьях мир. Угрюмо пламенеет  
 Справа, слева кровью, что ни пядь земли, —  
 Здесь лежит, обширная, дернеет...  
 Отступились. Бросили. Ушли.  
 Никого в покинутых деревнях.  
 Запустенье брошенных садов.  
 Завязи плодовые деревьев  
 Птицам на расклёв.

Потемневший тѣс обшивок избяных.  
 Дверь откроешь — пахнет нежилым...  
 Двор зарос бурьяном у домов иных,  
 Да и тропка тоже заросла к иным.  
 Если и увидишь — из какой трубы  
 Вьѣтся еле сизый тонкий дым,  
 И услышишь гомон у избы,  
 Смех людской да фырганье коней —  
 Знаешь: приبلудилась солдатня  
 До исхода дня  
 Или на пару дней.  
 На задворках развалят бурты,  
 Напекут картофеля к обеду,  
 Поставят у снимков: «Кра-со-ты!..  
 Где ты, молодуха? где теперя ты?...»  
 И — уедут.  
 Не секут осколки зелень рощи,  
 И по соснам не стучит топор.  
 Редко  
 Проплывѣт ночной бомбардировщик,  
 Сбросит бомбу глупую неметко  
 На шальной костѣр.  
 И земле мечтается уход и плодородье.  
 И не верится, что всё вокруг — война.  
 Нерушимое краснопогодье.  
 Тишина...

---

Я тогда был сам в себя влюблённым —  
 В чѣткость слов и в лёгкость на ходу.  
 В тот июнь я приколол к погону  
 Белую четвёртую звезду.  
 Страсть военная! В каком мужчине нет её!  
 Через год студента не узнаешь в офицере:  
 Где она, сутулость, осторожность кабинетная  
 В этом быстром ловком звере?  
 С гибкою напряженностью в теле  
 Отвечать небрежным вымахом руки, —  
 Так, чтобы ремни натянуто скрипели,

Так, чтобы звенели в шпорах репейки.  
Узлы судеб разрубать мгновенно,  
Жизнь людей — костяшками метать.  
Ты сказал — и будет! будет безотменно! —  
Каково мальчишке это знать?  
Вот они, молчальники, работники, тягло,  
Деды и отцы, пережившие вдвое,  
Их глаза застыли, как стекло,  
Вот они, перед тобою.  
Оброни ты слово беззаботное,  
И тотчас же сбудется по слову твоему,  
И в деревне пензенской семья сиротная  
Наклонится к чёрному письму.  
Вот они — с готовностью, с надеждою глядят  
На твою холодную решимость,  
Вознесут тебя и всё тебе простят,  
Раз уверовав в твою непогрешимость.  
...Мне казалось, я любил солдат:  
В час недобрый шуткою не раз развлёк их,  
Гауптвахтой и моралью не морил,  
Если же на полном вздохе лёгких  
Не со зла когда и материл,  
Выворачивая так и эх, —  
Так на том стою я, русский человек.  
И они меня любили, мне казалось,  
И с уверенностью этой так бы я и прожил,  
Так и внукам завещал бы, не солгав на малость...  
Как у всех счастливых, у меня бы тоже  
Совесьть — курослепой оставалась.  
Совесьть, совесьть! Лстыивый, лживый лекарь!  
В чём не потакнёшь? Не заживишь — чего?  
Право на другого человека! —  
Кто даёт? Кто смеет брать его?!  
...Ты иди вперёд, а я останусь сзади —  
Боем управлять.  
Стань на пост! — я утомился за день,  
Надо мне поспать.  
Поворочайся на службе безразумной —  
Щей тебе навалят в котелок.  
Я ж — умом тружусь, и потому разумно,

Что печенье с маслом получу в паёк.  
 Даже если труд твой стало бы мне жалко, —  
 Засмеют меня! — ведётся таково:  
 У себя в землянке ляжете вповалку,  
 Мне ж отдельно выстройте, на одного.  
 От осколков под накат блиндажный опустясь,  
 Сяду за́ стол, — трубку телефона теребя,  
 Исправлять разорванную связь  
 Я пошлю тебя.

Добрый я — спрошу тебя о доме,  
 Через слово выслушаю, пощучу — засмейся.  
 Напишу письмо, чтоб там, в райисполкоме  
 Не теснили нищую семью красноармейца.  
 Награжу тебя значками, и медальками, и даже  
 «Красною Звездой», —  
 Мне ж на грудь за руководство ляжет  
 «Знамя красное» и «Ленин» золотой.  
 У врага чему-чему,  
 Поучиться доброму едва ли, —  
 Переняли,  
 Что трудиться стыдно офицеру самому.  
 Что умел — и от того отвык.  
 К чемодану и к обеду моему  
 Приловчён послушливый денщик.  
 Сбегай! Принеси! Захарыч! Эй!  
 Вынь! Положь! Почисть! Неси назад!  
 Нет, не крикну: «Старый дуралей» —  
 И не вспомню: пятеро внучат...

...Вы проходите передо мной — и со стыдом и болью  
 Думаю о вас, мои солдаты!  
 Есть за что вам помянуть с любовью  
 Вашего комбата?  
 А ведь я в солдатской вашей коже  
 Голодно и драно тоже походил, —  
 Но потом — училище — походка! — плечи! — ожил!  
 Всё забыл?  
 И теперь? казнюсь, казнюсь, пока́ меня  
 Не охватит первое круженье головы.

В лапах горя все мы мечемся покаянно,  
А в довольстве все черствы.

---

Долго ль, коротко ль, спеши иль не спеши —  
Добрались до места, развернулись.  
Оглянулись —  
Ни души...  
Притянули справа связь огневики.  
Ни у них пехоты, ни у нас пехоты,  
Под ногами за версту в лесу трещат сучки.  
Только где-то УРовцев\* рассыпанная рота —  
Днём спала, а ночью к пулемётам  
Становилась к берегу реки.  
Перед ними, там, где тени леса  
Не могли на воду упадать,  
Летним небом, избледна-белесым  
Чуть посверкивала сумрачная гладь.  
Дальше — мгла. Враждебно скрылись в тени  
Берег против берега и против стана стан.  
Временем  
Ни шороху,  
Ни шолоху  
Ни здесь, ни там.  
Временем всхлопочут озабоченно,  
И, чтоб не подумал враг, что бодрых нет, —  
Наши выпустят трассирующих очередь,  
Немцы бросят грозд трепещущих ракет.

---

Рядом, да не в пекле, так и дождались мы  
Дня прорыва при конце июня.  
В сумерках я шёл по лесу накануне,  
Погружаясь в заботившие мысли.  
Под ногами стлалась в иглах и в песке

---

\* УР — укрепленный район.

Еле различимая тропа лесная.  
 Вдруг огни костров невдалеке  
 Просверкнули, хвойник просекая.  
 Кто такой? Позамерзали? Что они там светят?  
 Идиоты. Берег рядом. С воздуха заметят.  
 Нет, найди другой народ, чтоб нашего дурней!  
 И свернул сквозь чащу в сторону огней.

Командира части я нашёл  
 В крохотной земляночке с накатом жердевым,  
 Строенной давно, не для него, не им.  
 Он сидел один, облокотясь о стол,  
 Из трофейных плошек выставил аллею,  
 По десятку справа, слева запалил,  
 Выстроил бутылки по четыре в батарею, —  
 Пил.  
 Кодекс фронтовой — нехитрая наука,  
 Знают все его, хоть нет его в уставах:  
 И — поднять когда я должен руку,  
 Не поднять когда имею право.  
 Если встречный старше на два чина  
 И не женщина, конечно, а мужчина, —  
 Подымай, приветствуй, не отвалится рука.  
 Если разница в чинах на единицу —  
 Козырять такому не годится —  
 Враз тебя сочтут за новичка.  
 Если же со всею строгостью службы  
 Я приветствую отменно ровняша,  
 Это — знак фронтóвой безкорыстной дружбы  
 Или — озорнйчать просится душа.  
 «NNN-ской пушечной бригады... батарее звуковой...»  
 — «Командир штрафной...»  
 Командир штрафной армейской роты...»  
 — «Нержин!»  
 — «Уклеяшев».  
 — «Здравствуй!»  
 — «Ну, здоров».  
 — «Слушай, капитан, насчёт твоих костров.  
 Маскировка где ж?» — «Да ну её в болото!»

— «Но ведь вы тут не одни!» — «Да в лоб вас всех задраты!  
Я не лично про тебя... Ты — сядь...  
*Звуковой*, сказал ты, батареи? Это что ж за зверь?  
Если, скажем, пушка, так её ты  
Чем же зарядишь теперь?  
Ты меня не путай. Думаешь — пехота,  
Не поймёт?  
Нам, пехоте, тоже пальца в рот...  
Звать тебя?.. Ну, попросту, Серёжа...  
Слушай, парень, ты скажи, не врёшь, а?  
Ты — не СМЕРШ?.. Я — драть их разлети!  
Ползают и нюхают... Ну, ты меня прости.  
Ты не обижайся, наливай, Володька.  
Пей!.. Что кривишься?.. Хороший самогон.  
Ну, конечно, он — не водка,  
Но литруху трахнешь — разбирает он...  
Вы там *Бог Войны*, а мы — *Полей Царица*,  
Ползали на брюхе, знаем...  
Чистеньким оно красиво и годится,  
А таким, как ты да я, — ведь мы-то понимаем.  
Раз... два... три... четвёртую по счёту  
Эту я штрафную отправляю на тот свет.  
После госпиталя как хотел в пехоту —  
В человечесую, в простую,  
В нештрафную! —  
Нет!!!  
Где служили? Кем?.. Ну, что бы  
Мне соврать тогда?  
Ляпнул... Как схватились: богатейший опыт! —  
И — сюда...  
..Да не тычь ты в нос мне «капитана»...  
Что за капитан?  
На погон ты не смотри! Ты в душу глянул?  
Ванька я! Иван!  
Видишь ты, к чему оно приводит —  
Должность, чин...  
Вот сижу в землянке я сегодня,  
Пью а-адин...  
Командир штрафной такая должность!  
Я тебе скажу: свинья! палач!!

Ну, бутылок вон... ну, если есть возможность?..

Не могу людей позвать, хоть плачь:

Сам я чистый... ну, не чистый... белокожий...

А бойцы мои завроде негров...

А взводами командиры — полуцветки тоже...

Как их?.. полосатые такие... зебры!

Вот сижу и жду: приедет старшина,

Привезёт солдатам водки и конфет —

Перед смертью им положено немного,

На дорогу, —

С ним и выпили б! Так провалился, сатана,

Нет и нет!

А тебя я и не ждал, Володька.

Ты да я — мы понимаем: перед боем скука!..

Парень ты — что надо. Режь селёдку...

Друг ты настоящий... Лук вон...

Только как ты пушки заряжаешь звуком?

Ох, пройдоха!..

Ну, давай по стопочке!..»

— «Ты не понял.» — «П-понял я!» — «Так объяснил я плохо.

Видишь ли, Ванюша,

Нет у меня пушек,

Есть коробочки.

Мне когда понадобятся пушки,

Я стреляю из чужих.

А мои коробочки — они как ушки, —

Я подъеду тихо и расставлю их.

И когда ты хочешь — ночью ли, в тумане,

В дождь, в мятель, —

Только выстрелят у немцев, — веришь, Ваня —

Через пять минут на карте ставлю цель.

Мне звонят: какая? — Вот такая.

— Будем бить. — Давайте два снаряда.

Выстрелят — а я разрывы засекаю

И командую, насколько повернуть им надо.

И тотчас идём на поражение,

Если очень цель кому докучит.

А бывает лучше:

Батарей этих немецких поднакопим,

Кому надо — разошлём,

И в артподготовку — скопом —  
Бьём!»  
— «Эх ты как!..  
Ты скажи, какая техника!  
И на завтра приготовлено?» — «Конечно».  
— «И подавите?» — «Подавим». — «Оживут?..» — «Навряд».  
— «То-то я заметил: что они, сердечные,  
Иногда молчат?  
Что-то я... постой... да! — пулемёты  
Давите?» — «Нет, пулемёты не берём...» — «Спасибо!  
Техника, наука, а штрафную роту  
Значит, это... рыбам?  
Завтра мне какую? — раз... два... три... четвертую! —  
Пулемётами покосят.  
Конечно, мёртвые  
Ни с тебя и ни с меня не спросят.  
Нет, ты про коробочки оставь.  
Ты пойми манёвр: штрафную роту вплавь —  
Здесь! А сила — там, направо, в том лесочке,  
И артподготовка — справа, а не тут.  
Мне-то что? С биноклем сяду на песочке,  
А они на брёвнах поплывут.  
Да и то, ты видишь — сколько факелов  
На прощанье я себе зажжёт?  
Командарм — пузатая скотина, что ему — оплакивать?  
Я про лодки сунулся, дурак, ему, —  
Говорю, что Ванька Уклеяшев жох —  
Плыть, так чтоб доплыть, прыжок — так чтоб прыжок!  
— Лишних лодок нет. Враги народа  
Могут и без лодок...  
Я — ты хочешь знать? — отчаянный вояка,  
Потому меня в штрафной и держат.  
Ладил я и мерил всяко:  
Ни хрена не выбиться за стрежень.  
Эх, душа! — за тот бы берег зацепиться!  
Сесть там на плацдарме!..  
Широка водица...  
И не это нужно командарму.  
Командарму нужно только *отвлечение*.  
Что же, отвлечём.

Так что, выпьем, Стёпа, ради развлечения...  
На войне мне жизнь без водки нипочём.  
...Что уставился? Немало брата нашего  
Говорит умно, а очень это нужно им?  
Не жалеют и не слушают Ваньку Уклеяшева,  
И тебя, Алёшка, тоже не послушают...»  
И, в дымину пьяный, посреди бутылок,  
Он по-новому предстал моим глазам —  
Опалённый нос его в сети лиловых жилок  
И на подбородке — рваный шрам.  
Уклеяшев нё пил и не говорил.  
По бороздкам лба его катил  
Пота трудного светящийся горошек,  
Спутанные волосы клубились, — и чадил  
Брызжущий огонь трофейных сальных плошек.  
Множились и шевелились тени  
На стене и на накате потолка —  
И в прозрении привиделся мне гений  
Неосуществлённого прыжка.

---

Не в бинокль поигрывал с пригорка —  
Своровавши лодок, спрятав их в лесу,  
Утром вырвался на взбешенной моторке  
И пошёл за смертью, стоя на носу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ  
СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ

Пламя выпрыгнет под ветви низких елей.  
 Лапника подкинут — густо валит дым.  
 Ворохом — винтовки... Комьями — шинели...  
 Человек двенадцать. Подойти бы к ним.  
 Недоросток-мальчик тянет суховершьё  
 И, меня заметив, щурится в свету.  
 Мне — какое дело? Есть там где-то СМЕРШи.  
 Я их знать не знаю, тут я — подойду.  
 Гимнастёрки — наши. Наши и обмотки.  
 Только плечи без погонов... И без звёзд пилотки.  
 Навзничь. И ничком. Согнувшись. И вразвалку.  
 Мужичок портянки вывесил на палках...  
 Тот загрёб картошку в жаркую золу...  
 Там, едва не лёжа, ослонившись ó-ствол,  
 Царственно закинув за плечи полу  
 Драненькой шинели, замер с превосходством  
 Юноша-еврей.  
 Замолкли. Оглянулись.  
 Мало что не встали — не пошевельнулись.  
 И, увидевши, что сбился край плаща,  
 Обнажая звёздочки, отполз за спину,  
 Я его повёрткой виноватою плеча  
 На погон надвинул.  
 «Здравствуйте, товарищи!» — Глядят нехорошо.  
 — «Здравствуйте...» — в два голоса. Молчат. Молчу.  
 Что — пришёл?  
 Чего — хочу?  
 Я и сам не из туристов. Мне не меньше тошно.  
 Почему ж звучит так унижительно, так пошло  
 Голос мой: «Соседей принимаете к костру?  
 Завтра огоньку вам поддадим...»

(Боже мой! Зачем я вру?  
 Дам — не я. А тот, кто даст, — не им.)  
 «Огоньку-у?..»  
 — «Чтой-т пушек не видали мы, как шли».  
 — «Говорит же человек...» — «А у моста везли...»  
 — «Если б их из пушек рубанули крепко...»  
 — «То и что? Народ!  
 Ехало не едет — «эх» не повезёт...  
 Репкина забыли?» — «Что это за Репкин?»  
 — «Был такой. Ну правда, что пловец неважный...»  
 — «Там какой бы не был... Может с кажным...»  
 — «И скажи — стреляли б, наступленье,  
 А то так — ни за хрен, на ученьи,  
 В полной выкладке, со всем бревном утоп.  
 Да и вот он нахлебался, Санька этот, клоп».  
 Взглядом выкаченных глаз в огне бесцельно странствуя,  
 Толстогубый юноша сказал в пространство:  
 «Думают их *благородие* —  
*Mauvais genre*\*, гостить изволят у шпаны...  
 Мы — напротив, патриоты. И за маму-родину  
 Тут воюют даже пацаны».  
 — «Сколько ж, Саня, лет тебе?» — «Пятнадцать».  
 — «И... за что ты?»  
 — «По указу». — «По какому?» — «Опозданье. На работу».  
 — «Опозданье?» — «Два часа».  
 — «Судили?» — «Полкатушки».  
 — «Это как?» — «Что — как? Пятёрка. Счёт простой».  
 Счёт простой? Но я позорно мнусь перед мальчушкой:  
 «Я не понял, Саня. Пять — *чего же* пять?»  
 Усмехнулся, строгонький, худой.  
 «Лет, конечно, что тут не понять.  
 Заменяли месяцем штрафной».

Рыжебровый мужичок обулся.  
 Хворосту подкинул, подновил огня.  
 Как пришёл я, он не оглянулся,  
 Так сидел, словца не пророня.

---

\* Дурной той (франц.).

Красноватое, истрескано его лицо.  
 Самоделку-грубку вытянул кургузую,  
 Натолкал табачной крошки в жерельцо,  
 Из костра достал угля рукою заскорузлою.  
 Смуглый невысокий парень рядом,  
 В землю весь уйдя, так сел перед огнём,  
 Обронил: «Кузьма Егорыч! Ряда!  
 Курнём?»

— «Нá уж, заверни, Игнатъичу оставлю».  
 — «За тобой, Павлуша!» — «Нá бумажку, Павлик!»  
 ...Я меж пальцев комкал хвойки ветку липкую.  
 Любопытный барин — вот для них я кто...  
 Тот же всё еврей — презрительный, оливковый...  
 Мальчик на коленях... И в огне желто...

«Да, так что, Игнатъич, при царе, так что?»  
 — «Говорю, что люди жили как-то посмелее.  
 Не чурались, не боялись, и в тюрьме вольнее:  
 От купчих каких-то булочки, ватрушки,  
 Если суп, так баландою не был отродясь.  
 А теперь исчезнет человек — и все прижали ушки,  
 Всяк сабе сопит, отгородясь.  
 Нас после суда когда везли в Таганку,  
 Напослед ещё заводят арестантку —  
 Девушка такая, Любонька.  
 Вольная на суд пришла, срок дали — и под стражу.  
 Миловидная, да простенькая, глупенькая;  
 Нарядилась в суд как лучше: блузочка голубенькая,  
 А в туфлях — так в модных даже.  
 Где-то в учреждении служила секретаршей.  
 Ну, и стал к ней прилипать её начальник старший.  
 Раз едва отбилась — долго ль до греха?  
 А у ней — жених на фронте, любит жениха.  
 Мол, увольте, просит. Тот сперва озлился.  
 Заявленья рвал. А вдруг и согласился:  
 Ну, не выйди завтра. И считай — уволена.  
 Та по дурости — не вышла. А бумажки — нет!  
 А начальник — в суд: уход-де самовольный!  
 И нахомутал на память ей пять лет.

Жалуется слабенькая, ропщет.  
 А кому до ней? У всех на сердце хмуρο.  
 Затолкали в воронок нас общий  
 И с десяток к нам — мордатых урок.  
 До Таганки было с полчаса езды.  
 Отобрали эти урки, у кого что из еды,  
 А потом заметили девчѐнку,  
 В уголок прижали, заголили ей юбчѐнку  
 И — по очереди... Бьѐтся, разметавши грудь...»  
 — «Ну, а вы?» — «Мы? Всяк сабе». — «Стучали?» — «Чуть.  
 Дверь нам не откроют, а ножом пырнуть —  
 Фу!.. Молчим. Свои родные дорогѝ...  
 И ведь сволочи — девчѐнковы же туфли  
и с кого-то сапоги
 Сняли, постучали как-то там по-хитрому —  
 Конвоиры мигом растворили  
 И, в обмен на обувь, — несколько поллитров им.  
 Тут же и распили.  
 Дом родной для них — в тюрьме ли, в коробке —  
 Середь бела дня. По улице. В Москве!..»

Выгасал костѐр. Сереющею плѐнкой  
 Угли верхние подѐрнулись слегка.  
 Саня разживил его, подбросил сушняка,  
 А наверх — молоденькую цельную сосѐнку.  
 Пламя вымахнуло красную лузгу.  
 С треском капала на угли смолка.  
 «Вы — сидели при царе?» — «У-гу».  
 — «И — за что?» — «А за листовки». — «Долго?»  
 — «Уж не помню, притупилась голова.  
 Месяца, должно быть, три ли, два».  
 — «Были в партии?» — «Нет, не был я, сынок.  
 Я — простой рабочий, токарь.  
 А теперь — десятку дали срок,  
 Во как!..»  
 — «А теперь за что?» — «Теперь, браток, я — вор:  
 Выносил с завода, продавал на рынке.  
 Жить-то надо? Ртов голодных хор.  
 С карточек с одних давно бы подвело.

В месяц на руки семьсот, прикинь-ка.  
На базаре хлеб — сто двадцать за кило.  
До чего ни тронься — всё в сапожках:  
Тридцать пять рублей кило картошки,  
Пожалуйста!  
Проведёшь — хорош, а загребут — не жалуйся».

...Если это правда — что ж мне, волком выть?  
Что пришёл я душу разрывать тут?  
Крикнуть, перебить: «Молчите! Хватит!  
Этого не может быть!»  
Не уйти. Не крикнуть. Взгляда не отвести.  
Говорят так просто... Будто так и есть...  
Этот сел за страшный грех недоносительства —  
Не донёс на мать свою родную,  
Что на кухне клеветала на правительство;  
Тот сверло занёс на проходную;  
Третий карточки подделал с голодухи,  
Пятый выловлен десницею бухгалтерских проверок;  
Кто-то сел за то, что слышал где-то слухи  
И не опроверг.  
Лишь еврей молчал, в огонь уставясь с горечью,  
Да Егорыч рыжий. А сосед Егорыча,  
Весь сложившись вдвое, подбородок о коленко,  
Парубок донбасский, Павлик Бондаренко,  
Смуглый и упругий, ловкий, как зверёныш,  
Путь свой удивительный небрежно рассказал.  
Начал от границы; в окруженьи отступал;  
Бился за Орёл, за Тулу, за Воронеж.  
И под Сталинградом побывал.  
В танковой разведке он на мотоцикле  
В сорок третьем к марту вырвался в Донбасс.  
Наступать начальнички в ту зиму не привыкли  
И держались сзади про запас.  
Взяв на сохраненье документы, ордена,  
Подполковник в штабе обнял перед рейдом:  
— «Ну, орёл, кроши и не робей там!  
Часть тобой гордится и страна!»  
Оторвался — и пошёл на юг.

В люльке — рация, ракеты и взрывчатка.  
 Вдруг —  
 Контрнаступление. И в беспорядке  
 Армию, как в сорок первом, — ветром  
 Сдуло на восток. Бросали танки,  
 Пушки. Две бензиновых банки  
 Спёр у немцев — двести километров  
 Подхватился за своими по тылам врага.  
 Грязь, распутица, не колесо — нога  
 Вязнет! — дождь, и снег, — дорожка!  
 Целиною, задорогой, по ночам и днём,  
 Оторвало палец под своей бомбёжкой  
 И ушибло в погребке бревном.  
 Костоправ-старик. Лечиться тройку дней.  
 Выбрал себе хату, где дивчина злей.  
 Зинка чернобровая, яблочко-девоха...  
 За войну повыросли, без мужей им плохо.  
 Виснет — оставайся! Держит у крыльца...  
 Бросил девку! бросил мотоцикл! — на жеребца!  
 Русские напали же — майор и два бойца —  
 Взять коня себе хотели, ну куда там!  
 От троих отбился автоматом,  
 Хуторами, тропками добрался до Донца.  
 Конь свалился. Палки в руки и ползком.  
 Лёд трещит. Вот-вот пойдёт. Уж плох.  
 Перебрался. Только вышел бережком —  
 Тут они, собаки! *Hände hoch!*\*  
 В плен. В Германию, на рудники. Ночами на работу.  
 Конвоиры. Пулемёты.  
 Цепь сплошная.  
 Чужь и даль тоскливая.  
 Павка щурится глазами-черносливами,  
 Властно дёргает губой, припоминая.  
 Пограничник-осетин. Балтиец Колька.  
 С голоду подохнем поздно или рано.  
 Побежим? Подстрелят — ну и только.  
 И втроём — в канаву, выждавши туману.  
 Унырнули под огнём. Повсюду телефоны.

---

\* Руки вверх! (нем.).

В каждом доме бауэра звон тревожный.  
Карту сообщений железнодорожных  
Выкрали — висят у лопоухих по вагонам.  
К пиджакам цивильным — голубые *ost'ы*.  
Днём в кустах, в сараях, брились топорком,  
Уходили за ночь километров по сто,  
На подъёмах прыгая, товарняком,  
А наставят патрулей — и сто шагов не просто  
Перейти у моста пешечком.  
В бункеры и в кухни забирались.  
То, бывало, до отвалу наедались,  
То неделей брюквы не найти в земле.  
Как-то немку вилами пришлось им заколоть:  
В поле песни пела, подступила вплоть.  
И попались всё-таки на Лодзинском узле.  
Свист. Фонарики. Испуганные лица.  
Крики. Выстрелы. Гудки. Облава.  
Видел Павлик — осетина повела полиция,  
И зарезало балтийца дёрнувшим составом.  
Сам не помня — как, в каком чаду,  
Силы жизни все в один прыжок собрав,  
Он успел вскочить на бешеном ходу  
В этот же состав.  
Спрятался. Во рту от крови кисло.  
Слабость. Знобь. В ушах — последний выкрик друга.  
И — уснул. Проснулся далеко за Вислой  
И недалеко до Буга.  
Осень шла. Опять раздрябло и ослякло,  
Но ни автомата, ни коня,  
И скрываться от бандеровцев, от немцев, от поляков  
Ночью тёмной и при свете дня.  
Юг Полесья. Встречу — безконечные обозы —  
Скарб, детишки, коровёнки и крестьянок слёзы,  
И мужик с телегой вровень — рыскать счастья по миру,  
В заревах далёких горизонт...  
Немцы отступали. Расколотся фронт.  
Подходили русские к Житомиру.  
Тут растяпе разве фронт не перейти.  
Повстречался с танковым десантом.  
«Стой! Тут мины!» — Спрыгнули.

Бьют по плечу. В чести! —  
 Надо ж было! — на его пути  
 Тот же корпус танковый, где он служил сержантом!!  
 И ребята те же: «Чёрт! Откуда взялся?»  
 Повар тот же — каши уполовник.  
 И начштаба тот же. Только вширь раздался,  
 Да «Суворова» повесил. И — полковник.  
 Ну, сейчас обнимет — ордена, оружие...  
 На ногах едва — пустили б нынче в бой!  
 Что-то не торопится. Качает головой  
 И в раздумьи тянет: — «Как же это, друже?  
 Плохо получается с тобой».  
 СМЕРШ. Бежал из плена? Как бы эт' ты мог?  
 Ловко брешешь, падло, патриотины кусок!  
 Растерялся Павлик: «Если вы не верите,  
 Вот дойдём до лагеря — свидетели, проверите».  
 — А пока тебе — оружие? Хитёр.  
 Невербованный вернулся сам! — поверьте-ка!  
 Нам проверку фактов заменяет с давних пор  
 Наша диалектика.  
 И — в *фильтрационный* лагерь, на Урал.  
 В окруженьи кто, в Европе побывал —  
 Там уж их немало, за колючкой пареньки.  
 Пайка и баланда. Рудники.  
 По ночам срока мотают, это как закон:  
 Десять — в зубы, пять — *намордник*, и садись в вагон.  
 Огляделся Павка, разузнал  
 По приказам Сталина, где корпус воевал,  
 И — один, чтобы друзья не продали, — бежал.  
 Средь своих — шутя: и днём, и ночью,  
 Пассажирским, и товарным, и рабочим,  
 И военным эшелоном, и машиною попутной —  
 Зубоскал-солдатик, парень шалопутный,  
 На ходу сходя и на ходу садясь,  
 И весной сорок четвёртого, в распутицу и грязь:  
 «Разрешите доложить, товарищ генерал?  
 Вот как тут — и там я так же убежал!!»  
 Только ахнул генерал-майор:  
 «Бондаренко! Дьявол! Ну, солдат!..  
 Хоть бы на штрафную как сменить твой приговор.

Эх, и мне ведь трудно с ними, брат...»  
 Снова СМЕРШ. Тюрьма. Допросы и побои.  
 — Почему не кончил сам с собою?  
 — На Донце не застрелился почему?  
 — Прислан по заданью по чьему?  
 — Кто помог? Бежал из плена как?  
 — Сколько заплатили, гадина, тебе?  
 ...Именем Союза... Родине изменник Бондаренко...  
 ...Добровольно перешёл к врагам...  
 По пятьдесят восемь один бэ —  
 К десяти годам!  
 Польшнул их матом из горячей груди:  
 «А учили вы, гады, как я воевал?!»  
 — «Есть заслуги. За заслуги мы не судим», —  
 Прокурор сказал.

И зачем я подходил? зачем растрогивал?  
 Где суды такие? где такие лагеря?..  
 Холмик углей прорывался синеватым огоньком.  
 От Днепра тянуло лёгким ветерком.  
 Наступления предтечи верные,  
 Поползли над лесом *кукурузники* фанерные.  
 От невидимых, от них всё небо тарахтело.  
 Меркнул наш костёр — и меж вершинами светлело,  
 Раздавалась, отступала вкруг по лесу тьма.

...Слушал-слушал, рыжий отозвался и Кузьма:  
 — Этой зимою, полгода тому,  
 Случилось и у меня в дому.  
 Спим. Слышим — стучат. Громчей:  
 — Эй, хозяева! Эй!  
 Отвори!  
 Кто живой, подойди к двери! —  
 А за тучами месяц, светло. Глядь из окна —  
 Вот тебе на! —  
 Два офицера, один старшина.  
 Не по мою ли душеньку? Открыл.  
 — Ты, спрашивают, приятель,

Колхоза здешнего председатель?  
 Нам на эту избу показали.  
 — Он, говорю, попали.  
 Али дело какое? — Да без дела не шли.  
 Без дела б иное время нашли.  
 — Ну, заходите. — Зашли.  
 Мостами веду их в темноте,  
 Спрашиваю: лошади-те ваши где?  
 — Отсталый ты, батя, отстал далёко.  
 У нас — колесница Ильи-пророка.  
 — Неуж самолёт разбился? — Нет, смеются, самолёт цел,  
 Назад полетел.  
 Ладно, думаю, смеяло не иступлено — смейтесь.  
 Засветил в избе — заходите, грейтесь.  
 А у меня сыновья на фронте, дочь одна,  
 Она на полатах, на печи жена.  
 Смотрю на гостей — одеты что надо,  
 И чистенько, ну бы с парада:  
 Валенки, ушанки, полушубки голевые,  
 За плечьми мешки вещевые,  
 И в мешках довольно наложено,  
 Всё как положено.  
 НКВД, не иначе. Знаю я их порядки.  
 Уж больно все трое исправны да гладки.  
 Нет, гляжу, разболокаются, разбираются,  
 Ночевать, что ли, собираются.  
 Что ж, спрашиваю, добрые люди, — зачем да откуда?  
 Хозяину б знать не худо.  
 Кто из вас тут старшой?  
 Подступил ко мне тот, что одет старшиной:  
 — Пожди, отец, насмотришься всякого.  
 Старшего нет у нас, все одинаковы.  
 Спать не поспишь — не кляни нас, папаша:  
 Одна у нас ночка, да ночка та наша.  
 Поперву заката-ка нам ужин,  
 Потому как по жизни своей панихиду служим.  
 Вина нам побольше. Богаты.  
 Не постоим за платой.  
 А сам — ступай, где у вас телефон,  
 Звони, подымай сюда весь район. —

Стал я тут домекать. А что, говорю, парнишки —  
Не малы ль у вас будут чинишки,  
Чтоб к вам вызывать из району?  
Должностя-то ваши какие? — Отвечают: Шпионы.  
— Эй, парень, шутить воля твоя,  
А не шути дороже рубля!  
— Какие могут быть шутки в военное время?  
Поверишь, как получишь премию.  
Прибегут к нам, батя, прибегут со всем старанием:  
Мы-то ведь — прямехом из Германии...  
— Что это? — перепрашиваю, — да ты в уме?  
Фронт-то вроде не в Костроме?  
А мы-то недалеко от Галича.  
— Говорю тебе: из Германии давеча.  
В Берлине я был вчера поутру,  
Верно тебе говорю,  
Верно, как вот в твоей избе стою,  
Как вижу вон девку твою.  
А она-то, воструха,  
Краешком глаза да краешком уха  
Ссунулась было с полатей —  
Где уж тут спать ей! —  
Да Степана встретила взгляд,  
Прыснула — и назад.  
— Эх, — кричит Степан, — сердце во мне загорелось!  
Хочу, чтобы девка твоя в шелка оделась.  
На шелково платьице когда-ни-то взглянет  
Да меня непутёвого помянет.  
Развязывает он свой мешок,  
Достаёт платья на три — белянский шёлк!  
— А ты, папаша, издобудь-ка нам самогону  
Да зови кого-ни-то из району. —  
Ладно, говорю, самогону придёт черёд,  
У нас и медовая брага живёт.  
Ты, старуха, видно, вставай,  
Угощенья нам подавай,  
Да самоварчик приспей нам,  
А позвонить — успеем.  
Достают они из мешков тут, брат,  
Печенье-крученье, консервы, шоколад:

— Едал ли? видал ли, папаша, Европу? —

Это мне Стёпа.

Да. Ну, сели мы. Только Степан беспокоен — встанет,

Вдоль стен пройдёт, карточки оглянет.

Смотрю на него — редко такой молодец удаётся:

Не родня, а в душу вьётся.

— Эх, говорю, парень, похвалить бы твоего отца,

Да голову зарубил тебе не с того конца.

Руки за ремень, стал. — Ты, батька, о чём?

— Да всё ж вот о том, что ты дурулом,

Да и приятели твои тоже

С тобою схожи.

Шпионы-то вы, я вижу, лядашие,

Не настоящие?

— А ты посудить и сам волён,

За шесть месяцев какой шпион?

— Как ж эт' вас на такое ремесло

Нанесло?

— Да уж не заварили б круто нам,

Не прыгали б с парашютами...

Как они город тот назвали?.. Гáга!

Там, видишь, все подписали бумагу:

Пленных, значит, кормить,

С голоду не морить.

Ну, а от нас

Поступил отказ:

Народу-де у нас хватает,

Кто сдался — пусть подышает.

Другие-то пленные сыты, будешь упрямым,

А наших — в яму да в яму.

После уж, как немцев отвсюду прижали, —

Ласковые стали, прибежали,

В армию зовут — хоть в немецкую, хоть в РОА,

Да' ты на своих рука ли поднимется, а?

Искали, как полегче на эту сторонú.

— Ну, — я в упор им. — Ну?

Деньги-то есть? — Да тысяч со-сто.

— Документы? — Исправны. — Куда как просто.

Значит, с концами?

Головы дурьи, о чём же мы с вами?

С немцами не расчёлся? Иди воюй.  
А никому не должен — живи, не горюй.  
Я вас не знаю, беседы мы не вели,  
Обогрелись часок — и ушли. —  
Поглядываю на гостей — молчат.  
В землю глядят.  
— Не-ет, мужички, власти — всегда они власти,  
Хорошá не жди от них, жди напасти.  
Сажали их — думали, будут свежи,  
А они всё те же.  
Старый ворон мимо не каркнет:  
Бумажёнки вам выпишут без помарки,  
Поставят печать —  
И пошлют сосны считать.  
И не станут с вами миловаться,  
Что доброй волей вы пришли сдаваться.  
По саже хоть гладь, хоть бей —  
Всё будешь чёрен от ей.  
В Восемнадцатом, как я в армии был,  
Две недели, привелось, в ЧК служил.  
Городскую барышню вели однава,  
В тонком платьи, статная, в кудерьках голова.  
Помню — гордо себя держала  
И не трусила их нимало.  
— Эх, говорит, деревенский тюлень,  
Вспомнишь ты когда-нибудь этот день!  
А как дошло до расстрела —  
*Тринадционал* запела...  
Они потому и верховодят,  
Что сами своих под пули подводят.  
Так, думаешь, вас пощадят?  
Навряд...

Долго молчали. Потом Степан  
Чёрез верх налил, выпил стакан,  
Глянул на всех, потрянул головой:  
— За́ добро слово спасибо, родной.  
Знаем, натыканы столбы да вышки.  
В бор — не по груши, по еловы шишки.

Только чем нынче гадать-раскидаться,  
 Нам бы *оттуда* да дальше податься,  
 Зажить бы в сытё да в тепле,  
 Да забыть бы о нашей растреклятой земле.  
 Бьёшь по башке себя — эх ты, уродина!  
 Что тебя тянет, дурного, на родину?  
 Ну, сил не стаёт, как с востока ветер!  
 Где б я такую вот девушку встретил?  
 (Я глядь, а уж Танька с полатей спорхнула,  
 Шею косынкой цветной обернула,  
 Румяна, скромна, сидит в уголку, елоза,  
 И опустила глаза.)

— Жил я всегда, как свеча на ветру.

Так и живу. Так и умру.

В плен меня сдал генерал,

А патроны я все расстрелял.

На фронт пошлют — спасибо скажу,

В лагерь отправят — кости сложу.

Поздно нам думать. Нет нам возврата.

А и всего-то приходится по шкуре с брата. —

Да... Выпили мы ещё самогону,

Побрёл я в правление к телефону.

И так-то было мне тяжело в ту пору:

До чего ж ты, думаю, дожил, Кузьма Егоров?

Ты ли, думаю, острослов,

Да не нашёл им слов?

Они с налёту берут, вгорячах,

А у тебя полвека на плечах.

А с твоими сынами да то же будет?

Эх ты, Иуда...

Позвонил, однако. Воротился — а уж эти двоёчкой

В сторонке уселись, у печки.

Спать, гоню её, спать, Танька.

Так-то взмолилась: — Останусь, папанька! —

Расцвела — не узнать, не видал я её такой.

Оглянулся на мать — махнул рукой.

Сидят они себе вдвоём,

А я — с теми ребятами, за столом,

Знай, подливаем,

Тоску заливаем.

Лакомства навалено, а стоит кусок  
Поперёк.  
Рассказали они мне про Европу довольно.  
Слышать мне было их — во как больно:  
— Посравнили мы, батя, посравнили вочью  
Ихнюю жизнь и жизнь свою.  
Пока под чужой крышей не побываешь,  
Где своя течёт — не узнаешь.  
— Вот, говорю, понимай, спина,  
Во-де-ка, во-де твоя вина. —  
Распахнулись душой молоденьки,  
Да как посыпали деньги  
Пачками, пачками на стол:  
Возьми, говорят, старик за ласку!  
А я, отвечаю, ласку не продаю,  
Ласку добрым людям даром даю.  
Не сердись, уговаривают, ништо.  
Нам-то она, деньжура, на что?  
Чем зря отдавать — у тебя пусть уж.  
Сбережешь — на доброе делопустишь.  
Я — не хотел. За что не доплатишь — того не доносишь.  
Ну, тогда, мол, сожжешь или бросишь.  
Взяли себе долю — чтоб была им вера,  
Остатние я насыпал в меру  
И унёс в сарай под солому.  
Слышу — шеберстят вокруг дома.  
Воротился. Ну, ребята, прощайте,  
Лихом не поминайте,  
Допивайте, что не допили,  
Двор-то уже оцепили.  
Выпил Степан последнюю кружку,  
Обнял мою Танюшку,  
А она от меня не скрывается,  
Тут же к нему ласкается:  
— Стёпа! Что они пришли? Что им от нас надо?  
Он ей: — Голубка моя! Привада!  
Годочек-то, может, сождёшь?  
А уж коль ни вестей,  
Ни костей,  
Тогда и замуж пойдёшь?

Я молчу, да подумал: Годок! Грехи!  
Не знаешь, Степан, почём в войну женихи...  
Это — себе. А им: — Хватит!  
Степан, выходи! А ты — на полати! —  
Там уж без баб в сенях  
Я его обнял напоследях:  
— Дай тебе Бог неглубоко нырнуть,  
А дочку мою — забудь.  
Зять бы хорош ты мне был по всему,  
Только не на год идёшь в тюрьму.

Вывел на улицу всех троих,  
Стали, стоим у ворот моих.  
И видим, как густо в снег повалён  
Истребительный батальон.  
Степан рассмеялся: — Стреляй, как ворон!  
Эй, запечная рать!  
Кой вас дурак учил воевать?  
Подходи, не бось! — Не слушают.  
Кричат: — Сдавайся! Бросай оружие!  
— Сколько ж раз вам сдаваться, в бабушку и в мать?  
Подъезжай с возом, кто будет оружие принимать!  
Вышли какие-то мальчуганы,  
Отдали им мои ребята наганы.  
Подошёл из милиции чин,  
С ним несколько мужчин.  
— Не рано вылезли, вояки? Эх, жалко отдать!  
Всю б войну вам, навозникам, не видать  
Пистолета такого в районе. —  
И протягива'т махонький, на ладони.  
Отдал последний — со снегу хлынули,  
На шею каждому петлю накинули,  
За спину руки скрутили верёвкой,  
Уткнули в спину по две винтовки,  
На каждого подогнали сани,  
Сели они сами,  
И их увезли...

Ветер креп. Над нашей головой  
Раздавался шорох ветвяной.  
— «И что слышал я в ту ночь от ребят —  
Никомушеньки-никому. Такой у нас расклад:  
Бьют — и плакать не велют».  
— «Дядь Кузьма, а за что ж ты сел?»  
— «Хо-х, мил человек, молчи!  
Рядил медведь корову поставлять харчи,  
Да чтоб за неустойку самоё не съел?  
Как же б эт' я не сел?  
Тому ли, что сел я, — дивиться?  
Ты б спробовал годок прокрутиться!  
Да' ть, во всех райкомах я на колени ставлен,  
Да' ть всеми псами я травлен.  
Как до войны — это б ещё шутём,  
Вот пото-ом! —  
Война началась! — вот где Кузьма пляши! —  
Лошадей нет, мужиков ни души,  
На коровах да на бабах паши,  
Сена до ноября не докосишься,  
Тракторов не допросишься,  
Хлеб молотим зимой,  
Каждая тащит в подоле домой,  
Ржи на трудодень по сту грамм,  
На работу не выгонишь, сидят по домам,  
Бабы ноют,  
Дети воют,  
Работать семь дней на дядю, спать на себя,  
Из района теребят:  
Поставки, обозы,  
Да почему поздно,  
Планы, задания,  
Прибыть на заседание!  
Дня от ночи не знаешь,  
В десять концов гоняешь, —  
Поросёнка в Заготлес,  
Самогону в МТС,  
Секретарю райкома — бочку мёду,  
Прокурору — яиц подводу,  
В Нарсуд — кур, в Райфо — сала,

Да почему мало? —  
Волком захохочешь!  
Как не споткнуться! Чего ты хочешь!  
Был на меня давно донос,  
Но цел бы ходил — прокурора обнёс! —  
Вспылил, не подмазал в какой-то безделке,  
Вот и пришлось к разделке.  
На суде прокурор же,  
Что яиц перебрал, — и плакал всех горше:  
“Народное имущество... Священная крохá...  
Кулыбышев должён был...” — Довольно, кричу, брехать!  
Были доложны́, да долг заплатили! Пихайте в клетку!  
Трепотня мне ваша за тридцать лет, как собаке редька». —  
«А на что донос?..» — «Да вишь, середь этих я дел  
Так затурился, да так очадел,  
Меня кнутом, я кнутом,  
А что к чему — разберёмся потом.  
В своём-то зубу досадчива боль,  
А за чужой щекой не болит нисколько.  
Только раз возвращаюсь с одного такого заседаньяца,  
Зашёл за чем-то к Макаровой племяннице.  
Помер муж у ней до войны, а и был-то пьяница.  
Сидят — на полу. Изба топится чуть не по-чёрному.  
И кабыть что меня на пороге дёрнуло,  
Ну бы вот, торкнуло в лоб —  
Сто-оп!  
Сказать мне им что-то — а не могу.  
Вышел на волю, стал на снегу.  
Кузьма, Кузьма! Пёс ты, пёс!  
Криво ж ты, старый дупляка, рос!  
В голове это мелется, мелется...  
Сам не пойму, что за думка шевелится.  
Пробродил эт’ я так до темна как шальной —  
Пришёл домой.  
Дочка в городе. Жена за машиной — шьёт.  
Духом мясным из печи несёт.  
Два сундука. Довольно добра.  
Не снеговая вода с серебра.  
Шкап зеркальный. И в шкапу — нажито.  
Подхватила жена — видит, что-то не то.

Так и так, мол, девка. Хочу идти на преступление.  
Прошу твоего благословения.  
Рассказывать нечего, всё тебе, умнице, ведомо.  
Порвать хочу раздаточную ведомость,  
Да людям по новой раздать за летошние трудовни.  
Ой, до весны не доживут они.  
Знаю, злонаходчивы теперь люди живут.  
Чо там на меня? На себя на самих донесут.  
Но и глаза воротить мне дале невмочь.  
Надо помочь.  
Да... Затеребила она край платка,  
Посмотрела на меня эдак изглубока...  
А ведь знаю я её, вот как знаю!  
Гляну в лицо — вижу, какой была молодая,  
Встретясь, краснела маково...  
Заплакала.  
— Ладно, парень, похлебай-ка щей.  
Утро вечера мудреней.  
Лампу задула, зажгла лампаду перед Богородицей.  
Молится.  
Лежу — перебираю. Дочка-невеста в соку.  
Что мне взбрело, дураку?  
Сыновья глядят со стены.  
Воротятся ль ещё с войны?  
За мою семью, если придётся,  
В тюрьму никто не пойдёт, небось.  
Нет уж, пускай живётся  
Как жилось.  
Лампада горела-горела, погасла —  
Кончилось масло.  
Сна — ни в глазу. Как у чужих людей ночью.  
Таракан во тьме усами поведёт — чую.  
Вот уж за полночь с печи моя старуха  
Тихо так говорит, вполслуха:  
— Спишь, Кузьма? — Я прохватился, к ней:  
— Не спю, не!  
— Не жди, говорит, моего бабьего совету:  
У нас, у баб, друг к другу жалости нету —  
Ты да дети, всего у меня свету.  
Помнишь, убили у нас в Ямуровке пристава?

Дядя Андрей не стрелял, — а взял на себя все выстрелы.  
 Пошёл на каторгу — три семьи высторонил,  
 Среди других и отца моего.  
 Как б эт' и нам научиться таково,  
 Чтоб и жить легко и умирать легко? ..»

«Умирать, конечно, не находка...»  
 «Умирать бы ладно. Оставлять детей...»  
 — Э-эй!  
 Эй-э-эй!  
 За во-одкой! —  
 Звонко прокатилось в тишине,  
 Отдаваясь гулками ответами:  
 — Командиры отделений! к старшине!  
 За конфетами!  
 ...С треском по лесу метнулись толпы теней,  
 Сотни промелькнули спин —  
 И смело людей, как будто их и не было.  
 И сгустилась темень.  
 И остался я один  
 У едва светящегося пепла.  
 «Вот!.. В золе забыли горсточку картофеля,  
 Бросились за горсточкой конфет...»  
 Вздогнул я. Улыбку Мефистофеля  
 Вырывал из тьмы почти погасший свет.  
 «Презирая, — вслед им побреду я  
 С малярной дрожью слабых ног, —  
 Ибо тоже жаден, тоже претендую  
 В свой иссохший кубок получить глоток.  
 Повторяется, бездарная. Убого. Примитивно.  
 И каких ещё болванов удивит она?..  
 До чего, коллега, жить противно,  
 Когда всё написано и всё прочитано».  
 Ябло кутаясь, с колена встал он осторожно.  
 Встал и я. Мы выровнялись ростом.  
 Было мне с ним то ли слишком сложно,  
 То ли слишком просто.  
 Он приблизился ко мне дыханием в дыханье:  
 «Ну, признайтесь, вам не повезло?!

На заём подписываться. Перевыполнять задания.  
 Ждать, что *выбросят* повидла лишнее кило.  
 Воротившись с бляшками с войны,  
 Краткий Курс зубрить до седины —  
     Кислó,  
     Сами видите!  
 Капитан! Ровесник! Позавидуйте!  
 В этой жизни ни к чему не годный,  
 И в неё не собираясь снова,  
 Я живу последний день сегодня  
     С полною свободой слова!  
 Вы — растроганы? Оставьте. Чепуха!  
     Ни меня, усталого еврея,  
 Ни мальчишки этого, ни Любки жениха  
     На гранитных набережных Шпрее  
     Не помянете в сверкании шеломов  
 Над Европой, подведённой как ягнёнок к алтарю.  
     Только будет ваш среди победных громов  
     Гимн: хрю-хрю».  
 — «Почему так плохо обо мне вы судите?»  
 — «Потому что — человек вы. Дерзко? Рассердитесь.  
     Ну, а если вы таким *не* будете —  
     Берегитесь!  
 Любопытство к смертникам у вас *не наше*,  
 Не советское, нейдёт к погонам и звездам.  
     Берегитесь, как бы *этой* чаши  
     Не испить и вам!  
     Не лишиться б гордого покоя,  
     Не узнать бы, что оно такое —  
     В шаг квадратный, весь из камня бокс.  
 Наслаждайтесь, если можете, желаю вам удачи.  
     Впрочем, все подождем, так или иначе —  
     *Omnes una atra manet nox!*<sup>\*</sup>»

---

\* Всех одна и та же тёмная ждёт ночь (лат.).

\* \* \*

Пусть бьются строки — не шепни.  
Пуускай колотятся — а ты губой не шевельни.  
Не вспыхни взглядом при другом.  
И ни при ком, и ни при ком  
Не проведи карандашом:  
Из всех углов следит за мной тюрьма.  
*Не дай мне Бог сойти с ума!*  
Я резвых не писал стихов для развлечения,  
Ни — от избытка сил,  
Не с озорства сквозь обыски в мозгу их проносил —  
Купил я дорого стихов свободное течение,  
Права поэта я жестоко оплатил! —  
Всю молодость свою мне отдавшей бесплодно  
Жены десятилетним одиночеством холодным,  
Непрозвучавшим кликом неродившихся детей,  
В труде голодном смертью матери моей,  
Безумьем боксов следственных, полночными допросами,  
Карьера глиняного рыжей жижей осени,  
Безмолвной, скрытою, медлительной огранкой  
Зимой на кладке каменной и летом у вагранки —  
Да если б это вся цена моих стихов!  
Но тоже и за них платили жизнью те,  
Кто в рёве моря заморён в молчаньи Соловков,  
Безсудно в ночь полярную убит на Воркуте.  
Любовь, и гнев, и жалобы расстрелянные их  
В моей груди скрестились, чтобы высечь  
Вот этой повести немстительной печальный стих,  
Вот этих строк неёмких горстку тысяч.  
Убогий труд мой! По плечу тебе цена?  
Одной единой жизни — ты пойдёшь в уплату?  
Который век уже моя страна  
Счастливым смехом женщин так бедна,  
Рыданьями поэтов так богата?..

Стихи, стихи! — за всё, утерянное нами,  
Накап смолы душистой в срубленном лесу!..  
Но ими жив сегодня я! Стихами, как крылами

Сквозь тюрьмы тело слабое несу.

Когда-нибудь в далёкой тёмной ссылке  
Дождусь, освобожу измученную память —  
Бумагою, берёстою, в засмоленной бутылке  
Укрою повесть под хвою, под снега заметь.

Но если раньше хлеб отравленный дадут?  
Но если раньше разум мой задёрнет тьма?  
Пусть — там умру, не дай погибнуть тут! —

*Не дай мне Бог сойти с ума!!*

ГЛАВА ВОСЬМАЯ  
КАК ЭТО ТКЁТСЯ

*И ужели нет пути иного,  
Где бы мог пройти я, не губя  
Ни надежд, ни счастья, ни былого,  
Ни коня, ни самого себя?*

Ив. Бунин

Кабель неприметною полоскою,  
Выведен, подброшен на сосне.  
Реминорный мягкий вальс Чайковского  
Невидимкой льётся в тишине.  
Наверху — безлюдие обманное,  
Замело тропинки и полянки,  
Здесь — уют, и запахи смоляные  
Поят воздух обжитой землянки.  
Свежим ворохом — постель еловая,  
Троеножка-печь раскалена,  
Лампочка двенадцативольтовая  
Над столом спускается с бревна.  
Радио-шкатулка под столешницей  
Скрыта от недружеского взора —  
Маленькая хитренькая грешница,  
Говорунья и певунья «Нора».  
Гость непрощенный уйдёт — не глядя я  
Под столом привычной кнопкой — щёлк! —  
Всех воюющих народов радио  
Хлынет вперемесь сквозь синий шёлк.  
Звуки струн рояльных...  
Но унылое  
На столе письмо передо мной —  
От тебя, затерянная, милая.  
Что за трещина у нас с тобой?  
Чувствуешь — спустился мутный навешень,

Отчего — не знаешь ты сама.  
 Это — ты бежишь, бежишь ко мне по клавишам,  
 Чтобы в треугольнике письма,  
 Посылаемого так уже не почасту, —  
 Рассказать о нуждах тыловых, об одиночестве  
 Далеко, за чёрной пеной Каспия,  
 За барханами песка...  
 Было счастье? не было у нас его?  
 Только чудится издалека?  
 Здесь, на фронте, нам лениво верится  
 В мрачную ожесточённость тыла.  
 Победим — вернёмся — переменится —  
 Всё по-нашему, не так, как было.  
 Фронтovou мудростью растимое  
 Превосходство над заботой дня...  
 Мне вот чудится, моя любимая,  
 Что с пути уводишь ты меня.  
 А ведь я ещё не сделал столького!  
 Не написаны мои страницы.  
 Я ношу в себе заряд историка  
 И обязанности очевидца.  
 Всё рояль... И в каждом звуке слышится  
 Мне твоя любимая рука.  
 Написать...  
 да что-то мне не пишется,  
 Только чувство льёт изглубока.  
 Размягчел — а не найти достойного  
 Выражения литого мысли.  
 Рычажок — Европа беспокойная  
 Мечется от Мозеля до Вислы!  
 Завтра утром заплыает заревом,  
 Нынче притаилась под землёй.  
 Ручкой лакированной на Нареве  
 Поворачиваю шар земной.  
 Всё многоголосей к полуночи  
 Станций обезумевших прилив:  
 Сводки сыпят, объяснения бормочут,  
 Салютуют, маршируют и пророчат,  
 Торжествуя и грозя наперебив.  
 Только б одолеть! И, ложью ложь поправ,

О, какими доводами стройными  
В кратком перерыве между войнами  
Победитель будет чист и прав.  
Вражий огонёк! — топчи его, где теплится,  
В переходах вековых потёмок.  
Вот, и речь последнюю рождественскую Геббельса  
Где услышишь ты потом, потомок?  
Описали нам газетчики, советские и янки,  
Гадкую хромую обезьянку, —  
Да, награбили, нажгли, набили по нутру, —  
И однако, голос чей звучит, в зажатой скорби,  
К очагам осиротелым в тяжкую пору? —  
Как он не похож на тот слезливый бормот  
Третьего июля поутру.  
...Дальше ручку! Затаёнными ночьми —  
Поворот. От незваных сумев обезопаситься —  
Вот и вы! — враги мои,  
Соотечественники мои —  
Власовцы...  
Знаю я, что вы — обречены.  
Ни отчизны вам, ни чести, ни покоя...  
Чем же живы? чем увлечены?  
Сколько вас? и что же вы такое?  
Боже мой! Какой обидный жребий!  
Где? в какой глубине вы гордость бережёте?  
Ваш поручик младше, чем у них фельдфебель,  
И в бою не верят вам крупней, чем роте.  
Лишь теперь, когда пошло о жизни,  
Когда шея в петлевом захлёсте,  
Разрешили вам немножечко дивизий  
И в каком-то -бурге сняли с русских *ost'*ы.  
Чтоб верней сгубить себя и вас,  
Немцы в русскую войну не проминули шагу.  
То-то времячко! Как раз сейчас  
Время вам съезжаться в Прагу!..  
И транслировать из замкового зала,  
Как ослабился ваш вождь и что сказал он,  
Как приезжий зондер-фюрер — то-то славно! —  
Вас назвал союзниками *равно!*

Оркестровый гимн, не исполнявшийся дотолё,  
 И в него заплетено злопамятной судьбой:  
*«За землю, за волю,  
 За лучшую долю  
 Готовы на смертный бой».*  
 Что же вас заставило?.. Как обернулось с вами?..  
 И стучит в рассеяньи костяшками рука, —  
*«Что ж тебя заставило связаться с лягашами,  
 И штить работать в губЧЕКА?»*

---

Без шинели, только шапку на бок,  
 Подымаюсь в мутно-белый лес.  
 Линии — лучами, как к большому штабу,  
 Сходятся к моей ЦС\*, —  
 Парно, в одиночку, верхом, по низам, —  
 Все сюда.  
 Щедрый снег роскошно обнизал  
 Прутья, сучья, ветви, провода.  
 Снежной бахромой — мохнатые подвески,  
 Лапы елей со снегом в тяжёлом тёмном блеске,  
 Шапочки на пнях, повал на блиндажи —  
 Снежным хребетком увитые кряжи.  
 Вот сейчас из зарослей, из частой снежной сети,  
 Улыбаясь, выйдет добрый белый гном...  
 Доживём ли, что и наши, наши дети  
 Сядут сказку слушать перед розовым огнём?  
 У Пултуска круглые, бордовые, как вишни,  
 Струйкою трассирующие плывут в зенит,  
 Словно с неба кто-то медленно-неслышно  
 Ожерелья втягивает нить.  
 Чёртова заутрени начнётся спозаранку —  
 Спит зима, чужда движенья всякого.  
 Рывкнет самоходка из-под Макува,  
 Не взорвавшись, провизжит болванка,

---

\* Центральная станция.

Батарея яростным налётом протолчёт, —  
 Хорошо! своё на карте место обозначит! —  
 Прошипит десятиствольный, да скрипун прокрячет, —  
 И опять молчок.

Тихо-тихо по шоссе идут сквозь лес без фар  
 Грузёные «студебеккеры».

Шутка ли? — три армии стянули на удар,  
 Все готовы, спрятались, — и встретить даже некого!  
 То ли было? До прорыва месяца не спать,  
 Офицеры в загонях, в поту солдатики, —  
 Научился рус «культурно воевать»,  
 Научился воевать-таки!

А копали? Век солдатский короток —  
 Тяп да ляп. Но вот уж и с лопатой сжились.  
 В аккуратный ровный городок  
 Наши блиндажи сложились.  
 Из-под снежного навала их горбы  
 Холмиками выступают,  
 Да с огнистым треском искры вылетают  
 Там и здесь из жестяной трубы.

«Встать!» — «Сидите, мальчики».

Блиндаж — ни места лишнего.

Но, по-корабельному, — всему своё местечко.  
 Пахнут ломти хлеба подрумяненного. Вишнево  
 Накалилась и погуживает печка.

Воронёные вольтметры. Пульт под лаком.  
 Камертон, в серебряную дрожь размытый.  
 Капилляры-пёрышки стеклянные, шеллаком

Впаяны в колечки электромагнитов.  
 Всей округи шорохи, движения и шумы  
 На бумажной ленте спутались клубком.  
 Дешифровщик Липников откинулся в раздумьи  
 И решенья ищет карандашным остриём.

У прибора — деловитый Губкин.

Балагур Евлашин, на уши по трубке,  
 У центрального щитка и коммутатора.  
 Из других частей телефонистов пятеро.

Наши подмостились на скамейках, на колоде,  
Гости — на полу, едва не на проходе.  
Я вошёл — читал Евлашин что-то,  
Трубок клапаны прижав, зараз шести постам.  
На центральной — свет, пестро, то шутки, то работа —  
Не взгрустнётся здесь. А там  
Спят в землянке, лишь один дежурит потемну,  
Лезут думки разные про жизнь да про жену...  
«Нашу почитал бы!» — «Нашу? Ну, лады.  
Всем постам вниманье! Слушайте сюды!»  
Он читает худо, с перепином,  
Скачет через точки сгоряча,  
Но какой-то силою склонило спины  
И солдаты слушают, молча.  
То расширя светло-карие, то их прищуря,  
По линейке тихо двигая визир,  
С чутким трепетом ноздрей Илюша Турич  
Слушает «Войну и мир».  
Он всегда в сторонке. Он не комсомолец.  
Безучастлив к спорам, к дележам, молчит.  
В знойный день бывает так колодец  
Чист, глубок, до времени укрыт.  
Но рони я слово не казённо, не уставно, —  
Будто что-то у него всплеснётся в глубине, —  
Заблестит взволнованный, открытый мне.  
В батарее он моей недавно,  
Но моим любимцем стал втайне.  
Над планшетом, ватманом молочным  
С голубою сетью тонких линий, —  
Удивительно какой-то непорочный  
И глазами изголуба-синий,  
Замер, слушает, но с циркулем на перевесе  
Ждёт отсчёты отложить, секунды не потратя,  
Круглолицый, розовый, старательный  
Вячеслав Косичкин — Чеся.  
«Что Евлашин там? Опять небось — Толстого?»  
— «Да-к, товарищ капитан, ну до чего ж толково!  
Все порядочки армейские!» — «А, смотр в Браунау!..  
Да. Толстой умел копнуть в толщу.

Погоди-ка, погоди-ка, я вам  
Тоже, кажется, местечко разыщу.  
Эт-то вам не святцы Александра Невского.  
Кто не лопоухий — тот поймёт как раз.  
Вот. Уйду — прочти-ка им рассказ  
Здржинского о подвиге Раевского».

Выстрел!.. Выстрел!.. Пролетели самолёты,  
Где не в пору взялись?  
Мазанули запись...  
Нет уж, Липников — рукой неверной  
Цель неясную не бросит на планшет.  
Сухостью и хваткой инженерной,  
Доконечным, только точным знанием, —  
Чем-то, в чём-то будит он во мне воспоминанья  
Детских благодарных лет.  
Весь — гражданский он. Выискивает в ленте.  
Сорок лет ему. В сержанты мной произведён.  
Далеко, в затолканном, в затисканном Ташкенте  
Одинокую жену оставил он.  
Пишет: «Получила семьдесят твоих рублей,  
И купила тазик ржи немолотой.  
Помнишь ли недуг, каким страдал Чарлей?»  
(А Чарлей-собачка умер с голоду.)  
«Двинем, мальчики!» Визир шкалы логарифмической  
Турича ведёт изящная рука.  
Турич родился от ссыльной политической  
И от правдолюбца-мужика.  
Был отец его и ходоком в Москву.  
Ратовал за власть Советов поперву.  
Но потом его не угодила мерке,  
На крестьянской сходке власть он обругал,  
Закатился с Сожа на Урал  
И женился там на высланной эсерке.  
Сиротой оставшись семилетним мальцем,  
Почерпнул Илюша незаёмных мыслей.  
Стёклышко оставив осторожным пальцем,  
Турич вслух читает Чесе числа.

Чеся ловит числа не дыша,  
 Не мутя дыханьем глади угломера —  
 В этот миг в планшете вся его душа  
 И в растворе циркуля вся вера.  
 Отложить, потом соединить,  
 Три прямых должны б ударить в точку.  
 Гордость фирмы в том, чтоб не успели позвонить:  
 «Слышите? Стреляли из лесочка!  
 Спите? Нержина! Снаряды тут рвались  
 В двух шагах от нас!» — с достоинством на выкрик:  
 «Да давно готово, получите. Икс...  
 Игрек...»  
 ...Чеся, как? Не в точку? Треугольник?..  
 Жаль... Так двести третья цель — пока что не покойник...  
 Подождём повтора, может, даст по-новой.  
 Мне — звонок. Ячменников, с поста передового.

Лейтенант Ячменников командует линейным взводом.

Лих в бою, на переправах, в марше и в разведке.  
 Он — крестьянский сын, пред сорок первым годом  
 Кончивший десятилетку.  
 У него простое русское обличье —  
 Белый вихор, взгляд прямой и нос, широкий книзу,  
 Немудрёные манеры, ласковый обычай.  
 Всю войну мы с ним, и очень он мне близок.  
 Дважды в день мы с ним по своду древних правил  
 Не клонясь, из котелка *таскаем* не спеша.  
 Свой рассказ о нём я б озаглавил:  
 «Русская душа».

Знал он госхлебопоставки, нищий свой колхоз,  
*Добровольность* займов, цену трудодня, —

Знал, — и тут же веровал всерьёз,  
 Что у русских на сердце особая броня,  
 Что душой особою владеет наш Иван,  
 Что венец искусства лётчика — таран,  
 И что «тигры» гибнут от бутылок.  
 Верил он, что у врага — разруха тыла,  
 А у нас — неисчислимые резервы,

Что фашисты — безыдейные наёмники и кнехты,  
 Что добьёт их, голеньких, мороз наш первый,  
 Что моторы станут их, что им не хватит нефти.  
 Пишут — стал быть, правда. Истине противное,  
 Будь оно хоть трижды прогрессивное, —  
 Кто ж решится написать? Не допускал он мысли.  
 Спорили в училище. Доказывал: «Так ысли  
 Разожгёт меня — я и на ДОТ, а что тут дивного?»  
 Но узнав противника, что есть он умный немец,  
 А не эренбургский придурковатый фриц,  
 Добродушный володимерский туземец  
 Стал не жаловать передовиц.  
 Синтетический бензин немецкий в порошке  
 Подержал раздумчиво в руке —  
 Ни полслова больше о ресурсах,  
 Стал читать газетки реже, мене —  
 Памятные, горестные курсы  
 Фронтowych необратимых изменений...  
 Но — и всё. А при других не замутится взгляд,  
 Не обмолвится о мыслях, не дошедших до назреву, —  
 Лейтенант Ячменников ведёт своих солдат  
 С лаской, с твёрдостью, без гнева.  
 Суд да лад, пока там делу течь,  
 А у нас давно с ним понято в пути:  
 «Надо, Виктор, нам солдат беречь».  
 — «Надобно, таащ комбат, солдатов берегти».  
 Сразу никогда не выполнит приказа,  
 А сперва его с песочком перетрёт —  
 Понято: «душа»-то русская — красивенькая фраза,  
 А на фронте — серенький в обмоточках народ,  
 Против книг на фронте всё наоборот.

«Виктор, ты? Ну, что там слышно-видно?»  
 — «Так, ракеты, пулемёты, всё по мелочам.  
 Ну, натянута и у него солидно,  
 Двигается по ночам».  
 — «Я звонил тебе, ты где был?» — «Тут один сапёр...  
 Был у нас забавный разговор».

— «Что же он?» — «Да тоже работёнка...»  
— «Офицер?» — «Сержант. Но знает дело тонко.  
Ну, не всё по телефону... Ну, намёк —  
Добрым молодцам урок.  
В общем, гонят их для завтрашней пехоты  
Мины поснимать, открыть проходы.  
От ракет — как днём. Убийство. Где же проползть им  
Под колючку самую? Всё видит немчура.  
— Не вернёшься! — Ворочусь.  
— Да как же? — Очень просто.  
За секрет поставьте полведра.  
— Сами бедствуем. — Ну, ин и так.  
Видишь, говорит, читал я умную статью.  
Хоть писал её полковник, но дурак  
Он на простоту мою.  
Пишет, мол и мол, что оттого теперя  
Наши уменьшаются потери,  
Что проходы по науке делаем, как лучше,  
Минные предполья научились обезвреживать.  
Не пришлось тебе, я думаю, голубчик,  
На нейтральной зоне леживать.  
Вас туда сгонять бы раз, писателей...  
У меня, вишь, сумка полная —  
отвинченных взрывателей  
Минных-то, немецких! Я хоть и скотинка,  
Да ведь жизнь — у всех одна.  
Чем на смерть на верную — перележу в лощинке,  
Ворочусь и высыплю им — нате!  
Ну, а завтра? — Завтра? Проведу слона,  
Лишь бы не сегодня. Ты возьми в понятие:  
Завтра артиллерия всё поле перепашет,  
Хоть телегой едь, уж я имею опыт.  
По одним воронкам я пехотку нашу  
Проведу галопом».  
— «А ведь парень прав». — «Куда как ходок!  
Выпьем за науку, мол, за Академию!  
Хорошо и мне — вишь на груди колодок,  
Да и им — на сотню тысяч премия.  
Спи, родная мама, не печалься:

Главный враг — не немец, главный враг — начальство!..  
 Сверху там не жмут?» — «Пока что нет». — «Так я усну?»  
 — «Ну-ну».

Смена на ЦС. Час ночи на приборе.  
 Новые пришли. Сменившиеся тут.  
 Не расходятся. У каждого во взоре... —  
 Ждут.

Так... Ну что ж, ребятаки?  
 Всё у нас готово. Всё у нас в порядке.  
 Карта с целями. На цели картотека —  
 Тип. Калибр. Состав. Когда стреляла. По сколькú.  
 Батарею каждую, как человека,  
 По неосторожному узнали дневнику.  
 Долгих сверочных анализов итог  
 Да поправок *метео*, привязок *топо*...  
 Всё в порядке, а?.. Не то... Не то...  
 Понимаю, мальчики: Европа!  
 Нам не новы — наступленье на побитых áвто,  
 Переезд клочка земли ничейной —  
 Но багрец невиданного Завтра  
 Озарил солдатские очелья.  
 Будних серых дней прорвав оболочке,  
 Змеями-лучами жалит ваши лица  
 Злобное, завистливо ликующее солнце —  
 Солнце Аустерлица.  
 Утро роковое. Мы — на переломе.  
 Не речушку перейдём — мы переступим бездну.  
 Смотрит на меня горящим взглядом Сомин.  
 Что тебе, сержант с решимостью железной?  
 Немцы у тебя убили мать,  
 Старика-отца повесили, сестру угнали, —  
 Я не знаю слов, чтоб в этом утешать.  
 Взялся утешать тебя Иосиф Сталин.  
 У него хорошенькое средство есть,  
 С осени оно тебе возвещено.  
 Утешенье это — месть!  
 Всё разрешено!!

Всё дозволено солдату на земле германской:  
Девушек насиловать и обирать гражданских,  
Угонять коров и польхаться пожаром —  
Трижды с осени парторги, комиссары  
Собирали, толковали, заставляли выступать,  
Заводили как святыню батарейную тетрадь  
«Счёт врагу» — и цену пролитых и выдуманных слёз  
Вы туда вносили собственной рукой.

Сомин: «У меня, товарищ капитан, вопрос».

— «Да. Какой?»

— «Остаётся в силе, что во вражеской стране

Мы расплатимся с фашистами до корки?»

— «Видишь ли... вопрос, по сути, не ко мне,

А... к парторгу».

Старшина Хмельков — таким талантам рады  
Командиры — плут и быстроглаз, на сделки — леопард,

Артистически обманывает склады

На американскую тушёнку и на лярд,

И бензин достанет, и ботинки спишет,

Плексигласу тяпнет и припрячет хром, —

Век такой партийный! — выбран выше —

Парторганизатором, духовным главарём.

Неохотно кашлянул, скосился. Я — ни бровью.

Чёрт ли? — думает, — ну, кто в себе уверен?

«Приезжали ж... Разъясняли ж... только кровью

Мы расплатимся с фашистским зверем».

Кто-то хочет что-то, перебив,

Но Хмельков уже долбит с авторитетом:

«За непоступленьем новых директив,

Руководствоваться — этой!»

Этой? И тотчас же с радостной ухмылкой

Тянется Евлашин: «А посылки?

А с посылочками как, товарищ капитан?

Остаётся в силе?

Эх, сестрёнки бы мои мадепалан

Всей деревне на завидки поносили!»

Да. Объявлено. Подписан вексель,

Что Победу можно отоваривать.

Юноши поводливые! Легче ль

Оттого мне с вами разговаривать?  
 «Как с посылками? Ведь ты ж ещё не там.  
 До границ германских ты ещё дотопай».  
 — «А дойдём?» — «Так шлите по пять килограмм,  
 Но стесняйтесь, братцы, пред Европой! —  
 Выбирайте с толком, не тащите рухлядь,  
 Да берите незаметно, аккуратно, умно...»  
 — «Ну, товарищ капитан, ну — как? Ну, скажем, — туфли?  
 И опять же, скажемте, — отрез костюмный?»  
 Губкин: «А приёмник можно?» — «Вообще-то можно...  
 Хрен его... а может и нельзя?..  
 Поживём-увидим. Наперёд-то сложно.  
 Спустят нам инструкций тысячу, друзья...»

Турич — у меня. Ух, печка-то, чертяка,  
 Прогорела, на тебе поленце!  
 Хватит, нарубили лесу у поляков,  
 Скоро, брат, нарубим дров у немцев.  
 Смуглый жар под пухом щёки золотит.  
 Током, бьющимся под кожей, налит  
 Лоб обтянутый, бороздкой первою просечен.  
 Он — не юн уже. Таких — не гнали с веча.  
 «Хорошо, что ты пришёл. Не всё же быть нам вместе.  
 Может быть, расстанемся, сказать и не успеется:  
 Турич! Пронеси сознание гордости и чести  
 Перед европейцами.  
 Помни, что в Европе растревоженной,  
 Где не так уж часто русские гостят,  
 Каждый наш поступок, в тысячах размноженный,  
 Как легенда станет. Нам простят,  
 Нам простили бы наш нищий вид наружный,  
 Локти драные, обмотки прелые,  
 Если б мы прошли как гордые, как зрелые  
 Сыновья страны великодушной.  
 Если б сдержанно прошли мы сквозь Европу,  
 Не прося подачек на убогость нашу,  
 Если б наш рязанский недотёпа  
 Ванечка Евлашин  
 Дать понять союзникам бы мог

À propos\*, меж тостов двух за столиком,  
 Что из многих путаных дорог  
 Мы нашли свою ценой ошибок стольких.  
 Что жалеть не надо нас, что всё нам ведомо,  
 Что — сердца, порывы, души вскладчину, —  
 Этой самой раскалённою Победою,  
 Воротясь домой, мы выжжем азиатчину.  
 Вот о чём я думаю — надменным, сытым, им  
 Хоть бы изредка, хоть искрами, но показать,  
 Что Россию, даже прокажённую, — чужим  
 Мы не разрешаем презирать.  
 Но ведь он не сможет, даже если  
 Этому всему его я научу.  
 Да и как учить? Во многом сам на перекрестьи,  
 Сам не знаю я, чего хочу...  
 Родина зовёт своих солдат к победной мести...  
 Пусть идут! И я иду... И я — молчу».  
 «Как же можно так, товарищ капитан?  
 Понимать! Иметь в руках оружие войны!  
 И — не действовать? Зачем тогда нам разум дан?  
 Для чего же — чувства нам даны?»  
 — «Для чего?... Не знаю. Я — историк. Я хочу — понять.  
 Понимать и действовать — несовместимо.  
 Нет, не так! Готов бы я гранатами швырять —  
 Если б только рассчитаться мне с самим собой:  
 Этот путь у Революции — один? неумолимо?  
 Или был — другой? ..»

Вышел, удручённый... Как им объяснить,  
 Что всегда так было, что от веку идёт  
 Свойство памяти людской: всё прошлое хвалить,  
 В настоящем лишь дурное видеть.  
 Легче нет кричать: — Возьми его!  
 Гарцевать, травить: — Ату!  
 Но безмерно трудно выявить  
 Доводов чеканных чистоту,  
 В вековой клубящейся глубини

---

\* Между прочим (франц.).

Различить: *to be or not to be?*  
 Как пред сфинксом, я стою пред государством,  
 Водянистые глаза его не говорят:  
 Убивать — или лечить? Реформы и лекарства —  
     Или меч и яд?  
 На столе — процесс Бухарина-Ягоды  
 И четырнадцатый съезд ВКПб...  
 Пролегли запутанные эти годы  
 Тайным шрамом по моей судьбе  
 И угрозой тайной: берегись!  
 До чего живу я опрометчиво! —  
 Вот войдут, откроют ящик из-под гаубичных гильз —  
     Кончено! Добавить нечего!  
 Книг!.. — запретных и допущенных,  
     больших и маленьких...  
 Кто из них, поскольку и куда прав? —  
     Холодно-жестокий Савинков?  
 Ленин — изгоряча, иссуха шершав?  
 Князь Кропоткин, снова нелегальный?  
 Карл Радек, талмудист опальный?  
 Пламенно пророческий Шульгин? —  
 Страшно мне! И кажется: я в зале театральном,  
     Я сижу один.  
 Некому шептать, опахиваться, шаркать,  
 Аплодировать и гневаться из кресельных рядов, —  
     Зал пустынный пышен и суров.  
 Раздвигается тяжёлый красный бархат,  
     И актёры, вставши из гробов,  
 Предо мной играют запрещённую в премьере  
     Дивную, неведомую пьесу, —  
 Никого в амфитеатре, никого в партере,  
     Не колыхнет шёлком по портъере  
     И не скрипнет кресло.  
 Надо всё запомнить — эти пантомимы,  
     Эти тайны комнат, эти монологи, —  
 Задыхаюсь и не знаю — выйду невредимым  
     Или буду скошен на пороге.  
 Вправду ль я один, или из Главной Ложи  
     Эту пьесу смотрят тоже,  
 И меня заметили, и на меня кивнули Смерти?..

...Книгу, где читаю, раскрываю. Вложен  
Свёрток с почерком знакомым на конверте.  
Мой Андрей! Какое колдовство,  
Что на фронте трёхтысячевёрстном  
Под Орлом на Неручи я повстречал его,  
И с тех пор, как праздник, привелось нам —  
То заскачет он ко мне наверхове,  
То заеду я к нему на «опель-блиitze», —  
Мысли-кони застоялые играют в голове,  
И спиртной туман слегка клубится.  
...Трупной гнилью на просёлках пахло,  
Избных пепелищ, пшеничных копен гарь...  
Так откуда ж снова радостная на́хлынь  
Горячит нам грудь и голову, как встарь?  
Столько пройдено в немного лет,  
Столько видено и взято наизвед, —  
Но по-прежнему в какой-то точке круга —  
Книга, стол, и мы друг против друга —  
Никого на свете больше нет.  
Пусть в патроне сплюсненном коптит фитиль,  
В двух верстах — трясенье на краю переднем,  
Ближе — сходимся — яснеем — и  
Запись отточённая о выводе последнем.  
Мой Андрей! Всегда с тобой мы будем  
Два орешка одного грозда.  
Что за диво — сходство наших судеб?  
Что за чудо — где бы и когда  
Мы ни встретились, как трудно, как не прямо  
Ни легли б за нами долгие пути, —  
До чего доходишь ты умом упрямым,  
До того чутьём измученным дойти  
Выпало и мне. Вот год с последней встречи,  
Раскружило, раскидало нас далече,  
Но держу письмо. Не только что по шифру,  
По разбросанным невинным цифрам,  
Где искать тебя, я вижу сразу, —  
Но язык письма условный,  
Как биенье жилки кровной,  
Подбодряет одинокий разум.  
Пишешь: «Долго думал я и вижу, что Пахан

Злою волею своей не столько уж ухудшил:  
 Жребий был потянут, путь был дан,  
 И другого — мягче, лучше —  
 Кажется, что не было. Какой садовник  
 Вырастил бы яблоню из кости тёрна?  
 Так что, кто тут основной виновник, —  
 Встретимся — обсудим. Спорно».

Друг мой, друг! Твои слова тяжки.  
 Если это так, то ведь отсюда мысль какая?!  
 Ведь тогда!.. — и я рывком руки  
 Одержимое перо макаю:  
 «Но тогда, снимая обвиненье с Пахана,  
 Не возводим ли его на Вовку?» (сиречь — Ленина).

«Коротко: а не была ль Она  
 Если и не нужна,  
 То по меньшей мере преждевременна?..»  
 Сколько жив — живу иных событий ради,  
 У меня в ушах иного поколения набат!  
 — Почему я не был в Петрограде  
 Двадцать восемь лет тому назад?  
 В грозный час, когда уже возница  
 Горячил, чтоб трогать, я —  
 Я бы бросился под колесницу,  
 За ноги коней лоя.

«Кто здесь русский? стой!! — по праву смерти  
 Я бы крикнул им из-под подков, —  
 Семь раз семь сходите и проверьте —  
 Путь каков?!

Жили вы в Швейцариях — живали ли в народе?  
 Вы — назад ли знаете, не то что — наперёд...  
 Ваше солнышко красно восходит —  
 Каково взойдёт?..»

Мысли обращаются в раздумьи невесёлом,  
 Я пером по ходу их слезу, —  
 Вдруг — ударом, вдруг — уколом  
 Отдаётся в голову: пишу —  
 Что? Безумцы! Что? В капкан  
 Сами лезем головой горячей:

Вовка, путь, обсудим, экономика, Пахан...  
Попадётся цензор не чурбан, —  
Как это прозрачно!  
И движенье первое — порвать!  
И второе — что уж! в этом роде  
Чуть не год приходится писать —  
Ничего, проходит.  
Наши хитромудрые цидули  
Девочки цензурные ну где же разберут?  
Сколько пишем — не изъяли, не вернули, —  
Э! да что нам пули?! —  
Нас снаряды не берут!..  
Кончено. Заклеено. Последняя работа.  
Спать! Устал! Нет, будто что-то... что-то...  
Так и есть! Тяжёлыми томами,  
Всем, что на столе, привалены,  
Еле уловимыми духами  
Пахнут листики письма жены.  
Что-то я ответить ей обязан,  
Перед тем как замолчу на много дней.  
Но зачем, зачем не сразу,  
Размягчённый, я ответил ей?..  
Сколько помню, я всегда таким был мужем:  
Мне хватало времени на всё —  
На науку, на друзей, на споры и на службу —  
Только не хватало для неё...  
Да взглядеться: и её наш прожитый годок —  
Не увлék.  
Голову тяжёлую склоняя  
И, безсильный выбрать лучшие из слов,  
Я пишу: «Письмо твоё, родная,  
Получил. Живу по-старому. Здоров».  
И конечно же, конечно нужно ей  
Одобренья, восхищенья поверх слов моих,  
А пишу: «Пока что новостей  
Никаких».  
Ждёт и просит нежно-задушевного,  
Надолго хранимого, не однодневного, —  
В нём бе плоть и кровь моя! — письма, —  
Что писать? .. не приложу ума.

Крут излом от фразы к фразе.  
 И долит мне голову дрема.  
 Ни счастливой лёгкости, ни связи  
 Нет! И первое движение — порваты!  
 И второе — лучшего не выйдет, Бог с ним.  
 «Много надо мне тебе сказать,  
 Да уж, видно, после...»  
 Так в цепи мужских морочных дел  
 Не теряю ли я в женщине и друга?..  
 На сегодня я перегорел,  
 А на завтра — огневая вьюга...

Стук. — «Да, да!» Передо мной  
 От ходьбы румяный, свежий, —  
 Автомат под плащ-палаткою, — из штаба посылной,  
 Обметённый пылью снежной.  
 Взмах к виску. Пакет. Глаза у мальчика блестят.  
 Сургучи в углах коричневеют:  
 «Объявить в четыре пятьдесят  
 Личному составу батареи».  
 Рву пакет. Листовок россыпь.  
 Обращенье к Фронту перед боем.  
 И с невольными мурашками морозца  
 Я читаю стоя:

«Солдаты, сержанты, офицеры и генералы! Сегодня в пять часов утра мы начинаем своё великое последнее наступление. Германия — перед нами! Ещё удар — и враг падёт, и бессмертная Победа увенчает наши дивизии!..»

Что со мною?  
 Бал Истории! Ожившие страницы!  
 Маршалов алмазных вереница...  
 Чья-то мысль, орлом нависшая над картой...  
 Бар-р-рабаны!!! Выклик Бонапарта:  
 «Это — солнце Аустерлица!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ  
ПРУССКИЕ НОЧИ

*Потоптали храбрые поганых...  
По полю рассыпавшись, что стрелы,  
Красных дев помчали половецких.*

Слово о Полку Игоре

Расступись, земля чужая!  
Растворяй свои ворота!  
Это наша удаляя  
Едет русская пехота!  
Холмик, падь, мосток и холмик —  
«Стой! Сходи! По карте — тут».  
Будет злая ведьма помнить  
В небе зимнем наш салют!  
Столько лет всё ближе, ближе  
Подбирались, шли, ползли, —  
«Бат-гарея! Слушай! Трижды  
В небо прусское пали!!»  
Шестьдесят их в ветрожоге  
Смуглых, зло-весёлых лиц.  
«По машинам!.. По дороге!  
На Европу! на-вались!!»

Враг — ни запахом, ни слухом.  
Распушили пухом-духом!  
Эх, закатим далеко!..  
Только что-то нам дико  
И на сердце не легко?  
Странно глянуть сыздаля,  
А вблизи — того дивней:  
Непонятная земля,

Всё не так, как у людей,  
Не как в Польше, не как дома:  
Крыши кроют — не соломой...  
А сараи — как хоромы!  
Как обрезало по мете —  
Вьётся путь по незнакомой,  
По неизвестной планете...  
Не по нашей русской мерке  
Отработаны, шалишь,  
Крутоскатных, островерхих  
Колпаки высоких крыш.  
А и нам бы так годится,  
Зря ругнули сгоряча —  
Черепица, черепица,  
Башни, теремы да шпицы,  
Да дома из кирпича.  
Эт' и нам бы не плачевно,  
Эт' и нам бы по душе:  
Что *сашá* — через деревню,  
Что деревня — на *саше*.  
Тёмным клубом из-за леса  
Низко тучи наплывают,  
Зимних сумерок завеса  
Мглою к сердцу подступает.  
Ночь долга, а день недолог.  
Что дрожит там в гуще ёлок?  
Нет ли немцев? Что-то чудно,  
Что-то слишком уж безлюдно.  
Там вон, в хвое... вроде — двое?..  
Чтоб душа была в покое —  
Зажигай дома, братва!  
Эх, займётся живо-мило! —  
Да не снизу! под стропила!  
Под стропила, голова!  
Пусто ль ехать нам, ребятки,  
Немцу память не оставив? —  
Без команды, в беспорядке,  
Там и сям, гляди — десятки  
Дымно-красных мутных зарев.  
Ну ж и крепко! ну ж и ловко

Отомщаем мы врагу!  
Всё в огне! Ищи ночёвку!  
Видно, спать нам на снегу...  
Ладно, нам выходит туго,  
Ну и ехали ж не зря! —  
Расцветает над округой  
Небывалая заря!  
И несётся наша лава  
С гиком, свистом, блеском фар —  
Кляйн Козлау, Гросс Козлау —  
Что деревня — то пожар!  
Всё в огне!! Мычат коровы,  
Заперты в горящих хлевах, —  
    Эх, милаши,  
    Вы не наши!  
Нам самим бы по здорову...  
И направо, и налево  
Вьются, рвутся, пляшут змеи!  
С двух сторон взвилось столбами,  
С двух сторон сплелось над нами —  
Пылью огненной, звездами,  
Искрой, блёсткой, головнями  
Так и сыпет нам на шею.  
Ветер огненный по школе  
В книгах рыскает, голодный.  
Самодельно крыты толем  
Шесть машин моих походных...  
Нам самим бы не сгореть тут!  
На подножку! Смех и грех.  
И кричу в румяном свете:  
«По махальщику — наверх!»  
Взобрались. Полой шинели  
Машут, пашут, отметают.  
Ну, спасибо, пролетели!  
Ухо-парни, службу знают.

Площадь. Сгрудились машины.  
Жили, дьяволы, богато!  
Вот когда вы, именины  
Неизвестного солдата!

Шнапс хлобьщут из бутылки,  
Тащат смокинги в посылки —  
Что ты будешь с солдатнёй!..  
Кто-то скачет на кобылке,  
Крестит небо головнёй.  
Разбрелись, пируют, шарят...  
В лица пышет, в лица жарит.  
В золотом огне сгорев,  
Крыша рухается в хлев.  
Из-под новых тёмных кровель  
Валом валит чёрный дым —  
Завоёванного кровью  
Никому не отдадим!  
Кто-то, руки в растопырку,  
Загонявшись, ловит кур —  
И над всем возносит *кирка*  
Свой готический ажур.  
Д' ну ж и жарко! Д' ну ж и ярко!  
Как при солнце, словно днём.  
Как бы *кирку* нам под арку,  
Вон под верхнее оконце,  
Подцепить бы язычком?  
Пир и власть! Ликует хаос!  
Ничего душе не жаль!  
Кто-то выбил дверь в *Gasthaus*\*  
И оттуда прёт рояль.  
В дверь не лезет. И с восторгом  
Бьёт лопатой по струнам:  
«Ах ты, утварь! Значит, нам  
Не достанешься, бойцам? —  
Не оставлю военторгу,  
Интендантам и штабам!»  
Кто-то бродит беззаботно —  
Знатно хряпнул, развезло, —  
И со звоном, палкой, в отмашь  
Бьёт оконное стекло:  
«Где прошёл я — там не буду!  
Бей хрусталь, дроби посуду!

---

\* Небольшая гостиница с рестораном (нем.).

Вспоминайте молодца!  
Добро ль, худо ль, янки-дудль!  
Лам-ца-дрица! лам-ца-ца!»  
Рвёт и рвёт, как склад патронов,  
Черепицу сгоряча.  
Вдоль деревни запалённой,  
Красным светом озарённый,  
Сыпет Ванька ублажённый  
И — в гармонику сплеча:  
«Ра-азменяйте мне сорок миллионов  
И купите билет до Сергача!..»  
Знай — лады перебирает!  
И коровы умирают,  
Обезумевши мыча.  
«Заплатил братан мой смертью,  
Заплатить бы мог и я...»  
«По машинам! Что вы, черти?!  
Впереди — добра, друзья!»

И — к пожару от пожара,  
Снег под скатами буря,  
И выхватывают фары,  
Мёртвым светом серебря,  
Нескончаемую просадь  
Буков, липок и дубков,  
Гильзы, ящики набросом  
И обломки передков.  
Снова зарево растёт.  
Локоть — мостик — поворот —  
Всё в огне! Но чудеса:  
Заводские корпуса  
Пощадили небеса  
И столпившийся народ  
У распахнутых ворот.  
Мне стучит в стекло кабины  
Старшина неутомимый:  
«Разрешите выслать взвод  
На разведку в спиртзавод?  
Десять новеньких канистров  
У меня, вишь, заваялись...»

«Но ни капли в рот! И быстро!»  
«Для науки! на анализ!»  
«Знаешь, там этил, метил...»  
Но уже он соскочил.  
Взявши в руки большемерный  
С долгим черенком черпак,  
Ловко взлазит на цистерну  
Старый бес, седой казак.  
Помахал толпе папахой,  
Окрестился вольным взмахом:  
«Помолитесь, христиане!  
Умираю ради вас!» —  
Зачерпнул — понюхал — глянул —  
Опрокинул словно квас.  
Крякнул, вытер сивый ус.  
    «Ух, чертяка,  
    И спиртяка!..  
Навалитесь, добры люди!  
    Хоть за вкус  
    Не берусь, —  
Горяченько будет!»  
Не дослушав, повалили, —  
Ай, спасибо казаку!  
Комиссары — разрешили!  
Трибуналы — в отпуску!!

Снова катим, снова катим  
По пылающей стране,  
И мотив из Сарасате  
Так и въётся в уши мне —  
Неотстанный, непоборный  
Зов лукавый, не военный:  
    «Этот веер чёрный!  
    Веер драгоценный!»  
Величаво и зловеще  
Труд пылает вековой.  
Пламя плещет, пламя хлещет  
У меня над головой.  
То багрово, жирно, жадно  
Языком махнёт в окно,

То над башенкой оно  
Расположится нарядно,  
Златоструйно, многоскладно,  
Огневое полотно.  
И опять он, и опять он  
Из-за чёрно-красных пятен  
Зол, торжественен, понятен,  
Соблазнительно игрив  
Тот же дьявольский мотив,  
Тем же крадущимся скерцо  
Всё сильнее, всё сильнее —  
«Ну какое сердце  
Устоять сумеет?..»

Что ж, гори, дыми, пылай,  
Трудолюбный, гордый край!  
Средь неистовства толпы  
Мести в сердце не ношу:  
Не сожгу в тебе щепы  
И дворца не погашу.  
Я пройду, тебя не тронув,  
Как Пилат, омыв персты:  
Меж тобой и мной — Самсонов,  
Меж тобой и мной — кресты  
Русских косточек белеют...  
Чувства странные владеют  
В эту ночь моей душой:  
Ты давно мне не чужой.  
Нас с тобой сплело издавна  
Своевольно, своенравно.  
Шли в Берлин прямой чертой —  
Я с надеждой, с беспокойством  
Озирался — не свернуть бы...  
Я предчувствовал, *Ostpreussen*\*,  
Что скрестятся наши судьбы!  
Там, у нас, погребено  
Пылью лет, архивов тайной  
То, что вами внесено

---

\* Восточная Пруссия (нем.).

Спесью башен в Хохенштайне,  
Что забыть мне не дано,  
Знать и помнить велено:  
Как Четырнадцатым годом  
Вот по этим же проходам —  
Межозёрным дефиле,  
Вот по этой же земле,  
В шесть солдатских переходов  
От снабженья, от тылов,  
За Париж, за чудо Марны  
Гнали слепо и бездарно  
Сгусток русских корпусов;  
Без разведки и без хлеба  
Гнали в ноги Людендорфу,  
А потом под синим небом  
Их топили в чёрном торфе.  
Шедший выручить, от смыка  
Был отозван Нечволодов...  
— Затая в себе до крика  
Стыд и боль того похода,  
В храмном сумраке читален,  
Не делясь, юнец, ни с кем,  
Я склонялся над листами  
Пожелтевших карт и схем.  
И кружочки, точки, стрелки  
Оживали предо мной  
То болотной перестрелкой,  
То сумятицей ночной.  
Жажда. Голод. Август. Зной.  
Дико вскинутые морды  
Рвущих упряжь лошадей —  
И не части — орды, орды  
Обезумевших людей...

А теперь несётся лава  
С гиком, свистом, блеском фар:  
Виндткен, Ваплиц и Орлау, —  
Что деревня — то пожар!  
Треплют, роют и ворошат,

Самоходки стены крошат.  
В прорву проволоки и надолб,  
Поверх сровненных траншей  
Валит русская громада  
Жерл, моторов и людей!  
Только-только осветило  
Лес и поле серым светом, —  
Небо всулошь кроют «илы»  
К немцу с утренним приветом,  
Гулом радостным победы  
Полнят душу, дразнят слух...  
Пушки-гаубицы едут  
*Ста-пятидесяти-двух.*  
Чтоб поспеть, не спя ночами,  
Тракторами-тягачами  
Тарахтят без остановки —  
Сколько вешишь, там не спросят;  
Лихо, вихрем, левой бровкой  
«Студебеккеры» проносят  
Лёгкой стайкой трёхдюймовки:  
«Эй, труба! Конеч держи!»  
На *три четверти* «доджи»  
Прут и прут *сорокапятки* —  
Те, что с горечью ребятки  
«Прощай, родина!» зовут.  
Вперебой им, там и тут,  
Шатко, валко, вперепрыжку  
По раскатанной земле —  
Миномёты-коротышки  
За задками «шевроле».  
А для самой модной драки,  
Кто не видел — посмотри, —  
Тянут янки-автотраки  
Пушки русских «БС-три» —  
Друг за дружкой, друг за дружкой  
Катят новенькие пушки —  
Долгоствольны, дальнобойны,  
Нет таких ещё нигде,  
До прорыва бьют спокойно

С огневых, как АДД\*.  
Чуть прорыв — туда их ветром,  
На наводочку прямую, —  
«Тиграм» на два километра  
Прошибают лобовую.  
Поздний плод большой науки,  
Прут «И-эСы»\*\*, танки-щуки.  
Снявши с рельс своих полотна,  
Чередой, впритирку, плотно,  
Не идут — плывут заботно  
С полным грузом спелых мин  
Три восьмёрки катерин.  
Год назад оравы пешей  
Что тянулось вдоль шоссе! —  
Умудрил теперь их леший —  
На машинах вся и все!  
Обнаглевшая пехота  
Переделалась на мото:  
Пулемёты и пожитки,  
Бронебойки и зенитки,  
Связь и хим-, дери их прах, —  
Всё уселось в кузовах!  
Нет пути! Дорогу ширя,  
Целиной гремит в обгон  
Танков «Т-тридцать четыре»  
Безшабашный эшелон —  
Снег и землю с лязгом роет.  
Мчат казаки конным строем,  
С красным ленточьем лампасов,  
Остро вскинув плечи в бурках, —  
С каждым часом, с каждым часом  
К Найденбургу! к Найденбургу!

В Найденбурге рвёт огонь  
Добрый камень старой кладки.  
Город брошен в беспорядке,

---

\* Артиллерия дальнего действия.

\*\* Танк «Иосиф Сталин».

Взят в наживной лихорадке  
И, за немцами вдогон,  
Тут же брошен, снова взят  
Новой лавою солдат.  
Ни гражданских, ни военных  
Немцев нет, но в тёплых стенах  
Нам оставлен весь уют,  
И, сквозь дым, сквозь чад, сквозь копоть,  
Победители Европы,  
Всюду русские снуют;  
В кузова себе суют:  
Пылесосы, свечи, вина,  
Юбки, тряпки и картины,  
Брошки, пряжки, бляшки, блузки,  
Пишмашинки не на русском,  
Сыр и круги колбасы,  
Мелочь утвари домашней,  
Рюмки, вилки, туфли, мебель,  
Гобелены и весы, —  
А на ратуше, на башне,  
Прорываясь в дымном небе,  
Уцелевшие часы  
Так же честно мерят время  
Между этими и теми,  
Меж уходом и приходом,  
Тем же ровным-ровным ходом,  
Лишь дрожат едва-едва  
Древних стрелок кружева.  
Стройной готики обвалы  
В дымной гари — как завалы,  
Узких улиц поперёк.  
Пробки, сплотки и заторы,  
Тем не к спеху, этим скоро —  
По ступенькам, на порог  
Прут российские шофёры,  
Перекосом, залихватски,  
Набекрень, — пройдем везде! —  
Мы привычны к азиатской  
Тряске, ломке и езде!

Угол улиц. Кем-то встарь  
 Втащен, брошен здесь дикарь —  
 В сто пудов валун скалистый.  
 Из него, сечён резцом,  
 Выступает хмурый Бисмарк  
 С твердокаменным лицом.  
 А под Бисмарком стоит  
 Чудо-юдо рыба-кит —  
 Сколько едем, вширь и вдоль,  
 Ну, такого не видали:  
 Вынес русским хлеб да соль —  
 Гля! — немецкий пролетарий!  
 Да с салфеткой, да на блюдо...  
 — Что ты вылез? — Ты откуда?  
 — Пекарь, что ли? — Ладно, ехай!  
 — Он живой? — А ну, пошпрехай!  
 Может, кукла?

На вопросы

Распрямляется в ответ:  
 — «Их бин коммунист, геноссен!  
 Я вас ждал двенадцать лет!»  
 Лейтенант затылок чешет:  
 Может, враг, а может, свой,  
 Может, правда, может, брешет,  
 Трать на них, собак, конвой...  
 «Отведите в полковой!»

Фронт волною, фронт волною...  
 Дома в два зайти конвою,  
 Шкаф прошарить и столы —  
 И у этой же скалы  
 Из седла не обернётся,  
 Карту смотрит капитан.  
 А у немца сердце бьётся:  
 «Хёхсте фрэйде! Роте фаан?...  
 КПД унд ВКП...»  
 Перевёл ремень бинокля, —  
 «Где ты взялся, будь ты проклят?  
 Отвести на дивКП!»

«Ну, пошёл! С тобой тут, с фрицем!»  
...Фронт катится, фронт катится...  
Тот же Бисмарк, тот же угол,  
Но в сомненьи и в испуге  
Угасает немца взор.  
«Вен их мёхте майне лебен,  
Майне крэфте... их... зозбен...»  
«Гад. Шпион. Завёл молебен»,  
Пишет в «виллисе» майор:  
«СМЕРШ. С приветом. Соловьёву.  
Шлю какого-то чумного.  
Разберись там, оперчек,  
Что за чёрт за человек».  
Морщит лоб суровый Бисмарк.  
Ветром дым относит быстро.  
Канцлер глыбу, как ковчег,  
Словно взяв её навздым,  
Высоко несёт сквозь дым.  
И отводят коммунара  
От подножья валуна.  
Он кричит мне с тротуара:  
«Гнэдиг' хэрр! Моя жена...  
Геринг-штрассе цвай-унд-цванциг...  
Диз' унвюрдиг' комёди...  
Я вернусь...»

Вернёшься, жди!..  
Иностранцы, иностранцы!  
Ой, по нам, младенцы вы.  
Ой, не снести вам головы!..

Цвай-унд-цванциг, Геринг-штрассе.  
Дом не жжён, но трёпан, граблен.  
Чей-то стон, стеной ослаблен —  
Мать — не на смерть. На матрасе —  
Рота? взвод ли побывал? —  
Дочь-девчёнка наповал.  
Сведено к словам простым:  
*Не забудем! Не простим!*  
«Кровь за кровь и зуб за зуб».

Девку — в бабу, бабу — в труп.  
Окровлён и мутен взгляд.  
Просит: «Тёте мих, зольдат!»  
Уж — темна. Не видно ей:  
Я — из них же, я-то — чей?  
Нет для вас больниц, врачей.  
Сплав стекла в местах аптек.  
День сереет. Тает снег...  
Жил да был партай-геноссе,  
Не последний и не первый,  
Легший гатью под колёса,  
Под колёса Коминтерна.  
Красный ход державный, славься,  
Мне сейчас бы трахнуть шнапса.  
А ещё повеселее —  
Закатиться по трофеи.

На ловца и зверь бежит:  
Мимо почты путь лежит.  
Этот корпус трёхэтажный  
Через час огонь охватит,  
А запас, запас бумажный! —  
Век пиши и на век хватит.  
Хоть пригладь её щекою,  
Хоть сожмурься, так бела, —  
Я б с бумагою такую  
Не поднялся б от стола.  
Придиришь, — чего здесь нету,  
Канцелярская душа! —  
Всякой жёсткости и цвета  
Триста три карандаша —  
Не щепятся, не занозны,  
Древесина их мягка,  
Без усилий, грациозно  
Нажимает их рука.  
Кох-и-Нор, почтенный Фабер —  
Век Европе послужил.  
— Ну, а если бы теперь я  
Понемножечку хотя бы —

Эти ручки, эти перья,  
Эту радугу чернил  
В пузырьках с притёртой пробкой,  
Эти скрепки, сколки, кнопки,  
Папки, книжечки, коробки —  
Да в машину погрузил? —  
Покраснею ль от стыда?  
Как я жил? Бумаги гладкой  
В ученической тетрадке  
Я не видел никогда:  
Перья рвут её, скребут,  
В грязь до дыр резинки трут,  
Словно лимфа крокодила,  
Водянистые чернила —  
И они на ней плывут!  
Грифель — глина; чинишь, чинишь —  
Вдруг насквозь весь грифель вынешь,  
Купишь мягкий, «В», зараза, —  
Режь им стёкла, как алмазом!  
И мертвеет вдохновенье,  
Мысль роняешь камнем ко дну, —  
Как же мне без восхищенья  
В этот зал войти сегодня?  
Как искатель кладов рыщет,  
Обезумев, по пещерам,  
Так хожу здесь алчный, нищий,  
Лишь одетый офицером.  
Уж теперь, когда пришёл к ним,  
Только пальцами прищёлкну —  
То — забрать, и это — тоже!  
Перед кем краснеть я должен?  
Я б указчика такого,  
Да послал пожить в Союзе!..  
«Старшина! Вот это всё вот  
Пусть ребята грузят в кузов».

А пока тащат и валят,  
Узкой улкой, нам в обгон,  
В дымке смеси, в лязге стали

Мчится танков эшелон.  
А пока мотор заводят,  
Левым боком нас обходят,  
Чтоб поспеть подальше к ночи,  
Всё, что взято, приторочив,  
Бросив всё, что не с руки,  
Удоволены победой  
И гулянкой, и обедом,  
Ухмыляясь, казаки.  
В нашей жизни беспокойной —  
Нынче жив, гляди — убит,  
Мил мне, братцы, ваш разбойный  
Не к добру весёлый вид.  
Выбирали мы не сами,  
Не по воле этот путь,  
Но теперь за поясами  
Есть чем по небу пальнуть.  
Так не зря же, так не жаль же,  
Худо-бедно наворачиваем!  
Скачем дальше! Катим дальше!  
В Алленштайн! В Алленштайн!

Алленштайн только взят,  
Взят внезапно час назад  
Конно-танковым ударом,  
Ни сплошным ещё пожаром,  
Ни разгулом не объят.  
Домы полны. Немцы в страхе,  
Запершись в ночном тепле,  
Стука ждут в тревожной мгле.  
Ночь — горит. Горящий сахар —  
Фиолетовое пламя! —  
Растекает по земле.  
Дрожь огней. Лиловый трепет.  
Льёт из склада меж домами  
Чай шальной, что нами не пит.  
Если в валеных сапожках,  
Обходи кругом, Митрошка,  
Обходи шагов за сто!

Несмотря, что снег растоплен,  
Два узбека в луже с воплем  
За вечернее манто  
Ухватились, уцепились,  
Не уступят ни за что.  
Синей шерстью, синим мехом  
Отливает. На потеху  
Третий, русский, закричал им:  
«Погоди! Обоим дам!»  
Подскочил к ним — и кинжалом  
Перерезал пополам.  
В кой бы дом искать добычи?  
Где богаче? Где верней?  
Ванька в дверь прикладом тычет,  
Глядь, а Дунька из дверей.  
Что по туфлям, по зачёсу,  
Джемпер, юбочка, — ну, немка!  
Тем лишь только, что курноса,  
Распознаешь своеземку.  
Руки в боки, без испуга  
Прислонилась к косяку.  
«Кто ты есть?» — «А я — прислуга».  
«Будет врать-то земляку!  
Ни подола, чтоб заклостан,  
Ни сосновых башмаков, —  
Пропусти!» — «Да кто ж ты пустит? —  
Пьяный, грязный, тьфу каков!..»  
К парню — новые солдаты,  
Девка речь ведёт иначе:  
«Погодите-ка, ребята,  
Покажу вам дом богаче,  
Немок-целок полон дом!»  
«Чай, далёко?..» — «За углом!  
Потружусь уж, покажу,  
Как землячка, послужу».  
Дверь захлопнув за собою,  
Налегке, перед толпою,  
Убегает, их маня  
В свете синего огня.

За углом исчезли круто,  
 Стуки, звоны и возня,  
 И ещё через минуту  
 Где-то тут же, из-за стенки,  
 Крик девичий слышен только:  
 «Я не немка! Я не немка!  
 Я же полька, Я же полька...»  
 Шебаршат единоверцы,  
 Кто что схватит, где поспеет.  
 «Ну, какое сердце  
 Устоять сумеет?!»

Алленштайновский вокзал  
 Только-только принимал  
 Пассажиров, кто бежал  
 Вглубь, в Германию, на запад,  
 И о том, что он внезапно  
 В руки русские попал, —  
 Там, восточнее, не знают,  
 Отправляют, отправляют  
 Мирных жителей сюда,  
 Женщин, девушек-беглянок,  
 Малых, старых поезда.  
 А соседний полустанок —  
 Расхлестнувшийся, туда  
 Не дошёл передний край, —  
 Отправляя эшелоны,  
 В чёрном лаке телефона  
 Слышит мерно: «*Strecke frei*»\*.  
 «*Strecke frei!*» — весь бой, весь вечер,  
 Ночь до утра шлёт им, шлёт им  
 Алленштайновский диспетчер —  
 Не чужой, нерусский, — свой! —  
 Немец в бледных каплях пота,  
 Затаённый, восковой, —  
 Ходит роботом. Пред ним,

---

\* Путь свободен (нем.).

Выпыхая трубкой дым,  
За столом — майор огромный  
Службы общевойсковой —  
Обожжённый, смуглый, тёмный,  
С пышной чёрной бородой,  
    Саблю на стол,  
    Ноги на стул,  
В голевом тулупе белом.  
Спирт, сопя, из фляжки хлещет.  
Выпьет — взглянет осовело.  
Перетянут, перекрещен,  
Грозен, зол, не жди добра, —  
На боку враспах зловеще  
Пистолета кобура.  
У майора ординарец  
Расторопен образцово:  
Опростав походный ларец  
На пол зала изразцовый,  
Мебель шашкой нащепя,  
Оглянулся вокруг себя —  
И костёр повеселу  
Вот уж брызжет на полу.  
Котелки и сковородки —  
Всё шипит в порядке чётком,  
И *домашние* консервы  
Оживают в кипятке,  
И вторая вслед за первой  
Тонет курка в чугунке.  
Парень весел, хлопец вражий,  
Напеваёт, стопку в раже  
Опрокинет на лету, —  
И порхают хлопя сажи  
В электрическом свету.  
Доглядьясь сквозь дым махорки,  
Вижу я — майор не спит:  
Мутен, пьян, устал, но зорко  
За диспетчером следит.  
А диспетчер, горбясь ябло,  
Опершись о стол ослабло,

Путь и поезд пишет в книгах,  
 В перезвонах, перемигах  
 Ламп, сигналов и звонков,  
 Как привычно, механично  
 Аккуратен и толков,  
 Эшелоны принимая,  
 Одноземцев отправляя  
 В жизнь иную, в ад и в рай,  
 Мерной фразой: «*Strecke frei*».  
 В час четырежды по зданью  
 Отдаётся содроганьем  
 Тяжесть мощных паровозов,  
 Поездов катящих дрожь...

А майор совсем не грозен,  
 Разглядеться — он похож  
 На дворнягу — добродушен,  
 В лохмах чёрных. Заломя,  
 Насторожил шапки уши,  
 И одно торчит торчмя.  
 Душ распахнутый простор! —  
 Фронт! — как будто с давних пор  
 Мы знакомы — руку, руку,  
 Ты куда? откуда?

— Я?

Я — звучац, ловлю по звуку,  
 Да не слышно ни ...  
 — Штаба Фронта, из Седьмого —  
 Разложение войск противных.  
 — А! Про вас историй дивных  
 Я наслышан.

— Сам с какого?

Где бывал?

— Под Руссой.

— Ловать?

Был?

— И ты?

— Ну да!

— И мы

С первых месяцев зимы.  
— Генка, кружки! Выпить повод!  
Это ж редкостный земляк.  
А Осташков?  
— Бор?.. Марёво?  
Церковь, горка и овраг?..  
— Лупачиха...  
— Озерище...  
— Где потом?  
— Орёл.  
— Дружище!  
Становой Колодезь?  
— Ляды...  
Мы же были...  
— Мы же рядом!..  
— Лютый Корень...  
— Русский Брод...  
— Зуша...  
— Чаполоть... Заплот...  
— Мост и ров?..  
— Да ты присядь!  
Генка, скоро там пожрать?  
Левин.  
— Нержин.  
— Яков. Лей.  
А тебя?  
— Меня — Сергей.  
Я — запас.  
— И я — запас.  
Где уж кадрам, *entre nous\**,  
Без запасников, без нас,  
Эту б выиграть войну!  
— Кем был до?  
(В косматой шкуре,  
В гуле гибнущей земли:)  
— Я доцент литературы  
Из московского ИФЛИ.

---

\* Между нами (франц.).

— Из МИФЛИ?!.  
 (Без шапки...)  
 Ба!

Я вас видел там! Судьба...  
 Только эта борода  
 Не росла у вас тогда.  
 — С сорок первого. С обетом  
 Не сбривать до дня Победы.  
 На лице не помню шрама.  
 — Ильмень-озеро, раненье.

В ярком верхнем освещеньи  
 Узнаю, каков был там он:  
 ...«Век великий Просвещенья!  
 Век Вольтера, век Бентама!..»  
 Мудрецов по стенам лики,  
 У студенток трепет век.  
 «...Восемнадцатый Великий  
 Человеком гордый век!..»  
 Помню, помню, свеж, разглажен,  
 Остроумен, оживлён,  
 Вёрток, прост, непринуждён,  
 В смелых выводах отважен,  
 Красноречием палим,  
 За звонок читал — и даже  
 Коридором шли за ним.  
 А теперь отяжелели,  
 Разжирели я и он,  
 Еле-еле, еле-еле  
 Набираем мы разгон.  
 И взахлёб, безперебойно,  
 Торопливо, безпокойно,  
 Пьём ли, курим ли, едим —  
 Говорим и говорим.  
 Книгам клич! Сейчас он — царь их!  
 Реет мысль в его словах,  
 Жизнь живая блещет в карих  
 Протрезвившихся глазах.  
 Трижды клятые вопросы —  
 Русь, монголы и Европа,

Расстегнулся, шапку сбросил,  
Чуток, тонок, мягок, тёпел...  
Будто грудь его дыханьем  
Разорвала тесный обруч,  
Говорит он о Германьи,  
Понимающий и добрый...  
Но разведенные плечи  
Высоко несут погоны...  
И лунатиком диспетчер  
Принимает эшелоны.

И — казаки по вагонам.  
Звон от сабель. Стук прикладов.  
«Вы-ходи!» — И по перрону  
В шубках, в шляпках, в ботах, стадом —  
«Без вещей, как есть!..» — безсильных,  
Перепуганных цивильных,  
Всех пешком на пункты сбора,  
Снегом розовым сквозь город,  
Отбивая по пути,  
С кем вольно им провести  
В подворотне, там ли, тут,  
Вгоряче пяток минут.

Генерал из интендантов  
С ординарцем, с адъютантом  
Ходит с палочкой, хромой.  
Остриём её как щупом  
Чуть брезгливо между трупов  
Отбирает, что — домой.  
И едва укажет стёком  
Шарфик, перстень, туфли, ткань ли —  
Взято вподхват чела'эком,  
Утонуло в чемодане.  
Чемоданов с ними три,  
Всё поместится внутри.  
Буйной ярмарки товары  
По платформам, по путям —  
С пылу, с жару, шаром-даром  
Разбирай ко всем чертям!

Две корзины венских булок,  
Узел дамского, грехи,  
Сигареты из Стамбула  
И французские духи.  
Ну, беда, куда всё денешь!  
Шелкова белья наденешь  
Восемь пар — шинелка туго!  
Солдатня столпилась кругом  
У покинутой коляски —  
Голубой да кружевной:  
Вот младенец — он ведь немец?  
Подрастёт — наденет каску...  
Есть приказ Верховной Ставки!  
Придушить его теперь?..  
Кровь за кровь!.. «По пьяной лавке  
Говоришь или стрезва?  
Сам ты Ирод, поп твой зверь!»  
«Дед, не я ведь... Дед, Москва!..»

«По машинам!» Снова в путь.  
Ни вздремнуть, ни отдохнуть.  
Как в цветном калейдоскопе  
Катим, катим по Европе,  
От бессонницы, от хмеля  
Окрылились, осмелели,  
Всё смешалось, всё двоится,  
Перекрестки, стрелки, лица,  
Встречи, взрывы, мины, раны,  
Страхи, радость, зло, добро, —  
Прусских ночек свет багряный,  
Прусских полдней серебро.  
То — шоссе, то вперекрест  
Две слуги — и все в объезд —  
Путь меняет рок железный,  
Проплывает как во сне:  
Где-то в тихой, непроездной  
Заснежённой стороне  
Чей-то дом уединённый,  
Лес нетронутый за ним,  
Чья-то шумная колонна

На печной свернула дым.  
Чуть моторы заглуша,  
Греться спешились, спеша.  
Вкруг спины колотят ябло.  
В дом! Хохочут: «Матка, яйки!»  
И подносит им хозяйка  
Наливных сквозистых яблок.  
Расхватили, походили,  
Меж зубов морозный похруст.  
Дай хозяйку застрелили,  
Ворс ковра обрызгав во-кровь,  
Муж в кровати — долечили  
Автоматом заодно.  
Лишь мальчонок, их внучонок,  
Умелькнул, разбил окно —  
За забор, прыжок, прыжок! —  
    Как зверёнок,  
    Как зайчонок,  
Подем к лесу наутёк,  
Уклоняясь и юля.  
Вслед с дороги, чуть не взвод,  
Безпорядочно паля:  
— Ранен!  
    — На спор!  
        — Есть!  
            — Уйдёт!  
— На-ка!  
    — На-ка!  
        — Ах, собака,  
Убежал... Ну, подрастё-от!..

---

В свете солнца больно глянуть:  
Поле снежное искряно,  
Ни слединки колеса.  
В пухе снега, в блёстках льдяных  
Безмятежные леса.  
Там у нас, по русской шири,  
Фронт стоял — и нет лесов,

Осталась сплошная вырубь  
От военных топоров —  
Блиндажи перекрывали  
Наших сосенок стволы...  
Жалко, здесь не воевали:  
Ишь, стоят, горды, белы,  
Русской нет на них пилы!  
Синим льдом мелькнут озёра,  
Белизной увиты реки,  
В сёлах — дуб комодов, шторы,  
Пианино и камины,  
Радио, библиотеки.  
Словно путь — проспектом Невским,  
В каждом доме — Достоевский,  
Полный, розный, а в одном  
Даже рукопись о нём.

Нам навстречу понемногу  
Оживляются дороги:  
Итальянцы, дай Бог ноги  
Из союзной им земли,  
Так же голы, как пришли,  
О добытке не тревожась,  
На морозе жимко ёжась,  
Каблучишками стучат,  
Скалят зубы и кричат,  
Машут русским в честь победы.  
Р-разбегайся по домам,  
Рим, Неаполь и Милан!  
Увязав велосипеды  
Кой-каким подручным грузом,  
Предприимчиво французы  
Крутят, отбив вражий плен,  
На Париж и на Амьен!  
Не теряйся, молодцы!  
...В синем, в рыжем и в зелёном  
Валят сбродом возбуждённым.  
Пан усатый под уздцы  
Фуру горкою спускает, —  
Через верх нагружена,

Холст трофеи прикрывает,  
И лицо от нас скрывает,  
Застыдась, его жена.  
Видно Машку под платочком  
И на козлах у поляка!  
«Эй! краса! молодка! дочка!  
Ты куда же?» — «Мы — под Краков».  
«Ай, девчѐнка, ходим с нами!  
Забодает ведь усами! ..»  
Мир кружится каруселью,  
В семь небес пылит веселье,  
Всем на свете прощено,  
— Но...

Строем зачем-то шагают виновно  
Русские пленные. Безостановно.  
Спины промечены едкими метками.  
Это клеймо не затравишь ничем...  
Лиху дорожку под сниклыми ветками  
Топчут, задумавшись сами — зачем?  
К пиру не прошены, к празднику не званы,  
В мире одни никому не нужны, —  
Словно склонясь под топорное лезвие,  
Двигутся к далям жестокой страны...

---

Немцев долгие обозы  
Из фургонов перекрытых  
Вдоль дорог скрипят, скрипят,  
Наступленьем нашим грозным  
Где-то северней отбиты  
И повёрнуты назад.  
Под брезента долгий болок  
Скрывши утварь и семью,  
У развилка на просѐлок,  
Сбочь шоссейной на краю,  
Терпеливо ждут просвета  
В нескончаемом потоке,  
Цепenea перед этой

Силой, грянувшей с востока.  
И, безвольные к защите,  
Прячут голову меж плеч,  
Грабь их, бей их, подойди ты,  
Чтоб коней у них отпречь.  
Но, насытись в наступлении,  
Как по долгу службы, с ленью  
Теребят их захоронки  
Наши парни, ковко, звонко  
Проходя дорогой торной.  
Взять — оно бы не зазорно,  
Да ведь возят барахло,  
А в посылку — пять кило!

Всюду женщины — в обозе,  
Под тряпьем в любом возке,  
Разордевшись на морозе,  
Нам навстречу налегке  
По две, несколько. Одна,  
Белокура и пышна,  
Распрямясь, идёт не робко  
Вдоль шоссе по крайней тропке  
С несклонённой головой  
В рыжей шубке меховой,  
В шапке-вязанке, с портфелем.  
Чуть минует с осторожкой  
В туфле маленькою ножкой  
Занесённые трофеи,  
Где укрыто, где торчит  
В небо четверо копыт.  
Мы — в заторе. По две, по три  
В ряд машины. Кто прыжком  
Греет ноги, кто бежком.  
...Глаз не прячет, смело смотрит,  
Каждым взглядом нам дерзя,  
Будто взять её нельзя.  
На подвижном белом горле  
В роспашь меха — шарф цветной.  
С батареей нас затёрло,

И в машине головной —  
«Опель-блиц» из Веермахта,  
Плавный ход и формы гнута,  
Утонув в сиденьи мягком,  
Я сижу, в тулуп закутан.  
Чуть щекочет шею шёрстка.  
Чтоб не спать — сосу конфетки.  
Светит зелено двухвёрстка  
В целлулоиде планшетки.  
Я и вижу и не вижу,  
Как подходит немка ближе,  
Как, солдат завидя, шаг  
Убыстряет свой и как,  
Кольхнув большой фигурой,  
Ничего не говоря,  
К ней шагнул сержант Батурин,  
Цвет-блатняга, на Амуре  
Отбывавший лагерь.  
Приказал: «А дай-ка портфель!»  
С ним — и Сомин. Напряжённо  
Подошёл и приглушённо  
Ей: «А что там? Покажи-ка!»  
Стала выпрямленно-гордо,  
Густо краска разошлась.  
Расстегнула и как выкуп  
Протянула: «Битте, шнапс».  
В литр бутылка. А налито  
Треть ли, четверть ли от литра.  
Презирая унтерменшей,  
Ждёт струной, в румянце. Раса!  
Жду, сощурясь — не возьмут ли?  
(Грамм пятьсот на день, не меньше,  
Из возимого запаса  
Выдаю.) Батурин мутно  
Глянул, руку протянул, —  
Сомин — хватать и, как гранату,  
В снег нетронутый швырнул:  
«Низко русского солдата  
Ценишь, девка!» — и портфель

Вырвал, вытряхнул — сорочка,  
Гребни, письма и платочки,  
Фотокарточек мятель...

Предо мной — газета, карта,  
Отмечаю ход фронтов:  
Если здесь и здесь удар, то  
В феврале мы здесь, а в марте...  
«Что тебе?» — Суров, без слов,  
Сомин мне в окно кабины  
Фотоснимок подаёт.  
Взгляд надменный. Снят мужчина.  
В форме. С лоском.оборот:  
«*Meiner innigst' g'liebter Braut  
In dem Tag... im Garten, wo...*»<sup>\*</sup>  
— «Ну так что ж? Отдай ей. Право,  
Я не вижу ничего».  
— «Как, а свастика?» — «Да, верно.  
Нарукавник». — «Так жених —  
Из SS?» — «SS, наверно...  
Чёрт и х знает, как у них...»  
И — махнул рукой на миг.  
Знак, орёл, сукна окраска —  
Различи да доглядишь,  
Что такую же повязку  
*Todt*<sup>\*\*</sup> носил и *Arbeitsdienst*<sup>\*\*\*</sup>.  
Что-то дрогнуло в заторе,  
Заработали моторы,  
И, уже сдвигаясь с места,  
Я увидел: от невесты  
Сделал Сомин шаг назад,  
Снял Батурин автомат  
И — не к ней, а от неё! —  
Тело выбросил своё.

---

\* Моей задушевно любимой невесте, в день... в саду, где... (нем.).

\*\* Транспортная организация в помощь армии.

\*\*\* Обязательная полувоенная повинность после окончания средней школы.

Без сговора, полукругом,  
 Словно прячась друг за другом,  
 Шаг за шагом, три, четыре,  
 Молча, дальше, шире, шире —  
 Что? Зачем? Собрать нагнулась,  
 Оглянулась —  
 Поняла! —  
 Завизжала, в снег упала  
 И комочком замерла,  
 Как зверок недвижимый, жёлтый..  
 Автомат ещё не щёлкал  
 Миг, другой.  
 Я — зачем махнул рукой?!  
 Боже мой!  
 «Машина, стой!  
 Эй, ребята!..»  
 Автоматы —  
 Очередь. И — по местам...  
 .....  
 «Ладно, трогай, что ты стал...»

Как свежа!.. И в чьём-то доме  
 Будут ждать её и след  
 Вдоль дорог искать. Но Сомин,  
 Дома не быв много лет,  
 Тоже ждал и тоже шёл,  
 И к гробам родных пришёл.  
 Как-то немца пожилого  
 В лес завёз он и убил.  
 И тогда б — довольно слова!..  
 И тогда я близко был...  
 В самом пекле, в самой гуще  
 Кто же знает — чья вина?..  
 А откуда? Разве лучше  
 Из веков она видна?  
 Кто здесь был — потом рычи,  
 Кулаком о гроб стучи —  
 Разрисуют ловкачи,  
 Нет кому держать за хвост их —

Журналисты, окна «РОСТА»,  
 Жданов с платным аппаратом,  
 Полевой, Сурков, Горбатов,  
 Старший фокусник Илья...  
 Мог таким бы стать и я...  
 Победим — отлакируют,  
 Колупай зарытый грех!..  
 Все довольны, все пируют —  
 Что мне надо больше всех?  
 Всё изгрыз в моём рассудке  
 Вечный червь — самоанализ.  
 Может, считанные сутки  
 В этой жизни мне остались?  
 Холод чина, суд да власть, —  
 Как учил индус Чарваки:  
 А мои плоды и злаки?  
 А моя когда же часть?  
 Был «жемчужиной в уборе  
 Атеистов» тот индус,  
 И скрестить с ним речи в споре  
 Я сегодня не найдусь.  
*Carpe diem!*\* — гедонисты  
 Нас учили: *день лови!*  
 Дни осыпятся, как листья,  
 Загустеет ток крови:  
 Всё слабей, бледней и реже  
 Острота и вспышки чувств?..  
*Все так делают. Не мне же*  
*Возражать тебе, индус.*  
*Все так делают! Бесплодна*  
 Белизна идей и риз.  
 Жизнь подносит кубок — до дна!  
 И — пустым раструбом вниз.  
 Слышишь, слышишь зов упорный,  
 Шёлком скованный, покорный,  
 Шелестящий, сокровенный —  
 «Этот веер чёрный,

---

\* Живи настоящим (лат.).

*Веер драгоценный...»*  
Словно волосы Медузы,  
Голова войны лохмата.  
Сердце пьяного солдата  
Из Советского Союза —  
Жальте, жальте, жажды змеи! —  
Распахнулся чёрный веер,  
Чёрный веер Сарасате!  
В краткий счёт секунд и терций  
Он нам зноем жизни веет —  
*«Ну какое сердце  
Устоять сумеет?..»*

Отобедав, на диване,  
Затянулся сигаретой,  
И в разымчивом тумане  
Округляются предметы:  
Зеркало и радиола.  
В тёмных изразцах камин.  
Белый над кроватью полог.  
Пена голубых перин.  
Что там было... Что там будет...  
Нет ни завтра, ни вчера.  
Пропируем и прокутим  
И проспим здесь до утра.  
Снежный свет в двойные стёкла.  
Зимний день уже на склоне.  
Как в обёрнутом бинокле,  
Где-то очень далеко,  
Старшина в докладном тоне  
Хитрым вятским говорком  
Рапортует, что расставил  
Батарею на постой,  
Что, жалеючи, оставил  
Пять семеек за стеной,  
Но что тотчас выгнать можно...  
Почему-то вдруг тревожно  
Сердце вскинулось моё.  
Вида не подав наружно,  
Спрашиваю равнодушно:

«Женщины?» — «Одно бабьё». «Молодые?» С полувзгляда, Хоть вопрос мой необычен, Доверительно: «Что надо. Ну, не знаю, как... с обличьем». Вот за то, что ты толков, И люблю тебя, Хмельков! Чуть мигни — готовый план: «Я, товарищ капитан...» *Сформулировать* мне трудно. Так бы смолк и взял бы книгу. «...полагаю — в доме людно. Во дворе видали флигель? И коровы в хлеве рядом. Две минуты — и порядок: Приведу туда любую Н-н... надоить нам молока... Лишь бы глянувши — какую, Вы кивнули мне слегка». Кончено. Не быть покою. Ласточкою стукоток: Знать об этом будем двое, Больше никогда никто. Ладно! Встал. «Пошли, Васёк. Быстро. Где они? Веди». Вышли. Круг. И на порог. «Ты поймёшь кого. Следи».

Пар и брызги пены мыльной. Утоги. Угар гладильный. Две кровати. Стол. Корыто. Боже, сколько их набито! Не пройти, чтоб не задеть их, — Бабки, мамки, няньки, дети — Разномастны, разноростны, От младенцев до подростков, — Все с дороги сторонятся, Те не смотрят, те косятся, Те не сводят глаз с лица Иноземца-пришлеца.

Стихли крики, речь и гомон,  
Лишь шинель моя шуршит.  
А Хмельков — как будто дома,  
Отвалясь непринуждённо,  
У двери стоит-следит.  
Как неловок! Как смешон я!  
Лица женщин обвожу,  
Но... *такой* не нахожу:  
Кто сбежал в мороз да в лес,  
Кто упрятался вблизи...  
И зачем сюда я влез?  
Чёрт с ним... — «Э-э, *wie heissen Sie?*»\*  
Худощавая блондинка,  
Жгут белья крутя над ванной,  
Чуть оправила косынку  
И сказала робко: «Анна».  
Так... лицо... фигура... Да...  
Не звезда киноэкрана,  
    Не звезда...  
Лет неплохо бы отбавить,  
Здесь и здесь чуток прибавить,  
Нос, пожалуй, великонек,  
Да-к и я же не *Erlkönig*\*\*...  
Шут с ним, ладно, лучше, хуже,  
Только б выбраться наружу.  
Неразборно что-то буркнув,  
Быстро вышел. Следом юркнул  
Старшина. В сенях интимно:  
«Всё понятно. Вы во флигель?»  
«Я — туда, но только ты мне...  
Неудобно же... не мигом...»  
«Разбираюсь! Я — политик,  
Всё в порядочке. Идите!»

Нежилое. Флигель выстыл.  
Хламно. Сумрачно. Нечисто.

---

\* Как вас зовут? (нем.).

\*\* Лесной царь. (нем.).

В сундуках разворошёно.  
По полам напорошёно.  
Острый запах нафталина.  
На бок швейная машина.  
В верхнем ящике комодном  
Перерытое бельё.  
До черёмухи ль? — походно  
Как устроить мне её?..  
Поискал. В пыли нашлась  
Подушёнка на полу.  
Койка жёсткая. Матрас,  
Кем-то брошенный в углу.  
Подошёл, брезгливо поднял,  
Перенёс его на койку:  
Жизнь подносит кубок — до дна!  
И не спрашивай — за сколько...  
Снега нарост раздышал я  
На стекле до тонкой льдинки,  
Вижу: в этой же косынке,  
Лишь окутав плечи шалью,  
С оцинкованным ведром,  
Как-то трогательно-тихо  
Анна движется двором.  
В двух шагах за нею, лихо,  
Как присяге верный воин,  
Старшина идёт конвоем.  
Глянул пару раз назад,  
Чуть из дома невдогляд:  
«Не туда, э, слышишь, фрау!  
Не туда! Шагай направо!»  
С тем же самым в кротком взгляде  
Выражением печали  
Оглянулась — поняла ли,  
И прошла к моей засаде.  
Дверь раскрыла — на пороге  
Я. И удивлённо дрогнул  
Рот её. Нето ошибкой  
Показалось ей, что здесь я, —  
Извиняющей улыбкой  
Ей смягчить хотелось, если

Я подумал, что она  
Заподозрила меня.  
Стали так. Не опуская,  
Всё ведро она держала...  
В белых клетках шерстяная  
Шаль с плеча её сползала.  
Дар и связь немецкой речи  
Потуплённо потеряв,  
Шаль зачем-то приподняв,  
Я набросил ей на плечи.  
С рук, от стирки не остывших,  
Лёгкий вздымливал парок.  
Нерешительно спросивши,  
Отступила на порог...  
Шаг к двери непритворённой,  
Притворил её хлопком.  
К действиям приговорённый,  
Поманил, не глядя: «*Komm!*»\*  
Ни пыланья, ни литого  
Звона трепетного в мышцах! —  
Стал спиной к постели нищих  
И услышал, что — готова...

...С бледно-синими глазами  
Непривычно близко сблизясь,  
Я ей поздними словами  
Сам сказал: «Какая низость!»  
В изголовье лбом запавши,  
Анна голосом упавшим  
Попросила в этот миг:  
«*Doch erschiessen Sie mich nicht!*»\*\*

Ах, не бойся, есть уж... а-а-а...  
На моей душе душа...

---

\* Иди сюда (нем.).

\*\* Только не расстреливайте меня (нем.).

\* \* \*

Где ты, детства чистого светильник?  
Дрожь лампы? Ёлки серебро?..  
Кто ж как не убийца и насильник  
Взялся за перо?..  
Соблазнявшись властью над толпой покорной,  
Отшагав дороженькой кандалной,  
Равно я не видел ни злодеев чёрных,  
Ни сердец хрустальных.  
Между армиями, партиями, сектами проводят  
Ту черту, что доброе от злого отличает дело,  
А она — она по сердцу каждому проходит,  
Линия раздела.  
Выхожу я каяться площадно  
На мороз презрения людского:  
Други! К радости ль стремиться? — радость беспощадна.  
К торжеству ль? — да нет его не злого.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

И ТЕБЕ, БОЛВАН  
ТМУТАРАКАНСКИЙ!

Под пушками — раскислоно...  
 Февраль — гнилой, нагой...  
 Снарядами нечислимо  
 Швыряясь, — малосмысленный  
 Ведём в котёл по площади огонь.  
     Какой-то день расплывчивый —  
     Муть облак, морозга...  
     На ленте запись сбивчива,  
     Слабеет поиск впивчивый,  
     И вязнет мысль, как в месиве нога.

Звонок. Испуг Евлашина:  
 «Вас — генерал!.. К себе!!»  
 «Да... Нержин... Понял... К вашему?..»  
 По глине, снегом квашенной,  
 С ЦС бегу я к домику КП\*.  
     Про альфу, дельта-омегу,  
     Поправки... Всё про то...  
     ...Весь верх снесён, и, кроме как  
     Две комнаты, — у домика  
     Всё прочее отмечено вчисто.

Бегом насквозь прихожую.  
 За дверь. Направо — Сам.  
 Налево — настороженный  
 Десяток. Как положено,  
 Не в лица, а скользнув лишь по звездам,

---

\* Командный пункт.

Я вижу: старше нет его.  
«Товарищ генерал!..» —  
С готовыми ответами  
Внаклон. Но не для этого,  
Видать, меня комбриг суровый звал.  
Плывёт молчанье лебедем.  
Спросить? Никак нельзя.  
«Вы, Нержин... вы... поедете...»  
(Куда??) Не мечут ледени  
Задумчиво смягчённые глаза.  
«Ваш пистолет!..» Естественно.  
Я понял, я готов:  
Задание ответственно,  
И хочет соответственно  
Оружие проверить сам Грузнов.  
Кольцо снимаю с тренчика,  
Из кобуры — ТТ  
И с приузом ременчатым  
Дружочка неизменчива  
Кладу пред генералом в простоте.  
Взят бережно. Положен он  
В глубь ящика стола...  
Искорчены! — восторжены! —  
Метнулись два, как коршуны,  
Из группы напряжённой из угла!  
Ещё не понял — что́ они? —  
За пояс! за звезду! —  
«Молчать!! Вы арестованы!!!» —  
Рукой натренированной  
Погоны отрывая на ходу.  
Весь мир дрогнул, расщепленный! —  
«Я???» — Бездна наголо...  
Карманы растереблены.  
Миг — холод. Миг — оттеплина.  
И грудь. И лоб. И щёки мне ожгло:  
«За что??» — ход мысли тореный  
Минуть и мне невснос —  
В доверчивой Истории  
Тьма тысяч раз повторенный,  
Ни разу не отвеченный вопрос.

На генерала я таки  
Взглянул, на шаг ступя,  
Из рук, оплетших натуго, —  
В глазах всё та же радуга,  
И видит и не видит он меня.

На лбу — печали облако...

— За что? За что?... — Кружат,

По телу с ловким обыком

Скользят майор с подсобником

И сумку полевую потрошат.

«Давай! Давай!» — Не тешиться,

Не мешкать им со мной, —

И так уж эти смершевцы

Безумно храбро держатся,

Осмелившись прийти к передовой.

Скорее! Под бока меня —

«Давай, давай! Иди!»

«За что же??» — Мысли в пламени!

«Вернитесь, Нержин», — каменный

Негромкий слышу оклик позади.

Со всею силой жизненной

Швырнул двоих... — За что??

Приёмник?.. Ящик гильзовый?..

Крутой мгновенный изворот —

«У вас на Украинском фронте — кто?»

Андрей!! — догадкой молненной!

«Нельзя! — кричат. — Нельзя!»

За полы тянут. «Вспомнили?»

Как бомба рвётся в комнате,

Встаёт Грузнов и руку жмёт мне: «Я

Желаю, Нержин, счастья вам...»

Он? Счастья? Мне?? Врагу???

Безстрашно твёрд участливый

Последний взгляд. Опасливо

Приёжились все свитские в углу.

И — всё. И всё... И — кончено...

И я один, как перст.

Надбитая окончина

Задрезжала звончато,

Топорщится их смершевская шерсть.

«Давай! Скорей!» — экзотики  
 Им на год невпрожѣв.  
 Под кровом хмурой готики,  
 В тылу, на тайном счётике  
 Напишется фамилия: «Грузнов».

Идут, неся подмышками  
 Блокнот мой не один...  
 Мы — письмами, мальчишки мы!  
 Мы записными книжками —  
 Собрали им улики и обвин.  
 А книги как?.. За сенцами  
 Ждѣт «эмочка» — ажур!  
 Воюют, да не с немцами...  
 Без книг, лишь с полотенцами,  
 Мой чемодан Илья подносит, хмур.

Ах, умница! Ни отзыва.  
 Прошѣл меж нас обруб.  
 Стоит он тѣмный, бронзовый,  
 Всю сцену взглядом грозovým  
 Как навек будто впитывая вглубь.  
 Без обыска?.. Забегали:  
 «Давай!.. Скорее!.. В штаб!..»  
 Стартѣр. Убьют! — до смеха ли!  
 «Все вещи?» — «Все». — «Поехали!»  
 И крылья в рыжем снеге наобляп.

Сиденье мягко. Гостем их  
 Качаюсь между двух.  
 На тело мне, на кости мне  
 Спускается спокойствие,  
 Спокойствие ведомых под обух.  
 Ты-ся-че-дне-и-ноч-на-я!  
 Дороженька! Начнись! —  
 Эх, Пруссия Восточная!  
 Я знал: в пору урочную  
 Так просто нам с тобой не разойтись.

В бригадном СМЕРШ час за часом  
 Стань тут! — стань там! — стань так! —

Обыскивают начисто  
 И пишут. Номер значится  
 На каждой — сколько их ещё! — бумаг.  
     Я в странном безразличии,  
     Подавлен, оглушён,  
     Покорен их обычаям:  
     Пугает околичием  
     Впервые к нам примененный закон.  
 «Смотри! Смотри! Ну прост'-таки  
 Министр! Голова!  
 Чуть оторвясь от соски, — и:  
 “Этюды философские”,  
 “Этюды исторические”, а?»  
     (Да, много было писано...  
     Слова стоят в обслон.  
     И я на ловле Истины  
     Загонщиком был истовым,  
     Да только неизвестно, в чей загон.)  
 «У, волк! Вражина! Грозен как:  
 “Вопрос крестьянский... НЭП...  
 Что значит смена лозунгов...”  
 А притворялся козанькой!  
 Я патриот! — подумать было где б!»  
     (Её переобушили  
     В десяток Октябрей,  
     А я стою, и слушаю,  
     И думаю — не ту же ли  
     Готовят участь челяди псарей?)  
 «Лжедоводов убожество...  
 Коровьим языком...  
 Растянутостей множество...»  
 Что? Что? — о Ком? Ничтожество!  
 Ты это всё осмелился о Ком??  
     Как школьник провинившийся,  
     Молчу, лицом к стене,  
     Но чувством обострившимся  
     Всегда во мне клубившийся  
     Вопрос я ощущаю в глубине  
 Извечный: «Что есть истина?»

Как на картине Ге.  
 Всю горечь безкорыстную  
 Надменным коммунистам, им,  
 На их самодовольном языке  
     Как выскажешь? О, тучные!  
     Вам свет её не дан!

    Замок. И оберучную  
     Большущую сургучную  
     Печать на обречённый чемодан...  
 Куда ж меня? Куда они?  
 Наверное — в тюрьму?  
 Осмерклось. Фары зажжены.  
 Немецкою налаженной  
 Шоссейкою мы катимся во тьму.  
     Пруд. Мельница. Проредина  
     В лесу. Сарай. Помост.  
     Знакомые отметины —  
     Блукают, черти. Едем мы  
     К Пассарге, к немцам пряменько на мост!  
 Здесь был поутру рано я —  
 Дивизий стык, голо.  
 Местечко безохранное...  
 На «*Hände hoch!*» как пьяные  
 Мы мчим — и всё в молчаньи замерло.  
     И мост без мин, известно мне,  
     Нас ждут наготове.  
     И на открытой местности  
     Светят по всей окрестности  
     Лишь только дуры-фары наши две.  
 Фельдфебель подбоченится,  
 Я разьясню, кто чей.  
 Вы — удостовереньица,  
 Куда ж они поденутся? —  
 Достанете из глубли кителей.  
     Вот это будет зрелище! —  
     В сметане караси...

Я — волк? Вы волки те ещё!..  
 Смолчать? Но где, но где ещё  
 Найдёшь ты дураков, как на Руси?  
 Сказал им. Фары — натеменно.  
 «Врёшь?.. Немцы?» — «В двух шагах».  
 ...А было б замечательно?..  
 Ушла, ушла зайчатина!  
 И тут же к нам — ба-бах! ба-бах! ба-бах!  
     Дорога вся пристреляна,  
     Налёт немецких мин.  
     Инструкцией не велено  
     Конвою... чёрт, не стелено,  
     И грязь... И — порх! И — нет... И я — один.  
 Спасайся с жизнью краденой,  
 Канавку не хуля.  
 Лежком, брюшком во впадину,  
 Туда бы вас и ладило! —  
 Осколки и взметённая земля!  
     Капут! Убьют! До смеха ли?  
     Забут и чин и сан.  
     Поехали! Поехали!  
     Немножечко отъехали:  
     «Могли бы вы, *товарищ капитан?* ..»  
 И — карту мне. И — место мне.  
 И — двёрочку в отвор,  
 И усики прелестные  
 С улыбкой самой лестною  
 Пощипывает вкрадчивый майор:  
     «Ведь вы же топографию...»  
     «Ваш портсигар! *Забыл!*...»  
     «Всё выкурит, добавь ему!...»

    Как тот, кто эпитафию  
     Над собственной могилой сочинил  
 И твёрдо высек сам её  
 По мрамору резцом, —  
 Безчувственный, безпамятный,

Уже не здешний, с каменным  
Недвижным, отрешившимся лицом, —  
Уже ни с чем не связанный,  
К чему был так охоч, —  
Везу их в пункт указанный,  
Туда, куда обязаны  
Они меня доставить в эту ночь.  
Дорожкой неизбежною,  
Упрямый однодум,  
Сторонкой мимобежною,  
То сляклою, то снежною  
Везу себя сдаваться набезум.  
Мы мчим асфальтом лужистым  
В снопах холодных брызг.  
Как странно: я ни ужаса  
Не чувствую; ни мужество  
На дерзкий не наталкивает риск;  
Ни горечь отпевальная  
Мне сердца не клешнит —  
Покачка колыхальная  
Мне что-то обещающее  
Из образов мелькающих кроит.  
Причудливо-озарное  
Сверканье бытия! —  
Частиц дрожанье марное  
Выхватывает фарная  
Под хмарным небом синяя струя.  
Пережит первый ошелом,  
И жизнь плывёт как сон,  
И я, и я, легошенек,  
Как пёрышко подброшенный,  
Несвязан, безтелесен, невесом.  
Что благо нам? что лихостно? —  
Чья знает голова?  
Кто в высоте надвихорной  
Уловит рока прихоти,  
Паденье отличит от торжества?  
Пронесутся старинные  
Дома, ста лет дубы,

Шлагбаумы, разминные  
Пути, дощечки минные,  
Ограды, телеграфные столбы.  
    В чугунной арке — свастика,  
    Под арку — виадук,  
    И — взлёт. И тут, как раз-таки,  
    Меня мгновенным настигом,  
    Как ястреб, мысль подхватывает вдруг:  
— В Москву?! Копил я истиха,  
Но в этой вот стопе, —  
В ней взрыв под всю софистику,  
Под всю эквилибристику  
Обтёрханных жонглёров ИКП\*.  
    Лечу на них обвалиной! —  
    Я камень не лежач! —  
    И злобная оскалина  
    Под кляплым носом Сталина  
    Была бы мне удача из удач.  
Здесь — циркуляр, примерная  
Инструкция — ломи!  
Здесь — СМЕРШ, здесь чернь карьерная,  
Но там, в Москве, наверное,  
Кого-нибудь пройму же я речью?  
    Безхитростно-сермяжная  
    Фронтная братва!  
    Прости-прощай, отважная!  
    Дорога черезкражная  
    Ведёт меня к минуте торжества!..

У церкви домик пастора  
Армейский СМЕРШ занял.  
Меня отводят насторожь,  
Где разделён на карцеры  
Бетоном облицованный подвал.

---

\* Институт красной профессуры.

Ступеньки вниз. Проржавленный  
 Замок. И вставлен ключ.  
 Вступая в мир затравленный,  
 Взглянуть на мир оставленный,  
 Лицо я поднял к небу зимних туч.  
 Где звёзды счастья?.. Исчужа,  
 Когда гремнул замок,  
 В просвет, едва очищенный,  
 Под третью четверть выщерблен,  
 Блеснул печально лунный облонок...

---

Всё наше нам восполнится,  
 Вернётся нам в отдар.  
 В СМЕРШ Фронта пеших, помнится,  
 Из Остероде в Бродницы  
 Нас гнал конвой казахов и татар.  
 В чём честь? И в чём безчестие?  
 Сказал: не понесу!  
 Нас было восемь. Шестеро —  
 В шинелях, едким клейстером  
 Промеченных в глубь ткани под ворсу.  
     Я — офицер, и мне никак  
     Нельзя... Не понесу!  
     Кому ж?.. Их шесть *изменников*,  
     Шесть молчаливых пленников  
     С наспинным белым о́знаком «SU»\*.  
 Коль скоро русских — семеро,  
 И я — я капитан! —  
 Восьмой пусть, мило-немило,  
 Хоть нёмолод, но немец ведь, —  
 В пути пускай несёт мой чемодан.  
     Да и не кашей ячною  
     Тот немец был возвращён —

---

\* Sowjetunion.

Едал за жизнь удачную!  
Он всей фигурой взрачною  
От нашей мелкой жмуди отличён.

Осанка и инерция  
Едва отнятых прав! —  
Сержант — с советским сердцем, и  
Советнику коммерции  
За то, что тот одутл и беложав,  
Отдал распоряжение  
Взять чемодан — и несть.  
Шесть спин... Ни осуждения...  
Шесть спин... Ни одобрения  
В пяти «SU» корявых не прочесть.

И прав ли кто? Кто именно?  
Четыре по два вслед...  
Ни вин. Ни лиц. Ни имени.  
Лишь странным взглядом вымерил  
Меня шестой из пленников, сосед.  
Глубоким, блеклым иссиня,  
Погаснувшим в плену,  
Он посмотрел так пристально,  
Как будто «Что есть истина?»  
Он, римлянину, молча мне вернул...

Шёл встречь дорогой грязною  
Чуть попяну обоз.  
Ездовые развязные,  
Нестроевые, праздные,  
И грохот ломыхающих колёс.  
Давно ль б они в приветствии  
Тянулись предо мной? —  
Из всех восьми, кто в бедствие  
Попал и шёл на следствие,  
Теперь меня отличили толпой.

Мои ли канты красные  
Их привлекли с телег? —  
«Предатель!» — «Сволочь!» — «Власовец!» —  
Кричали мне, в безклассовый  
Как будто я мешал войти им век...

Ругнѣй и грязи комьями  
Швыряли, слали мат...  
Пред ними, незнакомыми,  
Я улыбался — поняли б,  
Что вовсе я ни в чём не виноват.

Но пуще разъяриться их  
Заставил этот взор —  
О, крики те!.. О, лица те!..  
*O, sancta, o, simplicitas!* \* —  
Вязанка Яну Гусу на костёр...

---

\* О, святая о, простота! (лат.).

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ  
 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

*Москва... как много в этом звуке  
 Для сердца русского слилось!  
 Как много в нём отозвалось!*

Пушкин

Вагоны стучат и грохочут,  
 Кружась, проплывает земля...  
 То крест раздорожный, то бчеп  
 За синим дымком февраля.  
     То крест, то колодезный бчеп  
     За синим дымком февраля.

А изморозь сеется на лес,  
 Нагие деревья синя,  
 И ёлок темнеющий навис  
 В свечении мутного дня.  
 Затянуты стелевом облак  
 Невидящие небеса...  
 В подскоках отчётливо дробен  
 Настойчивый стук колеса.  
     В подскоках отчётливо дробных  
     Настойчивый стук колеса.

То выступит конус костельный,  
 Мелькнёт на пролеске жильё...  
 А мысли невольно, невольно  
 Стучат и стучат своё.  
 То сказочный конь «студебеккер»  
 С разбегу взлетит на откос...  
 Я еду — как Кюхельбекер  
 На царский пристрастный допрос.  
 И так же — везут жандармы,  
 И так же, как он, я прав...

Помятый, побитый товарный  
Идёт на восток состав...

Погнутый, порожний товарный  
Идёт на восток состав...

На долгой открытой платформе  
Военные — я и конвой,  
Да четверо девушек в форме,  
Должно быть, что в отпуск домой.  
А то всё озябши, впритиску,  
Кто в вечных российских платках,  
Кто в шляпках, носимых в неблизких,  
Не-русски весёлых краях,  
Кто в коже дублёной зипунной,  
Кто в лёгкой пушистой ворсе,  
Стары, середёвы и юны,  
И женщины, женщины все.  
То лоск чемоданов, то парша  
Чумазных мешков рядных.  
Пригрели детей постарше,  
Качают детей грудных.  
На нашей платформе, на смежных,  
И дальше, и дальше на двух...  
То личики девушек нежных,  
То скорбные лица старух.

То личики девушек нежных,  
То скорбные лики старух.

До края тесно, не прошёл бы  
Ногой, и зерну не упасть.  
Тоскливые женские толпы  
Сбирает советская власть.  
Сбирая, везёт их, везёт их,  
Суд будет им скор и прост...  
Чугунно стреляя в пролётах,  
Прошёл под колёсами мост.

Стреляя, стреляя в пролётах,  
Прошёл под колёсами мост.

Поверх одеяний неярких,  
Привставши, глядит детвора.  
Кружась, проплывают фольварки,  
Уходят назад хутора...

Кружась, проплывают фольварки,  
Скрываются хутора...  
Уральской казачьей когда-то  
Я присказки слышал слова:  
«Живите, живите, ребята,  
Пока не узнала Москва!..»  
Живите, живите, ребята,  
Пока не дозналась Москва!..  
Стучат и грохочут вагоны,  
Колёсами в снежной пыли...  
Последние перегоны  
Ещё не советской земли...  
Последние перегоны  
Ещё не советской земли.  
Живите, фольварки и сёла,  
И режьте свиней к Рождеству,  
Молитесь в высоких костёлах,  
Пока вас не тянут в Москву.  
А мы — неужели ж, холопы,  
Нам доля покорных любя? —  
Поэтому ли из Европы  
Нас в Азию гонит судьба?..  
А нас, недомык, из Европы  
На родину тянет судьба...  
И, как в девятнадцатом веке,  
От самых германских границ  
Я еду, как Кюхельбекер,  
В дичайшую из столиц.  
Сольдау, и Млава, и Прасныш,  
И Острув, и Белосток...  
Волочит нас поезд красный  
В Совдепию, на восток...  
Телячий, ободранный красный  
В Совдепию, на восток...  
Остались недели до мира —  
Жена — возвращенье — дом —  
Везут меня три конвоира,  
Ночью стерегут чередом,  
Настойчиво, безотвязно  
Меня охраняют днём,

Ведут себя парни разное,  
Но выстрелят все втроём.  
Три звёздочки на погонах  
У старшего. Мы с ним на «ты».  
В попутных машинах, в вагонах  
И пешими до темноты  
Идём мы и едем, и едем,  
В пути не теряя ни дня,  
И водкою за обедом  
Старшой угощает меня.  
Мы держимся по уговору,  
Как будто худого нет.  
Мне легче, когда как на вора  
Не смотрят мне люди вослед.  
Им тоже так ехать вольготно,  
Спокойнее доведут.  
Наружно вполне беззаботны,  
Натужно меня стерегут.  
Решётчатой вереницей  
От снежных заносов щиты.  
Погонов уж нет, но — петлицы,  
И пуговицы золоты, —  
Кажусь чудаком-офицером,  
Не ставящим в грош устав.  
Всё ближе к эС-эС-эС-эРу  
Гремит и гремит состав.  
О, если б я крикнул! Но впусте:  
Надолго ль? о чём закричу?  
И надо бы крикнуть! — а с грустью  
Смотрю на людей и молчу.  
С пронзительной тягостной грустью  
Я в лица смотрю и молчу.  
Теперь я, теперь понимаю,  
Как мог, заморожен петлёй,  
Так странно молчать Николаев,  
Молчать перед ждущей толпой.  
Так в царство подземное теней  
Мы все на петле палача  
Нисходим с последних ступеней,  
Пред роком немые, молча...

Я жил?! — то над книгами функций,  
А то в диаматном раю... —  
Как солнце заката безумцу,  
Теперь освещает мою  
В чаду головных горений  
Нелюдски прожитую жизнь,  
То в поисках точек зрений  
То в жертвах на коммунизм.  
Нет месяца — в этом же бреде  
Черкнул — любя? не любя? —  
И с этим письмом, как с последним,  
Оставить, жена, тебя?  
Оставить на раздорожьи:  
Жил близок тебе или чуж?  
Родная! С раскаянной дрожью  
Прощения просит твой муж.  
А ты как пропавшего безвесть  
Меня будешь чтить в живых...  
Не жди, пока дивная резвость  
Играет в движеньях твоих.  
Природы своей многодарной  
Безплодной тоской не суши, —  
И я отойду, благодарный,  
Что я не сгубил души.  
Но кто же напишет и в ящик  
Опустит моё письмо?  
Бок-о-бок сидит автоматчик,  
Неспящей судьбы зреймо.  
И вдруг я встаю в озареньи,  
Иду, пробираясь меж ног, —  
С напрягшимся подозреньем  
Встаёт конвоир-паренёк.  
К военным иду в наитьи,  
К тем девушкам четверым:  
«Землячки! Вы что же молчите?  
А, девоньки? Поговорим!..»  
Им лестно. С призывной улыбкой  
Они мне место дают.  
Всё с той же покачкою зыбкой  
Вагоны стучат и бьют.

Всё с той же покачкою зыбкой  
Вагоны колотят и бьют.

А я опьянён находкой,  
Движенья мои легки:  
Поглядывай, служба, вот как  
Умеют фронтовики!  
То девушкам в лица, то посверх —  
В лицо конвоира гляжу.  
Он — кликнуть второго, но после  
Раздумал: покойно сижу  
В шинели своей капитанской,  
Куда — ухагор лихой.  
Подсядь я не к ним, а к гражданским,  
Сейчас бы тут был второй,  
А так размягчели складки  
Его молодого лба:  
— Валяй, дескать, всё в порядке! —  
Последний денёк, и труба!  
Храню молодецкий пошиб,  
Плету болтовни кружевцо,  
И к крайненькой, самой хорошей,  
Своё приклоняю лицо.  
Смотрю не на грудь, не на плечи, —  
Смотрю, что глаза добры.  
Три прочих — закон извечный,  
Не слушают с этой поры.  
Никто нас, никто не слышит,  
Но всем мы, но всем видны...  
Она учащённо дышит,  
И щёчки её красны.  
А что ведь? Так можно, право,  
В пути словить жениха.  
С улыбкою легконравой,  
Как будто хи-хи, ха-ха,  
Я ей говорю деловито,  
Надев выраженье любви:  
«Прошу. Не подайте. Виду.  
Услышав. Слова. Мои».  
Истомно гляжу, очарован,  
В её подресничную тьму:

«Не бойтесь. Я. Арестован.  
Везут. Меня. В тюрьму...»  
Вояка! — где нужно — храбрость,  
Где нужно — страстью горю:  
«Прошу вас. Запомнить. Адрес.  
Я дважды. Его. Повторю».  
Молчит. Опустила ресницы.  
Молчит, сама не своя.  
«Напишете. Четверть. Страницы.  
Напишете ей, что я...»  
И — глянула!! Блеск неверный  
Тотчас потуплённых очей,  
Как будто дыханием скверны  
Коснулся её плечей,  
Как будто проказу, коросту,  
Увидев на теле моём,  
Вся съёжась, придавленным ростом,  
Отсела, где те втроём.  
Мой парень — и тот сожалеет.  
— Что, брат, не выходит, мол?..  
И женское сердце умеет  
Воспитывать комсомол!  
И добрые броневеют,  
Вступившие в комсомол...  
А то — так она со страху?  
Цыплёнку хочется жить.  
...Рассечена резким взмахом  
Моя последняя нить.  
С тоскою смотрю я на лица, —  
Стена между ними и мной...  
Всё ближе, всё ближе граница  
Подходит железной чертой.  
Подходит всё ближе граница  
Безжалостною чертой.  
Вот — столб пограничный. И, золот,  
На нём знаменитый герб:  
И бьющий по мозгам молот  
И режущий под корень серп.  
И бьющий по душам молот  
И режущий горло серп.

Разболтанный, полусожжённый,  
 Ворвался и стал эшелон.  
 Начальник, но не станционный,  
 Проходит через перрон.  
 На шапке, на вороте белка,  
 Оленя шёрстка унт.  
 Досочка застругана стрелкой:  
 «Дорога в Приёмный пункт».

Расплывчивым чёрным по стрелке —  
 Дорога в приёмный пункт.

«Сходи-и-и!» — И, проживши сызмальства  
 Послушно свои года,  
 Все женщины сходят. Начальство  
 Укажет, кому куда.  
 Идут, нагрузившись, как мулы.  
 Узлы в напряжённой руке.  
 Мешки за плечами. Баулы.  
 Начальник идёт налегке.  
 Отведенный пункту сбора,  
 Обнесен забором сарай,  
 Ко внешней двери затворы  
 Прихлопаны невзначай.

Ко внешней двери запоры  
 Приболчены невзначай...

Сегодня приедем стоянка  
 И несколько дней ещё.  
 На карточки, формы и бланки  
 Правительство не нищо.  
 Заполнят они анкеты,  
 Покажут, где были и с кем,  
 Как бросили землю Советов  
 И к ней воротились зачем.  
 Анкеты своим порядком  
 Пойдут, на особом счету,  
 А женщины — в Котлас и в Вятку,  
 И в Кемерово, и в Читку,  
 И будут там ждать решенья,  
 Не загромождая дорог.  
 Одним придёт прощенье,  
 Тем высылка, этим срок.

Меня — не в закут: опознаша  
Своих, доверяют своим.  
Чиста подорожная наша,  
И путь наш неумолим.  
Я знать не хочу и не знаю,  
Что именно писано там, —  
Надменно перроном шагаю,  
И двое идут по пятам.

Шагаю перроном, шагаю,

И двое идут по пятам...

Их третий к платформе, где грузы,  
Багаж наш общий снёс.  
Нас примут в лоно Союза,  
Как будет готов паровоз.  
Средь их набитых тяжелеет  
И мой роковой чемодан:  
Сержанты везут — трофеи,  
Я — приговор, я — Магадан.  
Дойдя по платформе до края,  
Я делаю поворот, —  
Расходятся, уступая  
Меж ними мне проход.  
И — снова за мной, в напряженьи, —  
Полёта ли ждут, прыжка?.. —  
Восточный ветер, круженье  
Порхающего снежка.

Всё чаще, всё гуще круженье

Порхающего снежка.

А ветер играет, ушами  
Военной шапки трепля.  
Иду, а внизу под ногами  
Отечества земля.  
В Европе я мало вызнал,  
Промчал меня вихорь лихой...  
Земля моей отчизны  
Опять под моей ногой.  
Хожу — и конвой мне позабыть,  
Мне кажется — я одинок.  
Сто сажень лицом на Запад,  
Сто сажень лицом на Восток.

Сто сажень, сто сажень на Запад,  
И столько же на Восток.  
А ветер швыряет жмени  
И блёстками жжёт свежо.  
Земля сорока поколений!  
Мне вновь на тебе хорошо!..  
Сыт Лондон. Пирует Вена.  
Наряден и весел Стокгольм.  
И нам бы туда, *ubi bene*\*,  
Забывши лачужную голь...  
Так нет, не забыть же, нá поди! —  
Вот едут, — зачем? спроси...  
Не жить им покойно на Западе,  
Оставив сердца на Руси.  
Слепящею непогодиной  
Сдвигает всё ближе озор.  
Какая ты к чёрту родина,  
Какая ты мать, позор?..  
Позор мой, моё отечество!  
В лохмотьях, завистно, грубо,  
Во власти прохожей нечисти —  
За что ты мне так любо?  
Страна, где орлами-солдатами  
За метр платят по сто,  
Безмысленную, проклятую,  
Люблю я тебя за что?  
Где гибкие плечи девушек  
Трудом лошадиным грубят,  
Охаянную везде уже,  
За что я люблю тебя?  
Детишки промёрзлой репою  
Питаются к февралю, —  
Безжалостную, нелепую,  
За что я тебя люблю?

---

\* Где хорошо (из латинской пословицы: *Где хорошо — там и отечество*).

Всю, всю сквозь мелькание частое,  
Снежинок звездчатых кишь,  
Я вижу тебя, несчастную,  
Какая ты вдаль лежишь:  
Гнилую соломку избную,  
Растрёпанную в стрехе,  
И баб, запряжённых отчизною  
Замест лошадей в сохе.  
С утра их — давай количество! —  
Сгоняет колхозный чин.  
Из окон в век электричества  
Мерцает огонь лучин.  
Рабочих, свалённых тяжестью  
Шести непрерывных смен;  
Московско-грузинское княжество  
У самых столичных стен,  
Где орден и назначение  
Решают меж близких лиц,  
Где пьют до остервенения  
И пользуются танцовщиц.  
Учёных из Академии,  
Сверлящих в рудниках медь,  
И имени Сталина премии  
Для тех, кто не смеет сметь.  
Воркутскими чёрными штольнями  
Безильные врубы кирки;  
Девченок-студенток — крамольные,  
Посажены в воронки.  
Глупцов заграничных с блокнотами —  
Возить их знают куда.  
Чекистами и сексотами  
Червящие города.  
А в громе заводов на месте их,  
За убылью взрослых рук, —  
Мальчишек из школ ремесленных,  
Глотающих слёзы разлук.  
Пред ликами всепрощающих,  
Поверх преклонённых голов, —  
Священников, благословляющих  
С амвона большевиков...

Расходится вьюга зимняя,  
Не подобру весела...  
Попалась, Ты, легкоимная!  
Поверила и пошла...  
...Когда бастовали Ореховы,  
На бомбах рвались князья,  
Когда тосковали Чеховы,  
Что жить — безпросветно, нельзя!  
Не вынес насилия грубого  
Надворный советник Герцен,  
Белинские, Добролюбовы  
Стяжали единоверцев,  
Стращал детей Салтычихами  
Любой семинарский гусь, —  
Дремля переулками тихими,  
Такой ли была ты, Русь?..  
Спасибо, отцы просвещения!  
Вы нам облегчили судьбу!  
Вы *сеяли* с нетерпением —  
Взгляните же на колосьбу!  
Травили вы чуткого Гоголя, —  
Травят теперь всех нас сплошь.  
Писака! Макая, не много ли,  
Смотри, на перо берёшь?!  
Прносятся ключья белые  
И лепят в лицо лепма...  
Ты этого, ты хотела ведь!  
Ты сделала всё сама!  
Сама ты! — Но чьими силами?..  
Сама... Но стихией чьей??  
Безумец, трясти ль могилами,  
Тревожа покой костей?..  
Россия! То песнями нежными,  
То бранью тебя честим.  
А мы-то? а мы-то? где же мы?  
Мы — что же в России? — гостим?..  
«Россия!» — словцо, игру нашли!.. —  
Где ж те, кто в России живут?  
Как я, не такие ли юноши  
Её подпоили на блуд?

В догадках бормочем гадательски —  
Да что? да когда? да коё? —  
За словом «Россия» — предательски  
Убожество прячем своё.  
Потащат в ненастье из затишка —  
Голосим: — Кому повем? —  
Поносим Россию-матушку,  
А сами идём к ней ни с чем.  
Не вечно, мол, виться вервию,  
Ему оборваться стать, —  
Эх, юноши правоверные!  
Не мы ль помогли ссукать?  
Прошколенный, проофицеренный,  
Вот я — я служил им, как пёс.  
Стою пустой, растерянный  
И думаю: что ж я донёс?  
Жилось мне поверху, сполагоря  
И, проживши двадцать шесть, —  
Да полно, да знал ли, что лагеря  
В Советском Союзе есть?  
В орлы я перился ранёшенько.  
Схватили — швырнули — глядь... —  
Да где ж ты была, Дороженька?  
Да как же тобой шагать?  
Морошка под тундренным настом,  
Болотных повалов ржа... —  
«Шоссе Энтузиастов» —  
*Владимирка* каторжан!..  
Родится предатель в ужасе,  
Звереет в голоде плоть...  
Оставь мне гордость и мужество!  
Пошли мне друзей, Господь!  
О Боже, о, Ты, Кем созданы  
Твердь суши и водная гладь!  
Быть может, и мне не опоздано  
Ещё человеком стать?!  
Россия! Не смею жизньнюю  
Я прежнюю звать свою.  
Сегодня рождаюсь сызнова  
Вот здесь, на твоём краю...

---

Стучат и грохочут вагоны,  
По-порожню веселы,  
За ключьями дыма, в нагон им,  
Бегут вперебежку стволы.  
Всё пусто. Ни человека.  
Стоим на платформе. Мороз.  
Проносится лесосека,  
Кустовник на ней порос.  
То избный порядок мелькучий  
Вдоль прясельной городьбы,  
То проволокой колючей  
Обтянутые столбы.  
И в меркоти передвечерней  
Проносится, я узнаю,  
Нам, русским, приветом матерним  
И пугалом воронью —  
О четверо ног, по кобыльи,  
Опершись, облезла, сера,  
Поставленная на копылья  
Охранная конура.  
Примета родного пейзажа —  
Прилагерной вышки тёс!  
Ты чаще погостов и даже  
Не чаще ли белых берёз?  
Идут пятилетки и войны.  
Лишь ты, не подвластна годам,  
Всё так же, всё так же назойно  
Мелькаешь вослед поездам.  
Повсюду, повсюду назойно  
Промелькиваешь поездам.  
Изгнившая вышка — призрак  
С провалами чёрных дыр —  
Да! Призраком Коммунизма  
По Марксу вошла ты в мир.  
Видением коммунизма  
По Марксу вошла ты в мир.

---

За окнами, мглою кроясь,  
Ночная страна мертва.  
Идёт пассажирский поезд  
По линии Минск — Москва.  
Под полночь на стрелках, на скрестьях  
Всё чаще колёсный гром,  
Всё ярче, всё чаще предместья  
Сверкают за белым окном.  
Всё ярче, всё лучезарней  
За окнами свет ночной.  
Приехали! Столб фонарный  
И в небе — блеск заревой.  
Снуёт вокзал ледовитый.  
Знакомая суета...  
Но холодом ледовитым  
Душа моя объята.  
Дубовый и мраморный налоск  
И тёплые струи метро...  
А сердце, а сердце осталось,  
Где хмуρο теперь и мокро...  
Где вспышки ночные орудий,  
Высокий снарядный хлюп.  
Где смелые чистые люди  
И мой схоронили бы труп.  
Прощально стою пред чужою  
Безумной, враждебной Москвой,  
Знакомых, родных и родное  
Оставив на передовой.  
Другие родные, с кем тесно  
Нанижет нас общий крюк,  
Сейчас в воронке на *Пресню*,  
Потом за Полярный Круг,  
Где площадки во тьме тунгусской  
Не в каждом бараке чадят, —  
Сверкает вокзал Белорусский!  
Сверкает Охотный ряд!  
Нависнув над улицей узкой,  
Огни Совнаркома горят!  
Засыпь его завтра ядра,

Корёжься бетон и сталь, —  
Вот этого только театра  
Четвёрку коней мне жаль.  
    Лишь только Большого театра  
    Квадригу коней мне жаль.  
Во мглистом туманце согнулся —  
Принесший России *печать*.  
Что, старче? Для Краткого Курса  
Уж стоило ль хлопотать?..  
    Пожалуй, для Краткого Курса  
    Не стоило хлопотать.  
Лежат две прекрасные нимфы  
Над Домом Конца Дорог...  
Меж ними — аленький вымпел,  
Как гаршиновский цветок.  
    Меж лампами треплется вымпел,  
    Как красный, как красный цветок.  
Кругом — где темнее. Там пропуск  
Кому-то показан наш.  
Калитку в чёрную пропасть  
Пред мной отворяет страж.  
Лубянка! Взяла ты полмира!  
Ещё одного — прими!..  
...Над шеей гремит секира  
И лязгает дверь за плечьми.

## ПОСЛОВИЕ

На Кавказе, в ущельи реки Бзыбь, привелось мне увидеть странное дерево. Семя, давшее ему жизнь, попало в землю в тёмном приглубке, под челюстью огромной скалы. Укрепившись в недоброй, неплодной почве, дерево тронулось в рост, обещая много саженной стройной высоты, — и с первых же вершков роста оказалось лишённым простора, воздуха и солнечного света. Дерево неминуемо должно было умереть — оно родилось *не там*.

Но ему очень хотелось жить! И с узловатой решимостью оно согнуло свою лесину под прямым углом и погнало её далеко вбок — между скалой и землёй, походя на провисший перешибленный хребет выползающего из-под обвалины оленя. А потом изогнулось в корчах и стало расти — не вверх, но вкось, отталкиваясь от слизи камня локтеватыми опухлыми сучьями, одними ветвями вытягиваясь к недостижимому светлому небу, другими робко ощупывая боковой простор. Все силы и соки дерева ушли на укрепление нижних изгибов, поддерживающих уродливый стан; что доходило выше — бросалось с нерасчётливой щедростью в несколько шумящих ветвей; но не кончалось оно тем успокоенным густолиственным овершьем, какое бывает у здоровых, стое-растущих деревьев.

Я вспомнил об этом дереве, когда ты, мой труд, выбился далеко во вторую половину. Я уже знал, что ты жизнеспособен, что ты выжил и будешь жить. Но с тем большей горечью я разглядел твоё болезненное несовершенство. Начатый случайно, продолженный порывами, возвращённый под отвратительно расслабляющим страхом, с тяжело доставшимися изломами роста, карабкаясь и перетягиваясь через расщелины, ты — весь причуда, стихотворная при-

чуда, невозможная, немыслимая после столетия развитой прозы одного из великих литературных языков. Так много мне хотелось вложить в тебя, хлебая из глиняной миски отвратную лагерную баланду, выходя в одеяле из каторжного барака на издевательскую ночную проверку, — и ничто не вместились в тебя, даже не начало вмещаться! Я изнемог от тебя ещё вдалеке до конца, я проклинал твой ритм, когда он был единственным ритмом моего дыхания, я уже не наращивал тебя, а только судорожно повторял скудеющей памятью.

Но и даже такой ты удивляешь меня, счастливец, что ты выжил, что ты — есть. В той измученной глубине, откуда ты взял начало, под пластами четырёх десятилетий России Советской, задохлись семена многих, многих — таких, как ты, и лучших, чем ты.

Ты мог бы вырасти в дружном молодом лесу.

Ты вырос над могилами.

1947 — 1953

*Марфино — Экибастуз*

## [ОТРЫВОК]

За окнами, мглою кроясь,  
Ночная страна мертва.  
Идёт пассажирский поезд  
По линии Минск — Москва.  
И с мягким покойным скрипом  
Сквозь вьюжный февральский мрак  
В тот поезд подцеплен закрытый  
Советский вагон-зак.  
Колёсный постук чёткий  
И стёкол промёрзших звон.  
Вагон как вагон, да решётки  
Идут через весь вагон.  
Совсем как в международном:  
Вглухую купе заперты,  
Да разница та, что проход нам  
Весь виден через прутья;  
Да окна односторонни,  
Напротив, в купе, — слепыши.  
Да ходит краснопогонник  
В проходе, где ни души.  
Да та ещё наприбавку:  
Без ламп в купе полутень;  
Да та, что ведут на оправку  
Всего лишь два раза в день.  
На окнах — вторые решётки.  
На что уж слепыш — и на нём.  
Сквозь прутья нас кормят селёдкой,  
Воды не давая потом.  
Конечно, что мы — не принцы  
Высоких наследных кровей,  
Но всё ж таки бы в зверинце  
Нам было посвободней.  
Совсем как в плацкартном спальном,  
Да только ни сесть, ни встать.

Где быть четверым — навально  
Толкают по двадцать пять.  
    В купе четверное навально  
    Пихают по двадцать пять.  
И то остаётся некий  
Просвет меж голов, ног, спин...  
И только лишь в третьем отсеке  
Как следственный я один.  
Три прочих, невидных мне клетки  
Набиты после судов  
Армейской контрразведки  
Попутных городов.  
В одной из соседних, за стенкой,  
Я слышу: «Не копошись!  
Не босым, не бось, на сменку!  
Снимай сапоги, фашист!  
Ты, дядя, скидай-ка шубу!  
У, падло, какую носил!»  
Ещё из отсека: «Карзубый!  
Пульни нам курить и бацилл!»  
Не видя, не слыша, покойно  
Проходом ефрейтор идёт:  
От урок команде конвойной  
Из доли перепадёт...  
Но вот утихает гомон  
И, кончив курочить бобров,  
Фиксатый тискает роман  
Из жизни князей и воров:  
«А Васька, попутав Аньку,  
Надел шикарный лепень  
И едет в такси на свиданку  
К маркизе де-ля-Монтень.  
В кармане — «Казбека» пачка,  
Начищены прохоря,  
А курва-маркиза с заначки  
Приехала от царя...»  
Надолго, как этим ворам,  
И мне здесь дом родной...  
Давно не идёт коридором  
Ушедший к себе конвой.  
В четвёртом отсеке, подале,  
За мною, ребят везут,

Прошедших и колья, и мяля,  
И плен, и смерть, и суд.  
Кто с сорок первого года  
Излазил войны трюмы, —  
Такую людскую породу,  
Какой не знавали мы.  
Кто в первом военном позоре  
Был родиной предан впервь —  
Бежали в Москву комкоры,  
Москва — в Ташкент и в Пермь.  
Кто родиной изподтиха  
Был предан понову,  
Когда умирали от тифа  
И ели в плену траву.  
Кто в третий раз родиной предан  
Под клятвой, что прежнего нет,  
Кто праздновать едет победу  
В Норильск, на Чукотку, в Тайшет.  
Но! порфиноносная шляха! —  
Москва! — в свои тюрьмы таких  
Ещё не сажала ты! Ухо  
Склоняю к беседе их.  
К беседе? Нет, к песне... Да, верно.  
К решётке прильнув, присмирив,  
Я слышу сквозь постук мерный  
Тоскливый тюремный напев.  
Ребята поют вполслуха.  
Стучится из клетки в клеть  
Томленье мятежного духа,  
Отнятое право петь.  
В острогах рабоче-крестьянских  
Нам петь запрещает режим:  
Старинный мотив каторжанский  
Теперь не по вкусу им:

«Меж решёток двойных замутилось стекло,  
На ходу дребезжит и звенит.  
И поля залило, и поля замело,  
И на север наш поезд бежит.  
Нашу пайку мы съели ещё поутру,  
А другой нам всю ночь дожидаться.  
Не пришлось, мужички, нам ни в землю сыру,

Ни за тёплое море податься.  
Вспоминаю свою молодую жену —  
Чем теперь её сердце согрето?  
Мало пожил я с ней и ушёл на войну  
И с тех пор вот скитаюсь по свету.  
И хлебнули ж мы, пленные, горя в тот год...  
Что ни утро, то трупы носили...  
Если б знал, что и здесь этот плен меня ждёт, —  
Не вернулся б я, братцы, в Россию».

Сержант подбегает, неистов,  
И шомпол кружит, как лозу:  
«Отставить петь, фашисты!  
В наручниках повезу!»

ТЮРЕМНЫЕ — ЛАГЕРНЫЕ — ССЫЛЬНЫЕ  
СТИХИ



## ВОСПОМИНАНИЕ О БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ

*Николаю Андреевичу  
Семёнову*

Были тусклы *намордники* камеры мертвой,  
Полудённые светы — неверны и плохи.  
Ты, знакомясь, с улыбкой представился: — «Жертва.  
Тихий кролик великой эпохи...»  
Что-то слишком великой... Всё в будущем рея,  
Ни хитрить, ни таить, ни делить не умея, —  
Дней тех юных, ну, что б вам с женой приоставить?  
Пятилеткам на бедность снесли переплавить.  
А потом — в ополчение доброю волей,  
Мешковатость, пенсне кабинетный защем...  
— Почему не стрелялся?! Оружия, что ли,  
Вам не дали?! А — палка зачем?  
...Знаю, знаю я поле ржаное,  
Когда в «юнкерсах», в «хеншелях» небо черно,  
Нет снарядов, орудье не бьёт ни одно...  
Трое суток метался — и в подлой измене  
*Не убив себя!* — сдался, и вот виноват...  
Эх! я всех их! я всех бы сейчас — на колени!  
Пред тобою, русский солдат!!  
Что-то там, по воронкам, их мало лежало!  
Кто лежал — тот срывал комиссарские шпалы,  
Хоронил средь зелёной травы...  
*Рвали когти* в Москву господа генералы,  
Деранула за Волгу Москва из Москвы...  
Завтра — праздник... Уж флаги за зоною алы,  
Уж белеет, крепчает зима.  
Где теперь ты? Таскаешь ли шпалы

На дороге Тайшет — Колыма?  
 Под Норильском волочишь цынготное горе?  
 В ледовитой ли тьме Воркуты?  
 Или сосны кряжуешь на вьюжной Печоре?  
 Или уголь долбишь в подземельях Инты?  
 Помнишь — воздух, застойный, как в яме,  
 Своды серые старой добротной тюрьмы,  
 Где июльскими тёмными долгими днями  
 О великом и малом печалились мы?  
 Кто там не был! какие огни не сходились!  
 Монархист ли, марксист ли, — но только б не раб.  
 И сшибались до пены, до ярости бились,  
 Хлебной крошкой, табачною пылью делились,  
 Обнимались на смерть, уходя на этап.  
 Невесомая мысль! — для стихов и для лекций  
 Вечерами сдвигались, под лампами дым, —  
 Атом. Гоголь. Барокко. Наследственность. Рим. —  
 И учёные сыпали блёстки коллекций  
 Неучёным, но тёртым друзьям молодым.  
 Хмуро слушали, как на духу.  
 Зёрна брали, с усмешкой отвеяв труху:  
 Отхватили нужды эти русские парни —  
 И в навозную бочку впрягались попарно,  
 И собирали картофельную шелуху.  
 Умудрила их жизнь! От Норвегий до Ливий  
 Исходили Европы красу и тщету,  
 Повидали, где мягче, сытей и счастливей,  
 И вернулись в родимую нищету.  
 Тут их ждали. Тут выдержать буйные дрожжи  
 Запахнулась вокруг них крепостная стена...

Неприютная Русь! Что ты знаешь? Быть может,  
 Этой самой закланною молодёжью  
 Ты и будешь когда-нибудь спасена?..

## МЕЧТА АРЕСТАНТА

Мне б теперь — да в село Алтая,  
Где и поезд не будит тишь,  
Где пословица золотая:  
«Меньше знаешь — больше спишь».

Я хоть жив, а других — искромсало...  
Каково б мою горечь — да *тем*?  
Нет!! Чтоб жизнью платить — сызначала  
Нет таких философских систем!

Десять лет мне прогнать в этом склепе,  
Десять зим набежит в волосах...  
Мне — бродить бы сейчас по степи  
И встречать восход в овсах.

Отличать бы от вяза — ясень,  
От чижа и синицы — щегла,  
Знать повадки леща, карася,  
Знать приметы дождя, тепла.

Мне — в Алтай бы! Высоким стремленьям  
Отдал дань я, и будет с меня.  
Я грущу по коровьему пенью,  
По оскалу улыбки коня.

Мне б — избёнку пониже. Нисколько  
Не взмучая счастливую тьму,  
Я б учил ребятишек, но только  
Арифметике и письму.

## ЧЕРЕЗ ДВЕ РЕШЁТКИ

Ты — как девочка молодая!  
Ты всё та же, не блекнет лицо.  
Свежим даром любви обладая,  
Распрямись же! сними, родная,  
Обручальное наше кольцо.

Ты не знаешь, что значит *ждать*!  
Холодеть. Каменеть. Скрывать.  
Человеку ль пред жизнью не сдаться?  
Ведь не год. Ведь не три. Ведь не пять!  
А с войною — пятнадцать!

Облетят твои свежесть и цвет,  
Подо льдами надломится стойкость.  
Не клянись опрометчиво, нет!  
Даже сказочный срок — семь лет.  
Даже в сказках не ждут по столько...

1947

## ВАНЬКА-ВСТАНЬКА

Когда было мне годика три,  
Принесла забавушку мне нянька.  
Опрокинув, пустила: — Смотри,  
Ванька-Встанька!..

Потолкала с тех пор меня жизнь, пошвыряла,  
Отняла, всё что было сначала  
Мне, юнцу, нерасчётливо щедро дано,  
Сколько раз гнула так, что казалось тошнó  
Даже выжить до вечера.

Но...

День покойный удайся, проглянь-ка  
Ласка женщины, друга слово, —  
Я упорно, как Ванька-Встанька,  
На своём подымаюсь снова.  
И ведь всё уж потеряно, кажется,  
И сомненьям моим не улечься, —  
А опять я готов отважиться!  
А опять я готов увлечься!  
Как же мало надо для тела,  
Чтоб от недуга к жизни взяться!  
К т о ж мне душу такую сделал,  
Что опять я могу смеяться?

1947

## РОМАНС

А. Б.

Да, я любил тебя! Была ты  
И в чёрном панцыре бушлата  
Цветок призывного греха, —  
Дочь мужика, чей быт богатый  
Смели и выжгли излиха.

Я помню вечер: снег мелькучий,  
Пред вахтой рваную толпу,  
— И тень от провол'ки колочей  
Терновым венчиком на лбу.

Рука в руке, мы любострастно  
Сплотились в сутисках толпы,  
— В твой лоб девичий ясно-ясно  
Вонзились чёрные шипы...

Как на картине, на иконе,  
Я вижу этот образ твой,  
Какой тогда тебя я понял  
И полюбил тебя какой.

Ты билась годы в частом бредне,  
Потом ослабла и — пошла...  
Я не был первый, ни последний,  
Кому готовно отдала

Свой рабий час, саму себя ты,  
Нежитой юности в искуп.  
В мужском хмелю, но с болью брата  
Я горечь пил с тягучих губ.

Да, я любил тебя! Не только  
За дрожь груди, за трепет тонкий,  
За сохранённый щедрый пыл, —  
В тебе, погиблая девчёнка,  
Судьбу России я любил...

1947

\* \* \*

Когда я горестно листаю  
Российской летопись земли,  
Я — тех царей благословляю,  
При ком войны мы не вели.

При ком границ не раздвигали,  
При ком столиц не воздвигали,  
Не усмиряли мятежей, —  
Рождались, жили, умирали  
В глухом кругу, в семье своей.

Мне стали по сердцу те поры,  
Мне те минуты дороги,  
Те годы жизни, о которых,  
Ища великого, историк  
Небрежно пишет две строки.

1948

## ВЕЧЕРНИЙ СНЕГ

Стемнело. Тихо и тепло.  
И снег вечерний сыплет.  
На шапки вышек лёг бело,  
Колючку пухом убрало,  
И в тёмных блёстках липы.

Занёс дорожку к проходной  
И фонари оснежил...  
Любимый мой, искристый мой!  
Идёт, вечерний, над тюрьмой,  
Как шёл над *волей* прежде...

В такой вот вечер декабря  
Мы шли с тобой когда-то, —  
Он так же в свете фонаря  
То мелко сеялся, горя,  
То сплошь валил, звездчатый.

Тебе на мех воротника  
Низался он, сверкая,  
В росинки таял на щеках,  
Дрожал недолго на руках  
И на ресницах таял.

Вечерний снег, вечерний снег!  
И ветви лип седые...  
Двором тюремным, как во сне,  
Иду — и вспыхнули во мне  
Все чувства молодые...

## ОТСЮДА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Милые мои! Да как же вас утешу?  
Разве я словами горе залечу?  
Редко я писал вам — и всё реже, реже, —  
А теперь и вовсе замолчу...  
Решено не мною так, не нами, —  
Русскими, однако. Не монголами. Не янки.  
Матовыми светлыми ночами  
Так постановили на Лубянке.  
Ждал я этого — и совершилось эдак.  
А услышал — душу повело.  
Напоследок! — как же напоследок  
Написать вам просто и светло?  
Написать, чтоб меньше вы гадали,  
Как несу я тяжесть этих лет.  
Попросить, чтоб в сердце не рождали  
Ужасов, которых в жизни нет.  
Мне к лицу нейдёт венок терновый —  
Оплетён железным тёрном целый материк!  
Нас таких!.. — нас материк здесь новый,  
Я к нему, как к родине, привык.  
Так не надо этих оговорок:  
«Когда с нами был... Когда вернёшься ты...»  
Первый месяц, первый год был горек,  
Бились о решётку глупые мечты,  
А когда завалишь месяцев за сорок —  
Видишь: не осталось суеты.  
День «освобожденья»  
Мне как *возвращенье*  
Тоже рисовался поперву.  
Но потом, — в какой тюрьме по счёту? —  
Что-то хрустнуло во мне, досохло что-то,  
С той поры прошедшим не живу.  
Я отвык от внешнего движенья —

От того, что называют *волей*.  
Душу новую, как новое растенье,  
Я рашу в себе в недоброй гнили тюрем,  
И растеньем этим я доволен.  
Разразись теперь «освобожденье» —  
Я бы вышел нехотя, сощурен.  
На пороге шумного, большого  
Долго бы стоял я, бритый и в заплатах.  
Это было бы приходом новым,  
Это вовсе не было б *возвратом!*  
Я не знаю, было ль б мне свободней,  
Если б, в полусвет из полутьмы,  
В наше неуютное сегодня  
Я, прозревший, вышел из тюрьмы.  
С каждым днём я научаюсь видеть  
То, чего не видел я вчера,  
Узнаю, что клясть, что ненавидеть,  
Что кричать — наука не хитра;  
Вижу мелким то, что прежде чёл огромным,  
И — большим, чем прежде я небрѣг;  
Я учусь терпенью, я учусь быть скромным.  
Если б только мог я, если б только мог  
К людям терпеливым стать.  
А уж телом, телом  
Одеревяnelым  
Этих лучших лет не наверстать.

1950

## ОТРЕЧЕНИЕ

День второй в себя не приду.  
Я — мужик, а рыданьями горло сжало.  
Вот она — на каком году  
Эта весть меня ожидала...

Ты вошла на свиданье с улыбкою бледной,  
В своём старом, потёртом и бедном.  
Я прижался к твоей высыхающей груди,  
Запрокинул твой лоб — где же? где же ты? — нет  
Ни невесты моей, той девчёнки-игруньи!  
Ни весёлой подруги удачливых лет.  
Боже, как мы развыклись! Как будто  
Я — не муж твой, ты мне — не жена!  
И — пустые, пустые минуты  
Отмерял по часам старшина  
С голубою погонной каймой.  
И тогда ты взметнула с мольбой  
Взгляд, как выкрик, как стон — пожалей! —  
И сказала с улыбкой совсем не твоей,  
Так легко, так легко: «В первый год  
Предлагал мне, ты помнишь, когда-то развод...  
А... — теперь?»  
Слово — на вес. Не небо над нами —  
Вурдалак с голубыми крылами.  
И — не голосом, а — губами:  
«Заставляют... Не верь!..»  
Только тут я заметил, что больше нет  
На руке у тебя моего кольца, —  
И прозреньем ударил мне в душу свет,  
Что это — начало конца.  
Сердце ленточкой не обернуть, как ларец,  
Не уснуть, не забыться до лучших времён.  
Ты не знала ещё! Но я понял: *конец!*

Это — он!  
Я сказал тебе ласково: «И давно б».  
Я смотрел, что вступили в твой бледный лоб  
Сухо врезанные морщины,  
Не разглаженные мужчиной.  
«Ты не понял меня!.. Только будем чуть реже...»  
— «Всё я понял, родная». Но в папках засаленных  
Подшивает бумажки проклятая нежить —  
Жандармский корпус Сталина!

Я размеренно высидел, впитывал тонкий,  
Тонкий облик твой, станущий скоро чужим.  
А теперь вот на скудной тюремной вагонке  
Поражён отреченьем твоим и своим.  
Я ведь жил — не ценил твою близость и нежность.  
Жили вместе — а мне б так и хоть одному.  
Вот — и бьёт. Бьёт — развод!  
Бьёт о лагерный рельс неизбежность.  
Шли давно мы к тому.  
Боль такая, что в общей для всех маяте  
Оказались мы оба — *не те...*

1950

## С ВЕРХНЕЙ ПОЛКИ «ВАГОН-ЗАКА»

Скоро не будет серебряных рощиц,  
Зарослей частых, заманчивой тени, —  
Едем в пустыню, не будет в ней, тощей,  
Писка зверюшек, птичьего пенья,

Влажных покосов, жёлтого жнива,  
В воду колодцев не грохнется цепь:  
Глушит и давит всякое *живо*  
Мёртвая степь, осолённая степь.

Скоро не будет покровов зелёных,  
Жёсткого дёрна, горькой полыни —  
В мареве жёлтом песок раскалённый  
Кружит и кружит ветер пустыни.

Едем на каторгу, в медные копи.  
Вытравит лёгкие в месяцы медь.  
Видели. Думали. Жили в Европе.  
— В серой *больничке* везут умереть...

1950

## КАМЕНЩИК

Вот — я каменщик. Как у поэта сложено,  
Я из камня дикого кладу тюрьму.  
Но вокруг — не город: Зона. Огорожено.  
В чистом небе коршун реет настороженно.  
Ветер по степи... И нет в степи прохожего,  
Чтоб спросить меня: кладу — к о м у ?

Стерегут колючкой, псами, пулемётами, —  
Мало! Им ещё в тюрьме нужна тюрьма...  
Мастерок в руке. Размеренно работаю,  
И влечёт работа по себе сама.

Был майор. Стена не так развязана.  
Первых посадить нас обещал.  
Только ль это! Слово вольно сказано,  
На тюремном деле — галочка проказю,  
Что-нибудь в доносе на меня показано,  
С кем-нибудь фигурной скобкой сообща.

Вперекличь дробят и тешут молотки проворные.  
За стеной стена растёт, за стенами стена...  
Шутим, закурив у ящика растворного.  
Ждём на ужин хлеба, каш добавка вздорного.  
А с лесов, меж камня — камер ямы чёрные,  
Чьих-то близких мук немая глубина...

И всего-то нить у них — одна, автомобильная,  
Да с гуденьем проводов недавние столбы.  
Боже мой! Какие мы бессильные!  
Боже мой! Какие мы рабы!

## ХЛЕБНЫЕ ЧЁТКИ

Ожерелье моё, сотня шариков хлебных,  
Изо всех пропастей выводящая нить!  
Перебором твоим цепи строк ворожебных,  
Обречённых на смерть, я успел сохранить.

В ожиданиях, безчисленных в зэковской доле,  
Прикрывая тебя от соседей полкой,  
С неподвижным лицом, словно чётки католик,  
Отмерял я тебя терпеливой рукой.

Проносил в рукавице, уловка поэта!  
Не дойди до тебя я усталым умом —  
Было б меньше одною поэмой пропето,  
Было больше б одним надмогильным холмом.

1950

## ПРАВО УЗНИКА

Ни на что не даёт нам права  
Гнёт годов, в тюрьме прожитых:  
Ни на кафедры, ни на славу,  
Ни на власть, ни на нимбы святых.  
Ни на то, чтобы тусклые жалобы  
В мемуарах с усталостью смешивать,  
Ни — чтоб юношей племя по жизни бежало бы  
Тою стёжкой, что мы им провешили.  
Всё пойдёт, как пойдёт. Не заранее  
Толочить колею колеса.  
Осветлившийся внутренний стержень страдания —  
Вот одна нам награда за всё и за вся.  
Это — высший кристалл из наземных кристаллов.  
И чтоб чистым его донести,  
Будь из всех наших прав небылых — наималым  
Затаённое право на равную месть.  
Есть — число. Нескончаемо длинно,  
Лишь китайцам да русским понятно оно, —  
Всех упавших, угасших — безвестно — безвинно...  
Мы в числе том — ноли, и ноли, и ноли...  
Наше право одно:  
Быть безгневным сыном  
Безудачливой русской земли.  
Пусть вглуби нас обиды стогят вперегной,  
А наружу мы бросим — побегу живые! —  
И тогда лишь всплывёт над усталой страной  
Долгожданное Солнце России.

1951

\* \* \*

Что-то стали фронтовые вёсны  
Навещать меня, живые, как вчера...  
Лица чистые, задумчивые сосны,  
Русское протяжное «ура!»

Никогда я не любил войны,  
Побеждал всегда я неохотно.  
Но теперь вся боль моей страны»  
Как заряд, забила в сердце плотно.

Кто Россию в трусости обносит  
Паутиной проволоки и вахт,  
Тех исправит только пушек посвист  
Да разрывов безсердечный кряхт.

Оттого дороги наступлений  
Оживают, душу теребя,  
И сквозь тысячи тюремных унижений  
Я солдатом чувствую себя.

Оттого-то я гляжу с издёвкой  
На чекистов: гневу не пора.  
Будет час! — и я вольюсь с винтовкой  
В русское протяжное «ура!..».

1951

## СЕДЬМАЯ ВЕСНА

Шесть кряду лет — тоска весны и злая,  
И злая зависть, прошлое кружа...  
Но как спокойно я тебя встречаю,  
Моя тюремная весна седьмая,  
Как безтревожна ты и как чужа.

Там где-то девушкам дарят фиалки,  
Там чьи-то платья белы в луне... —  
Тут коршун плавает над лысой балкой  
Да степь гола. А мне — себя не жалко,  
И никаких желаний нет во мне.

Утрами под ногой ледочек крохкий,  
Днём пригорки на сугреве сухи,  
Струит тепло и холод воздух вохкий,  
С полей отходит влага паром лёгким,  
Поют звончей и чаще петухи.

Я — примирён. Я не стегаю тела  
В бесплодном изнуряющем кругу.  
Всё то, что мог, уже я в жизни сделал,  
Всего ж, чего так яростно хотел я, —  
Всего того я сделать не смогу.

Кто родился тогда — учётся в школе,  
Кто в школе был тогда — теперь женат.  
Забут я там... Отвык и сам от воли.  
Крик журавлей уже не будит боли,  
И не следит за их цепочкой взгляд.

Всевидящее! Кротко голубое!  
Лишь ты одно свидетелем тому,  
За эти годы чёрствые — какое  
Я чувство погубил в себе святое,  
Принесенное юношей в тюрьму.

1951

## РОССИЯ ?

Есть много Россий в России,  
В России несхожих Россий.  
Мы ó-слово-словом красивым,  
Как кремешками кресим:

«Россия!» ...Не в блоковских ликах  
Ты мне протупаешь, гляжу:  
Среди соплеменников диких  
России я не нахожу...

Взахлёб, на любом раздорожь,  
И ворот, и грудь настезу,  
Я — с подлинным русским. Но что же  
Так мало я их нахожу?..

Так еле заметно их проткань  
Российскую теплит ткань,  
Что даже порой за решёткой  
Вершит и ликует рвань.

Пытаю у памяти тёмной —  
Быть может, я в книге солгал?  
Нет, нет! Я отчётливо помню,  
Каких одноземцев встречал!

Но так полюбил их, что ложно  
Собрал промелькнувших враздробь,  
Торивших свой путь непроложный  
На Вымь, Индигирку и Обь...

Россия! Россий несхожих  
Наслушал и высмотрел я.  
Но та, что всех дороже —  
О, где ты, Россия моя?

— Россия людей прямодушных,  
Горячих, смешных чудаков,  
Россия порогов радушных,  
Россия широких столов,

Где пусть не добром за лихо,  
Но платят добром за добро,  
Где робких, податливых, тихих  
Не топчет людское юро?

Где в драке и гневный не станет  
Лежачего добивать?  
Где вспомнят не только при брани,  
Что есть у каждого мать?

Где если не верят в Бога,  
То пошло над ним не трунят?  
Где, в дом заходя, с порога  
Чужой почитают обряд?

Где нет азиатской опеки  
За волосы к небесам?  
Где чтит человек в человеке  
Не худшего, чем он сам?

Где рабство не стало потребой  
Угодливых искренно душ,  
Где смертных не вносят на небо,  
Где смелых не ломают вкрушь?

Где поживших предков опыт  
Не кроет презренья пыльца?  
Где цветен, опéрен и тёпел  
Играющий в спорх словца?

Где, зная и что́ у нас плохо,  
И что́ у нас хорошо,  
Не ломаются в спор до издоха,  
Что наше одно гожо.

За всё расплатиться приспело:  
За гордость и властную длань;  
За тех, кто *народное дело*  
С помоями смыл в лохань.

Татарщин родимые пятна  
И красной советчины гнусь —  
На всех нас! во всех нас! Треклятна  
Не стала б для мира — Русь.

В двухсотмиллионном массиве,  
О, как ты хрупка и тонка,  
Единственная Россия,  
Неслышимая пока!..

1952

## АКАФИСТ

Да когда ж я так до́пуста, до́чиста  
Всё развеял из зёрен благих?  
Ведь провёл же и я отрочество  
В светлом пении храмов Твоих!

Рассверкалась премудрость книжная,  
Мой надменный пронзая мозг,  
Тайны мира явились — постижными,  
Жребий жизни — податлив как воск.

Кровь бурлила — и каждый вы́полоск  
Иноцветно сверкал впереди, —  
И, без грохота, тихо рассыпалось  
Зданье веры в моей груди.

Но пройдя между быти и небыти,  
Упадав и держась на краю,  
Я смотрю в благодарственном трепете  
На прожитую жизнь мою.

Не рассудком моим, не желанием  
Освещён её каждый излом —  
Смысла Высшего ровным сиянием,  
Объяснившимся мне лишь потом.

И теперь, возвращённою мерою  
Надчерпнувши воды живой, —  
Бог Вселенной! Я снова верую!  
И с отрекшимся был Ты со мной...

## ПРОЩАНИЕ С КАТОРГОЙ

*Читайте,  
завидуйте,  
я — гражданин  
Советского Союза!*  
Маяковский

Други лет однокаторжных! Я не раз бы  
Разделил ещё с вами беседу и долю,  
Но оливково-мутный суют мне паспорт  
И толкают в спину — на волю...  
Мне из меньшей идти в эту большую зону —  
Всё равно как идти бы сейчас к прокажённым:  
Притворяться, что вовсе не чувствую боли,  
Когда станут мне мясо живое жечь.  
К одноземцам советским мне нэпуть, мне нэгод, —  
Как к монголам, как к половцам, как к печенегам  
В их бессмысленный табор невольником течь.  
Там не вѣнет в лицо мне мятежным духом,  
Не коснѣтся там радостно-жадного слуха  
Ваша смелая гордая речь.  
Так к чему ж ожидания столькогодние?  
И полѣт за решѣтку, колючку, столбы?  
Еду — в зелень, в движенье, в страну многоплодную,  
Но меняю тюрьму, где мятутся свободные,  
На свободу, где в страхах коснеют рабы.  
Еду — нем, с безлучистым, погаснувшим взглядом.  
Еду вырыть такую нору кротовью,  
Чтобы даже женщина, спящая рядом,  
Не видала листочков, прочерченных кровью.

1952

## ПЯТОЕ МАРТА

Где я? Двадцатый ли? Тринадцатый ли век?  
Кочевья стан? .. Как черепа их голы!  
Раскосый, бронзовый и чёрный Кок-Терек  
Встречает смерть Великого Могола.

Мехово-рыжие с голов сорвавши малахаи,  
Безмысленная Азия рябого чтит Юсупа...  
О, где ты, каторга?! Братва моя лихая!  
Быть в этот день — и здесь!..

И с ними — в рупор лупать...

Единственный, кого я ненавидел!!  
Пересчитал грехи? Задохся в Божий час?  
Упрямый бес! Что чувствуешь, изыдя  
Из рёбер, где держался уцепясь?

Косятся на меня, что-де я шапки нё снял,  
Но, лагерями мятое, черно моё лицо.  
Легко мне, радостно и — жаль:  
ушёл от русской мести,  
Перехитрил ты нас, кацо!

Ты проскочил и первомартовские царские календы  
И не дожил до цезаревских мартовских же ид!

...С камышных мазанок пестро свисают ленты,  
И голос диктора наигранно дрожит...

## ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЗВЁЗДАМ

Так вот она, воля: над степью — да небо!  
Так вот из земных не последняя доля:  
Увидеть алмазный осколок Денеба,  
В ночной черноте — перемиги Альголя.  
Мой прежний, мой запертый, стиснутый мир  
Забыл про тебя, голубой Альтаир.

Нам жёлтая зона, слепя фонарями,  
Лгала, что померкла Вселенная звёзд, —  
Но тех же Плеяд озаренье над нами,  
Того же Стрельца полыхающий грозд.

Над тьмю тупого, жестокого века  
Какою надеждой вы блещете мне —  
Кипяще, немисливо белая Вега  
И факел Юпитера в Божьем огне!

1953

\* \* \*

Вот и воли клочок. Новоселье  
В бурой степи да в голых стенах...  
Но опять в изуверскую келью  
Я свободу свою, как монах,

Истязуясь, постясь, заточаю  
И цветов приканавных не рву, —  
К т о ты, девушка? где ты, родная,  
Для которой теперь я живу?

Столько в памяти скрыто в приглубках —  
Распирается череп, треща.  
Не хочу истаскаться по юбкам,  
Не женюсь для мясного борща,

Комсомольской бояться измены  
У себя на дому не хочу!  
Ночью слушают чёрные стены,  
Как я с досок несланных шепчу:

— Кто ты, девушка? Где твои зреют  
Непреклонность? и верность? и стан?  
— Ты, кого б я привёл, не краснея,  
В круг высокий былых каторжан?

1953

\* \* \*

Под духмяной, дурманящей сенью джиды  
Ты мне странные, чуждые песни играла.  
Одинокая цапля в шуршаньи воды  
О-тот берег задумчиво долго стояла.

В эту зарость колючих кустов джингиля,  
Так обманчиво пахнувших нашей сиренью,  
Я тебя увлекал, чтоб ты стала моя,  
Я метал тебе под ноги жизнь в нетерпеньи.

И темнел, сокоснувшись упруго с тобой,  
И щекою скользил между сборок подола, —  
Ты привольным дыханьем в тиши надречной  
Разлила деревянную трель Комсомола...

И — откинулся я! И с позорной цыновки  
Я вскочил — стало стыдно и больно мне: как  
Мог забыть я опухших больных доходят?  
И расстрел? и трёх тысяч три дня голодовку?

Слёзы женщин — иных, кровь — не этих мужчин, —  
Всё б ушло из меня, испарившись по капле...  
Нет, девчушка! Останусь, останусь один,  
Как вон та одинокая цапля...

1953

## ТРИ НЕВЕСТЫ

И куда, бывало, шаг я ни направлю,  
Сам не помню как, оказывался вместо —  
В комнате, где девушки из Ярославля,  
Жили три учительницы, жили три невесты.

Там висели зайчики смешные на стене,  
В безделушках девичьих цвела душа живая,  
Над мотками розовых, зелёных мулине  
Девушки склонялись, вышивая.

Это было так несовременно,  
Так милы мне были три головки русые, —  
Блока белокрылого, Есенина смятенного,  
Бунина закатного, обдуманного Брюсова, —

Я метал им всё, что помнил только лучшего,  
Голову в жару свою охватывая,  
Отцедил смолы янтарной Тютчева,  
Брызнул зелья чёрного Ахматовой.

Клеткам счёт не потеряли, и на горле выемов  
Не поправили, и нити брали — те;  
Я списать не дам ли песенку из фильмов, —  
Лишь одна спросила в простоте.

Иглы быстрые мелькали так же почаству,  
Пальцы ловкие скользили по канве...  
И холодную, блестящую корону одиночества  
Я в ознобе ощутил на голове...

## НАД «ДОРОЖЕНЬКОЙ»

Дочь моя! Душа моя! Кудерьки альяльные  
И тоска Алёнушки в глазёнках голубых!  
Ты растёшь без воздуха. Кругом — кругом чужие,  
И тебя мне прятать надобно от них.

Ты мала, не знаешь ты: отец твой вовсе не жил  
И смятен, как юноша, двенадцать лет спустя...  
Те, что в глазках твоих стыннут, — те же,  
Те же прутья самые, мне небо закрестя,

Не дали ладоням ласки мягкой черпать,  
С губ других губам испить медка, —  
Оттого так смутно жаден на ущербе  
Я к годам, последним к сорока.

Ты мала, не знаешь этого туману,  
Когда плоть тугая, как струна.  
Я привёл бы в дом, привёл бы тебе маму,  
Да боюсь, не мачеха ль она.

Я боюсь, она изменит наш обычай,  
Длитель беседы нам вечерние не даст,  
Иль в безумии твой хрупкий стан девичий  
На глумление чекистам запродаст...

1953

## ТРИУМВИРАМ

Написано!.. Целого мира  
Не так мне страшен суд,  
Как то, что, три триумвира,  
Вы судите мой труд.

Вы трое, кому я обязан  
Всем лучшим! — как строг ваш взор.  
С годами, пусть въявь не сказан,  
Пойму я ваш приговор.

Как Пушкин, хотел я о мрачном,  
Сказать, осветляя боль,  
То буйной, то грустно-прозрачной  
Увидеть земную юдоль;

Увидеть алмазные всплески  
В засмраженной тесной судьбе,  
Безжалостным, как Достоевский,  
Лишь быв к самому себе;

Но чутким к узлам свилеватых  
Узоров в душе чужой,  
Что в мире нет виноватых,  
Хотел я провесть, как Толстой,

Чтоб вызрел плод поэта  
Не к ненависти — к добру.  
...Бог знает, насколько это  
Моему удалось перу...

\* \* \*

Поэты русские! Я с болью одинокой,  
В тоске затравленной перебираю вас!  
Пришёл и мой — мой ранний, мой жестокий  
Час истребления, уничтоженья час.

Не знали мы тех лет, отстоенных и зрелых,  
Когда со слов спадёт горячности туман, —  
Два наших первенца застрелены в дуэлях,  
Растрезан третий в рёве мусульман.

Нас всех, нас всех пред пушкинскою гранью  
Многоголово гибель стерегла:  
Безумием, гниением, зелёным умираньем,  
Мгновенным ли пыланием чела;

Повешен тот, а этот сослан в рудник,  
Иных подбил догадливый черкес, —  
Санкт-петербургские нахмуренные будни  
Да желть бензинная лубянская небес...

Чума на нас, российские поэты!  
Текучим воском вылиты каким? —  
Один — в петлю, другой — из пистолета,  
К расстрелу — третьего, четвёртого — в Нарым.

Да счесть ли всех? Да кто сберёт алмазы  
В рассеянных, разбитых черепах?..  
Безумный я! — пополз подземным лазом  
Сберечь их горсть в невидимых стихах, —



## НАПУТСТВИЕ

Мне э т а только мысль невыносима  
Под скоморошьи бубны эС-эС-Пэ,  
Что миру целому привидится Россия  
Бездарная, безвкусная, вглупе.

Не будут знать, как дух умерших светел,  
Как гений поколения был мудр, —  
И полстолетия покроет бурый пепел  
Нарымских топей, воркутинских тундр...

О, просочись сквозь Занавес Железный!  
О, крикни в щёлочку, светящую едва:  
Глухим ночным ли выстрелом обрезным,  
Бунтом ли лагерным — жива! ещё — жива!

1953

\* \* \*

Смерть — не как пропасть, а смерть — как гребень,  
Кряж, на который взнеслась дорога.  
Блещет на чёрном предсмертном небе  
Белое Солнце Бога.

И, обернувшись, в лучах его белых  
Вижу Россию до ледяных венцов —  
Взглядом, какой высекали на стелах  
Мудрые эллины у мертвецов.

Вижу прозрачно — без гнева, без клятвы:  
В низостях. В славе. В житье-колотье...

Больше не видеть тебя мне распятой,  
Больше не звать Воскресенья тебе...

*Декабрь 1953*

# ЛЮБИ РЕВОЛЮЦИЮ

НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ

*Мальчишка! Люби революцию!  
Во всём мире одна она  
достойна любви!*

**Б. Лавренёв. «Марина»**

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

# РАЗМОЛОТНЫЕ НЕДЕЛИ

Подъезжая к Москве дождливым, хмуреньким утром, Нержин стоял на открытой площадке вагона, подставляя лицо приятной июньской мороси, и думал о том, какой он глубокий человек, как много знает, несмотря на свои 23 года, и как ещё больше узнает впереди. Вперемежку с мыслями приходили в голову разные остроты — и наиболее удачными из них Глеб мысленно делился со своим ещё школьным другом Андреем, присутствие которого неизменно ощущал. И там, где они должны были раскатисто смеяться вдвоём, — смеялся вслух, чем удивил проходившего через тамбур проводника.

И вот, досрочно сдав у себя в Ростове последний государственный экзамен на физмате, — с лёгким сердцем перед простором, теперь свободным для всех наук и искусств, — Глеб немедля, в июне же, выехал на сессию и экзамены в свой заветный МИФЛИ — прославленный Московский Институт Философии, Литературы и Истории. Сдавать он вёз — в голове, а больше в конспектах: латынь и церковно-славянский, несколько литератур — античную, всеобщую до Возрождения и русскую до Карамзина, ещё историю Средних веков, — но обилие предметов не тяготило его, — напротив, радовало своим разнообразием и своей непохожестью на аналитическую теорию дифференциальных уравнений и монодромные множества. Рассчитавши целые годы по секундам, Нержин не знал и не желал отдыха, не раз с благодарностью проверяя на себе правило Ламарка, что отдых состоит в смене работы.

Беречь! Беречь время и уплотнять его! — был напряжённый девиз Глеба ещё со школьного времени. Ни на какое ребяческое *бортыханье*, пустое *слоньяне*, кроме единственного только футбола, его невозможно было завлечь. Над ним напоминательно парила несчастная смерть отца в 27 лет. (А Лермонтов? А Эварист Галуа?) И Глеб действовал так, как если б и ему было определено

столько же. Разрываясь между математикой, литературой и историей, он уже после третьего курса физмата изобрёл: одновременно, заочно, учиться и в МИФЛИ — о самом существовании которого, по провинциальной оторванности, и узнал-то слишком поздно.

С того же второго-третьего курса уже несколько раз пересекал его путь — отвилком в армию. Приезжали вербовщики от одного, другого, четвёртого военных училищ и заманивали переходить туда, бросив университет. «Разве столько будешь получать, как школьным учителем?» (Да какое имеет значение *получать*? Разве мы выбираем путь жизни — по деньгам!) «И в армии — сразу в комсоставе, а то — рядовым три года тянуть». Да, потерять три молодых года на армию действительно казалось чудовищно, — но тем более не самому же туда спешить совать голову. В *военное* время — ещё бы! не только место мужчины на фронте, но о будущей европейской — и конечно Революционной Великой — войне Глеб почти мечтал. Но та Война — ещё когда будет, а вот армейщина мирных лет — невыносима, нет.

И вдруг? К концу пятого курса, весной, на призывном военкоматском осмотре хирург остановился на ненормальности, которой Глеб и значения не придавал, хотя ещё в школьные годы мешала в футболе; задержался, покачал, покачал головой: «Это может быстро переродиться в опасную опухоль», — и вписал в карточку: «В мирное время — не годен, в военное — нестроевая служба».

При резкой неожиданности — однако! какой же это был дар судьбы! Опухоль — ещё будет, нет ли, а через два месяца государственные экзамены — и не в призывную команду шагай, а ты — вольный человек! Это же как раз недостающее драгоценное время!

Итак, жизнь была прекрасна. Прежде всего потому, что она была подвластна Нержину, и он мог делать из неё всё, что хотел. Ещё — потому, что необъятным и упивчиво интересным раскрывался мир в развитии и многокрасочности его истории и человеческой мысли. Очень удачно было ещё то, что жил Нержин в лучшей из стран — стране, уже прошедшей все кризисы истории, уже организованной на научных началах разума и общественной справедливости. Это разгружало его голову и совесть от необходимости защищать несчастных и угнетённых, ибо таковых не было. Очень была удачная страна для рождения в ней пытливого человека!

У этой страны последнее время появилось второе подставное название — «Россия», — даже чем-то и приятное слово, оттого что раньше было всегда запрещено и проклято, а теперь всё чаще стало появляться на страницах газет. Слово это чем-то льстило, что-то напоминало, но не рождало своего законченного строя чувств и даже раздражало, когда им, кипарисно-ладанным, соломенно-берёзовым, пытались заставить молодое свежее слово «Революция», дымившееся горячей кровью.

Всё поколение их родилось для того, чтобы пронести Революцию с шестой части Земли на всю Землю.

Поезд местами прогрохатывал над первыми улицами и трамваями Москвы, асфальт и крыши мокро поблескивали в наступившем дне, жители виднелись на улицах не в торопливости и не в изобилии — потому что было воскресенье, когда так уютно поспать под дождик.

Двенадцатью вечными знаками зодиака встречали старинные часы Казанского вокзала вымытые блестящие поезда, подкатывающие к оловянно-серым платформам один за другим в эти утренние часы простого июньского воскресенья. Воскресенье было совсем простым: оно было двадцать вторым днём того месяца.

Поезд метро гулко понёс Нержина от Комсомольской площади к Сокольникам. Старой Москвы — с Китайгородской стеной, Храмом Христа и Иверской часовней — Нержин никогда не видел и не знал, знал только новую — сразу с двумя линиями метро, домом Совнаркома и корпусами А, Б, В, Г по улице Горького. И эта Москва не волновала сердце, подобно Киеву, переутомляла своей громоздкостью, но вполне годилась в качестве столицы великой страны.

Зато от сокольнического круга начиналось тихое и хрупкое: трамвайчик СК (Сокольничий кольцевой), парк, милое Ростокино с малодвижной Яузой, и снова рощи за ней, а по этот бок реки — стандартное здание МИФЛИ с наиболее нестандартно мыслящей молодёжью: в этот дом Нержин входил, как во храм, и гордился быть его частичкой. Девушки и юноши, которых он никого не знал, встречавшиеся ему в коридорах, толпившиеся у расписаний, у стенгазет, сосредоточенно обложенные фолиантами в факультетских читальнях и даже примитивно съедающие простой бутербродик в подвальном институтском буфете, казались ему самыми-самыми талантливыми изо всех своих сверстников по всему Советскому Союзу, — и Нержин изнывал от жажды познакомиться-

ся с ними и открыться, что он такой же талантливый. Но в ответ встречал только презрительные взгляды: в их привычной толпе он был непривычный, сразу отличающийся заочник, низшая раса, студент второго сорта.

На голубятню заочного отделения и лестница вела не главная, а та, что около уборных. Зато сидели на голубятне две прелестные секретарши: одна — беложавая голубоглазая ослепительная полька, другая — с оливковым разрезом глаз и влажным карим блеском их, готовая всё понять и во всё поверить. Особенно эта вторая нравилась Нержину — тревожностью ожидающей молодой души.

Секретарши принимали заочников, и, хотя не было никакой явной причины для смеха, — в маленьких комнатках на голубятне оживлённо смеялись.

Получив ордер на койку в Центральном Студенческом городке, списав расписание занятий и экзаменов, взяв необходимые жетоны во все читальни, Нержин, еле сдерживая торопливость скорее накинуться на книги, ехал всё в том же СК на Стромынку и рассеянно слушал немолодого белорусского еврея, тоже заочника. Спутник сообщил о своей зарплате, о зарплате своей жены, описал замечательные способности старшего сына и между прочим выразил беспокойство, не случится ли чего: прошлое воскресенье была у них закрытая лекция для коммунистов, и лектор из штаба Белорусского военного округа сказал, что отношения наши с Германией напряжены до крайности и что можно ожидать войны в любую минуту.

Сосны Сокольников, освежённые дождём, мелькали на ходу трамвая. Да уже бывали такие веские опровержения ТАСС — за Германию, что она не враждебна нам и не готовит войны, — никто ничего не ждал..

На Стромынке Нержин попал в комнату, где стояло семь кроватей, пять занятых, и жили гуманитарии — из МГУ и МИФЛИ. Они ещё не разговорились после позднего сна, кто-то из них брился, кто-то ещё бессмысленно лежал, один укладывал в чемодан вещи, а вещи были сплошь книги, и хозяин, не удерживаясь, любовно листал их. Все покосились на Нержина, как пассажиры купейного вагона на мужика с мешком застаревшего сала и сапогами, смазанными дёгтем.

Дождь за окном перестал, но ещё не все подсохли капли на стёклах. По радио передавали двенадцатичасовой выпуск последних известий. Пока Нержин располагался на койке и очищал тум-

бочку от мусора своего предшественника, известия шли своим чередом отведенных им пятнадцати минут, были безцветны и безоблачны. Кроме всех наших побед в социалистическом соревновании кто-то бастовал в Порто-Рико; безработные в Бразилии захватили машину с молоком, но не выпили его, как можно было ожидать, а вылили в канаву; гнусные финские социал-демократы опять клеветают на Советский Союз; а безжалостные колонизаторы в Индии опять наживаются. Один студент вяло встал, выдернуть вилку громкоговорителя, другой задержал: «подожди, концерт будет». Первый застыл с поднятой рукой — а диктор объявил речь Молотова.

Словно разряд, спаявающий металлы, проскочил между шестью сердцами будущих историков и экономистов. В каком-то едином вздроге они вскочили, замерли кто где — и так слушали, изредка обмениваясь охмуренными взглядами. Черноватые обрывки растягиваемых туч, как уже прорвавшиеся дивизии врага, стремительно неслись по мутно-облачному небу. Мир — ладный, закономерный, удобный — раскололся, дал зияющую трещину, не покрываемую хлипким мостиком *Нашего Правого Дела...*

Единогласно это ощущалось — как удар огромного тарана Истории. Нечто великое. Это — эпоха.

И заговорили сразу все те пятеро, да уже и Нержин с ними. И были мысли звонко-отщёлкивающие, и были мысли вязкие. Спорили сразу обо всём: надо ли было затевать в тридцать девятом году дружбу с Германией? и кто кого обманул? и что такое покорённая Европа для Гитлера — пороховой ли погреб или оружейная мастерская на ходу? Только не спорили о том, как пойдёт война: за много лет всё читанное в газетах, всё слышанное по радио и на собраниях, всё виденное на демонстрациях и в кино (и всё запрещённое к промолвке) наслоилось — и юноши не сомневались, что советские рубежи не дрогнут.

Ещё не вовсе принятый ими, Глеб испытывал чувство братства к этим ребятам, прошедшим тут не сравнимое с ним столичное обучение: вот — мы, мы, Семнадцатый и Восемнадцатый годы рождения, — что за грозное-великое нам выпадает?! Но — и мы же готовы к нему. Так несчастно родились — уже после революции, не захватили её даже детской памятью, не то что участием. А всегда было это ощущение: предстоящего великого боя, который разрешится только Мировой Революцией, но прежде их поколению надо лечь, всем полечь, готовиться всем погибнуть,

и в этом сознании были и счастье, и гордость. *Всему* поколению — лечь не жалко, если по костям его человечество взойдёт к свету и блаженству.

Преображенскую заставу нельзя было узнать. Ещё не была до-сказана речь, а обезумевшие — наши, советские! — люди уже неслись в сберкассы, на бегу выворачивая из карманов сберкнижки; звенели стёкла разбиваемых зеркальных дверей; в густой духоте магазинов качались от прилавка к прилавку толпы вспотевших яростных мужчин и женщин, разбиравших всё, что можно было положить на зубы, — от свежих золотистых батонов до запылённых пачек горчицы.

Однако дух спартанской доблести, дух республиканского Рима курился в комнате ровесников Октября. Даже не гнев, а отвращение вызывало у них это свино-человеческое месиво в магазинах. И они — жили среди этой тёмной толпы? И эта толпа, как и они, смела называться гражданами Союза? Т е х, внизу, на улице, и выше, на площади, было много, ужасно много, но и х, идейных, тоже были миллионы, — и на первой линии фронта должны были сказать своё слово э т и, а не т е.

Нержин поехал трамвайчиком сокольнического круга опять в институт. Он ещё не вместил, что заочной сессии не будет, экзаменов не будет, — и сам Институт Философии-Литературы ещё будет ли? Он пошёл со своими жетонами в читальню и набрал учебников, каких в Ростове не было, — и сидел, смотрел сразу несколько, перебрасываясь, даже глядя заманчивые страницы, которые никогда ему не придётся прочесть. И так любил он эти науки, которые никогда не узнает.

Разведрилось. Подсохло. Забирала июньская жара. По Ростовкинскому проезду куда-то неслись и неслись до вечера сотни как ошалевших пустых грузовиков — и их воскресный бег безжалостно напоминал, что война не приснилась.

В общежитии сновали коменданты, прилаживая к окнам неумелую светомаскировку. Не доверяя ей, вечером весь район во-круг Стромьнки, а может быть, и всю Москву, отключили с электростанции. Соседи Нержина по комнате глухой ночью ушли пешком через всю Москву на комсомольское собрание на Моховую. Это было грозно, таинственно и веяло гражданской войной. У их поколения то был высший образец.

Нержин лежал на койке в полной темноте и с мрачным одобрением слушал вереницу указов: о всеобщей мобилизации; о введе-

нии военного положения; о запрещении выезда и въезда; об уголовном наказании сеятелям слухов и паники.

Так. Так. Всё правильно.

Но, стоп: как же быть с выездом и въездом? Значит, ему уже не уехать в Ростов? Что ж, было упоение в этой всеобщей беде, — и если никому нельзя, почему ему добиваться исключения? Значит — мобилизуется тут, в Москве. (И надо — в артиллерию; как отец: из университета — в артиллерию.) Глеб — без сомненья пылко любит жену, душевно привязан к матери, — но не настолько, чтобы медлить в выполнении долга ради необязательной процедуры лишнего прощания.

В июне в Москве ночи не белые, но сероватые, и для южанина коротки. Перед концом ночи война оглушающе затрясла Москву — словно вся авиация Гитлера прилетела бомбить столицу. Вот он, центр войны! А оказалось потом — это били одни наши зенитки, будто лопааясь от злости. И будто покачивались недолговечные стены студгородка, выстроенного на скорую руку пятилеток. Били до самого алого восхода, когда выяснилось, что немцы вообще не прилетали, а тревога — учебная.

На улицах уже вывесились газеты за 23-е число — и как они непохожи были на своих беззаботных сестёр за 22-е: ещё вчера была между строк молчаливая взаимная дружелюбность с Германией, и никто не подозревал, о чём кричали сегодня мрачные чёрные шапки непререкаемой «Правды»: что прекрасная Европа стонет, растоптанная сапогами немецких оккупантов.

На трамвайных остановках сыновья вырывались из рук плачущих матерей и молодецки вскакивали на подножку. Театральные кассы по инерции торговали билетами, и люди покупали их. Нержину хотелось бы даже не видеть такого кошунства: какие ещё могут быть театры? В глухом переулке Арбата, куда Нержин зашёл поклониться памяти Скрыбина, как-то особенно печально темнела глубина молчаливых комнат за стёклами закрытого дома-музея.

Тёмно-кирпичные башни Кремля над Александровским садом были угрюмо недвижны, не выражая бурных тайн за их стенами. Всё так же скакала в вышине четвёрка коней Большого, быть может на днях обречённая фугасной бомбе. Никто, кроме провинциала, не оборачивался на забытого старика-первопечатника. Дальше и выше, по ту сторону большой площади, на высоте, в ветерке, в ярком июньском солнце чутко трепетал красный флаг меж двумя

лежащими, из камня иссеченными нимфами над стройным многоэтажным зданием, назначения которого Нержин не знал, и прочесть его зеркальные вывески не подошёл, а так почему-то понял, что это — министерство иностранных дел.

Казанский вокзал был густо забит почти одними мужчинами — продавали билеты только тем, у кого были завидные призывные свидетельства на первый и второй день мобилизации в провинциальных военкоматах. Вот как! — а Глеб и не подумал, до сих пор в голову не пришло: так с его нелепой «ограниченной годностью» ещё что же — сразу не мобилизуешься? надо — ж д а т ь? да может, не дни, а — недели? Вся война пройдёт?! Да не колеблясь пристал бы сейчас к первой же воинской части, которая б его приняла, — но не знал, как это сделать, где, в общем вихре. Он пошёл доведаться в сокольнический военкомат: можно ли иногороднему мобилизоваться в Москве? Оказалось — никак нельзя. Значит: скорей домой! — для того, чтоб оттуда скорей же в армию! Московские тротуары горели у него под ногами.

Железнодорожные порядки рухнули при первом же натиске войны: билетов нельзя было купить в кассе, но никто их и не проверял. Для сугубой секретности, чтобы привести в отчаяние немецких шпионов, номера и отправление поездов по громкоговорителям не объявлялись. Сбившись со времени, какой-то переполненный пассажирский состав взял да и тронулся на Воронеж. И Нержин был в нём.

В нетерпеливом сне просидел он весь путь до родного города. В плотно натисканных купе сидели по большей части мужчины, курили и говорили о войне. Русый дородный лётчик, литой широкоплечий парень, в котором как-то сдержанно сочетались и мощь, и добродушие, и трезвый со смешком рассудок нашего среднерусского типа, облокотясь о столик, медленно рассказывал, что был в отпуску, вот возвращается теперь в часть. Лётчик, несмотря на свою молодость, чувствовал, не гордясь, а даже скорей сожалея, превосходство над десятком своих разновозрастных соседей по купе. Переведенный реформой Тимошенко из офицерского состава в сержантский, третий год служба в армии, он был равнодушно готов к переброскам, опасностям, неприятностям, — а эти люди с гражданки, цепко связанные семьёй и привычками, казались ему несмышлёными детьми, ни к чему не готовыми, не знающими, почём фунт лиха.

Все вопросы, которые они задавали лётчику, как бы наталкивали заверять их, подбодрять, что авиация наша неисчислима

и непобедима. Но он, вспоминая заднепровский аэродром своей части, видел его таким, каким покинул три недели назад: четыре новые боевые машины, только что с завода, ещё экспериментального, а не серийного выпуска, с хорошей скорострельностью, с хорошей маневренностью на подъёме, — на этих машинах даже не все успели полетать по разу, — и десятки летающих гробов «И-16», прозванных «И-шаками», с низким потолком, с ничтожной скоростью. С досадой на кого-то, кто ни о чём не подумал вовремя, а только выпускал хвастливые фильмы вроде «Эскадрилья № 5», какой имели наглость показывать даже в их клубе, лётчик не находил в себе силы лгать и рассказывал всё как есть. А Нержин слушал его — и не находил в себе силы верить, и старался не слышать — как неотклонимый стук поезда, уносившего их всех.

На маленьких среднерусских станциях уже собирались мобилизованные в ожидании отправки. На зелёных лужайках, тотчас за концом пристанционных решётчатых оград, белели бабы платки и узелки с подорожниками, женщины судорожно всхлипывали, висли на мужчинах, те высвобождались, хлестали водку наспех прямо из бутылок, а на одной станции лихо плясали. Этот совсем не радостный танец как вневременная картинка застыл в памяти Нержина. В нём подымалась тёплая волна благодарности этим пьяным мужичкам, которые столько раз вывозили, — и неужели ж теперь не вывезут?

За трое суток, что прошли от воскресенья, в Ростове уже появились первые признаки устаивания новой жизни — жизни на военный лад. Бульвары — сплошь, а улицы — местами, с выломом булыжника, были изрыты щелями. Иные щели оставались открытыми, другие покрывались лёгким тёсом или хворостом, присыпались землёй — и было всем сподряд смутно и непонятно: такие ли щели нужны или не такие, пособят или не пособят.

Владели городом два психоза — психоз дежурств и психоз светомаскировки. Составлялись круговые списки ночных дежурств — сотрудников на работе, жильцов в домах, приходилось каждому, работая днём, ещё дежурить чуть не через ночь. Будто спешили измотать силы, не понимая, что надо их сохранять. Дышали минутами, ещё не поняв, что надо дышать годами. У каждого ворот всю ночь стояло по два дежурных жильца — по два, потому что одного мог вывести из строя диверсант-разведчик. Домоуправ, как сторож с колотушкой, обходил свой квартал и у каждого подъезда бодро спрашивал:

— Дежурите, товарищи?

Ещё по улицам ходили патрули и с какого-то часа задерживали прохожих без пропусков. Метались постовые ПВХО\*, заметив щёлочку света в окне, где-нибудь недозанавешенном, стучали кулаками в испуганно звенящие стёкла, басом кричали туда, вовнутрь, о штрафе в сто рублей. Это всё казалось разумно необходимым, и думали прожить так годы, и если курильщик прикуривал во мраке улицы папиросу — то признавалось уликой, что он сигнализировал ещё не прилетавшим вражеским самолётам. Из-за этой всеобщей доточливой маскировки в безлунные ночи многоэтажные громады домов знакомого города становились сказочно незнакомыми, едва распознаваясь верхами на слабом звёздном свете. А при полной луне изображали как будто древний вымерший город, только все здания чудом не в развалинах.

За короткими перерывами на последние известия и инструкции ПВХО лились над городом все первые дни — марши, марши, военные марши: за много лет отстоявшаяся программа радиопередач была сломлена, казалось неудобным транслировать утреннюю гимнастику, беседу с юными натуралистами или фортепянную музыку, когда где-то умирали люди. Вечером, на час раньше обычного, в душевных, занавешенных квартирах звучали последние известия — с рассказами о ратных подвигах наших воинов, с анекдотиками о жизни Чехии и Норвегии под оккупацией, — и всё умолкало.

Кинулся Глеб в военкомат, раз, другой, с ним и разговаривать не стали: до *таких* ещё руки не дошли.

Между тем военкоматы подчистую забирали вузовских выпускников, едва только они сдавали последний государственный экзамен. Все однокурсники Нержина и близкий друг его Андрей Холуденев уезжали на курсы при Академиях РККА: математики — в Артиллерийскую, другие — в Химическую, Моторизации-механизации... А Глеб оставался...

Такой оскорбительной насмешкой обернулся тот недавний, казалось, дар судьбы. Быть командиром — значит действительно направлять бой, события. А Глеб, в прошлые годы отклонивший и военное училище, вот — превратился в постыдного провожальщика друзей, сам оставаясь в подобии своей прежней жизни, уже неизвестно кем, зачем и на сколько времени.

В последний вечер Андрей приходил прощаться. Глеб и Надя пошли провожать его в перерыв дождя, а дождь опять густо по-

---

\* Противовоздушная химическая оборона.

лил — и загнал их в чьё-то чужое парадное, где никто из троих никогда не был, — с чёрным выбитым полом, жёлтой облупленной побелкой стен, холодным сквозняком и засинённой лампочкой откуда-то с высокого пролёта. Это нелепое место прощания было зримым выражением того, что нет и не вернуться больше прежнему миру — миру нищих студенческих вечеринок: бутылка вина на двенадцать человек, между мальчиками — теоретические споры, с девочками — танцы под хриплый патефон, фокстрот «Рио-Рита». Но всё равно казалась так значительна, так значительна их прежняя жизнь, что и минуты прощания с ней, вот в этом случайном парадном, должны были состояться необыкновенно значительны и особенно умны. А получалось наспех, неуместно, — разволакивала их долгожданная Революционная война.

Надя туго кутала плечи в шаль, местами промокшую от дождя, а голова её была открыта, и светились водяные капли на изгибах локонов. Рядом с Андреем и Глебом Надя казалась маленькой, а из-за худобы и быстрых поворотов к одному и другому — и вовсе девочкой. Она всегда старалась и гордилась не отстать от обмена мыслями между мальчишками. Она и сейчас следила за разговором и бойко участвовала в нём, но ещё, кроме того, всё время помнила, даже не помнила, а чувствовала, что в эту минуту расставания Андрею будет неприятно, если она будет как-нибудь видимо близка к мужу и лишний раз напомнит Андрею о том, что в его жизни, из которой он теперь уходил, не состоялось. И поэтому она старалась даже стоять точно посередине. И Глеб очень это понимал: любил ли Андрей Надю или только тянулся к ней — тут была и пора соперничества, но никогда не разрушившая дружбу.

Андрей был в том хмуρο-безразличном состоянии, которое находило на него всякий раз, когда жизнь его тормозила. Он не любил, чтобы события касались его, отрывали от книг, и всегда хмурился с видом человека, слушающего неприятности и ждущего, когда их кончат. Это вовсе не значило, что Андрей не считал правильным ехать воевать, — напротив, все теоретические положения вели к тому, что место каждого из нас на передовой, но была в его теле неподвластная ему инерция покоя, которая и сопротивлялась изменениям. Сейчас он был благодарен Наде, что она так правильно держалась, однако всё равно ничто не могло скрыть от него в этот переломный вечер, что молодость он прожил ни к лешему и если будет жив, то всё будет думать на фронте о такой вот подвижной кудрявой головке. И он старался скорее распроститься и уйти.

А Глеб любил длить всякие необыкновенные минуты — и радостные, и ещё больше грустные, — находя, что в них-то и есть соль жизни. И воспарял разговор к общим вопросам — к непостижимому ходу войны, к явно незакономерному, сугубо временному отступлению прогрессивной армии.

И вдруг иссякли все темы: вспоминать прошлое в этом жертвенном настроении, в эти тяжёлые дни было как-то пошло, говорить о будущем — безумие, а настоящее было — чужое парадное, слепая синяя лампочка, хлюпанье дождя за дверьми, — и так недостойно, неярко, непаздночно обрывалась молодость и дружба.

— И как же мы дальше?.. Никогда ничего не сможем обсудить?

— Почему? — веско возразил Андрей. — Всё станет дальше яснее, и никто не помешает нам систематически обсуждать это в письмах. Цензура будет следить за чем? — чтобы мы не называли номера части, количества орудий, деревни или дороги, — а обсуждать общие идеи кто же нам помешает?

Казалось, что так. Проходная эта фраза запала в голову обоим.

И они расстались, поцеловавшись.

Андрей поднял воротник и несвойственно быстро ушёл в темноту. А Глеб и Надя по-детски взялись за руки и побежали, прыгая через лужи.

Ещё не жили они так сроднённо, как на этом обрыве несчастья. Всегда Надя робела — но почему-то её именно и влекло: что Глеб, как раскалённый метеор, сжигая и сжигаясь, несётся в каком-то ему одному обозримом пространстве, — и она пыталась лететь за ним и обжигалась, и изнемогала. А сейчас в нём рухнуло всё, что мешало полноте их близости раньше: его торопливость — теперь некуда было спешить, его раздражённое нетерпение — теперь надо было ждать, его целеустремлённость — затмились цели близкие и далёкие. И Надя успокоенно почувствовала, что этот растерявшийся, ошеломлённый Глеб — принадлежит одной только ей, нормальный человек, которого и естественно иметь в муже. А Глебу, когда закачалось в зыбком тумане всё высокое и далёкое, — первый и последний раз в жизни представилось в своей жене — одно, что было у него достигнуто. Никогда ещё их соединение не было таким осенне-сладким, таким безостаточным. Они достигли того безсловного понимания, когда прочитываешь друг в друге мысли и желания. Было, как в маленьком саду перед бурей — уже начавшейся, уже несущейся сюда, уже видной по чёрным облакам, заходящим в зенит, — а ещё ни былинки не вздрог-

нула и не закружилась, — и есть какое-то острое очарование в том, чтобы сидеть обнявшись на скамье до последней минуты.

Но Глеб делал всё, чтобы разрушить это своё недолговечное счастье. Всех служащих военкомата от низка и до мелькающего блистательного военкома, годного для командорской статуи, он осаждал просьбами о мобилизации. По сводкам Информбюро, по радиоэпизодам боёв Нержин отчётливо представлял, куда он просится, — он просился на смерть, но сердце радостно замирало, когда, казалось, согласие вот-вот вырвется из уст начальника 1-й части военкомата. А тот смотрел на Нержина через стол кисло и недоверчиво. В его размеренном мозгу не было места такой категории людей, как этот худоумный юноша — не подлежащий в эти недели мобилизации, но напрашивающийся на неё. Трезвой натуре, обезпеченной благополучием неприкосновенности, Нержин казался сумасшедшим или лезущим в газетную статью лицемером.

— Так я не понимаю, вы — что? Хотите грудью защищать отечество?

Болезненно чуткий к положениям, звучащим фальшиво или выглядящим смешно, Нержин ответил по возможности скромно:

— Да, я хотел бы... на передовую.

Начальник 1-й части откинулся в венском кресле, почему-то затесавшемся между стандартными шкапами кабинета:

— Как вы это себе представляете? В строевую часть как ограниченно годного я вас послать не имею права. — И, раздражившись, вскричал: — Санитаром! Санитаром пошлю! носилки таскать! в госпитале горшки выносить! Пойдёте?

— Нет! — отшатнулся Нержин.

— Так не приставайте, чёрт вас разорви. Когда вы будете нужны — родина вас позовёт.

Тягостно было Нержину и перед самим собой, и перед окружающими, видевшими — или ему чувствительно казалось, что видевшими, — его молодую фигуру не в тяжёлых сапогах и пропотевшей на спине гимнастёрке, а в белой сорочке с отложным воротником; и как завидно было, что все сокурсники поехали в академии и получают там скоро кубики, — а он один останется без звания. Так значит, и просвещённые умы поддаются очарованию комсоставских знаков различия. А ещё укоряют женщин за пристрастие к военным.

Вероятно, в повадке Нержина появилось что-то виноватостыдливое. И зоркий милицейский глаз сразу и первый это обна-

ружил. И щепочка ничтожной жизни Нержина заплясала на бурунах там, где поток разрывается надвое, и вместо протоки сверкающего серебра едва не пошла в протоку навозной мути.

Случилось это так. С хлебом были, что называется, «временные затруднения» — многосотенная давка у булочных, два килограмма в одни руки, — карточки ещё не были учреждены. Семья жены суток трое была без хлеба, и Глеб, с детства, с первой пятилетки спортивно натренированный в очередях и в безочередьях, в рывках и «доставаниях», взялся «достать». Для этого с конца ночи надо было стать в воротах своего дома и ждать рассвета. Во всех воротах улицы стояли такие же стартовые группы, косились друг на друга, но к булочной преждевременно не бежали: ведь хождение по улицам в целях безопасности города было запрещено, по ним только мерно прохаживались ночные патрули да милиционеры. Но как на клочках свинцовеющих туч электричество накапливается, накапливается — и наконец невыносимая разность потенциалов сошвыривает истомевшие заряды в молнию, — так вдруг без команды, без знака, без сговора, без умысла, не в миг, когда бы особенно рассвело, — кто-то дрогнул, кто-то качнулся, третий шагнул — и изо всех подворотен, сливаясь в одну лавину, толпа хлынула к булочной. Это была атака, которой не все войны могут похвастаться, — атака, где никого не надо подгонять, где все беззаветно бегут, отдавая своё лучшее. У стены булочной круглая толпа должна была вытянуться гуськом — она гудела, билась, но никак ей это не удавалось: каждый считал, что прибежал раньше других. Был и Нержин в этой бойкой толпе. Он надёжно занял одно из первых мест у стены, держался рукой за выступающий кирпич косяка — и поэтому не шумел, не толкался, а терпеливо ждал, что через два часа привезут хлеб, а через три откроют магазин.

Несмотря на это, милиционер, подошедший навести порядок, не тронул тех, кто толкался, ни даже тех, кто дрался, а выбрал именно Нержина с его худощавой чванливой учёностью меж босоногих мальчишек, бранчливых старух, крикливых баб и девок. Милиционер поманил его, Нержин выразил удивление. Милиционер позвал его вслух, окликаая «белой рубашкой». Нержин не шёл. Милиционер стал расталкивать притихшую толпу. Нержин выступил навстречу и попросил объяснения. Тот потребовал идти за ним в участок. Нержин выразил формальный протест, но уступил, чтобы не попасть в смешной скандал. И они пошли.

Путь был долог — четыре длинных квартала. Сперва Нержин испытывал только досаду, что очередь, так удачно и ценной двух бессонных часов занятая, — пропадала. Потом, квартал за кварталом, с уничтожающей усмешкой взглядывая на истуканье-красноватое лицо милиционера, Нержин охладел и стал скучать. Ничего не было во всём этом замечательного, из околотка его тотчас же отпустят, но глупо встретить кого-нибудь из знакомых, идя в таком соседстве.

В милицейском участке за барьером сидели двое. Истукан доложил:

— Вот, товарищ лейтенант, этот — устраивал панику.

Нержин заговорил с возбуждённой быстротой:

— Послушайте, товарищ лейтенант, это совершеннейшая чушь. Я стоял абсолютно спокойно, порядка не нару...

— Вы... подождите, — холодно прищурился милицейский лейтенант. — Сядьте. — И повысил голос: — Сядьте вон там дальше!

— Позвольте, зачем мне сидеть? Мне идти нужно!

— Сядьте, говорю.

Нержин попал средь людей, не понимающих по-русски? Пожав плечами, он сел на лавку и стал пристально-невнимательно разглядывать казённое убранство дежурки: кумачёвую скатерть с большим чернильным пятном, мутный графин с отбитым горлышком, шкаф для бумаг с непритворяющейся перекошенной дверцей, множество бумажных папок в шкафу, толсто-брызжущее перо-рондо в руках дежурного.

Пятнадцати минут не прождал Нержин, как два других милиционера завели двух других задержанных и сдали их под тем же тавром:

— сеял панику;

— распускал слухи.

Не будь Нержин двадцатитрёхлетним телёнком от философии, он бы уже всё понял: что позавчера была несуразная, с *братьями и сёстрами* чуть ли не во Христе, с перерывами дыхания и бульканьем воды речь Сталина, что подхвачены новые словечки — «сеятели паники», «распространители слухов», и издан же такой Указ, и нужна ловля на него, вчера было в милиции инструктивное совещание, а сегодня с утра они вышли на ловлю, чтобы цифрами задержанных в суточных донесениях доказать свою бдительность и оправдать своё существование. Но Нержин понимал вещи слишком сложно, чтобы понять эту слишком простую вещь.

Ещё два раза он протестовал против задержания, дежурный подозвал его наконец, записал фамилию и адрес и отпустил, пообещав, что вызовут. Нержин только усмехнулся, выходя из прокуренной дежурки в свежую зелень июльского утра, ему было ясно: не найдя за ним ничего, его отпустили вовсе.

А через день пришла на дом фиолетово-заляпанная повестка с указанием часа вызова к следователю. Это было уже так глупо, что переставало быть смешным. Нержин едва дождался указанного времени, почти прибежал в милицию, вошёл в кабинет, энергично тряхнув распадными волосами, — пора было оторвать от себя эту безделицу, влипшую, как клещ. Он порывисто зачистил неотразимыми аргументами, — зачёсанно-прилизанный младший лейтенант указал ему на стул поодаль от себя, старательно вправил новое перо в ручку, выбрал из чернильницы со дна какие-то набухшие лохмотья, долил свежих чернил и стал перелистывать бумаги. Какие ещё могли быть бумаги по этому делу?

Текли минуты, порыв падал, и у Нержина не стало больше слов, он растерянно следил за переворачиванием бумаг. Перелистыв так две папки, следователь взял чистый бланк протокола допроса, зачем-то поглядел его на свет и медленно стал задавать вопросы: фамилия, имя, отчество, год рождения, род занятий, домашний адрес. Нержину было дико, что следователь как будто вовсе не стремится выяснить истину, а только заботится о том, как бы ровней и красивее заполнить строчки, — и это в такие буревые дни, когда на западе сталкивались миллионные армии, мотодивизии неслись в прорывах со стокилометровыми скоростями, — а здесь тикали ходики, медленно поскрипывало неграмотное перо, и к тому же по бессмысленному ничемному случаю. Милиционный лейтенант писал как будто то самое, что говорил Нержин, но совсем другими словами, — и вышло, что Нержин подтвердил факт своего участия в организации хлебной очереди около такой-то булочной в четыре часа утра, где и был задержан блюстителем порядка, совершившим его привод в милицию. Всё это было изложено в виде вопросов и ответов, без синтаксиса, но с витиеватыми росчерками, подтверждено росписью Нержина в конце и вместе с 206-й статьёй об окончании следствия подшито в папку, где уже раньше были подколоты показания милицейского чина.

Нержин пытался добиться приёма у начальника отделения, но это оказалось невозможно, — и он вышел на улицу с тоскливым

ощущением, что с ним сыграли невесёлую и неумную шутку. Это было фу! — воздух! — бумажка! — это не должно было ничего за собой повлечь, но осело в душе дурным настроением.

Стучилось так, что на этот вечер Надя обещала Эллочке Довнер, давней школьной подруге Глеба, мягкой, умной девушке в больших круглых очках, что они с Глебом к ней придут. Все куда-то так быстро разъехались и рассыпались, что из большого круга друзей только они и могли прийти на вечерок, разделить с Эллочкой эту ставшую в тягость роскошь гостиной, с роялем, утопными креслами, зеркалами, коврами, без всезапрещённого теперь радиоприёмника, погадать о смутном будущем, погрузиться о милом прошлом, сидя в сгущающихся сумерках на балконе над главной улицей города.

Красавица Большая Садовая, давно Энгельса, прямая как стрела, чисто вымытая, зелёнодеревая, пёстропрохожая, освобождённая теперь от гремящих трамваев, мягко шуршащая шинами легковых и троллейбусов, шаркающая подошвами пешеходов, — главная улица Ростова не была освещена обычным ярко-частым светом своих фонарей и ни единым зашторенным окном, — но тем мягче выступала из мрака в молочной накидке лунного света. Внизу, под балконом, эта улица, бывшая свидетельницей и поверенной всей двадцатитрёхлетней жизни этих молодых людей, изнывая в душистой июльской ночи, была и сейчас переполнена гуляющими. Обилие белых южных костюмов в белой луне, неторопливые проплывы гуляющих без обгоров, без толкотни, даже синие лампочки киосков с мороженым и газированной водой — всё это было так празднично, так покойно, так далеко от войны, — даже хотелось на вечерок притвориться, что войны никакой нет, что она не врезалась жестоким угловатым металлом в мягкое тело жизни, что можно мечтать о будущем, можно слушать концерты... Нет! даже в изобилующей квартире Довнеров притвориться не удавалось: сам папа-Довнер завтра-послезавтра должен был уехать не в какое иное место, как на фронт. Молодые люди видели с балкона, как подъехала его легковая.

Доктор Довнер, за сорок, хотя и играл большую роль в официальной стороне жизни, но внутренне вполне презирал её, всегда предпочитая ей сторону фактическую, вещественную — то есть как оно всё есть, а не как его пытаются изобразить. От этого он имел в жизни большой успех. Сам полный, подвижный, румяный, жизнелюбивый, он легко отличал людей нужных от бесполезных, дельцов от говорунов, знал, что делается одно, а пишется другое,

и охотно вступал во взаиморасчёты «мы — вам, вы — нам», во время прибрег и под спасительную сень всемогущей партии — и к весне 1941 года был одной из заметнейших личностей Ростова — заместителем начальника облздрави, директором крупнейшего диспансера, членом областного и городского советов депутатов трудящихся, столь удачно сочетая в себе врача-администратора и беззаветного коммуниста.

О Глебе доктор Довнер имел представление довольно туманное, но примечал его как принадлежность молодёжного ужинного стола, бывавшего в их квартире. И сейчас узнал его, когда вышел на сумеречный балкон, движимый желанием побыть с дочерью. А Эллочка, с очень добрым, сочувственным сердцем и полнейшим непредставлением реальной жизни, хотя уже, или именно потому что, училась в литературной аспирантуре, тут и пожаловалась, крутя около маленького носа цветков:

— Папа! Вот Глеба куда-то тянут ни за что, следствие, протокол..

Глебу стало неудобно, что невольно оказался как бы просителем. А Довнер слегка расспросил о подробностях и заразительно смеялся, из чего Глеб тем более убедился, что не стоило и заговаривать о таких пустяках. Посидели на балконе, поговорили, — доктор зазвал Глеба в комнату, отдельно от девочек.

Он, такой гражданский, уже был в военном мундире, странно увидеть. Портной потрудился, подгоняя мягкошерстную гимнастёрку к его рыхловатой фигуре с брюшком. Широкий комсоставский ремень был застёгнут на одну из первых дырочек. Но при всём том он держался вполне браво, три шпалы краснели в петлицах по обе стороны его добротной шеи, и он выглядел не жертвой военного урагана, а человеком, довольным сменой работы и формы одежды. Ехал он начальником полевого госпиталя.

И вот в эти последние день-два его опытности, уже свободной от тыловых забот и ещё не загруженной фронтовыми, следственное дело Глеба представлялось как на ладони:

— А ты понимаешь, чем это пахнет? Десять лет лагерей.

У силы угрозы, у степени опасности есть предел, выше которого они никого не пугают. Мы испугаемся, встретив бандита, вынимающего нож, но не дрогнем, если он воскликнет: »Я поражу тебя ста молниями!» «Пять месяцев» больше бы испугали Глеба, чем «десять лет». Но папа Довнер не шутил. Он лениво опустил на диван, как артист, которого слишком много вызывали на «бис», и, полужакрыв глаза, сказал:

— Дети, дети, чему вас в университетах учат?.. — кивнул на абонентскую телефонную книжку: — Ищи своё отделение. Кабинет начальника.

— Сейчас... вечер, — нерешительно возразил Глеб.

— Профессия такая, по ночам работают, — жмурился папа Довнер. — Ищи.

— Неужели вы и его знаете? — торопливо перелистывал книжку Глеб.

— Кого я не знаю, спроси! Все командные высоты должны быть в руках у пролетариата. Сейчас могу тебе самолёт заказать на Дальний Восток, сделать директором ресторана, положить в санаторий беременных женщин — хочешь? Сколько? 05384?

Даже в той манере, как он, не отклоняясь от спинки, белым пухлым пальцем властно набирал номер, никогда не упирая палец до конца, но всё же настолько доводя крут, чтобы номер набрался, и трубку держа в той же самой руке, — даже в этой мелочи сказывался человек, овладевший командными высотами полумиллионного города.

— Алло!.. Четвёртое отделение?.. Капитан Максимов? Это доктор Довнер... Здорово, здорово... А ты как?.. Я тоже... Какое дельце?.. Ладно, через ВЭК\* проведём, присылай, скажу заместителю... Сам? Сам на фронт уйду... Слушай, у меня к тебе тоже один вопрос. Запиши-ка там фамилию... Нержин... Николай, Евгений, растяпа, ж... Да. Записал? Там на него твои хлопцы дело состряпали, но это ошибка... Ну да... Ладно, потом позвонишь... Сейчас проверишь? Ну проверь...

Поигрывая трубкой невдали от уха, Довнер смотрел на Глеба, но думал уже не о нём, о своих заботах. Глеб смотрел на подполковника Довнера и удивлялся: странно двойственно он воспринимал его. По всем теоретическим воззрениям ведь он перерождал советскую систему, замысленную такой совершенной, такой кристальной. Но всякий раз, когда Глеб видел его широкое улыбающееся лицо, быстрый взгляд, выражающий хоть и не возвышенный, но стремительный и всё охватывающий ум, Глеб косвенно угадывал те обезоруживающие взаимные сделки, всегда клонящиеся к выгоде частных лиц и не столько к выгоде обогащения, а к выгоде уклонения, избавления, освобождения, и удивлялся, почему Довнер никак не вытягивает на осудительный тип, а определённо симпатичен.

---

\* Врачебно-экспертная комиссия.

— Да... Нашёл? Уже на послезавтра к слушанию? Ну погаси, погаси... Будь здоров... Да, да, сделаем.

Довнер мягко положил трубку.

— Ты понял?

Нет! Так и до самого конца Нержин не понял и не ощутил опасности. Правильные указы против сеятелей паники, которые он так недавно приветствовал, не могли же коснуться его самого! Так легко миновало, как будто и не было: огромное колесо прокатилось, едва не размочив его в мокрое место, — а Глеб не мог даже понять, что оно есть и что оно — катится.

А оно — катилось. И уволокло шестидесятилетнего чудака-художника Германа Германовича Коске. Он был немец (сорок лет уже живший в Ростове) и как таковой в первые же дни войны был забран.

Об этом Глеб узнал от Ляли. Он встретил её днём неподалёку от городского сада, и они зашли туда посидеть. Белели вдоль аллеи нагие античные статуи, о которых в пяти инстанциях решали, не разврат ли это. Ещё и осени не было, а уже под безжалостным солнцем кой-где желтели листья.

*Звенела музыка в саду  
Таким невыразимым горем...*

Радио уже стало разбавлять военные марши вальсами и фортепьянными отрывками, — война становилась бытом.

Глеб с болью смотрел на такое с детства знакомое Лялино лицо — теперь лицо тридцатилетней дородной женщины в соку, — но от этого самого покоя, удовлетворения лицо её потеряло прежнюю одухотворённость, прежнее изящество. Только когда от лёгкого ветра солнечные пятна колебались на её лице — Глебу проблискивала прежняя Ляля — та, которая рисовала миниатюры, аккомпанировала Герману Германовичу, — и та похудевшая, поблекшая, статуей захолонувшей скорби слушающая письмо, заученное наизусть перепуганным мальчиком.

Одиннадцать лет прошло с того письма и с того сыро-холодного вечера, когда долго после заката чёрные тучи над Темерником хранили непонятно кровавую кайму. После Глеба никто никогда больше не видел Александра Джемелли и ничего о нём не узнал. Только строки его прощального крика любимой девушке навсегда врезались в память мальчика — и Глеб, не смея обвинять, в глубине смел не простить Ляле измены тому, кого она могла бы носить в сердце долъ-

ше. Больше года Ляля ходила гордая, замкнутая, молчаливая, потерявшая всю свою живость и весёлость, — и вдруг на тенистом Пушкинском бульваре, у окон музыкальной библиотеки, Глеб встретил её об руку с каким-то мясисто-мордым человеком, живот которого под белой рогожкой не по возрасту выпирал из ошкуры парусиновых брюк. Ляля шла размягчев, опираясь о руку спутника, потеряв свою несгибаемую ровность фигуры, эту невидимую внутреннюю костяную струну. Глебу было тогда только четырнадцать лет, в ту весну он ещё только смутно догадывался о губительном чувстве любви, — но испытал оскорбление за погибшего.

Позже он узнал, что это был Борис Браиловский, тоже студент-путьец, курсом старше Ляли. Хватка его была мёртвая хватка дельца, а не инженера, — или уже не должно было быть инженеров таких, как Лялин отец Олег Иванович? Все пять институтских лет Браиловский был усиленно занят партийной и профсоюзной работой, верховодил на институтских собраниях, не сходил с красной доски — и был истым «руководящим товарищем» уже не двадцатых, а тридцатых годов — толсто-авторитетным, властно не терпящим критику, которую по должности постоянно призывал, и совершенно безразличным к чьему-либо благу, кроме собственного. Экзамены он сдавал или с глазу на глаз, или к концу, когда уже в аудитории почти никого не было, сидел с билетом минут десять, потом подходил к профессору в своём френче с расстёгнутым воротом и говорил:

— Вы знаете, профессор, уж вам придётся пойти мне навстречу. В эти дни был занят общественной работой, это одно, а второе то, что вы не можете же подрывать мой авторитет перед всей студенческой массой...

Он не просил — он требовал своего. Профессор воровато оглядывался, краснел и торопливо ставил в зачётную книжку тройку, а более робкий — и четвёрку.

Бурно перекипев с родителями, вызвав почти высказанное недоброжелательство знакомых, Ляля вышла замуж за Браиловского. Замужество перед самой защитой дипломного проекта оторвало её от института, потом ей захотелось переменить профиль — незадолго до войны она всё же кончила институт, но так уже и не работала ни одного дня, став хозяйкой, занявшись убранством покоев и устройством приёмов, достойных главного инженера монтажной конторы — должности, занятой Борисом сразу же, безо всякой посылки на периферию.

Браиловский процветал на работе, несмотря на то или именно потому, что осуществлял не техническое, а только общее руководство. Верхушка конторы состояла из трёх человек, они собирались друг у друга ежесубботно для карт и для водки — и приводили жён. Упоминание о симфоническом концерте или о драме в стихах вызывало изжогу у пятерых из шести членов кружка. Ходили в оперетту, в цирк, катались на лодках по Дону, выезжали весной в загородную рошу, а летом — на курорт, но только затем, чтоб сменить обстановку для тех же карт и той же водки. Между жён можно было похвастаться новыми туфлями и невозможно показать ящик с акварельными красками.

Но сейчас здесь, в саду, когда они, может быть, навсегда прощались, располневшая Ляля опять привиделась Глебу прежней — чуткой, тонкой королевой его детства.

Они прощались у нижнего фонтана — ей было на Садовую, ему — на Пушкинскую. Гипсовый дискбол швырял свой диск. В воздухе висел тяжёлый южный зной, от которого, что ни лето, кто мог, уезжали на курорты, и тревога, от которой в это лето, кто мог, уезжали в эвакуацию. Монтажная контора Браиловского эвакуировалась в Новосибирск.

Глеб взял Лялю за обе руки.

— Как смешно, Лялька, что когда-то ты казалась такой высокой, а теперь, оказывается, я длиннее тебя. А Миша вытянулся бы ещё выше... (Миша был рано умерший брат её и друг детства Глеба. А что бы — теперь? Неразгаданная жизнь, оборванная в тринадцать лет.)

В последний раз обернулся на Лялю снизу, из цветника. Она шла ровно, легко — вот такая же клумба роз над её сердцем или надмогильный дёрн?

И никто ещё не знал, что она уже угадала: что муж скоро бросит её.

Глеб рассказал о встрече и о судьбе Германа Германовича маме. Только тут узнала и мама!.. (Так любившая Ляльку когда-то, почти не встречалась с ней после её замужества.)

Эти последние дни Глеб снова жил у мамы — в хибарке, где жил с ней и всё студенчество: восемь квадратных метров, выгороженных из бывшей конюшни, с низким потолком и оконцами под навесом той конюшни.

А с холостяком Германом Германовичем, как, подрастая, догадался Глеб, у мамы в прошлые годы был роман — но она не вышла

замуж ни за него, ни за кого другого, опасаясь дать сыну отчима. А Глеб нисколько и не боялся того: он нисколько не боялся над собой суровости и не искал нежности.

Материнское сердце в детях, а детское в камне, — говорит по-ловица. Растёт ребёнок, потом мужает — и кажется ему стержнем жизни его собственное существование, а родители как бы приложением. Многие ли жадно спрашивают родителей о подробностях и извивах их жизни? Это всё — уже прошлое, а главное время существования наступает ведь только теперь. Не много искал Глеб узнать о рано умершем отце, никогда им и не виданном. А мать положила жизнь и здоровье единственно на то, чтобы вырастить сына — как будто его будущая жизнь много важнее её собственной. Она надрывалась на службе, на вечерних сверхурочных, а жильё всегда бывало без воды, а на печь почти никогда не хватало угля, и стирать надо было в холодной передней и носить ополоски по морозу. Так она получила туберкулёз и благодарна бывала местному за санаторную путёвку — временную оттяжку развязки.

Мать была Глебу и свой человек — но и не такой же свой, как лучшие друзья, с которыми можно было теоретизировать, острить и планировать будущее. И не такой же близкий, как вот уже год молодая жена, с которой и отделился.

Надя, по путёвке облоно, уже уехала в школу в Морозовск, Ростовской же области. Там была нужда и в математике.

Начинался учебный год, военкомат не брал, — так не сидеть же без дела, надо работать.

Только и оставалось матери — вот случайные дни, когда сын, без жены и без университета, так жадно слушает каждые последние новости и чувствует себя жгуче потерянным в тыловом городе, опустевшем ото всех друзей. И чтоб уравновесился сын — ему надо попасть на фронт, а тогда мать и вовсе его потеряет. Так что ещё потешалась, отпуская его всего лишь в Морозовск, на лиховско-сталинградскую ветку.

Она проводила его до ступенек вокзала — а внутрь нельзя было войти, у кого нет проездного билета. Там на угловых ступеньках они и попрощались — и в этот миг пронизало Глеба, что он — в последний-последний раз видит исхудавшее, рано постаревшее лицо своей матери — до того привычное, что даже его не опишешь.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### УТЛОЕ

Морозовск — сперва станица, потом рабочий посёлок, а теперь переименованный в город — был гол, малозелен, подвержен пыльным ветрам Донской степи и её изнурительному солнцу. Он лежал при железной дороге — одной из торных дорог великого отступления, — и своими огненными крылами оно уже коснулось Морозовска и не исцелимо обожгло. Как порции крови по пульсирующей жиле, проталкивались на восток эшелоны — они везли оборудование заводов, складские товары, но это терялось в гамузе узлов, чемоданов, в сумятице напуганных и измученных людей. Редко кто — не в силах ехать дальше или в расчёте, что немцы не зайдут же так далеко, — редко кто ходил в Морозовске насовсем, другие — только чтоб сбежать на базар и, не торгуясь и платя цену в три раза выше запрашиваемой, вырвать масла, варёную курицу, яиц, на ходу посеять ужас рассказом, как бросают госбанки, полные денег, как растаскивают неохраняемые склады, как бомбят станции, как сжигают с воздуха целые города, — и снова влезть в свой эшелон и ехать дальше, за Волгу, за Урал, за Обь — куда никто никогда заведомо не дойдёт. Вспухшими ценами базара, фантастическим обилием бумажных денег у многих «выковыренных», как называл народ эвакуированных, разбухшими ужасами рассказов, делающих войну ощутимо огнедышащей, — всем этим был разнохарактерно взбудоражен маленький городок. Но из самого Морозовска никто не двигался уезжать — да ведь ещё и Киев был не сдан! И хотя внутреннее чувство размеренности жизни уже давно было потеряно всеми — её внешний отстук казался по-прежнему мерен: в читальне партпроса обновляли витрины по истории партии, в райисполкоме шли заседания по графику, в райтопе заполнялись стандартные справки на получение топлива, элеватор принимал хлеб, ремзаводик надрывался ремонтировать сельхозоборудование, в когизе продавались учебники к новому учебному году, а Глеб и Надя сидели в методкабинете района и впервые в жизни писали

полугодовые календарные планы. Глебу дали вести математику и астрономию, Наде — химию, которой её учили пять лет, и биологию, которой она не знала ни сном ни явью. С волнением ждали оба этого лучшего дня в году — жёлто-золотистого звенящего дня первого сентября. Но оседающей сажеей заднепровских пожаров был отравлен мёд этого дня.

С трепетом священнодействия входили они на сорок пять минут в замкнутый, взвешенный, им одним подвластный мир класса. Белый мел ярко следил по густо-чёрной доске. Дрожали вихры, суживались и расширялись глаза, фиолетовые петли выписывали перья — строка за строкой вышелушивалась идея вывода — неподвижные стёкла окон не чуяли дрожи далёкого запада — и буквы формулы красиво выстраивались, обведенные замкнутым прямоугольником, как замкнуты были эти сорок детей прямоугольником комнаты от войны и тревожных дум о будущем.

Педагогом надо родиться. Надо, чтоб учителю урок никогда не был в тягость, никогда не утомлял, — а с первым признаком того, что урок перестал приносить радость, — надо бросить школу и уйти. И ведь многие обладают этим счастливым даром. Но немногие умеют пронести этот дар через годы непогасшим. Обоим Нержиным нравилось преподавать, и они искренно считали себя безукоризненными педагогами. Они не замечали, что любили не столько эту работу, сколько себя в этой работе — преимущество своего знания, свой полновзвучный голос, свои рассчитанные движения, свою способность вывернуть трудное как лёгкое, свою способность, ведя урок, чутко видеть и слышать глазами и ушами детей, — но всё-таки любили они себя, больше, чем их, — потому что молоды сами.

Их уроки были по утрам — но до вечеров они не могли успокоиться. Кружились и кружились в голове отделанные тонкости удавшихся объяснений; опережая перо, свивались в голове ажурные плетения уроков на завтра, даже трудно было оторвать свою мысль от школы, вперебив делились друг с другом, как это было, как надо, как лучше, перебирали впечатления об учениках — как тебе тот? а этот? а та? — рядышком садились, даже как брат и сестра похожие и узкими овалами лиц, и узкими фигурами, и оживлением работы, — писать поурочные планы.

Звёздными вечерами Нержин иногда собирал десятиклассников в школьном дворе и, установив Галилееву трубу, показывал им кольца Сатурна, учил находить многоцветный Антарес, голубое

сердце Орла — Альтаир, в клюве у Лебеда — Денеб. Нержин знал, как обаяют астрономические истины и догадки юношеские умы, он звучным голосом давал пояснения у темнеющего постамента — и слышал сам, как прерывался его голос. Он уводил души молодых мальчиков и девочек к звёздам, но тела их оставались на земле, отдалённо подрагивающей под гусеницами наступающих танковых армий врага. Пыл Глеба угасал, радость учить отменялась безнадёжностью. И он садился за стол и писал новые и новые безумные письма — то Ворошилову, то маршалу Воронову, как будто где-то кому-то было время до этого мальчишеского бреда, а то и в ГУНАрт, понятия не имея, что это ведомство управляло одним лишь артиллерийским снабжением.

Всё было в Морозовске на военную ногу, как и в порядочном городе: были ночные дежурства учителей в школе — чтобы спать на просиженном диване с выпирающими пружинами или слушать ночного сторожа, высокого, в семьдесят лет ещё не гнущегося старого гвардейца, участника японской и германской войн, тароватого на рассказы о смотрах на Марсовом поле, о золотых, раздававшихся по одному на рыло в дни посещений полка его величеством или его высочеством, о наступлении за Карпаты и о мадьярском вольготном плене. Учреждены были народное ополчение и истребительный батальон, и был всеобуч, — и нужно было почему-то числиться там, и там, и там и посещать все три места в разные дни, но с совершенно одинаковым результатом: прийти, разобрать и собрать затвор винтовки 1891 года, который от миллиона упражнений на нём, кажется, сам собой научился это делать, потом с учебной ручной гранаты сорвать и снова надеть кольцо, послушать попеременно с «ну», «конечно» и «это самое» рассказ об устройстве бутылки с горючей смесью, которой ещё никто в Морозовске не видел в глаза, но были её чертежи в газетах и объяснения, что она сжигает любые танки, как сухие дрова, — и разойтись. Всё было в Морозовске на военную ногу. Было всё. Только не было новоприбывшим учителям — хлеба и топлива.

Где-то кто-то получал муку, кто-то где-то из обжившихся морозовцев имел дрова и уголь, — но у Глеба с Надей был воистину рай в шалаше: свободной продажи хлеба не было уже, хлебных карточек не было ещё, запасов муки у Нержиных не было тем более, но всего страшнее, что здесь, в ста верстах от Донбасса, не на чем было вскипятить чай или сварить суп. На потребсоюзовской торговой базе густобровый худой армянин, — армян было во всём Мо-

розовске трое, и все они необъяснимо укрепились на складах и базах, — продавал какие-то жалкие решётчатые ящики — без фактур, накладных, чеков или иной бумажной волокиты, просто за наличные и на глазок: по три рубля, по пять и по семь за штуку. С болью и растерянностью купив за червонец ящиков на одну протопку, Глеб шёл домой и пытался думать об общем ходе прогресса, но не получалось. Острота положения Нержиных усугублялась ещё тем, что Глеб на первых же порах оскорбил секретаря райкома партии — всемогучего Василия Ивановича Зозулю.

В девятом классе за второй партой сидела видная девочка, почти барышня, с завитыми локонами, с той бывающей у девушек баранье-невывразительной красотой стекловидного лица. Нержин вызвал её раз, сразу выяснил, что она не умеет обращаться ни с корнями, ни с дробями, а два перемноженных минуса приводят её в состояние столбняка, и поставил двойку, подумав ещё — не дочь ли она секретаря райкома. На перемене в учительской выяснилось, что — да, дочь. Опытные коллеги пришли в ужас и убеждали Нержина исправить свою ошибку. Через несколько дней Глеб вызвал её вновь — она стояла у доски самоуверенная, немножко презрительная, сложив щепотью собранные пальцы в передние карманчики вязаной кофточки и не давая себе труда запачкать руки мелом, чтобы найти построением центр правильного многоугольника. Из года в год она жила наглостью незаслуженных четвёрок к обиде целого класса, и сейчас ей было даже скучно — новый учитель, конечно, уже знает, кто она, и двойки не поставит. Нержин старался быть терпелив, задал ещё несколько вопросов, но когда Зозуля не смогла сказать даже теоремы Пифагора — Нержин с холодным пламенем во взгляде посадил её, поставил единицу в журнал и сказал:

— Я буду ходатайствовать на педагогическом совете о переводе вас в восьмой класс. Мало того что вы не знаете — вы не хотите знать и даже гордитесь этим, по моему наблюдению.

Зозуля закинула голову, как ударенная, потом уронила её на парту и беззвучно задёргалась в плаче.

Вот этих-то дочерних слёз и не мог простить Нержину Василий Иванович Зозуля, не привыкший в своём районе к крамоле и мятежу. Как и полагалось по директивам обкома, Зозуля лично проявлял большое внимание школьной работе — мобилизация школьников на сельхозработы производилась по его указаниям, и сам он явился когда-то в школу, выслушал нужды директора, а между тем

указал, что его дети (а их было несколько) учиться плохо не могут, ибо глупые дети могут быть только у глупого отца. Но Нержин был ещё настолько телёнок, что думал, будто у справедливости хватит когтей отстоять себя. Для начала пришлось посидеть без муки — составлялись какие-то списки на получение, но чья-то рука неизменно вычёркивала обоих Нержиных.

Зато они вволю могли есть сырое мясо. Одно мясо из продуктов никак не дорожало: люди, пока они были ещё живы, спешили для надёжности забить скотину, в ожидании безкормицы. Базар, достойный второй мировой бойни, был красен от говяжьих туш.

Базар был совсем рядом. Нержины снимали комнату у одинокой старой казачки, у которой два маленьких домика и курятник умещались в небольшом дворе, очищённом мощными воротами с толстой занозой и добротным забором. Тот домик, где жили Глеб и Надя, выходил во двор затейливым крыльцом с перилами, козырьком на столбиках и резьбой по дереву, другой же был приземист, слеповат и сильно смахивал на приспособленный сарай, хотя старуха божилась в противном. В этом втором доме жили Илларион Феогностович Диомидов и жена его Нина Матвеевна.

Диомидову было лет 55, но понурились его плечи, он исхудал от каких-то долгих многочисленных болезней, опирался на палку при ходьбе — а всё ещё было что-то незадавленное в его вытянутой фигуре и живой поблеск глаз. Он носил пенсне и соломенную шляпу, имел привычку при встречах, сперва на подходе, поправив пенсне, потом поближе, церемонно приподнять шляпу.

У Глеба не было с ним формального знакомства. Просто первое время они раскланивались, приглядываясь, потом познакомились жёны, и Надя сказала о Нине Матвеевне:

— А знаешь, она очень хорошая, скромная. Но несовременная какая-то.

Нину Матвеевну можно было принять не за жену, а за дочь Диомидова — она была не старше тридцати. Много ниже его ростом, с какой-то неслышной монашеской поступью, но подвижная по хозяйству, — тогда белые льняные волосы её встряхивались. Нина Матвеевна работала плановиком-экономистом в неутрачиваемом вареве райпотребсоюза, Илларион Феогностович — инженером-строителем в какой-то стройконторе, откуда всегда возвращался расстроенный.

Вскоре они с Глебом стали заговаривать — после того, как однажды стояли под столбом с громкоговорителем и, слушая сводку,

обменялись замечаниями. Они встречались перед работой во дворе по утрам, в забирающем инеистом осеннем морозце.

— Вы слышали? *Сдан* Днепропетровск, — мрачно говорил Глеб.

— Да, — кивал Диомидов. А другой раз: — И Полтава *взята*.

— *Сдали*? Полтаву? Когда? — темнел Глеб: до каких же пор он будет позорно прозябать в тылу?

Как смертельную болезнь близкого человека переживал Нержин всё яснее развивавшееся крушение Красной армии и государства. Обложенный Ленинград, павший Киев, дотла спалённый Чернигов дымной горечью наполняли его лёгкие. Глеб всё ещё верил, но уже начинал и не верить, что созданная Лениным с такими жертвами впервые в истории социалистическая система выдержит удар бронированных германских армий. Трескучая балаганная предвоенная похвальба, лубочная ложь литературы и искусства — как они были ему подозрительны уже два года назад и какими отвратительными вспоминались сегодня! Но твёрдое решение вызревало в Глебе: *он не покорится!* Если наши армии уйдут за Урал — уйдёт за Урал, если падёт Сибирь — уйдёт в Китай, уйдёт за океан, найдёт на земле такой клочок, где будет же биться свободное человеческое сердце; подобные ему соберутся там и другие — осколки разбитого вдребезги красного материка, и остаток жизни они посвятят тому, чтобы словом и оружием помочь восстановлению ленинского огня, очищенного от смрада тридцатых годов. Для чего останется Глебу жить, если будет раздавлено самое светлое в истории человечества? О, когда же мы остановим их наступление?! Упрямство жертвенности скорей не осветляло, а отемняло Глеба, — и не оставалось места ничему личному, не радовала и близость с женой, хотя кратки оставались им дни вместе.

Неизвестно, в какое чувство вылилось бы в Глебе неизменное терминологическое разноречие с Диомидовым, если бы в один тихий и на редкость тёплый субботний вечер они не разговорились бы, усевшись все вчетвером на ступеньках крыльца.

Небо являло в этот вечер одну из своих причудливых картин. Полная луна взошла уже довольно высоко, но была закрыта зубчатой чёрной тучей. Всё остальное небо было совершенно чисто, лишь кое-где лёгкие белые хлопья облаков. Молочный свет оттуда, из-за чёрного укрытия, не достигал земли, но ярко заливал небо, скрадывая звёзды, и воздушно серебрил просвечивающие облач-

ные хлопья. Ветра не было не только внизу — его не было и на высоте, чёрная туча не двигалась — или медленно поднималась со скоростью луны же, — и луна не выходила из-за тучи, так и светя, точно через обрез какой-то высокой средневековой стены.

Сидели лицом к востоку, смотрели на эту чёрную стену и на этот переливающийся тусторонний свет. Разговор проскользил одной, другой тропкой и как-то незаметно прокрался — к заветному.

Диомидовы были мучительно одиноки в Морозовске — не потому, что это была глушь, а потому, что это был шумноватый, гомозящийся, неизвестно чему радый табор. О том, что говорилось под низкими потолками их сырой хатёнки, говорить им было больше негде, не с кем и нельзя. Как эта луна всю яркость свою хранила по ту сторону чёрной тучи, так и вся их жизнь осталась по ту сторону непробиваемой стены. Они, уже будучи в Морозовске, набрали на забытую, ранее не понятую строфу из Блока и, потрясённые, среди собраний, аплодисментов и лозунгов, одиноко шептали её про себя:

*Как тяжело ходить среди людей  
И притворяться непогибшим,  
И об игре трагической страстей  
Повествовать ещё не жившим...*

В мошкаре и Васюганских болотах гиблый Нарымский край, в знойно-жёлтом песке адовый Джекказган остались в их памяти и в их крови. Им казалось, что надо говорить только о них, что ничего на свете нет важнее, чем крики и хрипы умирающих там людей, — но, счастливо-случайно вырвавшись из ссылки и заключения, они нашли здесь не родину, а чужую страну и дикий народ. Та Россия, в которой они как будто родились и были воспитаны, — совсем исчезла, растворилась, ушла.

Отец льноволосой Нины был священником, ещё в двадцатые годы сосланным в Нарымский край за неприятие обновленческой церкви. Мать умерла. Шестнадцатилетняя дочь поехала в ссылку за отцом. Да, она была несовременна. Она не попыталась зубами и ногтями вцепиться в жизнь «как у всех». И то сказать, что «железная метла» пролетарских чисток вымела бы её из-за канцелярского стола. Отец Нины прожил недолго, но, схоронив его, она не уехала, а осталась там с Диомидовым, которого полюбила «за муки», как он её — «за состраданье к ним». Ему тогда было уже за сорок, ей — девятнадцать, но у девушки, всё детство проведенной в светлом пении храмов, окуренных ладаном, земная любовь бы-

ла, как плащаницей, остелена любовью христианской. И вот уже одиннадцать лет ничто не нарушало внутреннего лада их жизни.

Диомидов в сомнении смотрел на отражённо освещённые пыльные лица молодых Нержиных. Он давно уже знал, что ему не о чем говорить с этим поколением, считающим доблестью донос в НКВД. С высот возраста и опыта он насквозь понимал Глеба — с его идейностью, безжалостной к себе и другим, к далёким и близким. Безумием было бы пытаться переубедить этого молодца. Но долгие страдания дают ещё и совершенно внеразумное чутьё чужого сердца. И Илларион Феогностович стал рассказывать, о чём он не рассказывал никому. Безчеловечно подробно он рассказывал о медных рудниках, где стоит пыль бурения; где на мокрое бурение не переходят, чтобы не снизить процента выработки; где лёгкие рабочих в два месяца съедает силикоз; где сама питьевая вода напоена солями меди и разъедает желудок, а воду для начальства и охраны лагеря доставляют на самолётах; откуда не прорываются письма родным и жалобы правителям; откуда вывозят или прямо на кладбище, или в многотысячный больничный лагерь, — словом, рассказывал о Джекказгане, об одном из самых страшных мест на Земле.

Это уже в который раз холодное дыхание невозможного, недопустимого, совершенно невидимого, но где-то тут же меж нами и в нас действительно живущего необъятного мира наносилось на Глеба. Сланцевой горой Жигулей, усеянной каменоломами; пьяной удалью, хмельной отрыжкой раскулаченного дяди Миши; ночной погоней за лагерными беглецами в Красной Глинке; утренним волжским катером, набитым заключёнными; печальными женщинами у лючных стоков ростовского Никольского переулка; звоном стёкол и швырком человека из верхнего этажа ростовского ГПУ; непрозрачными, толсто-стеклянными пузырями решётчатых окон там, вделанных под ногами в асфальт; локтями чекистских тулупов, сбивающих серебряные орехи с ёлки, когда уводили деда; варварски растрёпанным книжным ворохом обыска в кабинете Олега Ивановича; письмом любви, сгорающим в сумерках до обжога пальцев; то спотыкающимися пешими арестантами на мостовой меж оголёнными дулами пистолетов; то шныряющими в чёрные ворота ГПУ глухо крытыми трёхтонками с прутчатым окошком в задке; то шёпотными рассказами о пытках бессонницей с нестерпимым электрическим светом и о комнатах в объём человека, где дверью придавливают к стене; то железным стариком, в ростов-

ских Ленмастерских предающем с трибуны анафеме обманутую рабочую веру, — сколько раз уже леденил Глеба дыханием этот грозный незримый мир, такой нестерпимый, что нельзя было жить, смотреть на солнце, если только он есть, этот мир, но ведь не может быть, чтоб он был! но ведь о нём так легко не слушать и не слышать!

В таких случаях Глеб чувствовал пошлость всяких возражений о закономерностях прогресса, о необходимости истории. Он был на короткое время подавлен хлынувшей на него правдой, но по какой-то внутренней упругости никогда не был переубеждён.

И сейчас Глеб не понял до конца, а спросить было неловко: сидел ли Диомидов сам в Джекказганском лагере, но яркость его рассказа, но одно только упоминание дрожащими губами о мучке без здоровой воды выдавало в нём самовидца.

Они сидели вдвоём, обеих жён уже не было на ступеньках. Луна выплыла наконец выше крепостных зубцов тучи, двумя обломками вспыхнула в стёклах пенсне Иллариона Феогностовича и осветила его долгое усталое лицо с обвисшими мешками щёк.

— Несчастливая страна! — выговорил старик, и Глебу показалось, что росинки пота сверкали на его лбу. — Несчастный народ!

— Илларион Феогностович! — вдруг нашёлся спросить Глеб. — А если не секрет — вы когда-нибудь к какой партии принадлежали?

Углы губ Диомидова приподнялись в усмешке:

— Европейский вопрос. Человека *вне* партии мы уже не представляем. Просто *русским* человек не может быть, надо скорей наклеить ему на лоб ярлык — и тогда или бить его дубиной по голове, или лезть лобызаться...

После его ухода Глеб сидел ещё на ступеньках крыльца, утвердив локти на разведенных коленях и обхватив ладонями голову.

Что была жизнь?

Тихо скрипнула дверь за спиной, Надины руки легли на плечи у шеи. Глеб через голову назад обнял жену. Так помолчали немного. Надя была уже причёсана на ночь, в халате. Она пришла позвать мужа спать — но так, чтоб не помешать ему допереживать и додумать.

Всё это было невозможно в нормальной жизни, и особенно в их жизни. Однако на днях чуть-чуть не случилось и с Надеей: она ошиблась в расписании, пропустила урок, пришла в школу на час позже. Завуч Пётр Иванович мрачно встретил её: это был про-

гул, и по закону военного времени — из тех законов, которые Глеб так одобрял на ночной Стромынке, — виновная подлежала суду. (И значит, вот такому лагерю... Да неужели-неужели это возможно с нами?) Но Пётр Иваныч взял резинку, пошёл к расписанию, стёр «химия» на пропущенном месте и снова нечисто написал то же самое. И велел Наде написать объяснительную записку, что она не успела уследить за сменой расписания. Значит, брал на себя.

К утру погода круто изменилась. Дул резкий сырой ветер, неслись серо-синие тучи, чёрная глотка репродуктора у базарной площади бормотала о напряжённых боях на окраинах Ленинграда, на Орловском направлении — и потрясла Морозовск рождением ещё нового, осязаемо-близкого направления — Таганрогского.

Ветер показался людям ещё сильней, чем он был, — нахлобучивать от него шапку покрепче, слушать ночью — не оторвало ли угол крыши. Небо казалось ещё темней, чем оно было. Всё переменялось в городе. По улицам ходили вроде и с той же быстротой — а впечатление было, что бегали суетясь. Школьники на уроках как будто сидели, как будто слушали — но ничего не осталось от их прежнего внимания и интереса, они уже были не подвластны учителям, не верили ни в конец первой четверти, что он будет, ни в четвертные оценки, что их поставят. Откуда-то пошли слухи, что школу на днях закроют. Перестала ходить на занятия дочь Зозули — это был злоеущий признак. Потом исчезло несколько мальчиков и девочек из винницких эвакуированных евреев, сперва расположившихся в Морозовске, а теперь тронувшихся за Волгу. Тут директор вызвал Нержина и послал его с одним из классов на неделю в колхоз за 15 вёрст — ломать подсолнух и убирать картошку.

Ещё куда-то в глухой бок непоправимо задвигала судьба — мало тебе Морозовска, на ещё колхоз. В колхозах только и бывал Глеб, когда их самих, вот так же школьниками, посылали на уборку. Он помнил, что никому работать не хотелось, а вечерами собирались около учительницы слушать её рассказы или чтение при керосиновом ночнике. То были первые колхозные годы, и школьники получали оранжевый кукурузный хлеб, а у крестьян и такого не было, — и легкомысленно выменивали у них на молоко. В подобном настроении, только ещё отвлечённые войной и озабоченные подходящим фронтом, были и сегодняшние ученики, работать никто не хотел, ставь им норму, не ставь, и управы уже быть не могло, и колхозный бригадир сам не верил, что они в чём-нибудь посядут. Но висело надо всеми распоряжение райкома партии.

Оставались тёмные вечера для бесед с учениками — однако замкнут был Нержин для бесед: такими случайными, затерянными и предназначенными скоро раствориться были и эти ученики, и этот колхоз, и эта морозовская школа. А единственно важно было для него: что делается на Таганрогском направлении. Все известия были — районная газетка с опозданием на два дня, ничего не узнать, не понять. А уже усвоили все, что когда в сводке называется направление по городу, то значит, не *на* этот город движутся немцы, а уже *от* него. «Таганрогское направление» значило — ростовское. Бои, может быть, шли уже на его окраинах! И ещё темней, напряжённей пружинило в Глебе — туда! участвовать самому! И — вся эта война, во имя мировой Революции (задуманная Историей, а нападение Гитлера было только случайный повод), — вся эта война была достойна, чтобы на ней погибнуть. Но лучше бы — на окраинах, улицах или в парке родного города, где столько исхожено, измечтано, перенадеяно — умереть *там* была бы почти сладость, и какое гордое сознание исполненного! А Глеб — был лишён того...

Ничего путём в колхозе не убрав, на телегах вернулись в Морозовск. Ученики так думали, что занятий больше никаких не будет. И правда, без них, оказывается, проходила какая-то воинская часть и на три дня заняла школу. Шла часть сблизил — прямо с фронта, бойцы её на вопросы горожан утрюмо отмахивались, а командир не вступал в объяснения с директором, поставил часовых у школьных ворот — и вдруг необъяснимо, но весело задымилась школьные трубы, хотя угля в школе не было ещё припасено ни ведра. Когда часть ушла — от десятка парт ни осталось ни щепки, остальные, напротив, совершенно целы — солдаты обошлись по-хозяйски. Осматривая вместе с директором замусоренную, испачканную отсапожной глиной школу, Нержин только диву давался: как можно! свои же солдаты! в своей же стране! Директор, напротив, осматривал разрушения хладнокровно. Мысли его были уже в Челябинске, куда он отправлял семью.

И опять начались занятия — тоскливо-ненужные, с половинным составом классов — но не было директивы их прекращать. Тут в послеобеденное время позвонили и вызвали Надю в райком партии. Это было совсем непонятно, однако Глебу некогда было даже подумать — он шёл на занятия народного ополчения. В сумерки пришёл домой — Нади не было, и портфеля её не было, — значит, так и не возвращалась. Он чем-то занялся, но тяжёлое

предчувствие овладело им, и всякая работа выпадала. В комнате уже было холодно — сильно ощущалось, что не топлено. Подступала зима — угля всё не было, дров тоже. Не так бы было холодно, если бы пришла Надя, улыбнулась из дверей. Надя очень любила комфорт — не уют, не удобство, а именно то, что обозначается иностранным словом «комфорт» — верх уюта, сочетание всех мыслимых удобств, достигающихся без заметных усилий, — и Глеб, в минуты, как сейчас, не занятые высокими идеями, удивлялся, как сносно она переносила и недоедание, и холод, и отсутствие множества мелочей, без которых не могла жить у мамы, у тётушек. Глеб сделал, что мог, — начистил картошки, залил её холодной водой. Потом развернул уже читанную сегодняшнюю газету. «Им не победить России!» — горячо и гневно писал Эренбург. В эти месяцы его статьи клокотили Глеба, ещё более заражали страстью войны. «Россия теперь одета в телогрейку», «Россия теперь трясётся в теплушках», — знал, чем зацепить русское сердце! — «Перевести дыхание с дней на годы», «С испугом смотрит Гитлер за океан — дымятся трубы заводов». Это было захватывающе призывно, один Глеб только пропадал здесь втуне — на столь многое готовый и беспомощно никчемный. Но что ж нет Нади? Какие могут быть в райкоме дела у неё — отроду даже не комсомолки? В тревоге Глеб погасил керосиновую лампу и пошёл к райкому.

Вечер был ярко-звёздный, безлунный. Морозовск, замаскированный с придирчивостью, был совершенно тёмным. Впрочем, он и в мирное время не отличался освещённостью.

Прямо над головой чистым белым светом сверкала Вега, на востоке всходила светящаяся толчая Плеяд.

Купа тёмных высоких дубов, росших перед райкомом, шумели своей поздней листвой в умеренно холодном ветре.

Глеб зашёл в пустую приёмную райкома. На стене была большая карта Персии — и красные флажки отмечали наше доблестное продвижение к Тегерану. Делопроизводительница первого секретаря через форточку, прорубленную в двери, ответила, что Нержина в кабинете Василия Ивановича и зайти туда нельзя. Глеб вышел на улицу. Смутная тяжесть и невозможные подозрения переполняли его. Он с отвращением воображал себе нездоровое красное лицо Зозули, его бледно-голубые глаза и редульный чубок впереди облысевшей макушки — какого чёрта ему надо было столько часов разговаривать с чужой женой?

Глеб то садился на скамью под дубами, то расхаживал в палисаднике по узкой, очень гладко зацементированной дорожке. Ни щёлки света не вырывалось из затемнённых окон. Редкие прохожие спотыкались по главной улице.

Ново и мучительно было, что жену у него — как бы отняли, стала вот недоступна.

Глеб отроду был воспитан понимать женщин как предмет поклонения. Ему как-то не открылось и никто не внушил, отца не было, что существует и красота мужская, что и самому надо быть тоже пригожим. Глеб рос худым, бледным, неприглядным юношей, весь сосредоточен на внутренней жизни, не следил, как одет, да и выбора ведь не было. Он не умел нравиться, ухаживать, а влюбясь — только писал в дневнике и строил хрупко-калейдоскопические картины любви. Да и смешно ведь представить — как это ухаживать? в театральной раздевалке подавать шубку и галоши? То, что Гегель называл рефлексией, — мысль, обращённая сама на себя и на свой субъект, — насмешливо и разрушительно представляла ему, как это брать и вести под руку? А прежде чем решиться — ещё побегай дождливым вечером по Садовой, когда трёхшария её фонарей сливаются в световое море мокрого асфальта, — и с мучительным сощуром астронома, ловящего слабую комету, доглядишь: к а к берут женщин под руку? Показаться новичком нельзя, а где закономерность? — одни еле касаются острия локтя, другие поддерживают весь прогон руки до запястья, третьи чашей ладони подхватили снизу ещё и маленький белый кулачок, четвёртые продели вразноряд свои властные пальцы меж пальцами спутницы. Нет закономерности...

Легко было Мопассану назвать танцы «кратчайшим путём к сердцу женщины» — а вот попробуй, в пробежке фокстрота или раскачке танго, смой со своего лица сосредоточенную серьёзность — среди сотни смеющихся или небрежно улыбочивых лиц, среди хохота однокурсниц: «Какую формулу выводил, Глеб?»

Нет уж, легче заниматься алгеброй, её результатами и дискриминантами. А «Диалектика природы»? (Впрочем, глазами математика Глеб не нашёл в ней ожидаемой глубины, хотя и боялся сам себе в этом признаться.) «Наука требует от человека всей его жизни» — висел лозунг под потолком Академической библиотеки. Океаны знаний швыряли валами в грудь.

Кто-то прошёл в райком. Двое разговаривали о срыве заготовок, третий сопел за ними и нёс тяжело раздутый портфель. Вышла

из райкома какая-то женщина — Глеб, и не вглядываясь, узнал, что это — не Надя. Пляды уже высоко поднялись, заметно повернулся Лебедь. Ночь набиралась холодком. Враждебно шумели райкомовские дубы над головой. Осеннего пальто не было у Глеба, сразу — затасканная шуба, теперь бы неприличная для учителя. Он поднял воротник пиджака и усиленно ходил по цементированной дорожке перед райкомом.

Но выбор надо же было, чёрт возьми, сделать! И Глеб — поколебался и выбрал Надю, ещё на раннем курсе, отчасти и за Надину игру на рояле. Стал ухаживать — и не замечал, что весь пыл их вечерних встреч исходил от него одного. Что, при летних расставаниях, в каникулярные месяцы, на три-четыре подряд восторженных его письма она иногда отвечала одной сдержанной открыткой — то ли считала так нужным по тактике влюбления? Что Надя — всего лишь удовлетворённо принимала ухаживания Глеба, — но только до чётко обозначенного рубежа, никогда не давая его переходить и сама не переходя, в полном равновесии чувств.

Однако Глеб не удивлялся тому и не вникал: наверно, для девушки это и естественно. Единожды он выбрал себе объект восхищения и уже не сдерживал выражений восторга, оставался безоглядно верен. Оглядываться, каковы и как другие девушки, — он считал бы непорядочным.

Тянулись два года тягучих встреч — истомительных стояний в чужих парадных. Глеб шатаясь уходил с этих свиданий, так и не узнав свободного движения встречного чувства. Но и не мог так рано связать свою свободу одиночества: страшно было лишиться вольного простора мысли, а ещё же он затеял со следующего года учиться в двух университетах сразу. Всего этого нельзя было бы перенести, если бы Глеб до нутра не был захвачен куда более великими вопросами.

А после наконец поженились. И был летний медовый месяц, который трудно назвать медовым — из-за несладницы, из-за вспышек, из-за неприходимости одного характера к другому. Но потом — как будто всё наладилось счастливо. Хорошо, что поженились.

Вырвался свет из двери райкома и снова потух. С шофёром и адъютантом устойчивой походкой хозяина земли вышел высокий горбун — начальник НКВД. За лёгким забором палисадника зафыркала «эмочка» и ушла, не зажигая фар.

А Нади не было.

А Надя была совсем рядом — в маленькой комнате райкома, в комнате, где окна были закрыты на ставни, а дверь заперта на замок. Четыре ли, пять ли часов она уже просидела здесь, поникнув в уголке дивана, не понимая — то ли её арестуют, то ли расстреляют, то ли только пугают и сламывают. За эти долгие часы она уже и металась, и плакала, потом её клонило в сон, она свешивала голову, а теперь у неё как будто уже что-то сдвинулось, переместилось в голове, уже не было и страшно, но не хотелось и первой стучать в дверь — хорошо, что *они* её не трогали.

Когда первый секретарь райкома Зозуля вызвал её сегодня после школы, он при секретаре комсомола огорошил её вопросом:

— Вот зачем мы вас вызвали: вы за Советскую власть или против?

Надя испугалась:

— Я не понимаю вас, я, кажется, не подала повода...

— Значит, за? Мы так и думали, садитесь.

Уже не двадцатые годы, когда комиссары писали из треснувших чернильниц на столах, застеленных «Беднотой». Кабинет был в дорогих шторах, с кожаными креслами и мягким диваном. А за спинами райкомовцев висел торжественный портрет Сталина, к которому, как воскурения жертвенного дыма, поднимались табачные клубы.

А объявили Наде, что в Морозовске, на случай отступления нашей армии, создаётся подполье — и она назначается туда как химик: изготавливать зажигательные смеси и взрывчатые вещества.

Надя так и сжалась, тут всё было нестерпимо и страшно. И само подполье — ведь за это расстреливают, она никак не ждала, что война может опрокинуться на неё таким. И: она только по теории знала зажигательные и взрывчатые вещества, а взяться делать сама? — никак бы не могла, да ещё в подполье. (И зачем вообще она ушла с музыки на химию? Если покопаться, то потому, что в музыке слишком обострена иерархия первенства, ядовитость редяущих аплодисментов, и обидно быть невыдающейся; а в химии — нисколько. А вот теперь — взрывчатые вещества?..) А — Глеб? будет ли и он в этом подполье? и как она останется там с этими мужчинами?..

Всё было так страшно и нескладно — Надя нашла в себе силы упорно отказываться: она вполне понимает патриотический долг и благодарит за доверие, но это выше её сил, и её нервы не приспособлены, и она не может расстаться с мужем...

— Да ваш муж уже в армии.

— Он дома, я лучше знаю!

— А вот пойдёте проверите, он уже с повесткой.

— Так я пойду его провожать!..

— Сядьте, сядьте. Сейчас будете писать обязательство.

Если б она была в тот момент понаблюдательней — она б заметила, что они сами едва не трясутся открыто от этого подполья. Она бы вспомнила, что сегодня в областной газете была статья секретаря обкома, что расстреляны два бежавших секретаря райкома. Пришло время Зозуле рассчитывать за свои блаженные годы правления районом — и вот всего-то он мог отправить только грузовик с имуществом, а самому приходилось оставаться. А тут ещё взрывчатые вещества, без знающего человека взорвётся в два счёта. А никого более знающего, чем эта учительница химии, у него не было. И так на все её возражения и слёзы был ответ:

— Кто не с нами, тот против нас. Теперь, когда вы уже знаете, — вы должны согласиться или мы должны вас уничтожить.

А потом, чтоб не терять времени на уговоры, её заперли в отдельной комнате, пока согласится. У них и без того хватало забот: о рытье противотанковых рвов, об эвакуации тракторов, лошадей, подвод, массовой мобилизации мужчин, необходимых арестах, — пришёл начальник НКВД и занимались с ним. И горбун сказал про эту учительницу: «Слизняков нам не надо, найдём».

Надя за эти часы решила обманно согласиться, чтоб только отпустили домой, и увидеться, посоветоваться с Глебом. Секретарь комсомола взял у неё подписку о неразглашении и отпустил на два дня «подумать».

Обрадованно нашла она Глеба тут же, совсем никуда не мобилизованным, и, едва вышли из дворика райкома, стала рассказывать обо всём ужасе. Досказывала уже во дворе, дома. Непрерывная дрожь возникла в Наде, простёгивала всё неотвязней, — она уверяла, что от холода и от счастья, что он дома.

Хозяйка открыла дверь на их стук и в темноте протянула бумажку, принесенную без них. Жёлтый огонь керосиновой лампы вновь осветил временный приют молодых людей — стол, заваленный книгами, сундук с наставленной на него посудой, старый рассыпающийся комод и одинарную железную кровать с досками вместо сетки.

Надя рванула из рук Глеба — повестку — на обёрточной бумаге, расплывшимися чернилами, и опустила на скрипнувший раз-

болтанный стул. Глеб взял у неё и прочёл, что к пяти часам утра завтра он вызывается с военным билетом, паспортом, кружкой, ложкой и сменой белья в райвоенкомат.

«Им не победить России!» — чернел на столе эренбургский заголовок. Свершилось! Революция звала! Молодая жена судорожными пальцами ухватила Глеба за локоть и смотрела гневно:

— Ты рад, что распутался, что тебе не мучиться, не решать, — уйдёшь, а со мной пусть делают, что хотят..

И задёргалась взрыдом, что, казалось, грудь её разорвётся. Глеб продолжал торжественно стоять у стола, отвердевшей рукой глядя волосы жены.

Им не победить России! К оружию, кwirиты! Откуда-то добавлялось почти исполинских сил. Глеб пришёл в своё лучшее состояние, когда мог — всё.

— Надюша! — резко повернулся он, соображая сразу многое. — Бери чемодан, собирай в него самое главное, в четыре часа я жаю тебя на поезд, и ты едешь в Ростов.

Она расширила глаза:

— Прямо к фронту?

— Глупенькая, что значит — к фронту? Там все родные. Они как-то живут?

Сперва эта мысль захватила Надю — не только потому, что она уезжала от подполья, а потому, что так она уедет первая и ей не оставаться и не плакать в этой квартире, опостыло-невыносимой после того, как Глеб уйдёт. Заряженная энергией мужа, Надя кинулась в сборы. А Глеб по-прежнему стоял у стола, от слишком большой стремительности мыслей уже теряя способность соображать. Ложка и кружка! Идиоты! Надо портфель с собой взять, карандашей, бумаги чистой, пару ёмких книг.

А ребята-сокурсники уже лейтенанты! Как отстал Глеб... Эта категорическая повестка вольным воздухом фронта овевала его лицо.

Выдвинув сразу все три перекосившихся ящика щелястого комода, Надя села на табуретку и слабым голосом сказала:

— Нет, мне ехать так нельзя.

Как будто с горы спустился Глеб, трудно соображая, о чём тут ещё.

— Нельзя?.. — И спохватился, поняв: — То есть как нельзя? Что ты? — Он подошёл к ней вплотную, и сейчас же её голова скатилась ему в руки. Его голос стал тепло-нежным: — Ну зачем ты

мучаешь меня, ну что ты ещё выдумываешь? Я посажу тебя на поезд — и уеду спокойным.

Он гладил её голову — и она ласкалась к нему, чуть покачиваясь.

— Поедешь, да? — тихо спросил он, целуя её в лоб.

Она закинула голову и печально вздохнула:

— Нет. Это тебе всё кажется сейчас так просто, ты уже — перекапти-поле. Диплом — в районо, трудовая книжка — в районо, уеду не уволившись — не дошлют.

— А попросишься — не уволят.

— Ну, что же делать, что же делать, если время такое? За побег с работы и — под суд.

— Кому будет до тебя? Кто тебя будет искать? И — какая сейчас работа?

— Да я ночи не просплю спокойно, если на меня будет розыск! А ещё это подполье! Боже мой, какая я подпольщица!..

И она спрятала лицо в его ладонях.

— Но и оставаться тоже нельзя, Надюша. Будут тебя тягать, угрожать тюрьмой...

— Может, не будут...

— И денег нет...

— Тем более надо дожидаться зарплаты...

— Топлива нет, продукты исчезнут, — как ты будешь жить?

Надя вздохнула, как простонала:

— Как-нибудь, как-нибудь... Смотри — вещи же. Зачем бросать? Потихоньку соберу, уволюсь — потом уеду.

Надя была по-прежнему на гражданке, эта комната по-прежнему была ей домом, вещи имели свою ценность, а для Глеба это уже были рухлядь и хлам в какой-то случайной комнате города, сегодня нашего, завтра не нашего.

— С каким сердцем я уеду — и буду за тебя бояться?

— Я буду тебе писать...

— Куда?..

— Какая-нибудь же почта будет? Ты сразу напиши!

— Я предчувствую, что я попаду под Ростов и бои будут уже идти на самой окраине города, и в нашем Театральном парке, как, помнишь, в Университетском городке в Мадриде, в кинохронике, будут окопы, пулемёты, мешки с песком...

— Тебе этот Мадрид до сих пор ещё снится?..

— Как я хотел тогда в Испанию!..

— Если только ты будешь под Ростовом — я сразу примчусь.

— А диплом? а трудовая книжка?

— Да-а-а...

Низко вкрутили фитиль лампы...

До рассвета не много-то и оставалось.

— Я — собран, — сказал Глеб. — Не вставай провожать: и темно, и холодно.

И правда, Надя, как согрелась, осталась лежать.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ ПЕЧЕНЕГИ

Когда Глеб выходил за ворота, белый серп ущербной луны ещё полным светом светил с востока — утро едва брезжило. В давно заготовленных грубых ботинках Нержин звонко отстукивал по земле, окованной утренником. Стук своей ходьбы веселил его и делал сильней. Не какие-нибудь интеллигентские полуботиночки — а кирзовые, на резиновой подошве — сколько и куда придётся в них прошагать?

Сейчас, когда Глеб вырвался из расслабляющего обнима жены, ему стало легче, чем в последние часы с ней. На редкозвёздном небе, посветлевшем от месяца, Орион запрокинулся к западу, а стрела трёх звёзд его пояса неслась на Сириус, как раз в стороне военкомата, куда шёл Нержин, — и это казалось ему счастливым предзнаменованием.

Глеб представлял, что сейчас в военкомате кто-то очень толковый поговорит с ним и направит хотя бы и рядовым, но в артиллерию. На фронт — и жаждалось именно под Ростов! Поставить пушки на полянах театрального парка, где ещё держится долгая золотая осень. Кажется, что в родном Ростове, на Ткачёвском или на Соборном, даже не страшно и не жалко лечь ничком, неубраным остывшим трупом.

Уже рассветало, когда Нержин подошёл к военкомату. Военкомат помещался внутри широкого двора с убитой землёю плаца. Двор был обнесен высоким каменным забором, а ворота без полотнищ были просто проломом в этом заборе — и в проломе стоял часовой, который внутрь пускал по повесткам, а наружу не выпускал никого. Десятков семь баб теснились к часовому с улицы, из будки выходил здоровый ефрейтор с одним жёлто-жестяным треугольником в петлице и отгонял баб подальше. В просвет ворот, наискось из двора, мужчины, ещё в гражданском, но чрезвычайно серо одетые, что-то объясняли женщинам знаками и покрикива-

нием. Нержин и не заметил, как пересек черту ворот, не осмыслив необратимости происшедшего.

Во дворе было очень много мужчин — даже невысказанно много для Морозовского района. Ярко светились окна маленького здания, где была контора из нескольких кабинетов. Из кабинета в кабинет с какими-то длинными списками бегали военные и полувойенные, а иные выгоняли из коридора мобилизованных. В коридор набивались лишь потому, что здесь было тепло, среди них только один Нержин искал личного решения. Он был воспитан в осознании, что люди — кузнецы своей судьбы. И не ведал бездейственности. Он остро чувствовал, что уходят неповторимые минуты, что сейчас или никогда он исправит то, что весной напортила эта дурацкая «ограниченная годность». Но — ничего не мог поделать: отогнанный всеми потрясателями списков, выгнанный поочередно из всех кабинетов, он вышел на плац, не расставаясь со своим портфелем и маленькой заплечной сумкой.

Тут вогнали во двор с десяток пустых открытых грузовиков. Вышло несколько военных со списками, велели всем строиться в четыре шеренги, оттого получилась куча: тут обученных строю, видно, было не много. Не достроив толком, стали выкликать по фамилиям, а вызванный, назвав себя полностью, бежал к грузовику и лез в него. Потеряв зря час перед тем, Нержин понимал, что сейчас происходит с ним нечто непоправимое, он уже упустил исправить судьбу, его загоняли куда-то не туда — а уже ничего нельзя было остановить. Когда выкрикнули его фамилию, он вышел, сказал, что хочет сделать заявление, но ему с матом махнули на грузовик. Залез туда, через колесо, а там все садились, многие с мешками, плотно на пол, поджав ноги, лицами вперёд, и сержант командовал ещё плотней. Это уж было какое-то человежье месиво, а ничего не поделаешь. Да, время бездарно упукалось.

Всех перекликнули, всех усадили — и грузовики зарычали, двинулись. Но громче их взвыли бабы, цепляясь за борта машин. То был — первобытный захватывающий крик, вой, всхлипывания, может быть и обрядные. Теперь понял Нержин: это провожали тутошних, морозовских, остальные уже простились по станицам и хуторам — и он уезжал тоже как хуторской, непровожаемый. (Ну да никак не уместно было бы представить Надю среди этих баб. Она и до порожка проводить не встала — но он не испытывал на неё обиды: ещё натерпится своего.) Разгоняясь, грузовики сорва-

ли бабьи руки, молчащие мужчины оставили этот вой позади — и колонна пошла.

День начинался в облачной хмури, и даже вроде мороси, — Нержину не по чему было определить направление езды, а указателей сроду не бывало на наших дорогах, но местные сразу смекнули, что едут на Обливы — следующую к востоку, дальше от фронта, большую станицу Обливскую, через 60 километров. Догнали туда часа за два и высадили у большого клуба — а во дворе его уже толпились такие же немолодые призывники, в таких же тёмных одёжках, с такими же продуктовыми сумками и узелками, только Обливского района.

Тут уже и вовсе было не дознаться ни до какого чужого начальства и не к кому обратиться с решением своей особенной судьбы. Да и погода портилась, одождилась, чем по двору гонять — надо успеть занять место внутри, в клубе. Из большого зала клуба были заранее вынесены все скамейки, но лучшие места у стен прежде заняли обливские, похуже потом — морозовские спутники, весь пол зала был теперь облёжан людьми, мешками и сумками, а Нержину долго не находилось места даже и присесть. Наконец нашёл, затоптанное грязью, и, делать нечего, сел. Странно, неужели военкомат не мог быстрее разбираться и рассылать дальше по частям?

Так и весь день до вечера прошёл: ни одного начальника, ни одного распоряжения, никакой кормёжки, каждый из своего мешка, и видно, что тут и спать, — стоило минувшим утром так их гнать!

Никогда ещё в жизни Нержин не испытывал такого безсилия и такой раздавленности, как в этот осляклый день на полу, потягивающем холодком, меж нескольких сот незнакомых ему людей, а друг друга знающих и стянутых по землячествам. Прожив двадцать три года то с матерью, то с женой, или в понятном школьном, студенческом кругу, первый раз Нержин оказался в странном ему, безстройном мужском сборище с какими-то первобытно сильными законами, с какой-то насмешливой жестокостью к себе и к другим и с обилием крайне мрачных предположений.

Нержин услышал, что вот так они просидят неделю; что потом пешком погонят до Урала; что сегодня же ночью на машинах без винтовок отвезут на передовую; что сейчас будут отбирать у кого что есть из продуктов (у Нержина было харча на день, и это его не волновало); и сапоги будут отбирать, заменяя на ботинки с обмотками. Нержин робко что-то возразил соседу о сапогах — его

грубо подняли на смех, — и выяснилось, что никто из окружающих не сомневался в желании, ни в праве военкомата отобрать сапоги, — а сидели все в сапогах. И ещё много мрачных предсказаний услышал Нержин — и не было среди них ни одного доброго. Правда, много спорили, до ярости опровергали одно предположение, но чтоб заменить его ещё более ужасным другим. Проверить нельзя было ни того ни этого — и тягость всеобщей безнадежности окольцевала Нержина. Ему очень хотелось поделиться с кем-нибудь своей тревогой об артиллерии, как ему туда попасть, но он молчал, понимая, что его ещё хуже осмеют, чем с сапогами, и раздают мечту, как ящерицу.

Так шли долгие-долгие часы, а мобилизованных всё подбывало, Нержин уже перетиснулся со сквозняка поглубже, поел без аппетита рязмятые крутые яйца, уже зажглись высокие верхние слабые лампочки в зале — но не только смотреть ему не хотелось на своих соседей — костеняще не хотелось ему ни думать, ни жить. Где была та молодая краснофлагая страна, по которой он носился доселе? Если б эти люди не говорили по-русски, Нержин не поверил бы, что они его земляки. Почему ни одна страница родной литературы не дохнула на него этим неколебимым, упрямо-мрачным, но ещё какую-то тайну знающим взглядом тысяч — ещё какую-то тайну, иначе нельзя было бы жить! Наблюдатели, баричи! Они стускались до народа, их не швыряли на каменный пол. Как же он смел думать писать историю этого народа?

Были интересные книги в портфеле, но при таких соседях стеснялся Глеб тут читать, да и света не хватало. Обхватив коленями, задремал. Дремали и другие. Так день прошёл безо всяких объявлений (и соседи истолковали, что и хорошо, лишний день живы), и люди укладывались на ночь, мешки под голову, а ноги поджав или протолкнув между соседями. Вдруг стали сгонять тех, кто расположился выше и лучше всех, на дощатом помосте сцены, у дальней стены. Окна вовсе уж показывали темень, воздух в зале угрелся, больше половины людей спало, когда несколько человек, среди них пара девок, к которым со всех сторон тянулись шутики и руки, прошли через лежащих и сидящих к помосту, на помост выскочил какой-то молодой парень с растрёпанными белыми волосами и, шутовски размахивая руками, пронзительно закричал:

— Работники искусства — Красной армии! Начинаем концерт художественной самодеятельности железнодорожного клуба. Выступает...

И начали выступать. Выполз на сцену гармонист, сыграл марш из «Весёлых ребят» и что-то из Блантера. Это была та самая молодая краснофлагая страна, о которой вот недавно горевал Глеб. Та, да не та. Гармонь резала благородные уши, воспитанные на фортепианных сонатах. Выскочил конферансье и объявил о себе в третьем лице, что он прочтёт монолог Щукаря. Натужный, вовсе не смешной юмор в таком же натужном исполнении был бы очень нуден, если б надо было его слушать — но зрители могли и спать. Нержин использовал эту возможность, положил под голову портфель и окутался своей безобразнейшей шубой ещё школьных времён — с карманами на отрыве, облезлым мехом воротника, белыми клочьями ваты из прорванной подкладки и ошмыганными до белизны петлями. Ещё слышал Глеб, но уже не видел топот чечётки, потом лезгинки того же самого конферансье ещё с какой-то девичей под ту же гармошку. Иные из окружающих полусидели, смотря на сцену, кто улыбался, большинство же решительно укладывалось спать, если ещё не спало. Потом объявлено было, что ещё другая девица под тот же аккомпанемент исполнит русскую народную песню. И вдруг случилось чудо. Всё та же гармошка, всё тот же нехваткий гармонист — но дребезжащие хриплые звуки спаялись теплом и вознеслись под дальние открытые стропила недостроенного клуба. Нержин не выдержал, приподнялся, увидел, что там и сям, здесь и подале, поднимаются, поднимаются уже лёгшие люди, чтоб лучше видеть и слышать. Девушка, ни лица, ни фигуры которой Глеб не мог разглядеть за дальностью, пела как-то жалостно, а слова чем-то подходили к сегодняшнему вечеру, хотя относились не к расставанию, а к возврату:

*Позарастали стёжки-дорожки,  
Там, где гуляли милого ножки...*

Первый раз Глеб был захвачен незамысловатой песней, да ещё под гармошку. Он хотел усмехнуться над собой, но не вышло: в глазах стояли слёзы. Длинные стены клуба поплыли, поплыли, представилось растерянное лицо Нади в последнем поцелуе, представился опоганенный нашествием Ростов, измятый танками Театральный парк, вся молодость их поколения, теперь вытопанная.

*...Позарастали мохом-травую,  
Где мы гуляли, милый, с тобою.*

Молодость была отрублена топором. Навсегда. Начиналась Армия — дикая, непонятная полоса жизни.

Девушке много хлопали, хлопал и Глеб (гармошке, о музы!), потом свалился головой на свой портфель и в каком-то всепрощающем размягчении заснул. И видел хорошие сны.

Но в армии — как в армии. Не поцелуй жены, а оглушающий окрик: «Подъём!» — начинается день. А окна были совсем темны.

— Подыма-айсь! — кричали в два голоса. — Выходи стро-оить-ся! И темнеющая угрюмая масса, в которой нельзя было узнать размягчённых слушателей вчерашнего концерта, топоча и кряхтя, чередом выходила в двери. Ух, как не хотелось выходить!

На большом дворе людей выстраивали вроде как бы в каре, по шесть в затылок, но было всего три фонаря «летучая мышь», кто-то махал ими, бегал, показывал, чей-то мат непрерывно трепетал, как полотно на ветру, кого-то перегоняли, заворачивали, мужички то и дело взваливали на́ плечи и тотчас спускали наземь мешки, неизвестно чем набитые (неизвестно было одному Нержину, а всем хорошо известно: салом и сухарями). Но строй всё получался не каре, а каким-то эллипсом, жмущимся к центру.

Наконец, уже на брезгú дня, начальство «отложило пустое печение» построить как надо, и кто-то стал выкликать фамилии. Слушали жадно, осаживая разговоры соседей, и с готовностью бросались на вызов. Схватив свой мешок, на попрыгавших перебежали освещённое пространство и пристраивались к хвосту колонны, лицом ставшей к воротам. Все ребята были здоровые, ещё больше их мешки, Нержин робел перед их видом. Выкликались фамилии и мелькали лица, безчисленные, как капли дождя, — и Глебу уже не верилось, что в этом косом мелькании не затеряется ничтожно-мелкая капелька «Нержин», ещё вчера поутру мнившая, что она способна в себе отразить и землю и небо.

И впрямь, закончили многосотенный список, а Нержина там не было. Но не было и ещё нескольких сот, стоявших невызванными. Колонна ушла за ворота — и по толпе сразу же пронеслось: «На станцию. Этих в Сталинград повезут. По ВУСам\* отобрали — кто, значит, там наводчик, автомеханик».

---

\* Военно-учётная специальность.

«Откуда они могут знать?» — возмущался Глеб, особенно потому возмущался, что слух этот больно ранил его: артиллерия ушла, он пропустил её своим вчерашним бездействием?!

Выкликнули ещё человек полтора — тоже увели за ворота. Про этих тоже сразу стало известно, что — пехота, и повезут их на Воронеж.

Уже стоял полный день — пасмурный, но без дождя. Начали выкрикать третий список — тут-то дошла очередь до капельки Нержина. Став в затылок колонны, Нержин услышал толк, что это вызывают инвалидов, повезут в тыл, на войну не погонят. Глеб оглядел соседей — это были всё пожилые мужики, вид иных болезней — и сердце защемило в нём, оттого что слух казался правдоподобен. Артиллерия на миг задела Нержина своим сверкающим хвостом и унеслась, отшвырнув его в какую-то ещё горшую тупую неразбериху. Нержин вышел из строя назад, чтобы подойти к начальству и объяснить весь трагизм своего положения, — но какие-то мордаты, отдельно стоящие чины гаркнули на него и завернули.

Вскоре погнали и их колонну — куда-то в поле. Несколько начальников шли поодаль. Все они были в гражданском и даже не пытались разбирать колонну по четыре. Только один, видимо самый главный начальник, ехал верхом. На нём был серый плащ и неновая военная фуражка. Она была без звёздочки, за долгие годы околыш приобрёл цвет с таким же успехом зелёный, как бурый или голубой, но один приём очень увеличивал внушительность: лакированный ремешочек, место которому над козырьком вокруг околыша, был переведен через козырёк вниз и обтягивал подбородок. От этого длинное смуглое лицо начальника приобрело что-то средневеково-рыцарское, и таким он скакал на своей высокой мускулистой... лошади, как думал Глеб, — жеребце, как он услышал от соседей.

Уже прошли километра два, иные надрывались под тяжестью своих продуктовых мешков, другие, снаряжённые полегче, зубоскалили, предлагая нести мешки исполу, один рыжий старик несколько раз споткнулся, потом упал на одно колено, уронил мешок — но всех оттолкнул, кто хотел помочь, чтобы потом не делиться салом, взвошить мешка уже не смог, сообразительно кинул под него телогрейку и поволок по земле.

Тучи, серые с утра, теперь распяливали набело, лёгкий парок шёл от рыжего жнива, от чёрного перепахана, от взмокших спин — день теплел, сушел и обещал обернуться солнечным, — а колонну

всё гнали и гнали, кряхтели красно-лохматые люди под мешками, и давно утихли досужие языки, устав предсказывать, что гонят в трудбатальон на строительство дорог, на шахты и для посадки на самолёты. Наконец голова колонны свернула вправо вниз — в долгую пологую балку, всю заросшую кустами, — и из сотен глоток сразу вырвалась догадка. Вся балка, сколько хватало глаза и видно сквозь поросли, была заполнена лошадьми и крестьянскими телегами — и ещё и ещё новые ехали сюда по трём дорогам из трёх глубинных районов. Колонна рассыпалась и повалилась на траву.

На ровном месте, на прочисти, стояли столик и пара стульев, странные здесь, вдали от жилья, и было там двое военных — высокий, лысый, с опухшей шеей ветврач в звании капитана и писарь сержант, аккуратно причёсанный и чистый до розовости. Писарь, не поднимаясь от стола, то вносил цифры сданных лошадей, телег, сбруи и названия колхозов-сдатчиков в белые простыни ведомостей; то, обсасывая оконечность толстой ручки, высокомерно следил за хлопотами капитана. А капитан, по издавней служебной привычке, придирался, заставлял проводить лошадей бегом по поляне, сам за ними семеня в одышке, кричал: «подсекает! подсекает!», спорил с колхозниками, но потом по их равнодушным лицам вспоминал, что он не в прежней, довоенной, такой удобно распорядливой армии, что всё равно он возьмёт и подсекающую лошадь, что знания его здесь ни к чему, — собиралась складками его безволосая кожа на темени, — он садился рядом с писарем, махал — «пиши!» — и опускал голову. И колхозники — а больше старики да бабы, косясь на желтоватый шар головы ветврача, с услужливой торопливостью отвечали на размеренные вопросы писаря, получали бумажки с печатью военкомата и уезжали на остаточных.

В эти дни — хотя никто из сотен рассыпанных по долине людей не знал об этом, — в эти дни сдана была Одесса, германские войска штурмовали Перекоп, наседали на Харьков, углубились по Таганрогско-Ростовской дороге, дрались за Горбачёво на Орловско-Тульской, Москва ещё не очнулась от дикой паники три дня назад, и что-то ещё не виделось нигде стальное сталинское руководство, — а из штаба Северо-Кавказского военного округа, где одни бумаги сжигались, а другие кипами грузились на автомашины, дали шифрованные телеграммы по военкоматам области: в трёхдневный срок угнать тракторы, гужтранспорт и всех мужчин от восемнадцати до пятидесяти лет.

Из тысяч призванных в эти дни людей никто не знал подробностей, но все понимали, что пахнет горелым. Однако всё это множество людей, кроме смешного учителя в истёртой подростковой шубе и с портфелем, воспринимало происходящее с мрачной покорностью, без судорожной тревоги и нетерпеливого зуда что-то немедленно предпринимать для изменения своей судьбы и тем более для спасения Революции. Ветврач и писарь, устойчиво находясь на военной службе, знали, что на всё поступит распоряжение начальства; старики и бабы возвращались по своим колхозам, думая не о судьбе Ростова и Москвы, а о том, как они будут убирать хлеба и подсолнух без мужиков и без лошадей, и ещё о том, останутся ли колхозы, если придёт немец; мобилизованные уже отволновались своё — они волновались, пока было неизвестно, удастся или не удастся им остаться дома и что сделать, чтобы остаться, пока жёны и ребятишки были подле них и привычные кровли стерегли их бессонницу, а теперь всё было обрезано, и стало много легче: одна голова не бедна, а и бедна, так одна.

Этого покоя безвозвратности не было только у длиннолицего начальника колонны Забазного с ремешком под подбородком, да у нескольких его приближённых, усевшихся с ним вокруг арбуза на рядне, разостланном поверх влажно-тёплой парившей травы, — проглянуло солнце, и с каждым часом погода поворачивала на осеннее ведро. У начальника и двух его заместителей документы были оформлены в морозовском военкомате так, что на месте назначения, сдав людей по именному перечню (они трое в этот перечень не входили), лошадей по счёту, а обоз как попало, они могли выбирать: возвращаться ли в Морозовск с отчётом или вступить в армию по месту прибытия. Эта оставшаяся у них свобода выбора уже сейчас, заранее, тяготила их, они об этом всё время меж собой толковали, гадали о ходе фронтовых событий и раскидывали, как лучше не ошибиться. Ещё двое сидевших вкруг арбуза, — из них один экспедитор райпотребсоюза Таёкин, низкорослый, с рыжеватыми подстриженными усиками над губой и с красными эмалевыми треугольниками, уже поспешно ввинченными по два на каждую сторону воротника старой гимнастёрки без петлиц, значит, младший сержант, — эти двое, хоть и приближенные начальнику, но числящиеся в именном перечне и не имеющие выбора, возвращаться ли, заняты были напряжённым обдумыванием, как отличиться от толпы и занять командное положение.

Но больше их смятён и больше всех напряжён был Нержин, потому что голова его болела сразу и о Революции, и о себе, и потому что он ощущал в себе полнейшую свободу воли при полном незнании овладевших им обстоятельств.

В расстёгнутой шубе и с полинялой кепкой на голове он быстрыми шагами подошёл к кружку начальства и звонко сказал:

— Товарищ начальник!

К этому времени две опорожнённых водочных бутылки уже были скинуты с ряда в траву, ещё зелёную, а селёдочные головы откинута в канавку, пудовый белополосчатый арбуз взрезан и развален багряными скибами, и все пятеро, кто перочинными ножами, а кто зубами, выбирали его осенне-сладкую мякоть, проливая на рядом скользкие чёрные семечки, красную крохоть и струйки липкого сока. Все пятеро разом вскинули головы и тотчас отвели, как бы стыдясь, что по голосу приняли подошедшего за порядочного человека.

— Я что люблю? — продолжал Таёкин. — Я люблю, чтоб до меня там никто не был, понимаете? Чистенько, аккуратненько и спокоен, верно?

— Товарищ начальник! — возбуждённо продолжал Нержин, внутренне удивляясь, как можно безопасно наслаждаться арбузом в такое грозное время. Изю всех пятерых лиц смуглое красивое лицо начальника одно нравилось ему своей воинственностью от ремешка под подбородком. — Я прошу вас посодействовать мне. У меня высшее математическое образование, я должен был быть направлен в артиллерию. Тут произошла ошибка. Разрешите мне отлучиться в военкомат, чтобы выяснить.

Нержин выпускал фразы быстро. Забазный, пронизывающе хмурясь, посмотрел на него из-под козырька. Будучи незнаком Нержину, сам он знал его, как всякое новое лицо в Морозовске, знал, что это приезжий учитель и при том из числа залупающихся.

— Я только выясню и при том или ином решении вернусь сюда, чтобы поставить вас в известность.

Морщина гнева сверкнула по рыцарскому лбу Забазного:

— Вам кто разрешил ко мне обратиться?

Постановка вопроса изумила Нержина:

— А кто мне может запретить?

Забазный выговорил с холодной чёткостью:

— Вы ещё незнакомы. В армии есть порядок — обращаться по дистанции, через командира отделения.

Вы желаете сказать по *инстанции*? — хотелось съязвить Нержину, однако он сдержался:

— Но командира отделения у меня нет.

— Будет, — отсек Забазный и совсем иначе, весело спросил у Таёкина: — Чтоб *никогда* никто не был? Где ж ты такую найдёшь?

— То есть, — высоко подбрасывая одну бровь, спросил Нержин, — вы отказываете мне в моём законном праве?

Начальник сперва как будто не слышал, взял новую скибу, начал её и рассмеялся ответу Таёкина. Потом, невзначай подняв голову, удивился:

— Вы ещё здесь?

— Я...

Глаза Забазного недобро сверкнули. Угрожающе низким голосом он скомандовал:

— Марш на место! Жалуйтесь в Осовиахим!..

Нержин негодуяще пожал плечами, с уничтожающей иронией улыбнулся красным заедам на щеках своего врага и, повернувшись настолько небрежно, чтоб не потерять достоинства, ушёл к своему кусту. Вспышка хохота догнала его слух. Кто-то сказал остроумно-ругательное словцо. Забазный покачал головой, усмехаясь длинными губами:

— Институт кончил! Чему ж он детей научит? Сидор Поликарпович!..

А Нержин, глубоко поражённый несправедливостью, безчувствием и невежеством, сел на припёке и опустил голову на колени. Ему казалось, что жизнь его кончилась.

Солнце грело осенне-ласково в безветренном воздухе. Шли долгие часы ожидания, непонятного тем, кто не принимал участия в деле. А дело состояло в том, чтобы доесть арбуз, покурить (убрать остатки и свернуть рядом уже нашлись добровольцы из казачков по-смышлёней), выпить ещё раз с ветврачом и писарем, принять лошадей, ходá и упряжь по ведомостям, пересчитать их в наличии, обойдя несколько гектаров земли, заставленных как на конской ярмарке, потом разделить людей по спискам на четыре роты, на шестнадцать взводов, ротным (тем, кто ел арбуз) выбрать на глазок взводных из простых казаков и, наконец, поднять общее движение: раскликать людей на взводы, разобрать коней и ходá и выстроиться по ротам. Всё это заняло день до конца и шло гладко, кроме того, что у ветврача стала нехватка в три лошади, захваченные умными бабами на-

зад в колхоз вместе с квитанциями. Обозники с готовной покорностью отзывались на разбивку и, кивая, выслушивали правила поротного и повзводного движения.

Всё было гладко, пока не подана была команда разобрать лошадей и ходá. Уже давно было домёкнуто зоркими казаками, что ходов на всех не станет, а уж где — чтоб лошади были ровные: пальцы на руке и те неровны, земля и та неровная. Десять лет у них не было своих лошадей и своих телег — и вдруг им крикнули: «Разбирай!» Смуглый от донских ветров, бордовый от хмеля Забазный с ремешком увидел, что сделал неладно, да поздно. Покинув мешки, ломая кустовник, с перекошенными лицами отталкивая и гвоздя чем попало друг друга, старые казаки кинулись за конями. Топот полутысячи пар сапог потряс землю, как в битвах старого времени. И густые и дребезжащие крики, и злой мат, и конское ржание — нето испуганное, нето понимающее — взмыли и слились в недвижно вечереющем воздухе. Наперехват тянули друг у друга поводья, ременные возжи, зенитными стволами вскидывались в небо дышла телег. Здесь, чтобы освободить руки, один казак на собственную шею накинул два хомута, там кумовья впряглись сами и за нашьильники оттаскивали в сторону новенький крепкий ход, а какой-то чёрный казак, похожий на цыгана, стоял в немудрой потрёпанной телеге и кричал кому-то:

— Моя-а! Ей-бо моя! В тридцатом годе перед самым колхозом изладил!

Знали все, но все хотели забыть, что и в армии тоже нет своего. Обман собственности сладким зельем перенимал дух.

Новоявленные ротные кинулись унимать людей, но на яром конском разборе никто их не слушал.

Кто-то, имевший право кричать, крикнул на Нержина:

— Чего стоишь? Облопай! Выбирай коней!

Нержин да ещё три каких-то корейца, неизвестно откуда взявшиеся, все в очках, — только и не кинулись в горячий расхват. Понукаемый криком, не расставаясь с портфелем, Нержин равнодушно двинулся вперёд и через несколько шагов увидел привязанную к дереву лошадь, правда — несколько высоковатую. Он подошёл ближе, взялся за повод — лошадь презрительно фыркнула на него свысока. Ему было совершенно безразлично, какую взять, и он стал отвязывать эту.

Случившийся неподалёку Таёкин, разъярённый неподчинением мужиков:

— Ты что ж, ёж твою ёж, — круто наворачивая ругательства, налетел на Нержина сзади, — учитель шуев, к о г о отвязываешь?

Правая бровь Нержина взнеслась в тонкой иронии, усвоенной им ещё с детства в семье Федоровских:

— Ругань — это бедность аргументации. Сами видите — лошадь отвязываю.

— Какую лошадь, дурак? Жеребца! Начальникова жеребца! Осёдлан, не видишь?

— А-а-а, — узнал теперь и Нержин. — Тогда извините.

С тем же портфелем и с тем же безразличием он прошёл дальше, взял за размочаленный верёвочный повод оторвавшуюся мохноногую лошаде́нку, не оказавшую сопротивления, и повёл в одной руке, не зная, что с ней делать дальше.

Солнце стояло уже невысоко. Телеги разобрали по одной на двоих, а лошадей был такой избыток, что приказано было припрячь их по две в пристяжку и по две-три привязать с боков и сзади к копылкам тележных ящиков. Иных привязывали, на других не оказывалось ни недоузтков, ни поводьев, хотя с утра были на всех (это будущие хозяева разобрали в запас), — но обездоленные лошади, нима-ло не огорчённые, ходили и пощипывали траву.

Забазный приказал выезжать на дорогу строго поротно. Но и из этой его команды также не вышло ничего: теперь на своих лошадях у каждого были и свои же тонкие соображения о том, где выгоднее ехать — в начале или в хвосте, и после каких лошадей стать, так что начальственный порядок, созданный в голове у Забазного, вовсе не казался порядком его исполнителям. Одни выезжали на дорогу поспешно, другие медлили, третьи изноравливали, между кем ввернуть, цеплялись оси, барки, ящики, шарахались и отрывались в изобилии привязанные лошади, — и Забазный верхом, а ротные его пешком металась по пространству степи, тщетно пытаясь разыскать тех взводных, кто не гордился полученным званием, а, поменявшись с кумом шапками и полушубками, хотел отнётаться.

Ещё много лошадей оставалось без обротей, бродило по чистой степи. Кто-то выбрал трёх казаков полишее и послал их верхами на табун. На алой завеси запада было видно, как двое из них заскакивали с дальней стороны табуна, чтобы гнать его к обозу. Лошади рысили, взбрыкивали, бег их скрещивался — и они многочисленно мелькали одинаково чёрными фигурками на красном окрайке яркого западного неба.

Невдали от дороги стояла унылая фигура в драной городской шубе, с портфелем и — в шаге позади, на толстом разлохмаченном поводу — мохноногая смиренная кобылка, выбиравшая храпом траву посвежей.

— Э, дядя! ровесницу подобрал? — крикнули ему с одной из ближних подвод, ещё не выехавших за теснотою в общий строй.

Нержин непонимающе посмотрел на кричащего. Маленький мужичок в лихо надетом на бок треухе сидел в телеге один и скалился; запряжена у него была четвёрка, а на привязи не было ни одной.

— Тебе-то лет сколько?

— Двадцать три.

— Ну, и ей около. Первая голова на плечах и шкура не ворочена. Что в землю уставился? Или клад зарытый?

Нержин был всё в том же мрачно-безнадёжном отупении. Мужик изгалялся над ним, но и это он принял ободряюще. Ведя за собой кобылу, Нержин подошёл к телеге.

— Сразу лошаdnика видать. Хоть одну изловил — ну, лошаdеха что надо. Дорого возьмёшь?

— Вот телеги не найду, — угрюмо сказал Нержин.

— За телегой стало? Да мою бери. В портфеле-то что у тебя? Деньги? Не в наркомках ходишь?

— Я... учитель...

— Учитель?? Ученье — свет, неученье — тьма? Училась кума, да рехнулась ума. А сидор где?

— Какой Сидор?

— Не-ету? Сидор бы был, я б тебя посадил, а так на беса ты мне? Иди к другому.

Но Забазный, крупной наметью скакавший мимо, сдержал на миг жеребца и грозно сверкнул:

— А тут что? Садись!

— Да куды его сажать, товарищ Забазный? Возок маленький, подушка задняя треснута, сам еле еду...

— Я вот тебя тресну, Дашкин, узнаешь.

И конь Забазного прынул своим путём.

— Ишь ты генерал какой... Сволочь казачья, — оценил Дашкин в спину, но не громко. И, беря повод лошади Нержина, буркнул: — Садись, что ль. Всё равно обормота какого посадят.

Нержин стал на колесо, занёс ногу через грядку, а Дашкин подтянул к себе лошадь, быстрым движением смахнул с неё оброть, оброть кинул в телегу, а лошадь тыкнул ладонью в храп:

— Иди, п-падло сопливое!

Лошадь мотнула головой, взглянула на человека большими обиженными глазами, взмахнула хвостом с тем видом, как люди пожимают плечами, и, не торопясь, ушла в табун. Нержин сел по-турецки в задке телеги на солому и положил на колени портфель. С него сразу свалилась куча неразрешимых задач: искать вторую лошадь, телегу, сбрую и, главное, запрягать, о чём он не имел ни малейшего представления. Он повеселел и, желая сказать своему новому хозяину что-нибудь, но только бы в приятном тоне, кивнул вслед лошади:

— Что, не нужна? Старая? Я на зубы не посмотрел. — Как будто он умел на них смотреть.

Дашкин из-под надвинутого на лоб треуха покосился — не слышался ли он, и спросил:

— Как же звать тебя будем?

— Глебом.

— Ну, а я — Мирон. — И, поправив шапку, добавил: — Гаврилыч. На-к вот оброть, сунь под солому.

— Чтоб запаса не видали? — понимающе осведомился Глеб.

— Говори помене, — мрачно оборвал Мирон. — У нас, как в Польше, тот пан, у кого больше.

Свет заката уже померк. Сам ли, или по чьей команде где-то впереди тронулся обоз, телег на триста. До подводы, в которой сидел Нержин, это движение дошло нескоро — сгруженные телеги медленно выстраивались в вереницу.

Стемнело. Высыпали звёзды. Отчётливо видны были даже не крупные — овал Северного Венца и причудливые плети Дракона. Неужели это не два года, а всего два дня назад Глеб ходил под этими звёздами у Морозовского райкома? Ехали на север. А что с Надей? Что с ней будет, беззащитной? Жребий женщины, ты всегда тяжелей мужского.

Пережитые волнения так утомили Глеба, что он уткнулся головой в оберемок соломы и уснул под нежесткие подскоки и перевалы медленно движущейся телеги.

Когда он проснулся — обоз стоял. Наливался холод осенней ночи и пробирался под шубу. С двух сторон от головы Глеба внятно дышали лошади задней запряжки.

— Что это мы стоим, Мирон Гаврилыч?

Мирон, зябко хохлившийся в воротник осеннего пальтишка, буркнул, не оборачиваясь:

— А ты жрать хочешь?

— Хочу! — остро отчётливо вдруг понял Нержин.

— Ну, и лошади хотят, — всё так же равнодушно-неподвижно пояснил Мирон.

Но Нержин понял не о лошадях, а о себе. Он полез в сумку и нашёл там ещё два раздавленных крутых яйца, пару огурцов и кусок чёрствого хлеба — питаюсь возбуждением, он и за двое суток не доел суточного запаса. Поколебавшись, Нержин предложил:

— А вы хотите?

— Давай, — проворно обернулся Мирон.

— Подождите, где-то соль тут была в спичечной коробке... да вот.

В рассеянном свете звёзд привыкшие глаза смутно видели. Мирон вытянул кривой нож и стал чистить огурец.

— Нельзя мне этого ничего есть, — пожаловался он.

— Почему?

— У меня, брат, язва желудка, — будто гордясь, внушительно сказал Мирон. — Одним кислым молоком живу.

Слышно было, как он мелко посёк огурец, потом передал нож Глебу загнутым остриём вперёд. Ручка ножа была толстая, расколотая, а потом скрученная проволокой деревяшка.

Страшное название болезни поразило Глеба:

— Отчего ж это у вас?

— Водкой попортил. Много я водки попил. По-настоящему я — полный инвалид, не должный в армию брать. Вишь, в обоз взяли.

— Вы думаете, — испугался Глеб, — мы все в обоз попадём?

— Уже попали! — чфукнул Мирон. — Ослеп ты, что ль?

— Ну, это ещё как сказать!.. — Будто холодная хватка вокруг шеи опять оклешнила Нержина. — Я всё равно в артиллерию уйду.

— Куда-а?

— В артиллерию.

— Да кто тебя возьмёт?

— У меня образование для артиллерии.

— За-бу-удь! — хлопнул его по плечу подобревший Дашкин. — Кому твоё образование? Там хобот надо ворочать. Хобот у пушки десять пудов. И двадцать бывает. А ты болезный.

— Здоров я.

— Был бы здоров — сюда б не взяли. Вон ручки у тебя — только карандашик держать. Курить-то есть?

— Я не курю.

Выкинув за борт смятую скорлупу яйца, Мирон ловко выпрыгнул и побежал на огонёк ко второй телеге сзади. Тут передние телеги дрогнули и медленно стали протрагиваться. Пока Нержин думал, как быть с лошадьми, они пошли сами.

Дашкин нагнал телегу и, не садясь, красно попыхивая махорочной сигаркой, похвастался:

— Вот и курить мне нельзя.

— Зачем же курите?

— Хэ, браток!.. — рассмеялся Дашкин. — Обстоятельства заставляют. Наш ..ёк ещё денёк, а после Покрова — на дрова. Я, как повестку получил, — из хмелю не вылезая. Все деньги пропил — на хлеб не осталось. Был человек Дашкин, а теперь кучером стал. Довели.

— Кучером?

— В райисполкоме кучер, конюх.

Горечь его голоса вызвала доверие. Дашкин сел в телегу прыжком так, что ноги его остались висеть снаружи, цепляясь за колесо, и, сдвинув трех на затылок, чесал кудель своих волос, немного пепельную от пробившейся седины, как ещё при свете заметил Нержин.

— А раньше кем же вы были?

— Я-то? Воронежской губернии Бобровского уезда первый революционер. Поезжай спроси. Герой гражданской войны. Комиссар хлебозаготовок.

Музыкой отдалось в душе Нержина это слово — «революционер». Он жадно впился в лицо Дашкина и при красных вспышках цыгарки увидел его чудесно преображённым — не измождённым, а молодым, не расслабленным, а полным воли. О судьба! Не случайной удачей было, что он вот попал в одну телегу с революционером. Вот именно таких людей надо искать, надо расспрашивать их, пока они живы, — это бесконечно ценнее для истории, чем безличные жёлто-холодные мумии документов.

Обоз опять остановился. Лошади задней упряжки, перебравшиеся мордами в телегу Дашкина, недвижно уткнули храпы в солону у самого бока Глеба, но время от времени чутко вспрядывали ушами, словно тоже слушали и удивлялись.

— Это очень интересно. Расскажите. Вы что ж — подпольщиком были?

— Не-е, я в подпольи не хоронился. Дашкин не из таких. Я открыто революцию делал. Ещё в девятьсот семнадцатом первый в нашем уезде помещика убил.

— Что — зверь был?

— Все они звери были. Эксплофторов хороших не бывает.

Ты — учитель, должен знать.

— Как же вы его убили?

— Чего — как? Нашёл интересного! Человека убить — что пальцы обо...мочить. Пришли к нему вдвоём вечером, говорю — доложи, от Совдепа. Лакей мне: мы таких не принимаем. А у меня трёхлинейка за спиной, у солдата беглого купил. Ты что, говорю, гад, Керенскому продался? Отодвинул его в стенку, топ-топ, по коврам, лестница, комната, зал. Сидит у очага, по-господски камин называется. Нахмурился: тебе что надо? кто тебя пустил? Он как министр был — высокий, морда такая розовая, круглая, а из щёк волосы седые растут густо, как у кота. Вазочки везде стоят, не притронься, граммофон музыку играет. Граммофон видел когда? так патефоны раньше назывались. На диване жена сидит, вышивает, высокая тоже, нотная барыня была, а детишки коляску по полу возят. — Так, говорю, и так, от Совета крестьянских депутатов, два часа вам сроку — освободите дом. И винтовку скидываю, затвором чук-чук. Жена как ахнет, детей загородила...

Передние подводы быстро тронулись, сворачивая с дороги влево. Лошади Дашкина тоже дёрнули, и из догоравшей цыгарки крупные красные крохи махры высыпались на ватные брюки Мирона. Дашкин быстро подобрал ноги, захватил возжи, вскочил в телегу на ноги, смахивая одной рукой огонь.

— Э-ка, э-ка, вату на ветру только гляди — не потушишь.

И стал всматриваться по ходу вперёд.

— И что ж дальше?

— Дальше, вот, овёс будем набирать, на' б лишних пару ведер захватить.

Набор овса и был причиной остановки обоза на полночи. Светил огонь двух фонарей. Среди поля, на колхозном току, умолот овса был огорожен кой-как пришитыми к кольям досками, к тому месту чередом подъезжали все телеги обоза, в ящики сыпали овёс из расчёта два ведра на лошадь, колхозный кладовщик громко отсчитывал ведра, а Забазный чуть в стороне на своём жеребце выступал из мрака недвижимым изваянием рыцарских времён, ремешок

всё так же был пропущен ему под подбородок, а плащ спускался с его плеч на спину лошади.

— Семьдесят пять! — отсчитывал кладовщик. — Семьдесят шесть!

Дашкин быстро мотался от закрома к телеге.

— Куда девятое сыпешь? — загремел Забазный.

— Семьдесят семь! — отсчитывал кладовщик, он не смотрел, в какую телегу больше-меньше.

— Как девятое, товарищ Забазный? Седьмое! Ей-бо!

— Дашкин? — узнал Забазный. — А врешь?

— Я овсяной каши не ем, товарищ Забазный, живот не принимает. Не верите — назад пересыплю, считайте.

— Семьдесят восемь!

— Ну, сыпь восьмое, не сбивай человека.

Дашкин зачерпнул с верхом десятое, передал пустое ведро следующему и протянул телегу.

— А почему на привязи лошадей нет?

— Оборотев нет, товарищ Забазный! — крикнул ему Дашкин уже из темноты.

— А под соломой поищем? — ещё донеслось до них, но Дашкин уже прихлестнул лошадей и по нетореной колоткой полевой тропе погнался за ушедшими передними.

— У, с-сволюга! — злобно выговаривал Дашкин, не известно: о начальстве колонны или о ленивой правой лошади.

Трясаясь на подскоках, Нержин всё же спросил:

— А в каком чине Забазный? Он кадровый военный?

— Кто? Забазный? Казак, язви его душу, контра собачья, как их советская власть терпит — я удивляюсь.

Подвода догнала ушедших, набежали и сзади те же четыре лошади, что раньше, — и снова потянулись, уже по степному большаку, всё то же размеренное движение, всё с тем же скрипным стоном.

— Казаки и красные бывают, — возразил Нержин. Он хорошо помнил в 1936 в Ростове праздник возврата казачеству его формы и звания. А прежде того их кляли только контрами.

Дашкин обернулся и почти шёпотом сказал:

— Кто красные? Все белые, подлюки. Мало мы их постреляли, гадов. Вот этой рукой если я сто белобандитов не расстрелял — отруби на ... прочь.

— А откуда вы его знаете?

— Забазного? Кто ж его не знает, храпоидола? Завскладом райпотребсоюза.

Дашкин отвернулся, поднял воротник и нахохлился.

А Нержин только рот раскрыл от такого развенчания. Потеплей запахнувшись, он прилёг на соломку и задумался о странности судеб: универсант — обозником, революционер — зашмыганным кучером, а казак с повадками конквистадора — кооперативным делягой. Потом все эти мысли смешались, и он опять уснул, но спал плохо — едко пробирал мороз осенней ночи. Слышал он, как переезжали какую-то воду, Дашкин разговаривал с лошадьми, уговаривая их пить, а то потом не будет, толкал Нержина, набирая из-под его бока овса, потом опять ехали с тем же равномерным постуком, — и в зелёном лунном предрассветьи Нержин проснулся вовсе, до боли скованный холодом. Необъятная степь избега серебрилась инеем в свете ущербного месяца и светлевших небес. Чуть отбеливали нитками инея хвосты и гривы лошадей и соломинки, не попавшие под его лёжку. Обоз двигался медленно, Дашкин шёл сбочь телеги и выглядел потрепанным, измождённым. Нержин тоже соскочил, но на другую сторону — ему не только не хотелось разговаривать, а даже думать не хотелось. Ни крохи не осталось в нём той убаюканности вечера, когда невзгоды кажутся интересными, а несчастье — обходимым. В трезвой безжалостности утра человека, брошенного на дно жизни, щемит безнадежность совершившегося. Нержин шёл и думал только о том, как согреться и что он будет сегодня есть. Люди, и сам он, казались ему каким-то жалким отрепьем, а морды бесчисленных лошадей — слюняво-противными.

Потом взошло солнце, щедрое светом, заиграло своей вечной игрой в росе, скатавшейся из инея. Голубело небо. Передвигались редкие облака. Светлела и нагревалась степь.

Дорога шла излоговатой местностью, то взваливая на холмы, то опускаясь в балки. И голова колонны и хвост её скрывались за обидью, казалось, нет ей ни начала, ни конца, как этой величавой придонской степи, лишённой освежающих пятен лесов. Обок обо-за, по простору степи со свистом и гиком гнали табун объездчики, сидящие охлябью на лошадиных спинах. И полз медленный безконечный скрип телег. Вот так же, наверное, кочевали по этой степи печенег и половцы — колесо они знали, телеги тоже делали из дерева, и лошадь была приручена — ничего не изменилось за эти маленькие восемь столетий...

С этого утра потекли дни, в чём-то похожие, в чём-то непохожие друг на друга. Похожи они были тем, что каждый день ехали, бесконечно ехали, тот же табун то нёсся скоком справа или слева, то разбрёдался на пастьбу. Так же поили лошадей — то из рек, то из ручьёв, то из колодцев, — по мнению Нержина, слишком часто и зачем-то обязательно разнуздывая. И все эти дни стояла безветренная тёплая солнечная осень — с бледно-голубым небом, с редкими ткаными облаками, плывшими так медленно, так беззаботно, как будто нигде на земле не было никакой войны, не носились чернокрылые бомбардировщики, не взрывались в чёрных фонтанах бомбы, снаряды, фугасы, мины. И не доходило до Нержина никаких сводок с фронта — ни тревожных, ни радостных, отчего во все остановившимся казалось время.

Непохожи были дни местами днёвок и ночёвок в станицах и на хуторах (если становились при школе, то её замусоривали не хуже, чем те в Морозовске), большей или меньшей удачей достать поест, рассказами Дашкина и сменчивым внутренним настроением: то тревожным, то примирённым.

Куда ехали — никто не знал. Только по солнышку видели, что — от фронта подальше, и все, кроме Нержина, радовались этому. Что это за местность была, в середине большой донской излучины, Нержин не мог припомнить, хотя жил же 16 лет в Ростове: ни одного города он тут не вспоминал, да их и не было, ни железной дороги, ни шоссе — степь, и всё. Вдруг — переезжали какую-то немалую реку Чир — ну, никогда он такой реки не слышал, а как бы хорошо назвать на «ч», когда играли с друзьями в реки. Но любую африканскую они, кажется, знали лучше.

Потом местность стала гористее и появились крупные меловые холмы. Тут от местных узнали, что сейчас будет станица Клетская и скоро Дон.

Сам Забазный тоже не знал, куда он ведёт обоз, понятно только, что увести от фронта (и самому уехать). У него было направление сначала — в станицу Усть-Медведицкую. Тутошний военкомат уже имел шифровку переправить обоз на Ново-Анненскую, ещё подальше, ещё нам лучше, — и безмятежному отступлению обоза не предвиделось конца. О кормёжке обозников в военкоматах дружно было решено, что они найдут себе харч по домам и по огородам, на овёс Забазному дали книжку квитанций, чтоб он кормил лошадей из колхозных амбаров в счёт выполнения теми госпоставок, про сено же ничего не говорилось, а как-то подразумевалось. Иной

колхоз об овсе тоже заявлял, что у него нет или поставки он уже выполнил. Многотысячный лошадиный караван не знал об этом, он хотел хрустеть душистыми стеблями высушенной степной травы и с ветром дыхания выбирать из тележных ящиков и из вёдер длинноватые светло-жёлтые мучнистые зёрна. Да и сам Забазный не всегда успевал и не всегда хотел прометнуться по степи прежде обоза — в правление, потом в степь вбок и назад — где стога? где овёс? — а уж громаду обоза и подавно было не пускать этими петлями. К тому же роты, взводы — всё это смешалось с первого же вечера, взводные не казались, ротные притихли, — один Забазный, развеивая серым дождевым плащом, скакал то встречу, то вперегон обозу; всё так же был у него пропущен ремешок под подбородок, но теперь это не казалось Нержину замечательным, а скорее пошлым.

Обоз шёл сам по себе — равномерно, как тело по первому закону Ньютона, когда оно не испытывает на себе воздействия внешних сил. И одна только стародревняя ямская воля была его высшей волей. Чей-то острый глаз примечал в стороне иногда потемневший прошлогодний, иногда этого года посветлее стог, стожок или гнездо несвоженных копен. Заворачивала телега, за нею другая, пятая, вот их несколько десятков, добрая сотня с грохотом неслась по колотью поля, без дороги, вдвурядь и втрирядь, лихо обгоняя друг друга, — оставшиеся замечали, что им уже там не станет, и гнали главною дорогою вперёд, чтобы первыми захватить следующий стог.

Нержину и чужда была эта крестьянско-казачья забота о лошадях больше, чем о себе, и непонятно было — как на таком расстоянии мужики отличали сено и не кидались на солому, — но, подчиняясь законам корабля, он послушно подпрыгивал в тряской телеге за своим капитаном Дашкиным.

Однажды, в облачный день, незадолго до вечера, Дашкин резко извернул подводу и погнал её, хлеща лошадей, наперехватки с соседями, к далёкому большому стогу. Нержин уже знал свои обязанности и держал за повод привязанную-таки к их телеге пятую кобылу, чтоб она на бездорожье не оборвалась бы с привязи и не ушла бы с недоуздкой. Они домчали к стогу из первых и въехали в него мордами лошадей. Ни мгновенья не теряя, Дашкин выскочил из телеги, разнуздал запряжённых лошадей, чтоб они, пока суть да дело, щипали прямо из стога, а сам с их спин, как кошка, вскарабкался наверх. Вил не было ни у кого, кроме высоко-

го мрачного Трухачёва, укравшего их из хлева при ночёвке на казачьем дворе. Трухачёву и была теперь первая рука раскрывать стог. Вилами с предлинным черенком там, наверху, на фоне неба, потемневшего от дождевых туч и от приближающейся ночи, он с одного разу, орудуя вилами, как Георгий Победоносец копьём на змия, выворачивал и выбрасывал вниз как негодь черноватые, полусгнившие, плотно слежавшиеся под пригнетёнными жердями навильники верхнего сена. Дашкин и другие следом же разворачивали руками второй слой — светлый, сухой, пахучий, и швыряли охапки каждый в свою телегу. Обозники, чьи телеги не подспели к самому стогу вплоть, притиснулись меж чужих лошадей, подбирали падающее и ждали, когда можно будет теребить снизу. Заражённый общим азартом Нержин подхватывал, что бросал ему Дашкин, укладывал и утапывал поверх ящика так, как тот его учил, — чтоб шире было, чтоб одно беремья вязалось с другим, чтобы сперва заполнялись края, а потом середка и не было бы перевеса в сторону. Вокруг стога стоял смешанный крик, прорывались весёлые торопливые ругательства, туманом стояла мелкая едучая сенная пыль.

И вдруг неожиданно с криками «стой! стой! что делаешь?» трое конных подскакали к стогу. Двое из трёх старались держаться сзади, а передний неловко вскарабкался наверх и двумя руками за грудки схватил Трухачёва. Трухачёв не видел всадников, крика не слышал, не ждал нападения, — но только чуть пошатнулся, тотчас выпрямился, левой рукой сорвал с себя обе руки противника, а в правой обернул вилы и тычком ручки боднул нападающего в грудь. Тот головой назад и вниз свалился со стога. Все, кто был по эту сторону стога, густо загоготали и продолжали набирать сено, а по тот бок ничего не видали, и работа не прекращалась. Но упавший не сломил головы, а снова полез на стог — уже не в том месте, где был Трухачёв. Шапки на нём уже не было, в размётанные волосы вплелись стеблинки, лёгкий плащик держался на последнем шнурке вокруг шеи. Взобравшись на стог, он раскинул вверх руки и закричал голосом обиды:

— Товарищи! Опомнитесь! Да вы ж не немцы!

В его громко дрожащем голосе, перекрывшем шумиху разбора сена, было столько искреннего отчаяния, что нельзя было на миг не остановиться и не глянуть. На фоне темневшего преддождевого неба тёмное негодование вопившего казалось оправданным и зловещим:

— Вы же не захватчики! Вы же не фашисты! Что вы делаете? Вы же грабите наш советский тыл, свою родную советскую землю!

И, осмелев оттого, что все его слушали, незнакомец сменил тон:

— Кто разрешил? Кто старший здесь? Кто старший, я спрашиваю?

Но Трухачёв, вскрывая для всех стог от лежалого сена, ещё ничуть не набросал хорошего сена своему напарнику. Он видел, что другие уже наложили по полвоза, — и не мог больше ждать. Поэтому он вывернул пудовый навильник сена и швырнул его прямо в свой кузов.

— Я член райкома партии! — яростно оборачиваясь, закричал приехавший.

— Кто-о? — озорно крикнул Дашкин. Там, на стогу, стремительным движением он шутовски заломил перед ним свой треух с прорванной изнанкой и поклонился земно:

— Это по-городскому ты ч л е н, а по-нашему, деревенскому, просто ...!

Новым взрывом хохота взорвалась толпа. Старшего не было!.. Уж и так, на Трухачёва глядя, пощипывали и растаскивали стог, а теперь зашелестили, задёргали, задымили сенной пылью, — и в её поднявшемся тумане член райкома, часто перебрав ногами по выхваченному из-под него слою сена, упал на живот и, безславно барахтаясь, сполз наземь.

Нержин грубым смехом со всеми вместе смеялся грубой шутке, — и в первый раз ему показалось весело быть не учителем и не университетом, а просто мужиком, слившимся с этой непобедимой толпой.

— Давай, Мирон! — в задоре кричал он. — Знай давай!

И Мирон давал, очень быстро снижаясь. Стог расплывался, как подмытый водой. Через десяток минут всё было кончено, неудачники граблили пальцами по земле, а Мирон глянул, как навит воз, и — Глеб уверенно ждал похвалы — скривился:

— Не будет из тебя, чучело, ни мужика, ни кучера. Теперь вот ехай да оглядывайся.

Что ни день, Дашкин усваивал к Нержину всё более и более презрительный тон. Было это потому, что, в чём ни хватись, Нержин оказывался неуком и неумельцем. Несчастливая привычка открывать рот прежде, нежели глаза, и задавать глупые вопросы особенно губила его в понимании Дашкина. Дашкин внезапно бросал Нержину возжи, высказывал из телеги и бежал прочь, прыгая че-

рез плетень, а Нержин кричал: «Куда, Мирон?» — но и так ведь было ясно, что за арбузами на бахчу, жрать-то неча. Перед каждым водопоем Дашкин разнуздывал лошадей, Нержин крепился, но не выдержал и спросил однажды:

— А зачем вынимаешь? Неужели так не попьют?

Тогда Дашкин схватил со дна кузова какой-то запасной шкворень и стал совать Глебу в рот, поперёк:

— А нут-ко, попробуй, испей водицы-той.

А в портфеле-то ехала заветная книга — энгельсовская «Революция и контрреволюция в Германии», — и Нержин тянулся читать её в плане дальнейшей проработки основоположников марксизма, с целью уяснить глубину их философии истории. Днём, когда мягко грело прощальное солнце октября и однообразно-медленно, под куполом безразличного неба, безо всяких приключений двигался обоз, Глеб раскрывал эту книгу — единственное, что связывало его с высоким прошлым, — и пытался читать. Но никак ему не удавалось перевалить даже через пятую страницу — то сам отвлекался глазами и мыслями — за хутором, высунувшимся овершьями тополей из-за дальнего холма, за изменчивыми образами облаков реденькой ткани, то мешал подсевший в подводу Трухачёв, а чаще сам Дашкин. Как только Нержин доставал книгу — тотчас же Дашкин терял покой. Как севший овод заставляет дёргаться всю спину лошади, так занозило и передёргивало Дашкина чтение барчука-седока. Иногда он капризничал:

— На́ возжи, держи! Руки тут затекут с вами, с такими... — а сам или притворно ложился спать, или уходил в гости на другую подводу. Иногда же — и это было чаще — задира́л Глеба разговорами:

— Читаешь?.. Ну, читай, читай... Как называется-то?.. Да ты в уме на моей подводе такую книгу держать?.. Оторви контру-то! А революцию — эту оставь... Постой, постой, а Германия тут причём? Да ты что меня, под трибунал подвести хочешь? Энгельс?.. Ну-к, покажи... Энгельс-с... — Он крутил головой. — Вот штука хитра... — Молчал. Потом выныривал на новой мысли: — Я, брат, об эту контру все кулаки избил, мне и книг читать не надо.

Нержин видел, что чтение всё равно уже не состоится, и, по принципу не терять ни часу зря, просил Дашкина рассказать. Дашкин вешал возжи на копылок, поворачивался боком и, обняв подобранные колени, начинал рассказывать. Хотя и имел он почти всечеловеческую приверженность похвальбе, но оттого ли, что не уп-

равлял своими рассказами, они выходили у него не грубо самолюбны, а с живыми лицами.

То рассказывал Дашкин, как он перепрыгнул в школьном шкафу с книгами, пока конница Мамонтова прошла через их деревню («я, если ты хочешь знать, все нервы за революцию отдал»); то — как его, заболевшего тифом красноармейца, снесли в тифозный сарай под Мелитополем.

— Санитары туда свалят безпамятного — и уйдут, свалят — и уйдут. А уж где раньше навалено — туда заходу не было. Ни один фершал. Раз проходила сестрица какая-то, чаем поила, кто отзывался. Я простони — она мне кружку в зубы. Потянул я — ну, сладость, ну, пахнет — сразу прочумел. И думаю — где ж эт я есть? На ноги мне кто-то спиной навален. Эй, обзываю, идол, полегче нельзя там? Торкаю его, у самого-то руки слабые, — а он мёртвый. Тут меня этой дохлятиной как обдало — ом-морочило опять — и опять ничего не помню. Потом...

Но всего больше любил почему-то Нержин рассказы из времён НЭПа. А для Дашкина то была лучшая пора его никчёмной, как он выражался, жизни. Был он тогда не ахти на каких постах — секретарём сельсовета и ещё секретарём комсомольской ячейки, — не первый модник на деревне и не первый хват, — зато самый сознательный. Это он под Пасху устраивал переодевание комсомолок в чертей, свист, гиканье вокруг заутрени и выбиванье из рук старух свячёных куличей и яиц. Это он под Октябрьскую и под Первое мая наряжал девок в однородные синие костюмы живгазеты, и они с выпадом правого колена вперёд кричали в зал лозунги партии или, обнявшись за плечи и покачивая бёдрами, пели:

*Юшки-юшки-юшки-юшки,  
Чемберлен сидит в кадушке,  
А мы его по макушке! —  
Вай, вай, вай!*

Помятое кислое лицо Дашкина смягчалось, расправлялись язвенные морщины у губ, когда он вспоминал их деревенскую избу-читальню (свою собственную неухоженную избу он не вспоминал) и первую лампочку Ильича под её белёным потолком, осветившую всего два вечера, потом заменённую более надёжной керосиновой, и заседания комъячейки, помалу наскрёбанной из четырёх деревень, — заседания всегда закрытые и с прениями до утра. Больше всего, конечно, в этих воспоминаниях и в этом вре-

мени он любил себя самого, — но многие ли умеют стать выше? А Нержина всякий новый рассказ об этой странной поре русской истории мучительно волновал — Глеб всегда жалел, что не родился раньше, чтобы это неповторимое семилетие противоречивых надежд, цветения и увядания, космических пылений и умирающего скепсиса пропустить через свою грудь.

И уже по какой-то инерции Дашкин всё с той же озорливой нахвастью рассказывал о событии, в котором ничем не мог гордиться, кроме быстроты своих ног: как в 29-м году, работая комиссаром по хлебозаготовкам, уже грозой района, он приехал в соседнее непокорное село и созвал сходку. На сходку сошли только женщины — но уж зато все, сколько было их по дворам, — от старух до девченок. Видя, что мужчины саботируют, Дашкин решил припугнуть баб — с крыльца он кричал на них, тряс над головой револьвером и велел передать мужикам свои беспрекословные распоряжения. Но в ходе речи он заметил, что бабы не плачут, не пугаются, не задают вопросов, а обмыкают его молчаливым грозным полукольцом. У передних баб были видны закушенные губы и засученные рукава. Кто-то из задних баб схватился за удила его лошадей. Кучер первый понял опасность — рванул лошадей и поехал, не дожидаясь комиссара. Но сразу и Дашкин понял, что это — смерть, и беспощаднее мамонтовской конницы, что суд и ряд уже был, и бабы без боязни его разорвут, и никто их не будет за то судить. И Дашкин взмахнул на боковые перила, выстрелил дважды над головами и прыгнул в расступившийся проход. Споткнулся. Тот короткий миг, что поднимался с колен, уже почувствовал рвущие пальцы в своих волосах и кулаки, молотящие по спине. Извернулся, оброня револьвер, и побежал что мочи за телегой. То, что должно было погубить Дашкина, спасло его: отсутствие мужиков. Дурные бабы бросились за ним стадом. Одна смекнула подобрать револьвер и ляпнула наугад, но попала не в Дашкина, а в ногу другой бабе. Добрая половина преследующих быстро отстала, и только вопельным рёвом настигла трепещущие, как у зайца, уши Дашкина.

— Сам бегу, а сам оглядаюсь — бегуть, бегуть проклятые, десятка два. Какая платок обронила, волосы разъерошила — бегуть гадюки, шагов двадцать до передней. А кучер-милиционер по-о-оняет впереди и тож назад глядит, — он бы пристал, да бабы набегут. А на мне сапоги хромовые новые — но просторные дюже: не с меня, с кулака одного, дружок в ГПУ служил, мне за пол-литру

уступил. Спадают с ног, вот тебе елозят. А бабы стигнут. И сапоги жалко, а жизнь дюжей. Чудок оторвусь, стану, скину сапог — опять бегу, потом другой. Как скинул — куда полегчало. А баба передняя за спиной уже дышит. Земля от дождей — в октябре дело — мокра, холодна — я, как ангел на крыльях, и не касаюсь. Никак милиционер стать не может — баба-та рядом, сапоги мне мои же в голову кинули раз, другой, — только уха макушку каблуком срезали — и так, веришь, четыре версты гнали! Как на горушке другую деревню увидали — отстали. Отбежал я ещё чудок — сел на линейку — ай, ножечки простудил! — только тут учуял. Вот она, какая бывает революция и контра революция...

Этот рассказ слышал и Трухачёв. Огромный чернолохматый мужик в маленьком, очень тесном ему тулупе, он часто сходил со своей подводой и подсаживался к другим. Был он молчальник, не любил говорить, а слушать. Дашкин при нём, как казалось Нержину, стеснялся и рассказывал неохотно. Прослушав рассказ Мирона о комиссарстве, Трухачёв смачно плюнул в пыль дороги, сразу соскочил и ушёл, не говоря ни слова. Дашкин сверкнул в его ломовую спину глазами и доверчиво поделился:

— Это *тот* гад. Кулак сибирский. Ты только ушами не хлопай. Знаешь, сколько тут антисоветчиков? Нам с тобой дружно держаться надо. Правду говорят: казаки — обычаем собаки.

Да, казаки встречали обоз враждебно. Сперва казалось — это оттого, что выпадало им по домам кормить постояльцев — хоть капусты похлебать да картошки печёной заесть, а всё расход. Да от пришельцев доглядеть огород, да чтоб сено из коровника не потравили военным лошадям, да чтоб на базу не наозоровали, плетня не помяли, не заломили прясельных ворот. Но когда девчёнке, выбежавшей к обозу с криком:

— Мама! мама! Смотри, казакі едут! — суровая меднолицая мать ответила, не шевельнувшись у плетня:

— Где казакі, дура? русские.

Но когда Нержин входил в дома и на стенках вдоль лавок видел под стеклом целые галереи молодцов в казачьих мундирах и с георгиевскими крестами; но когда старый дед за восемьдесят подымал пятилетнего внука перед собой на табурет, говорил ему:

— Стань как положено!

И мальчик вытягивал руки по швам.

— Отвечай, кто ты есть?

— Казак! — звенел голос малыша.

- Какой земли?
- Земли Войска Донского!
- Какого округа?
- Усть-Хопёрского.
- Какой станицы?
- Кумьлженской.
- Какого хутора?
- Серебровского.

— Молодец! Há бурсак! — и дрожащими от старости руками протягивал ему пряженный в масле бурсак, — Нержин мрачно понимал, что дело не в съеденной миске щей и не в заломленном плетне. Этот народ — нетёсанный, тяжёлый, упрямый — как их сбор в станице Усть-Медведицкой — мрачно-радостно сверху вниз смотрел на беспорядливый обоз отступающего красного войска.

Все грузные каменные дома Усть-Медведицкой на крутом спуске к Дону изловчились стать плоско-ровно на откосных фундаментах из дикого камня. Подвалам этих домов, их железным дверям, шли бы вывески: «Мучной лабаз», «Бакалейная лавка купца Сапельникова», — а нашлёпка «Продмаг Райпо» супротив глыбной туши собора казалась моськой, лающей на слона.

Переправа на левый берег Дона была по наплавному мосту. Мост был так низко посажен, что лёгкое хлопанье сероватой воды с жёлтым маслом заходящего солнца на ней чуть-чуть не переливало на тёмные доски настила. Обоз переезжал медленно, грудясь до переправы на улицах Усть-Медведицкой и после переправы на поёмном лугу с густоватым кустарником. Всё время переправы Дашкин пробыл в гостях на другой подводке, последние два дня шедшей как раз перед ними. Там было двое ещё середовых по годам казаков ли, мужиков — с грубо-суровым выражением лиц, оттого ли, что светлые брови у них были густо-навислые, носы ли — широкой картошкой. Последние дни, что Дашкин всё толкался с ними, Нержин пригляделся и решил, что те двое — братья, так были схожи. Было у них шесть коней, сменяемых каждодневно в запряжке, — и даже Нержин отличил, что кони у них отменно хороши. Последние дни Глеб чувствовал на себе внимание обоих соседей, ловил их взгляды на себе, но не придавал тому значения, так как и другие обозники любили дивоваться на Нержина для потехи, привлечённые рассказами Дашкина о его чудном напарнике. Сейчас Дашкин так затолкался со своими новыми друзьями, что Глеб сам проделал всю переправу — сам втиснулся в струю обоза,

властно дёргая возжами и переругиваясь с оспорщиками, и сам же прихлестнул и прикрикнул: «Хеп-па!» — чтоб лошади взяли на порог мостового настила. Он сам оценил, что это здорово у него получилось, тут же загляделся, что у правой лошади сбился нарытник, и впопыхах совсем забыл полюбоваться со середины реки поэтической красотой водной поверхности при закате.

Когда съехали с моста и остановились табором в кустах, неизвестно чего ожидая, Мирон вернулся, поглядел, что Глеб всё ещё не выпускал возжей из рук, и мягко сказал:

— Ладно, повесь.

Глеб повесил возжи на копылок и положил на дно кнут. Мирон сбил с сигарки окурочек чёрной прогоревшей газеты, сел в задок телеги по-турецки, затянулся, выпустил дым и спросил:

— Ну, Глеба, что делать будем?

Нержин и не заметил, что его ответ ещё неделю назад был для него невозможен:

— А что скажут — то и будем.

— Это дураки так делают.

— А как же?

— Думать надо.

Нержин всмотрелся в Дашкина.

— Ты мне сам говорил, чтоб я меньше думал.

— Как ты считаешь, у Сталина большая голова?

Глеб представил себе туповатую голову отца народов, и его подмывало спросить, идёт ли речь об объёме или о содержании. Но, понимая опасность темы, он протянул:

— По-омнит. Много помнит.

— Понимаю, — прочувственно сказал Дашкин. — Товарищу Сталину тяжело приходится. Разные там послы, опять же фронт, заводы в Сибирь, в общем, дела. Короче, затуркались. Паспорт с тобой?

— Со мной.

— А военный билет?

— Тоже.

Дашкин щёлкнул языком и повернул трех вокруг головы:

— Понял?

— Нет.

— Затуркались, говорю! Отбирать-то должны в военкомате, не отобрали. Чего вылупился? Сколько сейчас лошадь стоит, во что поставишь?

— Лошадь?.. Честное слово, не знаю. Не торговал... А зачем тебе лошадь?

— Ну всё-таки?

— Ну... тысячу. Или две. Не знаю.

— Дура! Пять тысяч! А то и шесть. — Он вкруговую обвёл пальцем. — Пять лошадей у нас — это тридцать тысяч?! Да что ты глаза вылупил? Что ж тут с голоду подыхать? Куда гонят? Армейщины не нюхал? Нанюхаешься ещё! Не сладость! Вон ребята, — он кивнул на передних, — едут и нас с тобой берут. Дон переехали, теперь соображать надо. У них тут местечко есть знакомое. Там лошадей продадим — и кто куда хочешь.

Оживление Нержина, с которым он переехал мост, исчезло. Он отвёл глаза на закатный блеск воды и не отвечал. Дашкин пытливо посмотрел на него:

— Ну, не пополам, ну, за двух лошадей твоё будет...

Нержин молчал.

— Или поймают, думаешь? Не-е, милок. Не-е... У них теперь голова не этим забита. Насчёт этого ты не расстраивайся. Война всё спишет! Вся Россия на колёсах. Кой нас дурак искать будет? — Дашкин засмеялся. — Может, и война-то через неделю кончится.

Нержин смотрел на тёплое жёлтое масло воды, и было ему до плача одиноко. Зачем он не с теми прекрасными людьми, которые сейчас умирают на фронте? Врёте, не кончится через неделю!!

— Ну как?

Нержин вздрогнул, как будто просыпаясь, пристально посмотрел на Дашкина и ответил с твёрдостью, испугавшей Мирона:

— Что — как? Дезертировать? Никак. И тебе не советую.

Дашкин густо посерел, отвернул голову и стал туго накручивать на палец соломинку. Она порвалась. С непонятым желанием смягчить отказ, Глеб сказал:

— Пустое ты затеял, Мирон Гаврилыч. Волки твои друзья, но тёмные волки. Не принесут тебе эти тысячи покою. Помечешься, помечешься... Не спрячешься.

Всё так же не глядя на Нержина, ставшего ему сразу ненавистным и значительным, Дашкин спросил:

— Докладать пойдёшь?

— Никогда этим не занимался.

— Ну, лады... — нето угрожающе, нето раздумчиво сказал Мирон, спрыгнул с телеги и ушёл к своим приятелям. С той телеги

они что-то оборачивались на Нержина и говорили — но за десяток шагов не было слышно их тихого разговора.

Золотая полоса воды погасла, и померкли рисовавшиеся в ней Глебу картины. Так вот гасли, наверно, и закаты на Неве осенью Семнадцатого года.

С того вечера Нержин не видел больше казаков-братьев и не спрашивал о них Мирона.

Потому что и разговоры их прекратились.

Дашкин два дня ехал молча, иногда только раздражаясь руганью на лошадей да пару раз обругав Глеба за непонятливость в кучерском деле. А вечером второго дня они стали на ночёвку уже в сумерках при чёрных тучах — и ещё не успели попоить лошадей, как пошёл короткий густой дождь. Ослякło и сразу похолодало. Трухачёв поехал поить своих лошадей, Нержин и ещё два обозника сидели рядком на лавке, ожидая, не покормят ли хозяева, а напарник Трухачёва, доглядчивый Порядин, маленький кругло-румяный сибиряк, ласково разговаривал с двумя грязноватыми девочками и у одной из них обнаружил прорванные чувячки.

— Ай, мать, что ж чувячки у неё прорваны? Смотри, совсем распадутся, в чём девчушка ходить будет?

Пожилая полная казачка, угрюмо посматривающая на трёх дармоедов на лавке, невольно смягчилась, обращаясь к Порядину, как все смягчались, разговаривая с ним:

— Отца-то четвёртый месяц нет, милый. Доглядеть некому.

Порядин посадил девочку на лавку, снял с неё чувячки и выворачивал их при свете керосиновой лампы, подвешенной на длинной проволоке к потолку:

— А дратва есть у тебя?

— Или понимаешь?

— Да ремесло за плечами не тянет.

— Сосед сапожничал, принесу?

— Айда-ка, принеси. Иглу там тоже, нож, брусок.

Хозяйка смоталась, принесла, спустила ему лампу пониже и выкрутила фитиль побольше: экономя «газ», казаки зажигали лампу ненадолго и не поднимали высоко фитиля. Расположившись на углу стола, Порядин стал ладить чувячки. Девочка сидела с ним рядом и разглядывала.

В сенях послышался тяжёлый топот отряхиваемых сапог, и вошёл Дашкин. Он был пьян. Излишне раскачиваясь, он обтёр сапоги веником и, всё ещё следя по полу грязью, прошёл к лавке, сел

поодаль от Глеба. Мутно посмотрел на работу Порядина и куда-то в пол мрачно сказал:

— Ну что, учитель, поить лошадей надо?

— Н-надо, — неуверенно протянул Глеб в наступившей тишине.

— Так что, всё я буду делать? — стал изрыгать Дашкин накопившееся. — Ишь ты, барин, кучера нашёл! — Он обернулся к двум другим обозникам: — Дашкин за лошадьми ухаживай, Дашкин ему с возжами сиди, Дашкин ему и есть принеси. Во-ка здоровый вырос — воза сена свить не может! Я тебе не холуй. Хоть ты и учитель, а дурак. Ехай, пои!

Обозники молчали. Нержин покраснел, но не нашёлся ответить. Встал.

— Ехай, говорю.

— А где водопой?

— Найдёшь, людей спросишь. Ехай.

— Ехать-то... я бы охотно. Но как же я поеду?

Только этого Дашкин и ждал. Оперев руки о колена, он откинулся и призвал обозников в свидетели:

— А? На лошадь парень не взлезет! А на бабу умел?

— Баба-та смирно лежит, — пошутил один длиннолицый тихий обозник, который давеча уговаривал Глеба не спешить на фронт. — А лошадь брыкается.

— Ну, я тоже не казённый. И мне отдохнуть надо. У других напарники, как люди, а у меня чучело. Учитель тоже! Чему детей учил, интересуюсь?

— Это вас не касается. Поменьше болтайте, — холодно возразил Нержин, надел шапку и вышел. Ему было мучительно стыдно перед всеми, кто был в избе. Хотелось разъяснить, что дело не в том, что он не сядет на лошадь, — а как вести в поводах ещё четырёх лошадей — ведь они перепутаются, вырвутся, разбегутся — лови их потом! Да в темноте! Но разъяснение было бы сложно и тоже смешно, потому он воздержался от него.

На дворе было черно, мокро, дул резкий холодный ветер. Первая мысль Глеба была, что в такую погоду только ненормальные лошади могут хотеть пить.

На базу смутно чернелись три подводды. Глеб разобрал, что около одной лошадей не было — значит, это была трухачёвская. Потом он нашёл и свою — не по лошадям, ибо все лошади в обозе были для него на одно лицо, а по телеге — на левой грядке было

знакомое ему защепленное место, об которое он уже два раза рвал шубу.

Лошадям есть было нечего. Они стояли мокрые, чёрные, грустные, одни неподвижно, другие переступая ногами — и все разом обернулись на Глеба, чего-то от него ожидая. И вдруг Нержину, вышедшему из избы в злобной раздражённости, когда с опозданием приходят в голову самые язвительные ответы, которых он не догадался привести Дашкину там, в избе, — вдруг Нержину в первый раз за всё обозное время эти крупные животные показались не слюнявомордыми символами крушения всех его блестящих артиллерийских надежд, а добрыми существами с жизнью, бесконечно более тяжёлой, чем у людей.

— Что, лошадушки? — сам удивляясь теплоте своего голоса, спросил Глеб. — Скучаете? Нам самим жрать нечего, думаете как? — И потрепал их по плотно-мокрой шерсти спин. — Сейчас пить пойдём. — Он отвязал двух. — Куда вы столько воды пьёте, глупые?

И, ведя двух в поводу, он вышел с база. Навстречу верхом, ведя в поводу четырёх, подъехал Трухачёв.

— Трухачёв, где водопой?

— А — прямо и прямо, потом налево.

— Далеко?

— Версты не будет. Чего ты пеши? Садись.

— Не-е, я лучше так.

И, не разбирая, где грязь, где лужи, Нержин скрылся в темноту. Шёл он долго, по ошибке чуть не напоил лошадей из большой лужи. Потом был спуск и небольшая речка. К удивлению Глеба, лошади припали к воде и долго пили с перерывами, недвижно отставиваясь над водой.

Потом он вернулся, долго искал свой баз, не догадавшись прежде, как его приметить, взял ещё двух, свёл и их, потом ещё одну. Ноги его промокли насквозь, от ходьбы он упрел в шубе, есть ему так хотелось, что уже и перехотелось, — но он решил ходить хоть ночь напролёт, но перепоить всех лошадей. Чтобы с пользой провести время, он старался собрать свои мысли в каком-нибудь умственном направлении, однако ничего не получилось. Мысли чередовались безо всякой системы. Обдумав поведение Дашкина, Нержин признал, что тот совершенно прав и что с завтрашнего дня надо ко всему приглядываться и учиться ездить верхом.

В хуторе не было уже ни единого огня, когда Глеб вернулся последний раз, вошёл в тёплую храпящую избу, сел на пол и стал перематывать портянки, чему он тоже научился только на днях.

— Глебуша, а Глебуша! — раздался шёпот с полатей.

— Я?

— На-к вот тут бурсаки, держи руку, — шептал Порядин. — И сальца кусочек.

— Не надо, Порядин.

— Бери, бери, горяч ты больно.

Глеб встал, нашёл в воздухе повисший кулак Порядина и выбрал из него угощение.

— Спасибо, — сказал он, ещё не чувствуя голода. Но едва только он укусил бурсак, как его даже тошнота пробрала от острого желания есть. Он опять сел на пол и стал тихо жевать, чтоб не мешать ничьему сну. И вдруг, размягчённо-благодарному, ему вспомнилась фраза из забытой давно, после детских времён, молитвы: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» — и в темноте слёзы навернулись ему на глаза. Хотя лет двенадцать он не произносил этой молитвы, но сейчас легко её вспомнил — и вдруг, перебрав её умом взрослого человека, удивился, какая она была безкорыстная: ни одно из безчисленных желаний, повседневно разрывающих человеческую грудь, не упоминалось в ней — в ней не просилось ни о долголетию, ни о здорovyи, ни об избавлении от несчастий, ни о богатстве, ни о замужестве, ни о детях, ни о родителях, — всё это покрывалось великими словами: «да будет воля Твоя!» — и только одного просил маленький человек у Большого Бога — чтобы было ему что поесть сегодня.

Нержин вздохнул, нащупал на лавке портфель, положил его на пол и вытянулся. «Революция и контрреволюция в Германии» долго давила ему в ухо, в висок. Потом прилачился и уснул.

Следующий день был первый непогожий день в пути, да уже и под ноябрь. Небо и степь были серые, дорога чёрная, дул порывами злой ветер, иногда срывая и дождя. Лошади шли с трудом, не было в обозе ни овса, ни сена, Забазный шагом ехал на своём жеребце и кричал, чтоб не сворачивали искать стогов. Речка тут близко текла — Бузулук, тоже никогда Глеб не слышал.

Он с самого утра ушёл на подводу Порядина и Трухачёва, а портфель оставил у Дашкина в знак того, что уходит не насовсем. Порядин принял Нержина с неизменной улыбкой круглого ли-

ца, а Трухачёв, как всегда, мрачно-молчаливо, но за этой мрачностью Нержину казался хороший человек.

Порядин же был чистый Платон Каратаев, и Нержин, усмехаясь, вспомнил нападки марксистской критики на Толстого, что Каратаева он придумал. Порядин такой же был круглый, добрый, такой же умелец во всяком деле, так же прибаутками сыпал, только о Боге не упоминал никогда, но, глядя на его светящееся лицо, Нержин не мог себе вообразить иного источника этого постоянного внутреннего света у Порядина.

— Я, Порядин, хочу научиться с лошадьми — запрягать, распрягать, всё.

— Эт нетрудно, Глебуша, эт научишься. Беды мучат, уму учат. Ты вот приглядывайся больше. Первое дело: хомут когда надеваешь — клещами вверх надевай, не вниз, а потом переворачивай на шею.

— Да-а-а?

— Засупонивать не забывай. Не засупонишь — холку лошади натрёт. Хомут, он когда свободный — ёрзает.

— Вот оно что!..

— Нашильник подцепляешь — смотри, чтоб обеим лошадям одинаково тянуло, а то одной вольготно будет, а другой — вот так. — И он с неожиданной силой в маленькой руке придавил шею Нержина вниз.

— А вот эти... как они... нарытники зачем?

— Это — донская затея, на спусках чтоб от разгону удержать. У нас без нарытников ездят.

— Где у вас?

— На Иртыше, такой город Камень не слыхал?

— Нет.

— Вот от него наше село шестьдесят вёрст.

— Вы что — из одного села?

— Из одного-о, из одного.

— И давно оттуда?

— Да когда? Евдоким? Этой весной девять лет стало?

— На Пасху девять, — буркнул Трухачёв.

— Что ж уехали? Плохо там было?

— Где плохо, милый? Лучше места нет на земле. Сёла большие, весёлые — а от села к селу сто вёрст едешь. Земли этой не хожено, не меряно, пастьбы тебе любой, лугов. Лесу валяй задарма, сколько топор возьмёт. Овец и скот не считали — вроде курицы.

— Почему ж уехали?

Чёрного небритого Трухачёва передёрнуло.

— Вон такие сволочи, как твой Дашкин, выгнали.

Порядин, зевая, пояснил:

— В колхоз нас загоняли, а мы не пошли.

— Вы кто ж считались — кулаки, середняки?

— Мы — средние. Знаешь: не выпячивайся, не осаживайся, но и в середке не мотайся. Поперву нас всё хвалили, хвалили. Потом говорят — правда твоя, мужичок, а полезай-ка в мешок. И то будет в колхозах хорошо, и то хорошо. А мы говорим, нам и так неплохо. Ну, тогда нас налогами. Евдоким, а ленива эта гнеденькая, на'б её в табуна сменить.

— Сменю сегодня.

— Ну вот. Не летит пчела от мёду, а летит от дыму. Два лета держались, потом распродались начисто и на Кубань потянулись. Да на Дону и осели. Вышло так.

— Но ведь вы ж знали, что и здесь колхозы?

— Э, милый, замужем не бывав, девушке верится. Уж терпежу не стало, хоть в Иртыш головой. Последнюю тёлку уводят. Евдоким, вон, в разбойники уйти хотел.

— Семья бы поменьше, я б их, гадов, на дороге стрелял.

— Потом вот: на долгую дорогу удила не закладывай, невзнузданной лошади легче. Ещё вот примечай, какая лошадь порезвей, ту налево ставь. А поленивей — справа.

— Почему это?

— А кнутом её отсюда сподручно подбодрить. А вообще — поглаживай обеих овсом.

.....  
 .....

[обрывается]

## ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ НА БУЗУЛУКЕ

Сорок пять телег, сорок пять обозников, девяносто лошадей и с ними сержанта Таёкина назвали взводом и отделили в хуторе Дурновском; остальные потащились вдоль Бузулука дальше. При молочно-товарной ферме, чуть за хутором, стоял поместительный хлев — имел ли когда дурновский колхоз столько коров или только хотел иметь? — теперь он пустовал и пришёлся конюшной на все девяносто. Обозников расставили по казачьим хатам и не заботились кормить: не может быть, чтоб хозяева не покормили. За то — днём они работали на колхоз, а частью — возили лошадям колхозную солому с поля или другой полуотбросный корм.

Всё такой же безыскусный, ни к каким работам не приспособленный, а голодный не меньше прочих, Нержин возвращался вечером в избу с унижительным ощущением постылого нахлебника. Он садился где-нибудь пониже и поближе к стене, подбирая ноги, чтоб никому не мешать, и не смел достать книгу из портфеля, чтоб не колоть глаз хозяевам и напарникам своей учёностью. («Революция и контрреволюция» так нисколько и не продвинулась.) И не смел чесаться заметно, а чесаться хотелось, кажется, больше всего на свете: второй месяц грязной жизни, ночлегов на случайных полах, ни одной бани, ни одной стирки. Днём на морозе тело деревянело и насекомые замирали, а вечером в тёплой избе отходили и вдвое брали своё. Зуд сверлил тело, хотелось сбросить с себя всё и разодрать кожу, — но почему-то никто вокруг не чесался, и не мог же учитель прослыть заразой, которую надо выгнать из дому. Кривососов, напарник его по избе, с одной рукой сухой, а другой управлявшийся на работе лучше, чем Нержин двумя, на вопрос только ухмылялся: «Покусывают. Да это не вши, если их *искать* надо».

Так Нержин просиживал то короткое вечернее время, пока в маленькой лампочке, подвешенной к потолку на длинный проводочный крюк и кольцо, жгли газ. Но его берегли, спешили. Собрал

ужинать постояльцам — шей, тыквенной каши или разведенного в воде сухого кислого молока, и поужинав сами, — тушили. Нержин укладывался на полу на свою потрёпанную старую шубу с вылезавшей ватой, раздевался и давал волю рукам по зудевшей коже. Ночь длилась 12—13 часов. В сумасшедшем студенческом опьянении от занятий, разрываясь между двумя университетами, Нержин, бывало, не спал больше шести. Теперь он успевал выспаться дважды и трижды, просыпался среди ночи и глядел на окна: и с тоской, что ночь так длинна, и ещё больше с ужасом, что утром ждут лошади, сержант Таёкин и тяжёлая работа вилами в поле на морозе и ветру.

В первый же день командования взводом Таёкин дал два наряда вне очереди — и оба пришлись Нержину. Тогда ещё не выпал снег и было решено пустить лошадей на подножный корм. И, не скрывая злорадных искорок, Таёкин назначил Нержина в числе двоих пасты всех лошадей.

— Но я... не могу... я... не умею.

У Таёкина глаза выразительно завертелись в глазницах:

— Как так не умеешь?

— Я... сидеть верхом не умею, — оскорблённо доказывал Нержин, сопровождая слова короткими пояснительными интеллигентскими движениями пальцев.

— Р-руки по швам! Без шевелений в строю! Не умеешь верхом — паси пешком!

— То есть, простите, как же пешком? — возмущившись очевидной несообразностью распоряжения, Нержин тем уверенней возвратился к солидной аргументации, чувствуя под ногами логическую тропинку своей мысли: — Посудите: как же я могу пешком угнаться за девяноста быстроногими животными??

Дружный хохот взорвал и без того неряшливое подобие строя и не дал Нержину закончить аргументацию. А Таёкин заревел, перекикивая хохот:

— Два наряда вне очереди на первый раз! Два раза всю конюшню вычистить одному!

С того дня наряды на Нержина так и сыпались: за то, что перевернулся с возами соломы (и до вечера, и уже ночью собирал растерянное); за то, что плохо вычистил навоз; не доложил, что порван хомут; опоздал на водопой; и даже — о, гордость, уже научась охлябью верхом — за то, что две лошади его, несясь галопом с водопоя (Нержин не сообразил, а они знали, что их ждёт

овёс), хлопнули его лбом о перекладину ворот и скинули наземь. И, как Нержин понял уже гораздо потом, ещё много нарядов мог ему врезать Таёкин и за заправку, и по строевой части, если б о таких имели вообще понятие во взводе. Но во взводе как раз один Нержин только и умел ходить в ногу, а о заправке и речи не бывало, потому что все ходили в своём домашнем (и Нержин свою безобразную шубу, научась у колхозников, перепоясывал поверх верёвкой).

Сперва эти наряды были очень тяжелы и оскорбительна чистка навоза из огромной конюшни. Нержин начинал с дальнего угла, но не успевал сколько-нибудь удалиться от глухой стены в сторону выхода, как навоз — то сочащийся, шлёпкий, то сухой, рассыпчатый, по погоде, — собирался в проходе между стойлами в высокую кучу выше колена и загоразживал путь чистить дальше. Вспотевший и злой, Нержин опирался на вилы и удивлялся, как это успевают лошади навалить столько навозу за ночь. Как всегда бывает, когда выполняешь новую, непривычную и вместе изнурительную работу, навоз не оставлял Глеба и во сне: едва только он задрёмывал, как пред мозгом его коричневела жижа и вороха отвердевших катухов. Тяжёлая работа забирала его всего, и напрасно он пытался цепляться за своё интеллектуальное прошлое, которым, правда, и гордился уже меньше: в долгие часы работы, один во всей конюшне, восстанавливать в памяти хронологию Средних веков или звучные тройные имена многочисленных римлян, когда-то сами просившиеся на запоминание несравненной чеканностью латинского языка. Ничего не получалось. Посторонние мысли проваливались сквозь память, как сухой, без соломы, навоз между рожнамивил. Ожесточению тупой и тупящей работы не виделось конца.

Но ненависть Глеба к навозу не распространилась на лошадей. Они не издевались над ним, не корили его тем, что он учитель и ничего не умеет делать, редко лягали, да и то если он сам подходил неловко — сзади. А что до навоза — не могли ж они выходить отправлять свои потребности в уборную (каковых и у казаков было мало). Когда Глеб ночью с бледным жёлтым огнём «летучей мыши», сохранённым от вьюги под полую шубы, входил в конюшню, скрипела дверь и огонь фонаря разливался тёплым, а здесь казалось и ярким, светом по столбам и лошадиным крупам, — все лошади враз поворачивали к человеку от опустевших ясель головы, вытягивали шеи и смотрели на ожидаемого кормильца преболь-

шими немигающими глазами. Эти добрые, верные, неприхотливые животные так мало просят у человека за свой каторжный труд, который они начинают, едва выйдя из жеребят, и кончают, лишь околев, — просят лишь овсеца и сена, а на худой конец хоть ржаной соломки, вот и вся их радость. Да водопой. А когда Глеб протикивался мимо их гладких тёплых тел и проверял кормушки, они сторонились и смотрели на него такими грустными глазами, что он невольно трепал их гривы, гладил по мордам, и ему казалось, это приятно им. Так уже не из страха перед сержантом Таёкиным он будет подниматься всё чаще в ночь и идти в конюшню, а для того, чтоб эти гнедые звери, по странной природе своей проводящие ночь на ногах, не скребли беспокойно копытами, не вынюхивали сухую травянистую пыль с голых досок, не вырывались бы из плохо застёгнутых недоузdkов, чтобы втиснуться в чужое стойло и в темноте запутаться там, в переплётe чужих привязей.

Вначале все лошади были Нержину на одно лицо, и он отличал только серых от белых и гнедых, удивляясь, как это другие умели в табуне сразу заметить свою пару (лошадей раскрепили по две на каждого). Но настало время, когда Нержин уже не просил соседа показать ему, где его лошади, и не ждал, пока все разведут своих и, значит, останутся его две. Он не только узнавал теперь своих по одной мелькнувшей морде, но участвовал в общих разговорах о том, какая повадка у саврасой и куда лучше запрягать пегую со звёздочкой — справа или слева, и почему. Во взводе после разговора о жратве и бабах самым популярным был разговор о лошадях.

Как разговаривали обозники о собственных жёнах — Нержин слушал с недоверием, потом с изумлённым отвращением. Дело было даже не в пошлых словечках, отпускаемых на счёт жён, но — что все, казалось поголовно, не верили в верность тех с поры, как мужа ушли в армию. Удивительно, они не верили вообще всякой женщине наперёд. И его оскорбляли эти разговоры, потому что он свято верил в свою Надю, усыпанную десятком ласковых имён, щедро для неё придуманных, — а над ним теперь смеялись.

Так тем лучше было всё же говорить о лошадях.

Порядина, лучшего шорника во взводе, на колхозную работу Таёкин не посылал. Целыми днями он чинил и ладил упряжь, сидя с доярками в тёплой избе, выстроенной для телят при молочно-товарной ферме, медленно и ласково что-то рассказывал им за работой, да любил и послушать. Нержина он посвятил во все хитрости и во все виды упряжи, научил быстро запрягать и распрягать

на морозе, рассказывал, чем, когда и сколько надо и нельзя поить и кормить лошадей. Ездить охлябь (сёдел вообще не было) Нержин научился после того, как свалился на полном скаку. А научившись — полюбил в брезге утра, когда ещё не ободнёло, выезжать верхом со своими кобылками на водопой на Бузулук. На мёрзлом песке приречья, как на каменной городской площади, поднимался звон от кованых копыт. Бузулук долго не замерзал. Лошади входили передними ногами в воду (но тревожно шарахались назад на берег, если под копытами хрустел первый ледок), пили, потом задумывались, роняя капли с мокрой морды, снова пили. Здесь надо было не прозевать и силой удерживать торопливых, чтобы напились медлительные. Но достаточно было одной быстро попятиться и решительно вывернуться задом к реке, как начиналось общее светливое движение, все поворачивались, кто и пил, кто не пил, — и вслед за первой парой лошади сумасшедшим стихийным галопом, да не галопом даже, а стланью взлетали, взлетали в гору и мчались улицей на край хутора в свою конюшню, где, они знали это, их ждёт овёс. На этом скаку верховые обозники их и не сдерживали.

Научившись владеть упряжью — Нержин полюбил и ездить в поле за зерном и, едучи порожняком, стоймя править в телеге, когда она зло и весело прыгает по колотной мёрзлой дороге между яркой зеленью озими, украшенной блесотью первого снега.

Как-то раз на дурновской улице две бабы из другого хутора, не знавшие Нержина и принявшие его за местного, подозвали: «Мужик, иди помоги, что-то у нас не ладится». Нержин подошёл со смущённым духом и вдруг, неожиданно для себя самого и к своей крайней гордости, нашёл, где они перепутали, и исправил.

Узнав характер, Нержин сжился и полюбил свою пару лошадей — крутоногую каурую кобылку Искру, названную обозниками так за то, что рыжая шерсть её была с пробрызгом белых шерстинок, и ещё больше другую — нервную, чуткую серую кобылку, никогда не требовавшую понукания. Тёплым домашним именам, которые обозники давали своим взводным лошадям, скоро пришёл конец. Одним из первых представителей организуемого ротного начальства приехал во взвод ветеринарный фельдшер, заставил всех вплетать в хвосты и гривы фанерные бирки. На бирках стояли порядковые номера и — на этот взвод пришлась буква «М» — такие имена, каких казаки-мужички не могли и выговорить. Были здесь Муза, Манера, Миневра, Минога, Микроба, Машку всё равно

перекрестили Мельпоменой, взводного жеребца Минотавром, а кобылок Нержина — Медузой и Мелодией. Но от Искры бирка скоро потерялась, да для всего взвода она и оставалась Искрой, а за своей серой любимицей Нержин признал кличку Мелодии.

Искра, с красивой лоснящейся шерстью и плотным телом, чем-то похожа была на ленивых беложавых женщин, любящих удовольствие и не выносящих труда. Она быстро жадно ела и, когда Нержин сначала по недогадке насыпал им овёс в одну кормушку вместе, успевала съесть и свою порцию, и половину порции соседки. Мелодия напоминала худеньких безответных женщин, преданных труду. Она беспокоилась за груз, волновалась на подъёмах и бродах, тянула что было сил, напрягая своё маленькое тело, и выбирала дорогу, какая спорее. Искру надо было запрягать под правую руку и грозить ей кнутом незаметно для Мелодии, чтоб не обидеть ту, а в тяжёлые минуты и звонко жалить её безчувственный красивый круп. При каждом таком ударе по Искре Мелодия вздрагивала своей нервной спиной и тянула ещё усерднее, Искра косилась, пользовалась этим и норовила ещё отстать.

Но особенно любил Глеб Мелодию под вёрхом. Рысь её была нехороша, сбивалась на перебой, и без седла ехать было больно. Зато она охотливо переходила на галоп, и галоп её был мягок и ладен. Если Нержин не был дневальным по конюшне и ночевал в избе на постое, он вставал на досветках вместе со старухой-хозяйкой, брёл тёмной улицей хутора между первыми огоньками стряпух и выводил, до всякого водопоя, недовольную Мелодию из тёплой конюшни в мозглую мглу и, лаская и извиняясь, взнуздывал. А Мелодия уже и знала куда. Пройдя немного недовольным шагом и немного протряся большой рысцей, она встряхивала головой и кидалась в свою любимую плавную бежку галопом. Нержин и не разбирает дороги. В темноте Мелодия, не отступаясь, легко касалась земли, мчала его длинной пустынной улицей.

Ездил же Нержин километра за три в сельсовет, однажды заметив там, что в шесть часов утра, если нет телефонных разговоров, в трубку по индукции откуда-то еле слышна передача последних известий.

Хотя шли и ехали по соседнему большаку на восток, за Волгу, потрёпанные части на переформирование. Хотя они заворачивали на днёвки и ночёвки на хутора и фронтовики иногда, сквозь напускное беззаботное зубоскальство, отпускали жителям ёмкие хмурые слова о боях. Хотя жили же где-то и люди, читавшие све-

жие газеты, — вся многовёрстная округа жила в тупом безвестии, как на затерянном отсельи где-нибудь в глуби непроезжего бора: радиопроводки не было нигде, а газеты приходили с опозданием и в десяток дней. Носились слухи дичей один другого: то будто наши отдали Тулу, то будто взяли назад Киев. Ещё со школьных лет воспитанный не отделять свою судьбу от судьбы всей страны, пристрастившись к чтению газет от пионерского листика «Ленинских внучат» до огромных — не хватало детских рук держать развёрнутый лист — «Известий», Нержин теперь мучался от отсутствия газет так, что окружающим было смешно: все привыкли жить, как оно пойдёт, можно узнать и позже. И хотя Нержин чутьём, выросшим не в год, легко угадывал во вздорных слухах, где искажение и вымысел, а где зерно были, извращённое в слух, — он задыхался без газет. Из районного листка нельзя было понять ничего. Нержин ловчил, как днём удрать от сержанта Таёкина, и почти бегом промахивал туда и сюда двухвёрстное расстояние до почты. В маленькой нетопленной почте добрая душа — милая эвакуированная киевлянка — выкладывала перед Нержиным, и то не всегда, сразу пачку пришедших с недельным опозданием областных сталинградских газет. Нержин читал, стоя у стойки, проминаясь мёрзнувшими ногами в нетопленной почте, но глотая известия с пламенем — тем более что и письма от жены почти не приходили. И статьи Эренбурга, чьи короткие, хлёсткие, гневные фразы спазмами охватывали его горло ещё в дни Испании, первой революционной любви их поколения, — теперь ещё глубже, чем тогда, бурлили его исстрадавшуюся душу, так что с почты он выходил, не чувствуя земли, не помня о Таёкине, мыслями весь на фронте. На груди, в записной книжке сложенную, он носил и решил носить до последнего дня войны вырезанную в день мобилизации из газеты, полученной вместе с повесткой военкомата, статью «Им не победить России!». В этой же книжице, в стихотворении, писанном на остановках телеги в долгом, безмятежно томительном октябрьском путешествии обоза тупым исписавшимся грифелем, — были последние строки:

*Если Ленина дело падёт в эти дни,  
Для чего мне останется жить?..*

Вот зачем, лишая свою лошадь и себя теплоты последних часов ночи, Нержин мчался в сельсовет. Мелодию он привязывал у сельсовета к мёрзлой коновязи; заходил в пустую, холодную и всегда

незапертую комнату с телефоном и прижимал к уху ледяную трубку. Не имея часов и нигде их не видя, бывало и так, что он приезжал в пять часов вместо шести и долго ждал первых звуков радио. Бывало и так, что именно в шесть часов начинались вызывные звонки да безтолковые, какие бывают у людей, не обывкших с телефоном, крики в трубку, переспросы, а вся сеть была на одной линии, все друг друга слышали. Но часто прискок Нержина венчался и успехом: слышался обязательный перезвон «широка страна моя родная», потом обязательный нескончаемый гимн, а потом, еле внятно, мерный голос диктора, и Нержин, чутьём угадывая недослышанное, — с полным текстом последней сводки в голове выбежал из сельсовета. Иногда Мелодия, не дождавшись хозяина, высвобождала голову из недоуздка и уносилась в конюшню — и тогда он позорно возвращался пешком с обротью в руках, как ходит крестьянин, когда цыган уведёт у него лошадь. Но чаще милая его кобылка терпеливо ждала его, понунив голову и скребя копытом. И с каким же восторгом он прикивал к её спине и опережал чувствами даже её стремительную меть, когда вёз однозводникам гордую весть, что уже сданный Ростов стал *первым* городом, отнятым назад у немцев, что это слово, это имя, Ростов, как утверждает некая, до сих пор и неизвестная, но такая умная «Ивнинг Стандарт», — золотыми буквами будет вписано в историю Второй Мировой войны. Или когда на рассвете по хутору на серой лошади в голове неуклюжего, в растрёпанной шубе, обозника неслась потрясающая новость, ещё неизвестная этим избам и этим глуповатым огонькам в окнах: о Перл Харборе, о том, что, значит, Соединённые Штаты не сегодня-завтра начнут войну и против Германии — и значит, значит, тем более —

«Им не победить России!..»

Скоро поездками Нержина заинтересовался весь взвод, и, если он опаздывал к водопою, обозники уговаривали Таёкина подождать, чтобы выслушать сообщение. Потом, днём, они уже и сами, рассыпавшись по округе на работы, уверенно разъясняли колхозницам последнюю сводку, опровергали вздорные слухи — и стало так, что из сельсовета на молочно-товарную ферму присылали днём мальчишку — узнать или проверить новости. А вскоре сообщения Нержина превратились и в регулярные законные политинформации, с ответами на вопросы, когда поблекла власть Таёкина, а прибыл во взвод «настоящий», обмундированный, с кубиками, командир взвода — младший лейтенант Брант.

Он был очень эффектен. Высокого роста, изящный (хоть и по-граждански, а не по-военному), в дымчато-серой шинели точно по фигуре, перетянутый ремнями, на фоне кулёмистых обозников он выглядел как всамделишный вояка, особенно когда с артистически строгим лицом (он был ещё и несомненный артист), неподвижный как изваяние, выслушивал рапорт нестроевого коротышки Таёкина. К Нержину Брант сразу же выказал необычайное сочувствие за полезные политинформации и за образованность.

Давид Исаевич Брант оказался столько же обозник, как и Нержин, и даже на сегодня меньше его понимал в лошадах и упряжи. Приватно ему отрекомендовался как эксперт по драгоценным камням и завсегдагай лучших одесских ресторанов. Не на глазах у солдат он выявлялся балагуром, даже трепачом, и знатоком пропасти еврейских анекдотов. Но на виду у солдат сразу принимал величественно военный вид, чему способствовало и его удлинённое лицо, очень длинный нос, длинные губы. В будёновском шлеме он выглядел просто рыцарем. Говорил, что был контужен где-то на интендантской аэродромной службе на Украине, а может быть, и не столь контужен, потому что во всём здоров, — но вот приехал учить казаков обращению и службе с лошадьми, которых сам-то видел только украшенных ленточками и запряженных в фэтоны на Дерибасовской.

Вслед за Брантом появился где-то на соседнем хуторе и штаб роты. Стали прибывать из госпиталей, после серьёзных ранений, и настоящие солдаты-фронтовики, теперь ограниченно годные. Подвезли, правда не всем, сколько-то ботинок с обмотками, гимнастёрки второго срока и даже бушлатов. Привозили скребницы, ведёрки и брезентовые сумки для овса. Отдельными дачами стал появляться и красноармейский паёк, долго ещё неполный. Потому стала меньше зависимость от хозяйского харча. Меньше стали работать и для колхоза, зато началась усиленная чистка лошадей, устраивали смотры то повзводно, то сразу целой роте на ровном заснеженном поле. Так постепенно превращались в воинскую часть: Отдельный гуж-транспортный батальон. И не было только главного — сена и овса для лошадей.

В дурновском колхозе обозному взводу отказали и в том и в другом, оставляя овёс для самих себя, а сено — для своих истощённых коровок до весны. И вот в безлунные ночи, и даже в снежную заметь, Брант (по тайным указаниям из роты) снаряжал по несколько саней. Они тихо выезжали из спящего хутора и, скольз-

нув через Бузулук, отправлялись воровать сено и солому в полевых стогах соседнего колхоза. А те взводы, что стояли в соседних колхозах, приезжали воровать в Дурновском. Встретившись на узких снежных дорогах, цеплялись барками и примирённо матерились. Пока колхозы догадались выставлять ночных сторожей в поле — лошади подкормились. Порой, когда тёмные фигуры обозников, гомозясь на стогу и на возах, с торопливым кряхтением делали своё чёрное дело, — на них налетала засада. Но вил не пускали в ход, меру знали. Правота была за сторожами, численное превосходство за обозниками. Изодрав глотки хриплой безтолковой руготнёй, разъезжались, как и съехались. Нагруженных уже и не преследовали — какая там управа на солдат неизвестного взвода, и в штабе роты тоже управы не найдёшь. (Неизменно посылали на эти ночные операции Трухачёва: он лихо, разбойно, всегда возвращался с добычей.)

А в своём колхозе продолжали работать, чтоб зарабатывать на хлеб. В декабре ломали вручную подсолнух, весь ещё стоявший на корню чёрным пугалом среди белой степи. С хлебных зародов в поле снявши верхнюю смёрзшуюся корку, молотили хлеб стоячим комбайном. В январе медленным гужом возили зерно за 25 вёрст на элеватор на станцию Филоново в счёт колхозных хлебопоставок. Не в изодранной шубёнке и не в армейских ботиночках, но и в тулупе и в добрых валенках продирает ездового степная стужа. Идти обок телеги — неловко: обмотан неуклюже, и дорога бывает узка; сидеть на зерне — ломит и давит тело от холода. Зарывай не зарывай ботинки в красный гравий проса — видно, снова спрыгивать и идти рядом, и побежать и нагнать Порядина, который, не сядя на телегу, весь путь шагает пешком, одет не густо, хлопает себя накрест по спине:

— Холоднó, холоднó, на ком платице одно, а и вдвое да худое — всё одно.

В светлую лунную ночь в нестерпимом тяжёлом морозном воздухе виснет чуть не металлический скрип сотни колёс о снежный накат или нарыпень подполозный. Когда выходило терпение — повозники забегали греться на немногие срединóчные огоньки хат, почти невидные в ослепительном свете луны. В облаках мороза врывались туда по пятеро и больше, выстуживая последнее избяное сугрево, сматывали заиндеветшие башлыки с лиц, обнажая щёки, чёрные от небритых щетин. Хозяйка-казачка унимала разревевшегося в подвешенной люльке младенца. Учительница

из Черкасс качала с ней рядом своего на руках. Из-под тулупа с запечья высывались рожицы десятилетних казачат. По военному переполнению оказывалась тут и киевлянка-комсомолка, светлорусая Галя, как о здоровье больной матери, расспрашивала о последней сводке. Быстро сходятся люди, когда такая стужа на дворе и на душе. Галя показывает свою заветную фотографию: физкультурный парад на Крещатике, и, открывая его, идут под руку 16 девушек, изображая 16 республик; и — в Киеве изображая саму Украину! — идёт Галя в вышитом полотняном платье, в венке цветов вокруг головы. Нержин любитесь и самой живой Галей, на мало лет помоложе, чем сам, и её нетроганой молодой красотой на фотографии — и с высшим тёплым чувством, и взглядом не мужским, а отцовским — тихо ей, чтоб не слышали другие, не смеялись:

— Крепитесь, Галя. Отобьём вам Киев.

Она встряхивает головой:

— Не могу здесь. Чужие, и нас не любят. Уйду на фронт.

А — каково же, наконец, и когда на фронт Глебу?..

С улицы доходит равномерный скрип: лошади не выдержали и сами пошли всем обозом. Докуриваются скрутки, обжигающие усы, на бегу обматываются башлыки или застёгивают будёновские шлемы, кому выдали. И снова ползёт и верезжит бесконечный обоз, и снова ползёт и верезжит бесконечная война.

Чего в колхозе не воровали — за то взвод отработывал. Но за построй по хатам и что поедали у хозяев — никто же тем не платил ничего. И хотя стал красноармейский паёк частью подбывать — а у казаков по-прежнему стояли нахлебниками и не чуяли от них большой ласки: стояли как бы оккупантами.

И эта казачья неприязнь и недоверие ещё утягчались после одной тяжёлой ночи. После вечерней поверки задержали взвод на ферме. Рассадили обозников на соломку, а перед ними у стола появились: председатель сельсовета, чекист в форме и Брант. Первый мало говорил, Брант только сидел величественно, а главный объяснитель был чекист. Что мы вот тут — то есть советская власть и красноармейцы, находимся в казачьем окружении, где, может быть, не до конца искоренена враждебность к нам и, хотя большая часть казаков мобилизована, возможны и вражеские выступления. И наступающей ночью наша боевая задача: обойти все избы и изъять возможно хранимое оружие: требованиями и обысками.

Хмуρο выслушали обозники. (Ничего не мог тут чекист поделать: ведь и из них половина была казаков, а такие, как Трухачёв, так ещё и похуже?) И первый раз при революционных словах трубы революции не взыграли в груди Нержина: было низко и мерзко идти обыскивать собственных хозяев-кормильцев.

Потом Таёкин стал распределять по группам, два-три человека, а председатель следил назначить каждой группе такие хаты, где б никто из них не жил. Потом и всё уже было готово — не пускали: пусть все спать лягут. И ещё: так в каждую избу тихо стучать и обращаться, чтоб соседей раньше времени не предупредить. И — пошли.

Нержину было стыдно, а напарники его и вовсе шли нехотя. Известно, что с обысками ходят по ночам — но какие-то для того особенные люди, не мы же? Пропустить, не ходить? — узнается, что в таких хатах не были. Значит, стучать в каждое оконце: поднимись, хозяева, открой, газ засвети, мы от властей. И при засвеченном газе зависимо и тревожно смотрят те же хозяева, перебуженные. Но и у кого же сердце повернётся — ворошить, властно обыскивать? Стыдно и гадко. А вот, мол, послали нас: нет ли у вас какого оружия? Оружия? да откуда? Ну, нет так и нет, и прочь. Со всего обыска по хутору принесли только пару охотничьих ружей, с тем чекист и уехал к утру.

Шли дни, при Бранте Нержину стало жить намного легче. Не только тот официально утвердил и в службу зачёл отлучки в сельсовет за телефоном и на почту за газетами, и даже Нержину проводить со взводом регулярные политзанятия, а Таёкин потускнел, потом вовсе перевёлся в другой взвод, — Брант делал Нержину и другие незаконные поблажки, освобождал от очередных ночных грабительских поездов. А по вечерам иногда звал заходить к себе на квартиру.

На постой Брант стал не в казачьей избе, а в единственной, которую, пустовавшую, сельсовет отдал двум эвакуированным еврейским семьям. В избе не было телят и овечьей одуряющей вони, но стоял нестерпимый гомон, не утихали вздоры между семьёй одесситов и семьёй гомельчан (Брант, столично брезгливо криваясь, называл вторых местечковыми); с ним, с самим младшим лейтенантом, грозой обозников, тут разговаривали совсем непочтительно, вышучивали, укоряли, что дрова кончаются, а он не шлёт из лесу новых, да и колоть заставляли самого (он звал кого из взвода), потому что он был единственным мужчиной среди

дюжины обитателей этой бездворой, беззаборной, непропакленной, а внутри нераспорядливой избы. Зато из его командирского пайка Давиду Исаевичу готовили, исполу, какие-то кушанья, и ещё он напропалую флиртовал с пышной черноволосой молодой Ревеккой, чей муж где-то в армии, и, судя по многочисленным дневным шуткам, перекладывался к ней ночами. Итак, квартирой своей он был доволен и становился в ней неузнаваемо штатский и естественный.

Поздним зимним вечером, когда вьюга, беснуясь, свиристела о брёвна и меж брёвен избёнки, Брант, сидя за столом в артистической позе (не артистических он и не знал), длинноногий, не поместимый тут, длиннолицый, с большими белками крупных выразительных глаз, отодвигая какие-нибудь поджаренные сухарики и с демонической мукой пропуская длинные нежные пальцы сквозь густые чёрные волосы, открывался:

— Вы понимаете, Нержин, я привык к утончённой жизни. Я не знал, что значит сидеть дальше второго ряда партера в нашем — втором в мире по красоте, а первый где-то в Италии — одесском театре! Я не знал, как можно надеть два дня подряд один и тот же костюм. Я уж не стану упоминать, что профессор Столярский — мировая величина! — был моим хорошим знакомым. И вот приходит война — и ф с ё летит к чёрту!

Он вскидывал, распяливал пальцы обеих рук, вращал белками и прорёвывал:

— Ф-фсё!!!

Разговоры с Нержиным и сводились к долгим монологам-воспоминаниям Бранта. А когда Нержин пытался вклинить и свои слова, о своей боли, Брант вскидывал величественно голову и с тем большей выразительностью, почти в агонии, дохрипывал:

— Фс-с-сё...

И во взводе и в роте все уже приютились к безопасной жизни в тыловой глуши. Среди обозников, кто помоложе, сумели с выбором стать на постой к молодым обезмуженным казачкам, и кажется, ко взаимному удовольствию. Только на Нержина не мог снизить покой, и никакой сладости он тут не находил, в Дурновке. Осенью он метался, что не может спасти Революцию от гибели. Теперь, зимой, он боялся, что не успеет на фронт к сокрушительному наступлению наших армий, которое, очевидно, разразится весной. Перед глазами его стоял заголовок одной из январских «Правд»: «Расколошматить немца за зиму так, чтоб весной он не мог под-

няться!». Нержин знал, что не простит себе всю жизнь, если не успеет принять участие в этой войне. Редких приходивших из госпиталя на пополнение обоза фронтовиков — вид, шрамы, рассказы жгли Глеба неутихающей, не дающей сна обидой: как же глупо он вляпался в этот обоз — а его однокурсники уже на фронте, и лейтенантами. И, пользуясь единственным возможным армейским порядком, он изливал свою тоску в рапортах, подаваемых через Бранта: просил и просил начальство откомандировать его в артиллерию. Попасть на фронт и умереть — было красиво, но такими странными мечтами он не мог делиться тут ни с кем из окружающих.

21 января, в годовщину ленинской смерти, в тихий тёплый вечер с грустной сыроватой мглой, во взвод приехал проводить беседу о Ленине новый политрук роты Петров. У него были льняные волосы, голубые глаза, курносое лицо, простой, ничем не замечательный голос и манера говорить. При желтоватом свете семилитровой лампы он в комнате фермы незатейливо рассказывал о Ленине и сводил к важности сегодняшней победы. После беседы Нержин решил подойти к нему, узнать о судьбе своих рапортов да и спросить совета, чем помочь горю.

— Так это ты писал? Вот ты какой. Ну, послали мы два твоих рапорта в штаб батальона. Да только там они, наверно, и осядут. Не принято вообще рапорта рядовых посылать в штаб Округа.

— Но как же мне быть, товарищ политрук? Как же мне попасть в артиллерию?!

— А вот когда мы поедem на фронт — может, там и удастся тебя куда-нибудь передать. — Смотрел сожалеательно. — Жалко, жалко, я знаю, что в артиллерии нужны математики. Есть такие части, я встречал, сразу по несколько расчётчиков сидит. Куда ж мне тебя определить? На склад не хочешь? Писарем? Там полегче. Будешь балансы сводить.

Предложение это было бы крайне обидно, если б не полное добродушие Петрова. О нет! Склад? писарем? — это был совсем ничтожный переход. Нержин потряс головой.

Политрук понимающе улыбнулся:

— Да... Посмотрю, конечно, что-нибудь. Но помочь не обещаю. Не обещаю.

А помог. И — при участии Бранта.

Это началось с бурной февральской ночи взвода. Вечером, когда уже разошлись на ночлег, вдруг по хутору забежали дневальные

и велели всем собираться по тревоге — особенно разрывной тем, кто сжился с хозяйками, а у Нержина сердце ёкнуло надеждой. С непривычкой, нехотя, подымались обозники по какой-то неведомой тревоге, мотали обмотки, перепоясывали на дрожь бушлаты и хромали к молочно-товарной ферме. Там, в казарменной комнате, отнятой у телят, кое-как построили всех по четыре, втиснули, и ещё осталось впереди место — войти перетянутому ремнями, в его дымчатой шинели, младшему лейтенанту Бранту. Небрежно выслушав рапорт неуклюжего помкомвзвода, он стал метать молниями распоряжения и взгляды так, как если бы ферма уже была окружена немцами и надо было бы с боями пробиваться на пятьдесят километров к своим. Это впечатление ещё угрозилось, когда в разгар его распоряжений боязливо вошли в дверь за его спиной двое молодых обозников, не застанных дневальными дома потому, что гуляли с девками. Большие глаза Бранта перед самой лампой налились кровью:

— Молчать!

(Они и так молчали.)

— Не оправдываться!

(Они и не пытались.)

— Вы забыли воинский долг!! — Брант трагически поднял руку с вытянутым указательным пальцем, и тень его легла на потолок. — Вы срываете боевую задачу! Я вас заставлю... — Брант задохнулся от нехватки воздуха, — я вас научу подчиняться! — И с утроенной силой заревел: — Идёт война!!! Да!! — Резко оглядел взвод, стоящий в тесном телячьем помещении скорее толпой, и ещё раз повторил понравившуюся фразу с таким видом, будто был первым, кто сообщал взводу о том: — Идёт война!!! Станьте в строй! Мы должны защищать отечество! Сержант, я строя не вижу!

Помкомвзвода не успел попросить разрешения выравнять шеренги, как Брант тут же на него трагически закричал:

— Отставить! Поздно! У вас были месяцы для этого! Поздно!!

Взвод всё с большим ужасом понимал, что попал в грозную опасность. А Брант — будто не он кричал только что, а его не в меру расходившийся помощник, тремя чинами ниже, перешёл на сдержанно-холодный и торжественный тон:

— Внимание. Товарищи бойцы. Через два часа мы выезжаем из хутора Дурновка. Вам надлежит получить корм лошадям — сержант, раздайте все взводные запасы без остатка. И ещё вы должны

иметь в полном порядке упряжь. И ещё вы должны просмотреть, как подкованы лошади. Также — раздать бойцам сухой паёк, что у нас есть. — (Теперь иногда выдавали взводу по нормам 4-й армейской категории муку, пшено, даже, порой, мясо.) — Ф-фсё! Вещи с квартир забрать. Ф-фсё!!

И началась, на много ночных часов, шумотня и беготня. Около конюшни мелькали фонари, матерился помкомвзвода, гудели обозники, двое подрались из-за ведёрка, кто-то у кого-то в темноте стащил сумку для овса, где-то две телеги столкнулись и у одной треснули барки. Тихо вели себя только лошади: недовольно фыркали, но покорно подставляли свои головы под хомуты.

Среди визжащих и тарыхтящих телег, криков, мужицкого руга, мелькающих фонарей, ржанья — не гнушался метаться, как Александр Невский на поле боя, высокий стройный разящий Брант. Находя новые глубины в своём голосе, появляясь там и здесь, он потрясал руками и кричал, что не потерпит, посадит в карцер (такого и не было в роте), оторвёт голову и даже сделает что-то ещё более страшное. И хотя непомерная несуразность его угроз переходила уже пределы страха, но достигала, чего хотел Брант: встряхнуть засидевшихся в безопасности обозников. Поведение командира взвода в одном не оставляло сомнения: что через несколько часов в десятке километров отсюда взводу придётся вступить в бой.

В этой суматохе досталось и Нержину. Он не успел уяснить себе плана расположения телег, выезжающих на околицу, не занял вовремя правильного места в своей пятёрке и попал не в колонну, а сбоку. Брант длинными шагами подлетел к нему взбешенный, и даже в темноте можно было угадать сверканье его ярости:

— Куда стали? Воинскую часть — в шалман?? Р-руки-ноги переломаю!..

Это была великолепная ночь Давида Бранта.

Тем временем ротный фельдшер, приехавший вместе с ним, осматривал лошадей и шесть больных оставил. Когда Мелодия и Искра уже стояли в выстроенном ряду запряжек, Нержина вызвали к командиру взвода. Брант стоял в сепараторной — маленькой комнатке фермы, при подслеповатой «летучей мыши» стоял, скрестив руки, в позе Петра Великого, когда он задумывал основание Петербурга. Вошедшего Нержина он встретил трагически-торжественным взглядом, в котором не было и следа недавней вспышки, и возгласил:

— Ну, Нержин! Будете помнить Давида Исаевича Бранта.

Нержин не понимал: прощание? Брант с ними не поедет?

Тогда Брант перешёл зачем-то на трагический шёпот:

— Вы остаётесь с больными лошадьми. Вы не поедете. Я сделал это для вас. Передайте лошадей и телегу Полуляхову.

По ходу разговора, как его мыслил Брант, тут Нержин должен был благодарить.

Но если они едут на фронт?!

— Давид Исаевич! А могу я узнать: куда едет взвод?

Брант скосил длинные губы, изображая улыбку и сожалительную, и скорбную, и обречённую:

— Взвод едет туда же, куда и рота. А рота — куда батальон.

— А батальон? — тоже уже шёпотом осмелился Нержин напрямую спросить о крупной военной тайне.

И Брант не скрыл:

— На Хопёр. Будем строить новый мост, который обеспечит коммуникации на время паводка.

— Ах, так значит, не на фронт...

Брант достойно откинулся:

— Это важнее фронта!

— И надолго?

Брант пожал плечами:

— Я военный человек. Откуда я могу знать? — Он повысил голос, делая его безпощадным: — Мне приказывают, — и перешёл на строгую самоотверженность: — Я отвечаю «есть». Я — солдат, Нержин. Когда будете солдатом — поймёте.

Брант посмотрел на своё героическое изображение в тёмных стёклах заставленного окна и тихо добавил:

— Месяца на три.

— А потом вернётесь сюда? — Нержин и сам не заметил, как это вышло, что он спросил «вернётесь», а не «вернёмся».

Брант снова пожал незнающими плечами: ведь он — солдат.

— Я знаю, Нержин, что вам это было бы тяжело. Поэтому я оставляю вас здесь, с больными лошадьми. Конечно, вы ничего не понимаете в лошадях, но с вами останется Порядин за старшего. Вы тут будете ходить на почту, получать за всех нас письма... Будете помнить, Нержин, Давида Исаевича Бранта.

Так, с этой гордой фразой, оказавшейся пророческой, в полутёмной сепараторной около доильных вёдер, в дымчато-серой облегающей шинели, и запомнился он.

Взвод уехал на досветьи. И Нержин сам удивился тому чувству грусти, с которым обласкал напоследок милую морду чуткой преданной Мелодии и обнял крутую крепкую шею красавицы Искры, осыпанную белобрызгом. Хромой чёрный казак Полуляхов будет дёргать теперь за удила, вставленные в их рты. И Нержин ощутил к нему ревность, ничем не оправданную, потому что Полуляхов сумеет лучше обиходить лошадей. (Уже Нержину казалось, что это не совсем так, и не сразу тому узнать их так, как узнал Глеб.)

Как почему-то и предчувствовал Нержин, это прощанье с лошадьми было не на три месяца, а навсегда. Где и как вы закончили войну, милые лошадки? Опрокинулись ли у обочины фронтовой дороги, как тысячи и тысячи ваших сестёр, с ногами окостенело-поднятыми, как четыре столба, и непомерно вздутыми животами? Или прошли целыми сквозь непонятную вам сутолоку фронтовых дорог и вернулись к другой привычной вам, но отнюдь не более лёгкой круглогодней работе на земле?..

В то же утро после отъезда взвода трое оставшихся обозников покинули Дурновку и переехали за семь километров в хутор Мартыновку, где стоял штаб роты и хозяйственный взвод. Отныне всех обозников, не занятых на кузнечной, шорной и других непрременных работах, ежедневно под командой флегматичного сержанта Служителя водили в лес, где звенящими поперечными двуручными пилами они валили лес, — кажется, тоже для моста, ведь на Дону с лесом плохо. Работа была нелёгкой, особенно при худом питании, но нравилась Нержину. А верней — бодрило его неизвестно откуда возникшее предчувствие, что он на свою дорогу всё же выйдет.

И предчувствие не обмануло. В мартовский солнечно-морозный день Нержин между двумя пилками отдыхал на свежеспиленном голомени, шурился на вымороженное бледно-голубое небо и думал о фронте. И увидел, как по дороге из хутора колобком катил Порядин. И почему-то сразу понял, что это — за ним, и не надо начинать другого дерева. Порядин доковылял взмокший, у пеньков остановился и певучим своим голосом высказал неодобрительно:

— Высоко берёте, ребята, дерево теряете. И с какой стороны валить — не смотрите. — Вытер рукавом бушлата вспотевшее лицо и объявил: — Вóбыстро шёл, не по годам, взопрел весь. За тобой, Глеб. Комиссар вызывает.

У Нержина всё же хватило уже понимания никогда им в глаза не виданного устава внутренней службы, чтобы не побежать сра-

зу, а разыскать в глубине леса невозмутимого Служителя и доложить ему, что вызван. Назад пошли с Порядиным вместе, но тот стал с первых шагов отставать. И, ничего же не зная о причине вызова, поощрил:

— Вали-вали, тебе со мной несподручно, я тихоходом побреду. А давай-ка попросаемя.

С чего? Обнялись. И так жалко было с Порядиным расставаться: мало его доглядел, мало расспросил, малому научился.

И, наотмашь выбрасывая ноги, Нержин поспешил к хутору один. В штабе ему сказали, что комиссар только что приехал со строительства, всю ночь был в дороге, и ушёл на квартиру. Нержин прямо побежал к добротной пятистенке, где стояли командир и комиссар. Но комиссара и здесь не оказалось, а в натопленной комнате со светлыми занавесками на окнах сидел на кровати командир роты и, видимо, нестерпимо скучал. При входе Нержина он широко, мучительно зевал, и ещё при нём зевнул. На полу, прислонённая к кровати, стояла гитара. Он сидел без сапог, без гимнастёрки, с волосами растрёпанными. Нержин даже не узнал его уверенно — что это именно командир роты, так он был непохож на того молодцеватого лейтенанта, который однажды задумал устроить ротный парад, созвал для этого всю роту в Мартыновку, держал в руках раскрытую красную книжечку устава и по ней командовал сложные повороты взводным колоннам. А потом выяснили, что никто и в ногу не может ходить, по четыре человека в шеренгу, стал гонять пешком и тоже не научил, и поздно вечером взвод вернулся в Дурновку. Этот же самый лейтенант однажды приезжал во взвод, разметал дневальных, велел посадить их на гауптвахту (чего Брант не сделал, да и не было же никакой гауптвахты), а на почтительный рапорт Нержина, что он хочет попасть в артиллерию, ответил враждебно: «Командование знает лучше, где вы нужны».

Как человек, никогда не танцевавший, робеет сразу пуститься в вальс, так и Нержин, сотню раз ещё и до войны выдавший воинские приветствия, никак не мог осилить чувство стыда и неловкости перед движением, которое даже и казалось ему таким ловким со стороны, что он в детстве его и перед зеркалом повторял, но на которое, попавши в армию, никак не мог решиться: правая рука изнывала от напряжения, как ей быть, а ни разу он не решился вскинуть её в приветствие при унижительной, стыдной мысли о том, как все сразу засмеются от его неумелости.

Так и сейчас, Нержин не отдал приветствия, а только вытянул руки по швам. Лейтенант сморщился, очевидно вспомнив этого назойливого бойца, и выругал его, что он дубина, что ни командир, ни комиссар его не вызывали, и немедленно отправляться в лес, иначе посадит на гауптвахту. (Которая при штабе роты у него уже, кажется, была.)

Нержин вышел, оглушённый обидой, и побрёл. Идти в лес? Но не мог же быть вызов ошибкой. Надо было, рискуя гауптвахтой, всё же искать комиссара. Нержин спрятался за сарай и стал наблюдать за штабом. Два раза вышел писарь, один раз по надобности, другой раз побалагурить с бабой, кутаясь в новую чистенькую телогреечку. Зашёл опять. Ещё минут пятнадцать бесполезного высмотря — и возбуждение Нержина уже начинало перегасать. Неужели отправляться в лес? Вдруг, где не ждал, позади себя услышал голоса: это шли из кузни политрук Петров и дюжий кузнец-кубанец. Комиссар выговаривал кузнецу за какие-то гвозди и как будто ничуть не удивился, найдя Нержина за сараем, кивнул ему следовать. Дальше кузнец с неохотой признал свою неправоту и получил приказание быть готовым через полчаса к отъезду. Комиссар кивнул Нержину и в штаб, сел за стол, устало закурил, глаза у него были покраснело-бессонные. Улыбнулся.

— Ну, говорить долго некогда. В артиллерию не перехотел?

— Не перехотел, товарищ политрук! Но начинаю отчаиваться.

— Отчаиваться? Какой же из тебя тогда артиллерист? — Снял фуражку, провёл по белым, как лён, волосам. — Очень жаль, но помочь я тебе не смог.

Так и опустилось сердце. Не этого ожидал Нержин по началу разговора. Должно быть, его лицо резко вытянулось. Комиссар ещё раз улыбнулся, довольный.

— Значит, хочешь? Так вот единственное, что я мог тебе устроить. Я получил приказание из штаба батальона завезти к ним сейчас по дороге одного грамотного сержанта для командировки на несколько дней в Сталинград, в штаб Округа. Я вспомнил, что ты здесь, а не на мосту, удачно так получилось, и договорился, что привезу вместо грамотного сержанта сверхграмотного бойца. Какая командировка — сам не знаю, но, во всяком случае, ты побуваешь в Сталинграде — а там уже всё зависит от тебя. Я б уж, на твоём месте, оттуда только с чёрными петлицами уехал.

При этих словах комиссара взялась в Нержине уверенная радость победы. Уж теперь его учить не надо было. Да, он вернётся

оттуда с чёрными петлицами, хоть бы для этого надо было пройти 64 инстанции, вплоть до Командующего Округом. И уж совсем ни по какому существующему на земле военному уставу, приложил руку к сердцу:

— Товарищ политрук! Этого я вам никогда не забуду!

И оробел, понял, что выразил неловко. Но и на самом деле он начинал мысленно писать свой золотой список покровителей на долгом пути в артиллерию. И первым туда был записан младший лейтенант Брант, а вторым — политрук Петров — с лицом до того невыдающимся, незапоминающимся, что если когда-нибудь и встретить его, то можно пройти не узнав.

Через полчаса у штаба стояли сани. Комиссар, так и не поспав ни минуты, возвращался на Хопёр к мосту. В тот же сбитый ящик саней влез дородный кузнец с мешком железа, маленький мигающий санинструктор с четырьмя треугольниками в петлицах и Нержин. В руках у него был всё тот же затасканный затёртый портфель, безотказно прослуживший ему со старших классов средней школы и все студенческие годы.

Сани проехали мимо конюшен хозяйственного взвода. Целый холм мёрзлого лошадиного навоза высился около них, прикрытый с одной стороны сегодняшним свежим, парным, приятно золотившимся на солнце. Нет неприятностей в нашей жизни, которые не обращались бы как-то и на благо нам. Уже не глазами брезгливого горожанина, а глазами крестьянина, радого даровому удобрению, провожал Нержин этот холм навоза, ещё слегка дымивший.

В дороге санинструктор не раз жаловался кузнецу на свою хворь — так, чтобы слышал политрук, очевидно имея в виду отпроситься от моста. Но политрук слышал всё, что говорилось в санях, кроме этого. А потом спросил:

— Нержин! А ты проходное свидетельство взял с собой?

— Какое свидетельство, товарищ политрук?

— Эх ты, какое... Ты не куришь?

— Нет.

— А цену табачку знать должен. В дорогу табаком не запасся?

— Нет. А...?

— А затем, что лучшего помощника при нынешней езде нет. Ты думаешь, сейчас на железной дороге как: купил билет, сел и поехал? Как же это ты? Ведь в Мартыновке он нипочём.

Действительно, и в Дурновке, и в Мартыновке самосад хранился в каждом доме и его бы легко купить. Не догадался.

Приехали в станицу Ново-Анненскую, при станции Филоново. Штаб 74-го Отдельного гуж-транспортного батальона занимал большое подворье, огороженное плетнём, и половина подворья была завалена ломаными телегами, отдельными колёсами, побитыми лошажьими кормушками. А штабных домика было всего два небольших. Приехали как раз в обед, так что отсутствовало всё начальство от комиссара батальона до писарей, а командир батальона, как потом узнал Нержин, по слабости здоровья вообще бывал в батальоне не каждый день. Петров поговорил с дежурным по батальону, кивнул на Нержина, кто это и зачем, а сам, не уставая, даже разбодрясь от мороза, решил тотчас ехать дальше и кормить за Ново-Анненской.

— Ну, Нержин, ни пуха ни пера. Надеюсь, больше не увидимся.

— Наоборот, товарищ политрук, надеюсь увидеться с вами на фронте.

— Ну, ещё лучше. А вот что. — Велел ездовому принести из сани свой вещевой мешок, достал оттуда мешочек с табаком и, отклоняя протесты Нержина, отсыпал ему половину.

— Вот, так верней. И будь здоров.

И — протянул руку, рядовому. Нержин с чувством пожал её.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

# КОМАНДИРОВКА

Нержин просидел в прихожей штаба больше часа. После этого стали появляться: сперва писари, потом командиры, от старшин и даже до капитана — огромная величина! Нержин сперва всё вставал при каждом проходе, даже и при проходе писарей, так как у них в петлицах были треугольники, и не по одному, а он ещё живо помнил таёкинскую выучку и опасался с первых же шагов в штабе провиниться, тем более что никого тут не знал в лицо и не представлял, в чьих же руках его судьба. Но с каждым пустым вставанием в нём нарастала студенческая обида — да вот посыльные и ни при чём входе не вставали, даже и на того шумливого капитана не обратили внимания. И — прекратил он свои подъёмы тоже, и стал просто делать вид, что не замечает входящих.

Прошло ещё с полчаса, все уже принялись за работу, или сделали вид, что принялись, — увидел Нержин в окне, как по улице мимо штаба проехали и завернули в ворота двое всадников на громадных жеребцах и в кавалерийских сёдлах. Один из них был высокий в белой меховой шапке (не командир ли батальона?), а второй — низенький, в круглой барашковой, но держался подобно полководцу. Вот тут посыльные сломя голову бросились во двор принимать лошадей. Нержин с бьющимся сердцем ожидал, как понравится таким большим военным людям, чтоб они послали его в Сталинград. Дверь открылась — он вскочил. Дежурный по батальону уже ждал в приёмной и, почтительно вытянувшись, стал сбок прохода; дверь во вторую комнату осталась незакрытой, и видно было, как там работа закипела с особенным ожесточением, и даже капитан сильно суетился над своим столом.

Со двора же вошёл только второй из всадников, в барашковой шапке — и с двумя шпалами в петлицах! Этот командир, держа голову прямо, прошёл быстро, не озираясь по сторонам, но, кажется, вылавливая каждую мелочь, и Нержина. Когда дверь за ним за-

крылась и тут все расслабились — Нержин узнал от посыльных, что это — начальник штаба батальона лейтенант Титаренко, «жуть какой строгий, но и шутник». Лейтенант? А как же две шпалы? Уверяли, что два кубаря, это привиделось от важности.

Минут через десять Нержин был вызван, прошёл меж густо наставленных столов второй комнаты — и в третью.

Да! два кубаря, сам теперь видел. Уже раздевшись, строгий лейтенант стоял у окна, в кителе со стоячим воротником. Рука Нержина дёрнулась отдать приветствие, что-то получилось не получилось — а начальник штаба вдруг расхохотался.

Дурной, даже похоронный предзнак был бы этот смех для артиллерийских мечтаний, если б не такой весёлый. А так — Нержин поддался ему, представив и сам, каким же чучелом выглядит. На голове — совсем тесная старенькая облезлая меховая шапка, голова из неё выпирала. Чёрный ватный бушлат, полученный во взводе, был шит на самого отвратительного толстяка на Земле, а перепоясан верёвкой и собирался кучами ваты то на боку, то к подбородку. Обмотки увязаны неумело. И в руках портфель!

— Да-а-а, — сказал лейтенант, разглядывая. — Ничего себе фигурка, представитель 74-го ОГТБ в штабе Округа. Этот бушлат — пожалуй, только на чистку винтовок пойдёт.

И позвонил в колокольчик. Вбежал посыльной и лихо замер.

— Начальник ОВС здесь?

— Никак нет. — (Резануло ухо, ещё не было так принято в Красной армии.)

— А начальник склада у себя?

— Так точно.

— Бегом его сюда.

Посыльной лихо развернулся, рискуя удариться лбом о прито-локу, и как вышвырнуло его ветром за дверь.

— А что вы закончили?

— Университет.

Одобрил, чуть улыбаясь. И вознадеялся Нержин, что дело, кажется, выигрывается.

Отпустил и велел через десять минут быть на складе, переобмундироваться, потом сразу сюда. Нержин повернулся, остро чувствуя неловкость своего поворота после такого бойкого разворота посыльного.

Вышел во двор — и увидел навстречу идущего второго из замечательных всадников, в белой шапке. И надо бы не встретиться,

свернуть куда-нибудь, но уже поздно. А надет был на молодом начальнике — белый пригнанный полушубок с курчавым воротником. За ним поспевал боец, и начальник поругивал его не глядя:

— Боец должен быть сообразителен. Надо выполнять дух приказания, а не его букву. Са-а-бражать надо! Не было билетов на первый сеанс — надо было купить на второй. Не было четырёх мест рядом — надо было покупать два и два отдельно. Вот отправляйся теперь и без билетов не приходи. Хоть из-под земли выкапывай.

И — неуклонимо нарастала страшная встреча! И между отворотами курчавого воротника уже точно увидел Нержин по одной шпале в петлицах! Потянул руку к приветствию — размазня получилась. А капитан, отпустив бойца, остановился. Пришлось и Нержину остановиться. Ну, вот когда разнесут! Но капитан внимательно, не строго всмотрелся и воскликнул нечто совсем несообразное:

— Нержин? Глеб!

Боже мой! — да никогда бы Нержин не мог узнать первый — таково завораживающее действие командирской формы даже на «сверхграмотного» солдата. Это был — ростовчанин, медик Костя, а фамилии его Глеб даже и не знал никогда. Костя этот всегда хвастался, что занимается только два месяца в году — в январе и в июне, в экзаменационные сессии, и этому можно было поверить, потому что, имея кучу костюмов и галстуков, он не пропускал ни одного танцевального вечера не только у себя в мединституте, но и в университете, приволакиваясь и за тамошними девчёнками. Однако вот, шпала его неопровержимо бордовела в глазах, и Глеб не решился ответить «Костя», а потянул с принуждённым оживлением:

— Кого вижу? Вот неожиданно.

— Вот остряк! Откуда ты взялся? Ты что, эвакуировался? Да кто тебя во двор пустил? Ну, здорово же. — И стянул перчатку на рукопожатие.

— Чего б я эвакуировался? Я в армии.

— В нашем батальоне?

— Да.

Освобождённой от перчатки рукой Костя полез за носовым платком.

— В нашем батальоне? Вот остряк. А я и не знал. Чёрт, я бы давно тебе помог. Ты рядовой, конечно?

— Рядовой.

— Ну, это мы переиграем. Я тебя — санинструктором назначу.

Санинструктором?? Это был грандиозный пост в роте, и при четырёх треугольниках. Это было почётное лицо, свободное от обязанностей, хоть целый день книжки читай.

— Да я ж в медицине ничего не понимаю!

— И не надо, сколько там понимать. У меня есть и такой санинструктор, что и термометра прочесть не может. Вот остряк! Это мы сделаем. Это близкие специальности, математики нередко ухаживают за медичками. Ты вот что: куда идёшь?

— На склад, обмундировываться.

— Ага, дело, дело. Как освободишься — вон, — показал на флигель, — санчасть. Приходи, обтолкуем.

— А.. как там спросить... вас?

— Начальник санслужбы батальона, военврач 1-го ранга.

Вот вихри судьбы, то — всё заперто, то — одна ослепительная возможность за другой.

Пошёл Нержин на склад. Начальник склада уже инструкцию имел. Выдал — кирзовые сапоги при байковых портянках. (Сапоги, ничего себе!) Брюки — летние, но защитного цвета, какого на Нержине до сих пор ни клочка не было. И настоящую, хоть третьего срока, гимнастёрку. И вместо неохватного клочковатого чёрного бушлата — лёгкий, холодный, но по фигуре и защитного цвета. Уже не узнавал себя Нержин — впервые в жизни он выглядел воякой, обновлённым человеком. Но и на этом не кончилось счастье. Ещё — шлем-будёновку. Ещё — широкий брезентовый пояс. Ещё мазь — сапоги почистить. А затем — вынес ещё и шинель, настоящую солдатскую шинель, какую в батальоне не все сержанты носили. С гордостью натянул её Нержин поверх бушлата. В плечах — ничего, налезла. Коротка, всего до колен — ничего. А вот была беда: одна пола её была смята в несколько непоправимых складок, даже как бы изжёвана, спрессована по этим складкам — и не разглаживалась. Да ещё ж и в руке оставался портфель.

Ничего, ничего. Нержин вышел со склада обновлённый, выпрямлённый, кажется и новой походкой. Не знал он, что плечи его недостаточно распрямлены и что под его «туго» затянутый пояс ещё можно голову ребёнка подсунуть. Ему казалось — он уже и для всех теперь военный человек.

Пошёл в штаб — о нём доложили, и сразу он был принят. Лейтенант Титаренко посмотрел, пощурился, не вполне довольно:

— А что с шинелью? Поглаже не было? — И указал на стул подле своего стола. — Садитесь, Нержин. — Ещё присмотрелся. —

Должен сказать, я доволен, что Петров привёз именно вас. Основная командировка, из-за которой мы вас посылаем, — несложна, вам объяснит начфин, надо просто не потерять и не перепутать бумаг, отвезти. Но я дам вам командировку — ещё и личную, от себя. Я дам вам пакет для начальника отдела кадров штаба Округа. И этот пакет — тоже безделица, но на нём будет надпись: «вручить лично». И вы должны обеспечить: не отдать его на проходной под расписку, как это обычно делается, а, пользуясь этим пакетом, — проникнуть к самому начальнику отдела капитану Горохову. И когда попадёте к нему — отдать ему в руки, вот, моё личное письмо к нему. А пакетом — хоть и не затрудняйте, потом на проходной. Главное — письмо. Уяснили задачу?

— Вполне, — ухватывал Нержин. Он уже чувствовал полёт несущей судьбы и для себя.

— Но и это ещё не всё. Чтоб обратить внимание на мой рапорт, чтоб он был вскрыт и не затерялся, вы должны ещё добавить устно: что лейтенант Титаренко погибает в лошадином обозе. Курите? — предложил. Нет. Набил трубку, зажёл. Затянулся. — В этом шарашкином батальоне я медленно гнию, понимаете? Делать мне здесь нечерта. Ни одного военного человека, кроме меня, здесь нет. С первых дней войны я был в мотопехоте. Были в окружении под Киевом, вышли, под Полтавой ранило, а из госпиталя определили меня пока ограниченно годным и вот направили в обоз. И теперь брыкаюсь, пишу рапорта, но командир и комиссар батальона вцепились в меня и держатся. Посылал окольно — из штаба Округа никакого ответа. А капитан Горохов меня помнит лично, но, видно, ничего от меня до сих пор не получил. Такая ж теперь и почта. А на вас я надеюсь, — усмехнулся, — что вы обо мне не пойдёте командиру батальона докладывать, как, может, сделает какой писарь. И сами вы в положении сходном, ещё и хуже.

— Товарищ лейтенант, так вот вы читали мои рапорты — я тоже хочу отсюда вырваться.

— Вот вам и случай. Когда будете говорить с капитаном Гороховым — не упускайте и про себя. Хотя предупреждаю, что с вами сложнее: отдел кадров штаба Округа распоряжается только офицерами, но не рядовыми. Округ не может вас никуда переназначить помимо командира батальона. То есть формально. Ну а уж тут я вам помогу, если чего-нибудь добьётесь в Округе.

Получило, получило толчок колесо застоявшейся жизни! Что за радостное ощущение, что на свою судьбу способен сам и повлиять! Лейтенанта Титаренко занёс Нержин третьим в свой золотой список.

Командировку оформили и объяснили быстро. Состояла она всего лишь в том, что Нержин должен был в интендантском управлении Округа сдать пакет да получить бланки новых командирских денежных аттестатов и привезти их в сохранности, вот и всё. Выдали командировочное удостоверение, продуктовый аттестат, сухой паёк на три дня — дорожный паёк оказался больше того, что Нержин получал в роте, к пайку появился и вещевой мешок, — а железнодорожного литеры не выдали, разъяснив, что всё равно он не пригодится, вместо того дали срок командировки 8 дней, хотя до Сталинграда не было и трёхсот километров.

И со стучащим сердцем, портфелем и вещмешком, в изжёванной шинели — Нержин пошагал на станцию.

Дороги железные! Железные дороги первой военной зимы! Как будто снова задули на них ветры Гражданской войны, в которых Нержин жалел, что не жил.

Платформы с пушками. Платформы с танками. Паровозные сплотки, где один горячий паровоз утягивает семеро холодных с занятой Украины в далёкую Вятку. Обгоревшие каркасы — скелеты целых составов, сожжённых бомбами где-нибудь в Чернигове или в Лубнах. Составы теплушек, обжитых «выковыренными», как зовёт их народ. Они живут так: изредка едут, чаще стоят — по четыре дня, по пять. Эшелоны воинские. Эшелоны ленинградские — поезда вывозимых к весне живых мертвецов. Поезда из Вологды в Баку. И из Баку в Вологду. Иногда, безо всякого расписания — товаропассажиры поезда, смесь вагонов классных и товарных. И совсем изредка, каким-то дивом — целиком пассажирские, даже и с одним коричневым «международным».

Затемнённые ночами вокзалы и станции. Переполненные залы, негде ступить ногой. Розовые, как лицо больного, листки на стенах: «Берегись сыпного тифа!» Но тифа, к счастью, пока нет — как будто. Вьюги и заносы. Никто никому не продаёт. Ничего ни за какие рубли не купишь. На десятых и двадцатых путях узловых станций бродят унылые беженцы и меняются с местными, баш на

баш. Туалетное мыло на капусту. Шёлковая сорочка на картофельные лепёшки.

Никаких расписаний. Онемели рупоры станционных громкоговорителей. Неизвестно, какой поезд куда отходит и через сколько. Редко открываются на миг билетные кассы. И чем труднее, чем невыносимее стало ездить железными дорогами — будто вперекор, будто назло, тем больше самых неприспособленных пассажиров: с бабушками, дедушками, детьми и младенцами, с сундуками и чуть ли не комодами, десятками мешков неподым взрослому мужчине, корзинами величиной с диваны. Словно какая-то дьявольская злая фантазия выдумывала маршруты этой первой военной зимы: из Батума в Тобольск; из Махачкалы в Архангельск; из Мелитополя в Кулунду. Вещей, вещей избывало у этих многосемейных переселенцев — только не было с ними отцов и братьев, кто бы таскал их вещи, сажал и довёз до места.

Глебу-то что — он одинокий солдат. У него буханка хлеба и пара рыб в вещевом мешке. У него здоровые ноги и здоровые руки, он может легко вскочить и на высокую подвешенную подножку. Ему некого кормить, нечего менять и незачем ожидать билета.

Но, оказывается, и ему совсем не легко доехать.

Уехать-то просто: если уже движется и если на подножке осталось место — вскакивай. А сколько проедешь? Может быть, всего один перегон, и застрянешь на худшей станции. А если протянет поезд дальше — гляди как бы ноги не отморозить: ещё и март той зимы, и на юге, ступал в морозах и режущих ветрах. Значит, надо садиться только в теплушку.

Теплушку легко узнать. Походи между десятками составов, погляди на крыши телячьих вагонов: если торчит труба, то может быть, это и есть теплушка, а если из неё искры валят или тянется хоть лёгкий, почти прозрачный дымок — она и есть. А ночью — так бывает, почти сноп пламени вырывается над крышей, далеко видно — вот там топят! вот туда бы тебе!

Но в теплушку не сядешь, когда трогается поезд. Перед тобой не откатят её гремющей двери — дескать, прыгай, браток. В теплушку надо проситься заранее, проситься упорно и хитро.

Долгие, однообразные стоят составы на каждой большой станции. Есть составы и вовсе без теплушек. И далеко не всякая теплушка пустит: у хозяйственников нет сердца, у беженцев нет места, у воинских частей нет права тебя пустить. (Права-то нет, но

для девок, для молодок — исключение. Сам сержант, бывает, стоит в раздвиге двери и зорко выглядывает: а ну, смугляночка, что там жмёшься? подавай руку, тянись сюда, тут денег не берут.)

Да не во всякой теплушке, в которую тебя согласятся пустить, может не околет пёс. Труба-то из крыши торчит, а печка может быть и развалилась, либо дров на разжижку нет — последние доски нар давно поколоты и потоплены, либо которую уже станцию не встречали платформы с углем, негде было набрать.

Но и это ещё не всё. На телячьих вагонах не написано чёрными буквами по белой эмали: «Москва — Минеральные Воды». Сколько ещё этому поезду идти? — один перегон? или пять тысяч километров? И: когда он пойдёт, если вообще пойдёт, — то куда: направо или налево? Паровозы нарасхват, составов много, паровозов мало. Это составам вольно стоять по суткам и по месяцам на одной станции, паровозам некогда, у них дела по трубу. А поэтому, как только диспетчер заморозил состав на час-другой, — паровоз отцепляется, и поминай как звали. Составов много, но все они обезглавлены, пойди разбери, куда он идёт, на север или на юг.

Можно ждать, когда станут подавать паровоз, — но тогда уже поздно, не вприсишься. Значит, надо узнать заранее. Надо ходить и выспрашивать, куда идёт поезд? Но никак нельзя, такие вопросы в военное время не задаются, это шпионство. А ещё ж бы надо узнать: и как быстро поезд идёт, по сколько перегонов в сутки. Однако пассажиры сутки считают, а перегоны нет, и скорость не вычисляют. Как получить для расчёта исходные данные: откуда выехали, когда? и главное, что за груз везут? По грузу и дурак догадается, надёжный поезд или нет. Но поди позадавай такие вопросы в военное время, сейчас тебя и сгребут. Недоверчивы, насторожены все люди в военное время. И они правы.

Но и ты же прав.

И оказывается: для того чтобы уехать поскорей, поверней и потеплей, — совсем не к теплушкам, не к составам надо идти, не по путям бродить, как делает железнодорожный новичок. Волки таких переездов знают, куда идти — в диспетчерскую!

На первой двери будет написано: «Вход посторонним воспрещён». Толкай эту дверь и иди! На второй будет старая закопчённая надпись: «Служебный вход». Он самый, толкай дверь! На третьей: «Вход категорически воспрещён». Так, так! ты на верном следу. Даже если бы череп увидел и скрещенные кости — не робей, нажи-

май на дверь! А когда проникнешь сквозь самую последнюю и самую грозную из дверей, то с умилением услышишь здесь и плач младенцев, и материнские колыбельные, увидишь и бородачей с непременными мешками, и таких же солдат, как ты, и тем более командиров. Ты вошёл теперь в то место, где рождается движение поездов.

По дорогам необозримой родины пришлось дальше Нержину проездить сряду не восемь дней, а месяц, отмахнуть диагонали от Сталинграда до Москвы, и за Нижний Новгород в керженские леса, и опять назад, и через Иваново до Костромы, и много прошёл он этих диспетчерских, от крупных узловых станций до глухих разъездов, и вывел: что каждого, кто работал на диспетчерской службе в годы войны, надо послать на курорт до конца его жизни.

Иногда это мрачный небритый мужчина, иногда это тонкая бледная девушка. Но всегда это — человек, переутомлённый бессонницей и измученный своей дергливой напряжённой работой. Сутками они дежурят? или сплошными неделями? Когда они успевают дойти до такого мутного взгляда, до такого однотоного голоса, одинакового для вопроса, для приказа и для брани? Этого не узнаешь, потому что не уличишь и минуты с ними поговорить. Сидит диспетчер, обложенный телефонными трубками, обставленный вспыхивающими сигналами. В одну трубку говорит, в другую слушает, что-то отмечает на своих графиках, крутит ручку третьего, четвёртого телефонов, а ещё пронзительно взвенивают пятый и шестой, а ещё ревет затесавшийся в диспетчерскую младенец, а ещё ругаются и чего-то требуют одиночные военные. А вот подходит к перилам, отделяющим диспетчерские столы, очень бледный, истончавший лицом мужчина в тяжёлой дорогой меховой шубе. Он переклоняется к диспетчеру и, улучив мгновение, когда кажется, что диспетчер не разговаривает ни по одному из телефонов, с приятной вежливой улыбкой спрашивает его:

— Скажите, пожалуйста, вы видели картину «Чапаев»?

Диспетчер смотрит на незнакомца обалдело, должно быть пытаясь освободиться из паутины путей, стрелок и номеров и сообразить, кто из них двоих сошёл с ума. А незнакомец в шубе, обрадовавшись, что привлёк к себе внимание диспетчера, повторяет с улыбкой:

— Вероятно, — он выговаривает «вериятно», — видели. Все её видели.

Диспетчер, как чеховский бухгалтер, готовый на преступление, молча смотрит на незнакомца с нарастающей мутью взгляда. Даже нахальным солдатам рядом становится неловко — ну нашёл время, о чём! Но незнакомец развивает вкрадчиво:

— А Петьку из «Чапаева» помните? Петьку-пулемётчика? Так вот я есть тот Петька. Да-да, тот самый. Значит, артист. Я, видите ли, отстал от ленинградского эшелона — и как мне его теперь догнать? Вы меня не посадите на поезд?

Нержин — не Петька и не артист, ему и проситься нечего, чтобы посадили на поезд. Но у него есть уши и голова на плечах. Язык диспетчеров непохож на язык прежних станционных громкоговорений: «Граждане пассажиры! Поезд № 89 следует до Сталинграда и отправляется с третьего пути через пять минут». Нет, диспетчер односторонне и непонятно говорит в трубки:

— ...Оставь полувагоны, бери десять-семьдесят шесть... Никифоров,пусти его на пятый... Внимание, Панфилово, пускаю тысяча сто двадцатый... Цистерны? успеем, он не пойдёт... Заправился? цепляй с седьмого... Никифоров,пусти его на второй... Проверили? пришлите старшего к дежурному... Слушает Филоново... Нет, не могу принять. Вот, отпущу на Себряково — прийму. Иванов, не ковыряйся, его срочно нужно...

И пока не пришёл сюда самый главный и мрачный, кто вышибет на время отсюда всех, и с мешками, и с младенцами, и командировочных в шинелях, Нержин успевает схватывать: Панфилово — это не фамилия, а станция, следующая к Сталинграду... Есть Себряково, а есть Серебряково? может, одно и то же, может, разное... И туда пойдёт сейчас срочный поезд со второго пути. И Нержин выходит из диспетчерской с ленивым видом — так, чтоб другие не поняли, что он что-то понял, и не устремились бы за ним, перебивая у него теплушки.

Вот так действуют волки железнодорожных переездов первой военной зимы.

Но — и поезд поймал, и пустили тебя в теплушку, и печка тут накалена, и уже стучат колёса под вагоном — что ж, можно позволить себе распариться и разложиться на полу спать? — упаси тебя Бог. Ещё одно правило скоро узнаешь на горьком опыте: упустил поезд — не горюй, а влез в поезд — не радуйся. В уютной теплушке, лёжа на грязном полу, не забывай, что сухой паёк у тебя — только на три дня, а командировка — только на восемь. На каждой

остановке поднимайся и высматривай: не приглушили ли топку у паровоза? не отцепили ли его вовсе? И что делается на других путях?

И тогда ты поймёшь, что поезд, который считался срочным на прошлой станции, — на следующей может стать вовсе и не срочным. И тогда ты схватишь свой портфель и свой вещмешок — и выкатись, выбросись из уютливой теплушки на колкий снег и побежишь с расстёгнутой шинелью, скользя по льду, за отходящим поездом. На переходную площадку отходящей цистерны бросишь своё добро и повиснешь на поручнях сам.

Теперь тебе никто не мешает считать километровые столбы и глазеть на снежные поля. Никто, перешагивая тебя, не наступит тебе на руку. Но и никакая шинель с поддетым бушлатиком не спасёт тебя и пяти минут от яростной морозной бури, взвихриваемой ходом, а тем пуще головы не спасут лопухи будёновского шлема. И есть немного местечка поплясать озябшими ногами в кирзовых сапогах, припевая порядинскую присказку:

— Холодно... холодно... на ком платице одно...

А и вдвое...

Да худое...

Всё одно... Всё одно...

К концу перегона тебя уже не радует ни стук колёс, ни мелькающие столбы и будки. И если в теплушке ты мечтал, как бы проехать хоть одну станцию без остановки, — то теперь ты боишься такого.

Шалишь! Сколько тут составов! Не проскочит. Остановились. А паровоз — с шипом мечет пар: не хочет стоять? пойдём дальше? А может, обманет. Слезай, братец, ищи лучше теплушку.

В одной даже дверь не отворили. В другой оттянули на щёлочку, посмотрели — захлопнули разом. А из третьей кричат:

— Ну, открывай, что ли. — А когда открыл: — Залезай, теплей будет.

Да после цистерновой площадки и такая теплушка — рай. А вот и поезд сразу тронул. Угадал, порядок!

— Садись, браток. Нет ли табачку?

В вагоне — ни одного из четырёх окнышек, всё забито, заткнуто. Темно. Свет — только от печки, но и она топится вяло — поддувало ли засорилось, тяги ли нет, уголь плохой мелкий. От такой печки тепло можно почувствовать, только если совсем вплотную. Нержин и примащивается к трём солдатам четвёртым в круг. На

печке стоит, вздрагивая на сильных толчках, солдатский котелок. В котелке томится, увариваясь в своём соку, свёкла.

Все трое дрожащими руками закуривают самосад политрука Петрова. Курят молча, выпыхивая, причмокивая. Только самый разговорчивый:

— Аж закружилась.

Молчат. Не спрашивают, не рассказывают. Полтора месяца они вот так едут — о чём говорить? (Нержин вспоминает Джека Лондона: как у него зимовщики, оставшись с глазу на глаз в тесном одиночестве, молчат неделями и месяцами.) Лишь на остановках эти солдаты выходят поглядывать свои вагоны. Такой у них мёртвый, неспешный груз, что никто и не позарится. Как бы вот — продпункт застать открытым? — уже сколько миновали ночами. И вот станция. Один из троих бежит искать продпункт. Да надо и Нержину. Да и сгребя с собой портфель, мешок — прощай, ребята.

Пересечь четырнадцать путей. Под вагоны и через вагоны. Потом ещё тропкой метров четыреста от станции, у кого эшелон — оглядывайся, не уйдёт ли. А дальше спрашивать не нужно: самим видно. Простой небольшой домик. В окно его вделано маленькое деревянное окошечко, какое бывает на станциях у выдачи кипятка и в городах, где продают воду вёдрами. У окошка — толкотня и давка, перемесь из трёх очередей: собственно очереди, очереди из инвалидов Отечественной войны, уже их немало, и как бы очереди из тех, кто лезет без очереди. Секущая брань и гулкий руг то взмывают над толпой, когда окошечко открывается, то улегаются опять. Не обходится без кулаков, в бок — это уже и не считается, иногда взмахнёт в воздухе и костылёр, собьёт с кого-нибудь шапку. Издали видать, как на путях появится какой-нибудь красноармеец и закружит шапкой над головой:

— Э-э-эй-ей! Безсеменов! Поехали! Бросай!

И с десятков красноармейцев рванутся из толпы, вóкорень перемешают все очереди и бегут к путям. Остальные в испуге всё спрашивают друг друга:

— Куда поехали? Куда? На Сталинград? На Поворино? А какой эшелон?

А леший его разберёт. Кто может остаться — так пусть эшелон уходит. Лопать-то надо, как тут бросить? Кому видно: вот отхлопывается маленькое окошечко, в него высовывается чья-то рука и из десятков выставленных рук выбирает несколько самых назойливых, забирает аттестаты и исчезает. И окошечко захлопывается.

Вот и убегай тут, как раз останешься без аттестата. Стучать нельзя: тогда окошечко откроется только выругать за шум, а дело не продвинется, и от соседей натерпишься: «Зачем стучал? Всех задерживаешь! Не мешай работать!» Потом взятые аттестаты выбрасывают по наклонному желобку пачкой — и успеи вырвать свой и тогда выбивайся из толпы. Уже там, на просторе, прочтёшь, на сколько дней и на сколько человек тебе выдали. Правильно, неправильно — беги получай: ларёк отдельно, там давки нет. Там — медлительный дюжий молодец с удивительно жирными белыми руками и лицом колбасника по отмеченным аттестатам выдаёт продукты — хлеб, селёдку и сахарный песок в твою бумагу. Иногда запирает, уходит, а поднакопится очередь человек в тридцать — возвращается.

Время в толпе проходит быстро и разнообразно: поднажмём, ребята, какая очередь возьмёт. Появляются кратковременные сильные страсти: вот этот плечистый наш молодчага, здорово пробивает дорогу. А вот того чубастого — по рукам бы, чтоб не хватался за подоконник. Даже и не холодно. Но быстро убавляется дневного света. Окошко выбрасывает последнюю пачку аттестатов, и ненавистный голос невидимого бухгалтера объявляет:

— На сегодня закрывается. Завтра с десяти.

И — девайся куда хочешь. Колбасник вытирает руки полотенцем, надевает полушубок, запирает болтами ставни на своей лавчёнке. А толпа солдат и инвалидов, не заметно меньшая, чем была три часа назад, медленно, нехотя расходится, ругаясь во все корки. Кто-то ещё впустую достукивает в окошечко, доказывает горячо. В голубеющих сумерках зажигаются огни домиков и изб посёлка. И в каждом таком домике на площади одной семьи умещаются две-три, а то ещё и какие военные упростились перегреться на ночь. В каждом берегут топливо, а к утру мёрзнут. Там рёв грудных и шума детей постарше, а кроме глубоких старух, все где-нибудь работают, служат, сейчас несут своим, что добыли, — и ужин будут собирать два-три раза отдельно, для каждой семьи. И солдатские жёны с Украины жадно расспрашивают каждого военного о фронтовых делах и каждое утро просыпаются по шестичасовому радиоперезвону — в томительном ожидании, когда же загремят победами сводки Информбюро.

А по линии, однопутной, пропускают один за другим на юг — ещё ж и ленинградские эшелоны.

Этих бедняг только вот к весне и стали вывозить из осаждённого голодающего города по льду Ладоги — и по медленным железным дорогам везли и везли долгим кружным путём. Это были: женщины всех возрастов и дети. Иногда встречались старики (уже многие умерли?), совсем редко — молодые люди. Говорили — пятьдесят, говорили — семьдесят таких эшелонов протянулись по дороге Поворино — Сталинград на Тихорецкую, — не решались их через Ростов, где и фронт рядом, и слишком частые бомбёжки. На крупных станциях им устраивали горячее питание. Когда они шли из вагонов в столовую — многие держались друг за друга, чтобы не упасть, и чуть не половина их была с куриной слепотой. Приходилась кормёжка на ночь — их водили с фонарями, нарушая правила светомаскировки.

По-разному преобразил их голод. У одних лица казались черепами, обтянутыми иссиня-белой, как дурное, снятое молоко, кожей. У других цвет кожи был жёлтый, безжизненно восковой. А однажды в красном уголке одной из станций Нержин сидел, читал газету — подошла стройная старуха лет за 50, попросила дать ей взглянуть на газету. Нержин протянул ей, но не дотянулся. Она выставила руку вперёд — и тут же отняла, стыдясь. Тогда он поднёс и положил перед ней. Она стала жадно пробегать сводку, а он разглядел её руки, которые она боялась выставлять: они были совершенно и равномерно коряво-черны! — но не от грязи, а так искоривил их голод, — и тем ярче сверкало на безымянном пальце золотое обручальное кольцо. Тогда Глеб по-новому глянул и на потемневшее лицо её: было ей лет тридцать с небольшим.

На разъездах, на мелких станциях около ленинградских эшелонов похаживали окрестные бабы. Двери теплушек отодвигались, и в раскрывшихся рамах входов у крайка вагонного пола становились рядом ленинградки — так, точно так, как за четверть века раньше становились на толкучках женщины из *бывших*, старого мира: с перекинутыми через плечи, через предлоктья жакетами, юбками, разными вязаными вещами. Они стояли неподвижно, подпирая друг друга, не имея сил предлагать вещи, убеждать, — бабы сами ходили, выбирали, назначали цену в продуктах. Одна девушка с тонким нежным лицом и васильковыми глазами получила за свою пару чулок две тёплые картофельные котлеты — и тут же съела их, не уходя в глубь вагона.

Были женщины, перешедшие уже ту грань, за которой человек теряет стыд. На одном разъезде, с чистоголосым медным колоко-

лом и парой старинных несветящих фонарей на литых чугунных столбах, молодая женщина отошла от состава шагов на пятнадцать и присела у снежного сугроба. Её все видели, но ей было безразлично. Бородатый станционный сторож замахнулся на неё метлой и согнал. Неуклюже-неодетая, она перешла на десяток шагов и опустилась за другим сугробом. Он согнал её и оттуда, она перешла за третий.

Таковыми шли ленинградские эшелоны.

И Нержин устыдился за своё благополучное обозное существование, которое до сих пор считал цепью злоключений.

Эх, в артиллерию же скорей! В артиллерию!..

Скорей-то скорей, а вот вечером в теплушке заснёшь, измучившись. И проснёшься только утром, уже и продрогнув, с отерпнувшими поджатыми ногами, когда уже светлы оконца товарного вагона, посвистывает ветер под немymi колёсами.

— Много за ночь проехали?

— Да там же...

Ах, будь ты неладен! Ах, какой же дурак! Что за малодушие было остаться в теплушке на ночь! Бесясь от самоупрёков, Глеб выкачывался — и кидался искать чего-нибудь, что двинется.

Всё-таки теплушка — это вагон, ц е л ы й вагон, даже если он в щелях. Но в ругне стрелочников, смазчиков, в жаргоне диспетчеров всё чаще слышишь новое для тебя слово, приучаешься к нему и держишь на чёрный час: п о л у в а г о н. Довольно странное слово, и как же себе представить: как же он едет? Но что-нибудь же в нём есть и от вагона? На всякий случай стараешься посмотреть на него, пощупать глазами хоть один; сколько с детства ездил по железным дорогам — никогда не видел половины вагона.

Да никогда б его без подсказки не нашёл. Снаружи его примешь за цельнометаллический вагон — только почему-то без единой двери. А потом заметишь или покажут добрые люди железную лесенку наверх. Вот и лезь по ней до самой крыши — а крыши, оказывается, никакой там и нет, а такая же крутая лесенка ведёт вниз. Железный открытый ящик — вот что такое полувагон. Иногда он полон, и тогда ты ничего не выиграл, всё равно что платформа. А иногда пуст. Тогда ты спускаешься на дно, невидимый никаким проверяющим и конвоям — но дай только поезду набрать ходу — как завихрит в нём морозом, как закрутит остатками кирпичной пыли, обметёт твою драгоценную шинель — на что похожа! И ещё выплясывай в сапогах на одну портяночку. Нет, солдатик, это тебе

не подходит. Пусть половина вагона — но крыша над ней должна быть.

И всё же Нержин день ото дня продвигался. А как-то ночью изморился. Из диспетчерской начисто выгоняли. А на путях во мгле — совсем не разберёшь, какой же куда пойдёт. Трубы теплушек редко какие искрят, а что с них толку, если поезд без паровоза. Часа два ночных так побродил Нержин по многим путям, рискуя, что и патруль заберёт, — и ушёл в станцию соснуть на грязном цементном полу — вещмешок под голову, портфель в обнимку. Сколько-то поспал, и вдруг ему приснилось, что кто-то ясно сказал: «Вставай! Поезд отходит». Нержин — вскочил и выбежал, ничего не видя после светлого помещения. Темнота. А вдали — отблеск паровозного поддувала, в стороне к Сталинграду, и тяжёлый шум паровоза, собирающегося в путь. Побежал вдоль состава вперёд — ни единой теплушечной искорки, ни единой — весь поезд чёрен и мёртв. А по такому морозу на площадку садиться нельзя, уже знал. И был около первых вагонов, когда паровоз заревел отход. И таким ярким казался свет паровозного поддувала, выхваляющийся не то что теплом, а жаром, — подтолкнул мысль. Тёмная фигура с длинной маслёнкой в руках взбиралась на лесенку паровоза.

— Товарищ машинист! Опаздываю в часть! Судить будут! Пустите доехать! На паровоз пустите!

Тот, не оборачиваясь, буркнул с лесенки:

— У машиниста спрашивай.

— А вы кто же? — удивился Нержин и тут же понял, что глупо спросил. Горожане, пассажиры, люди, привыкшие не возить, а ездить — пока нас не встряхнёт, — до чего ж нелюбознательные живём. С детства Глеб ездил железными дорогами, а что усвоил о машинистах? Только — плавно или не плавно трогает. На долгих остановках гулял вдоль поезда — как бы местность посмотреть, тополя, закат. Но — что за обязанности у этих хмурых людей в замасленных куртках, с маслёнками, рожками, флажками? Сколько раз, стоя в тамбурах, читал: «Тормаз Казанцева», «тормаз Матросова», и хватало только на то, чтобы в уме усмехнуться старой орфографии: «тормаз». А надпись простая: дёргай ручку, но — угроза за дёрганье без толку. Сколько в детстве любовался паровозами, а не задумался над обязанностями каждого из работающих на паровозе, и в чём их работа? С каждым поколением всё уже полезный труд или видимость полезного труда, которой посвящает себя

человек. И он знать не хочет, а и хотел бы, да не может, — всего необозримого кружения работ, которыми движется век.

Человек, которого Нержин назвал машинистом, нырнул под брезентовый завес, закрывший вход в паровоз. Медлить нельзя было ни мгновения. Нержин взобрался по лесенке вслед за ним и постучался в плотный завес, как в дверь.

— Товарищ машинист!

Наверно, это получилось по-интеллигентному робко. Никто не откликнулся. Только слышался за завесом шум работы, скрежет лопаты об уголь. И у Глеба от отчаяния вырвался грубый окрик:

— Машинист!

Завеса приощелилась:

— Ну?

— Товарищ машинист! Опаздываю в часть...

— Много вас опаздывает. Запрещено.

— Сегодня должен быть в части. Но не успел.

— На паровоз запрещено.

— Может — гражданских запрещено? Я — военный...

— А водка есть?

— Табак есть. Самосад.

— Сколько?

— Стакана три.

Машинист молча отвернул брезент, и Нержин, скрючившись, подлез под него. И ничего не увидел, кроме густого колыхающегося пара, ощутимо влажного на вдох.

— Давай табак!

— Сию минуту.

Получив табак, мрачный чёрный машинист, с бровями и волосами как уголь, сказал кому-то в пар:

— Пошли!

Что-то зашипело, паровоз вздрогнул, сквозь здешний шум ослабленно донёсся стук подёрнутых вагонов — и тронулись.

Нержин стоял там, куда ступил войдя, — и боялся помешать кочегару. Колышливый пар по-прежнему застилал всё, так что нельзя было понять, велико или мало пространство в паровозе и где лучше всего было бы стоять, чтоб не мешать никому. И не видно было такого ящика, чтобы присесть. Клубы пара еле освещались высоко висящим фонарём, а иногда озарялись жарким сверканием отворявшейся топки. Кочегар полез куда-то мимо Нержина вверх — на тендер, и оттуда большой совковой лопа-

той стал швырять угольный штыб, обдавая пассажира угольной пылью. А машинист и помощник совсем исчезли в пару, невидимо.

Ехали, ехали! — и это грело сердце Глеба. Но спина и ноги быстро устали от напряжённого стояния навывтяжку. Глеб хотел прислониться в одну сторону — но это был брезент, и он подавался. Хотел в другую — но чёрная стенка оказалась вся в копоти. Наконец он прислонился к какой-то трубе, но не успел насладиться отдыхом, как почувствовал, что она сочит на него воду: это был кран для смачивания угля.

Так он ещё промялся, боясь кого-нибудь потревожить, и мечтал только, как бы сесть. Никто с ним не разговаривал. Пар не разрежался, и по-прежнему ничего нельзя было разобрать. Остановка. Машинист высунулся за брезент, поговорил или жезл поменял — стало ясно, что сразу едут и дальше.

Нержин засыпал стоймя и мучительно просыпался тотчас. В конце концов воля к сопротивлению у него ослабела и он своей берегомой шинелью сел просто на угольную кучу, прислонился к копотной стене, подставляя вещмешок сочащейся из крана воде, — и заснул.

Во сне отметил и остановки, и долгие, и опять движение — и только под утро трянули его за плечо: дальше не едем, слазь.

А на этой станции много часов не везло. То пропускали одни ленинградские эшелоны, то платформы с пушками и часовыми, то просто никто не ехал в ту сторону, а только в обратную. И из диспетчерской всё выгоняли. И на паровоз не попросишься, табак больше нет. Уже к концу дня Нержин со своим большим теперь опытом заметил и понял, какой поезд сейчас пойдёт на Сталинград, паровоз попыхивал. Побежал вдоль состава — ни единой теплушки. А вот — дёрнет! Хотел уже лезть на площадку, помёрзнуть — вдруг увидел командира, вылезшего по надобности из холодного вагона без всякой трубы — и снова залезающего туда уверенно-поспешно. Это ещё что? Полез и Нержин следом, закинув портфель вперёд, чуть пальцы не прищемив уже задвигаемой дверью, взвис ногой на проволочной раскачной петле-подножке.

А видели вы когда-нибудь спальный товарный вагон прямого сообщения? Так вот это был он! Попросту в этом вагоне сложены были сотни новеньких стёганных ватных одеял. Они были связаны в тюках, но тюки потрошили, кому как нравилось. Наверно, когда-

то была пломба на двери, но её сорвали, может, того человека уже и не было здесь, и никто ни за что не отвечал. Откуда взялся этот рай на колёсах, кто его охранял? Зарывшись в одеяла с сапогами и головой, по вкусу наложив их на себя сколько угодно, — ехали невидимые пассажиры, и не видно, сколько их.

Так и Нержин — вырыл себе логово в одеялах, всунулся туда низом по пояс, потом исхитрился придавить себя ещё несколькими одеялами сверху, себя вместе с портфелем и сумкой обволочь так, чтоб ни щёлочки не осталось, и — привычайся к медвежьей спячке! Теплынь теплынская! теперь — хоть и вовсе не ехать. А хоть — и в Арктику! А — поехали, тронулись. Вот это устроился, за всё недоспанное по дороге.

Проснулся нескоро — блаженно проснулся от жары. Над головой чей-то раздражённый голос говорил с грузинским акцентом:

— Сапожник — нэ машиныст. Чего везёт — думает? Кан-сэ-р-вированную кровь везёт. А — как везёт? Разве кровь так возят?

Нержин вырылся головой наружу. Дверь вагона была отодвинута. Грузин — мрачный лейтенант с измявшейся от спанья шинелью и перекобаченной амуницией выпрыгнул и пошёл ругаться. Там и сям из одеял высовывались заспанные угревшиеся морды. Кто-то начал курить, не вылезая из удобного логова. Другой ему крикнул:

— Растяпа! Одеяло поджёт! Покурить — выходить надо.

Курильщик затушил дымок на одеяле и продолжал курить. Ругатель протянул руку:

— Ну, дай докурить.

Грузин вернулся:

— Я им сказал! Всэ под суд пойдёте! Сейчас поедем. Кровь везут — не соображают.

Вправду ли он вёз консервированную кровь в каком-то вагоне, так ли портится она от промедления (а от мороза?), действовали ли именно его угрозы на станционное начальство, — но ещё на двух остановках он ходил ругаться — и опять ехали.

И Нержин — очень крепко заснул.

А когда проснулся — от голода и глухой тишины, то сразу почувствовал, догадался, что тишина продолжалась не два и не три часа — очень давно. Под неподвижным вагоном завывала позёмка. Сквозь щели пробивался в вагон слабый дневной свет, а нельзя было понять, спит ли ещё кто в грудях беспорядочно набросанных одеял — или уже никого нет.

Он высвободился, вылез, встал, отодвинул тугую скрипящую дверь вагона и обмер: стояли просто в снежном поле, и рядом не было никаких других рельсов, никакого признака станции и даже следов человеческих — всё замело, и колёса вагонов выше ступицы. Стоял день с мглистым пятном солнца, протаивающим через ровную толстую закладку облаков. От поезда и во весь окоём лежала снежная ровная степь — без единой постройки, без единого дерева, только с промеченной полоской заснеженных же снегоградительных щитов. И сам поезд впереди вблизи изгибался, продолжение его пропадало за сугробами, и нельзя было понять, остался ли там паровоз.

Нержин понял, что здесь у него пропала целая ночь. Злой и голодный, выпрыгнул из вагона в сугроб, потом подлез под вагон — и там обнаружились хоть вторые пустые рельсы, значит — разъезд. Побрёл вдоль мёртвого товарного состава. За изгибом высмотрел несколько домиков за бугорком. Пошёл к ним.

Состав показался такой длинный, чуть не вдвое длинней, чем вчера. А паровоза впереди — не было...

На первом тёмно-красном домике железнодорожного типа — разобрал боковую надпись, чёрными, от многих лет измытыми буквами: «Конная».

И усмехнулся над своей лошадиной долей, настигшей его и здесь. (И ничего другого не сказала ему эта надпись. Лишь через 10 месяцев имя этого безвестного русского разъезда облетело весь мир: сюда пришли парламентёры генерала Паулюса — сложить оружие Шестой германской армии.)

Разъезд был как разъезд, а в ту минуту и уныло безнадежный. Весь состав стоял на дуге единственного разъездного пути, оставляя главный путь свободным. Ни единой души и никакого движения не было ни на его путях, ни у станционных построек. Нержин доспотыкался до главного домика, вошёл с единственного входа. Дверь легко подалась в пустую полутёмную комнату, где опять-таки не было никого. Тогда он прошёл во вторую комнату. Здесь было одно окно, одна застеклённая от половины внутренняя перегородка, как это принято на станциях, там вглубь — опять никого, а тут — стоял обычный же станционный жёсткий диван, с мощной спинкой и широким сиденьем. На диване этом нето лежал, нето полусидел, но занимал его в длину весь и спал — мужчина в кожане, и густо храпел. Он был попереёк себя шире, был одет, наверно, в два кожане, а поверх всего

туго перепоясан толстым кушаком. На ногах его, и посверх колен, были высокие валенки, с подошвой длиною в локоть. На голове — шапка-ушанка, и уши её стянуты через подбородок кожаными шнурками. Руки в малицах спящий сложил на животе. В такой одежке ему совсем и не надо было заходить в помещение — он не замёрз бы и снаружи. Ничто не выдавало бы в нём железнодорожника, если б из кармана верхнего кожуха, такого же тёртого и тёмного, как он сам, не торчали бы свёрнутые вместе красный и жёлтый (вылинявший зелёный) флажки.

Дверь перегородки была заперта. Нержин постучал — никто оттуда не откликнулся, мёртвый стоял там телеграфный аппарат. Нержин вышел вон, обогнул дом, где была тропочка, стучал ещё в одно окно — и никто не отозвался. Пришлось вернуться назад. С шумом стукнул об пол тяжёлой урной для мусора — спящий не шелохнулся. Потянул, подёргал его за плечо — никакого впечатления. Несколько раз нарочито хлопнул дверью — храп стал даже сильнее. Тогда Нержин положил мусорную урну боком вдоль дивана, сел на неё и стал ударять спящего ногой в валенок, всякий раз после удара принимая посторонний вид, будто охранял сон, а не будил. После какого-то из ударов второго десятка спящий раскрыл глаза — сперва они показались маленькими, а потом раскрывались всё больше, и в них появилось что-то очень знакомое, недавнее знакомое лицо. Глеб всматривался, пытаясь понять эти глаза, и вдруг его осветило: в этих спокойных, покорных, добрых глазах было что-то терпеливо-лошадиное.

Как Нержин сидел с равнодушным лицом, будто был непричастен ко взбудку, так и старик ничуть не удивился, увидев, что солдат сидит вплотную к нему. Долго рассматривал его, не шевелясь, потом крякнул, откашлялся и медленно спустил ноги на пол, а спиной всполз по спинке дивана. Потом ещё минут пять молча смотрел. Потом отвернул полу первого кожуха, потом второго, достал из кармана кусок хлеба, завернутого в цветастый нечистый платок, и маленький кусок сала. Из другого кармана вытянул складной нож с деревянной ручкой. Всё это у себя на коленях расположил. Стал отрезать ломтиками и то и другое. И есть.

Голод охватил Глеба с новой острой силой, и он приступил к разговору с поспешностью:

— Скажите, папаша, вы — здешний работник?

Не переставая жевать, старик-железнодорожник отрицательно замычал:

— М-м-м-м.

— А где же мне найти служащих разъезда?

Прочищая ли зубы после еды, старик прочмокал:

— Ц-ц-ч-ц?

Нержину вскинулось, что старик, может быть, немой? Но тот разоблачил это подозрение, ибо вытер толстые губы и спросил:

— Что, солдатик, курить нечего?

Нержин уже был сильно сердит на старика, а табачок-то его весь ушёл к машинисту, совсем малость отделил, ещё пригодится.

— Не курю, папаша.

Щёки и подглазья у старика обвисали мешками:

— Гм. — Помолчал. — Не куришь. — Ещё помолчал. — И какой же ты тогда солдат?

А улыбка вышла хорошей, и Нержин уже пожалел, что не угостил его.

— Скажите, товарищ, к кому же мне обратиться? Мне надо срочно уехать.

Старик всякий раз начинал говорить не сразу, будто слова рождались у него где-то в животе и им нужно было осязаемое время, пока они доползали до рта. Выпустив несколько слов, он замолкал, немного дёргал щекой, будто говорить ему причиняло боль, потом выпускал ещё несколько слов:

— Обратиться? К кому? Да к кому ни обращайся. Всё равно не уедешь.

— Как не уеду? Но мне нужно срочно! Я еду в командировку! Я ни одного часу не могу тут оставаться!

— Э как. Скорый какой. Мне вот, по годам, нужно на печке лежать. А я, видишь. Тут вот.

— Ну хорошо, если вы не можете мне помочь, так кто же может, скажите? Что это за разъезд такой, что никакого начальства нет?

Старик фыркнул, даже обиженно:

— Разъезд? Нет, браток. Разъезд ты не кори. Разъезд это сила. Ты думаешь, разъезд это что? Так себе? Не-е-ет.

Ещё из какого-то кармана он неторопливо достал кусок мела, с трудом нагнул его вперёд, сильно закричав, так был запеленут, даже казалось, что весь сейчас свалится на пол. Нет, не свалился. И на свободном месте пола стал чертить.

— Вот тебе задача. Разъезд. Так? А ты, скажем, на нём начальник.

Начертил на полу линию общего пути, которая раздваивалась на две дуги, а потом опять они смыкались.

— Вот ты теперь мне и размини. Размини два поезда. Паровоз на каждом впереди. А хвосты длинней, чем путя. У каждого. Понял?

Он прищурился хитро и откинулся назад, довольный задачей.

— Вот и решай. Решишь — другую дам. Смотришь, время и обернётся.

Но Глебу было не до задачи, и так уже сколько потеряно. Немышленно для себя он повысил голос и стал говорить со стариком, как если б тот был глух.

— Задачу я вашу потом решу. Вы мне скажите, как мне уехать? Тут поезда останавливаются?

Старик как бы обиделся, что солдат пренебрег его задачей. И ответил неохотно:

— Какой же дурак тут остановится? Вот ты и показал, что ничего в разъезде не понимаешь.

— А что?

— Чтоб из-за тебя одного всё движение застопорили? Приткний, однако. Если стрелка занята, чего ж ты хочешь?

— Какая стрелка?

— Какая. А говоришь разъезд. Вон поезд одну стрелку занял, не видал? Стоит там. Пойди посмотри.

— Да что ж мне его смотреть, когда я в нём и приехал? — Нержин, не замечая, кричал всё сильнее глухому.

— А кричишь-то. Кричишь-то зачем. Что ты за начальник?

— Простите. Я...

— То-то. Простите. Молод ещё. У меня внуки старше.

Но, видя смущение солдата, старик лукаво усмехнулся:

— Где ж ты там ехал, пёсий сын. Теплушек-то нет.

— А вы что, ходили-смотрели?

— Чего ж мне смотреть, я знаю. Я от Арчеды его веду.

— Так вы что, кондуктор этого поезда? — только тут догадался Нержин.

Старик поднял палец:

— Старший кондуктор! Старший.

Нержину стало приятно: как будто оказались с ним родственники или в одну беду попали.

— Папаша! А когда ж наш поезд пойдёт?

Старший проводник молитвенно развёл руками, на которые уже успел натянуть рукавицы, меховые внутри, а снаружи кожаные, измызганные мазутом.

— Никому не ведомо.

— Ну как не ведомо? Часов через несколько может уйти?

Старик повёл огромными клочкастыми седыми бровями:

— Дадут паровоз — уйдёт.

— А откуда его должны дать?

— А это уж. Где найдут.

— А если не найдут?

— Не найдут? Так и неделю тут стоим.

На лице у старика, видно полсотни лет послужившего по железным дорогам, было написано глубокое почтение перед стихиями их. Как у первобытного жреца перед волей богов.

И у Нержина — захолонуло сердце.

— Так что ж, я не уеду, что ли? Тогда буду ловить другой поезд.

— Какой другой?

— Какой остановится.

— Вот не хотел задачу решать. Как же теперь другой может остановиться? Никак.

— Почему?

— Да что ж, всё движение для тебя закрыть? Если ещё один остановится — значит, вся линия закрыта?

Ещё больший ужас защемил Нержина: так он — совсем в капкане? Он только теперь понял. Всё, что он спешил, гнал — всё зря? Теперь здесь, на нетопленном полустанке и без продпункта, он может просидеть несколько дней.

А старик потерял к нему интерес. Он задумался о своём и замер, глядя в тёмный угол комнаты. В подтверждение слов его за окном прогрохотал без остановки встречный поезд.

— А сколько тут осталось до Сталинграда?

Старик не отвечал.

— Папаша, сколько осталось?

— А?

— Осталось, говорю, сколько?

— Чего это?

— Ну, расстояние какое осталось? Пути сколько?

— Куда это?

— До Сталинграда.

— А.. От поворота двадцать одна верста.

— От какого поворота?

— А вот направо сходи по путям, увидишь.

Старик закрыл глаза, приготовился опять спать.

Нержин с досадой покинул его и пошёл искать ещё кого-нибудь: какой-то же начальник, дежурный должен тут быть? Хотя в чём же он поможет, если поезда не могут останавливаться?

И встретил: женщина в железнодорожной фуражке поверх вязаного платка, с флажками и ведром по хозяйству. Видно, пропускала поезд. Нержин приступил к ней с настояниями и мольбой — она, затруженная, усталая, только и подтвердила всё, что сказал старик. А ещё: что по ту сторону путей, за километр от них, какой-то маленький военный аэродром и оттуда через полчаса пойдёт грузовик в Сталинград. Может, если срочная командировка, согласятся посадить.

Ещё бы не срочная! Мешок за спиной, а портфель прижавши к боку, побежал Нержин по снежной целине.

Ну и мороз же был! — совсем не мартовский. Ста шагов не пробежал, как что-то колкое неуклюжее влезло в горло и распёрло его — нельзя бежать! Пошёл шагом, по худой тропинке, и иногда глубоко проваливаясь. Облака чуть растягивало, проглядывало солнце — а позёмка тянула, не утихала.

До аэродрома добрался обезсиленный, и уже снег в сапогах. Действительно, собирался отходить открытый грузовик, и человек пятнадцать бойцов ждали его, а по утопанному месту близ двух небольших самолётов расхаживал стройненький младший лейтенант кавказской наружности с аккуратными усиками и бил себя по голенищу тросточкой «память Кавказа». Всё было готово, но машина не заводилась. Не по морозу вспотевший шофёр то крутил ручку, то нырял под колёса, то лез в кабину, а ручку крутили ему бойцы, — но мотор даже не клохтал.

Младший лейтенант был сердит и взать постороннего солдата не хотел, допытывался, что за срочная такая командировка, что нельзя на полдня опоздать, Нержин готовился показывать бумаги, а сверх того врать, — как у разъезда услышал гудок подходящего поезда. Обернулся — боясь того, чего только что сверляще желал: чтобы поезд не оказался в Сталинград и не остановился. Но он оказался именно в Сталинград и замедлил ход — и размеренно, с достоинством остановился.

Что делать?? Нержин заметался.

Машина не заводилась.

А поезд — не уходил!

И Нержин — бросился снова через степь, стараясь меньше глотать невыносимо колючий воздух и от этого рывками вдыхая его ещё глубже, ещё больней.

Откуда-то отскочила пуговица. Оторвалась ручка портфеля — семь лет не отрывалась, нашла время! Скомкались портянки в сапогах — солдат! Вот так бы учили бегать на ГТО\*! Уже с половины пути ноги совсем не поднимались, хотелось лучше лечь на снег. Казалось Нержину, что он почти не подвигался, свежий человек быстрее бы шёл, чем он бежал. Улучил оглянуться: нет, аэродром уже далеко.

А поезд — вопреки всем верованиям старика, объяснениям женщины и великому неведомому разуму железных дорог — стоял! Запирая всю магистраль Поворино — Сталинград для одного Нержина!

Грудь раскалывало от ввалившейся туда огромной колкой груди мороза. Глеб молился на паровоз: родненький, не уходи! Паровоз насмеялся, выпихивая кверху острые струйки пара: «Пай!-ду! Пай!-ду!» И, подпустив Нержина уже метров на сто, — завыл гудком, залазгал вагонами. Потянул. Но медленно, очень медленно. Лишь постепенно разгоняясь.

Нержин — бежал! бежал! Поезд — длинный, конца хватит — лишь бы не так разогнался. А перед самым полотном ещё пришлось нырнуть в канаву, занесенную снегом, а потом взобраться на кручу. Нержин взобрался уже на четвереньках по ней, дрожавшей от трясения, и ему казалось, он вообще не разогнётся от слабости. Но его обдал ветер из-под колёс и как придал ему сил. Он увидел открытую платформу с камнями, на ней много людей — и вот подходила задняя лесенка, не такая уж высокая. Глеб — взмахнул, бросил драгоценный портфель туда, к людям на камни, и, схватившись за поручень лесенки двумя руками вместе, — пробежал несколько шагов с поездом, взметнул ноги, что оставалось силёнок, на уровень живота — и навалился грудью на нижнюю ступеньку. Какая-то женщина закричала с ужасом, будто он или сама она попала под поезд — и в тот миг Нержин почувствовал на спине ещё вытягивающую силу — и, наверно, прерва-

---

\* «Готов к труду и обороне» — молодёжный спортивный значок, на который нормы сдавались в обязательном порядке.

лось сознание, потому что не подряд всё помнил, потому что вот он уже лежал навзничь на неровных булыжниках, камни толкались на подрогах, а под ними подрагивали колёса. А рядом вокруг ничего не видно, и неба не видно — всё в белом дыму. Нет, в паровозном густом пару, который протягивался через всю платформу, окутал.

А когда пар протянулся — то рядом увиделся седой старик — с совершенно древнерусской длинной бородой, но неодряхлевшими крепкими чертами лица.

Первая мысль Нержина была — ноги? И когда увидел свои целые ноги, то улыбнулся от счастья. И тогда вторая мысль: еду!! И третья: а портфель где? Четвёртая: зачем платформу нагроузили камнями? неужели не нашлось более нужного груза? И наконец: какое хорошее лицо у старика.

Он был в овчинном нагольном полушубке, лаптях и онучах. А глаза — голубые выцветающие, очень ясные. А брови — седорусые.

Он странно смотрел на Нержина, будто за что-то прощал. И когда увидел, как тот оглядел свои ноги, сказал:

— Крепко ж за тебя молятся, несмышлёныш. Счастлив твой Бог.

И через десяток толчков платформы, когда соседи, из рук в руки, и портфель ему передали, спросил:

— И куда эт' ты так спешишь неразумно?

Нержину трудно было говорить, так заложило горло. Да и трудно ответить, правда: куда ж он так спешил? В артиллерию? Не опоздать из командировки? Ответил уклончиво:

— В часть.

Старик подумал над таким ответом и покачал головой.

Вокруг на холодных и острых камнях угнездились бабы с мешками, больше старые. Они тоже поохивали, глядя на лихого солдата.

А над платформой свистел морозный ветер, иногда и с сыростью пара — и люди умащивались в своих найденных ямочках, заслоняясь от ветра мешками, или прижимались друг ко другу спинами, боками, чтобы было теплей, горбились в тулупах и плат-

ках, — и казалось, будто все опустили головы под тяжестью своих дум. Да сколько ж они перегонов уже проехали так? Вот как осталось ездить простому народу. Сколько Нержин уже перепробовал по пути, а таким способом ещё не ездил.

А старика, который спас его, не догадался имени спросить. Уж потом — потом сообразил — и занёс его, безымянного, четвёртым в свой золотой список.

А всего-то на этой платформе пришлось Нержину проехать ровно один пролёт, так что и продрогнуть не успел. Следующая оказалась немалая станция Гумрак. От поезда отцепили паровоз, крестьяне рассыпались по станции, и Нержин пошёл промышлять поезд на Сталинград.

.....  
.....

[обрывается]

## ИЗ ГЛАВЫ ШЕСТОЙ

.....  
В штабе Округа — только не кланяться, не выглядеть просителем! В вестибюле, где приём пакетов, бумаг, — через окошко, изнутри, не видно короткой изжёванной и уже сильно измазанной шинели. А будёновка — это вполне ничего. Заложив, приаккуратив её уши, Нержин склонился к окошку. Среди обозных страдал он от своего городского языка, а вот тут — как раз подойдёт:

— Так, товарищ! У меня, вот, срочный пакет к капитану Горохову. Передать лично и конфиденциально!

Расчёт был правильный: ...ально? официально? или чёрт там разберёт, но шибко грамотный солдат, не путаться с ним.

И сразу дал пропуск.

Быстро по лестнице, пока тот не передумал. Комната №... «Отдел командирских кадров». Сразу в дверь. А это — только приёмная. Двое командиров сидят, ждут. А за секретарским столом — сержантик. Ему повторил и надпись на пакете показал:

— Очень важно и срочно.

Опасный момент — только пока пересидеть вот этих командиров, чтобы кто не успел отсюда завернуть. Нервно сидел, минут двадцать. За это время подошёл ещё лейтенант, ещё капитан, но сержантик признал очередь:

— Пройдите.

Там Нержин вытянулся, козырнул, как умел, — и сразу про письмо.

Капитан Горохов, светловолосый, высокий — даже за столом сидя, — только услышал фамилию лейтенанта Титаренко — сразу улыбнулся:

— Давайте! — Разрывал конверт: — Вот оно что! Вот какое дело! Садитесь.

Читал письмо. Нержин не дал себя уговаривать — сел, чтоб изжёванной полы не видно. А пакет положил на угол стола.

Горохов:

— Скажите ему: исхлопочу назначение немедленно! Пусть не сомневается, ждёт!

Исчерпано?

Но, видя такое весёлое расположение, Нержин не стал ещё один раз вытягиваться, а сидя, и как разумному же человеку тоже разумный: кончил физмат... прошусь в артиллерию... тоже пропадаю в обозе.

Капитан Горохов поднял карандаш к зубам, в короткой задумке:

— Я бы охотно. Но артиллерией не распоряжаюсь.

Упало сердце.

А Горохов с весёлым взглядом:

— Ладно. Выпишу вам личный пропуск в штаб артиллерии. К майору Чубукову.

Внушительный пропуск выписал сержантик, и Горохов подписал, и какую печатищу шлёпнули.

Теперь — бодро, уверенно, от здания к зданию — уже на проходной никто не задержит! Хоть и с драным портфелем.

А в приёмной майора Чубукова — сердце упало мягко: на всех ожидающих командирах петлицы были заветные чёрные и с завидными скрещенными пушечками. И Нержин — удостоен сидеть среди них? Робко сел в уголке, припрятывая полу шинели, испачканную на паровозе.

Командиров было человек пять, очередь шла больше часу. Но теперь Глеб сидел уверенно.

Майор Чубуков, с такими же петлицами и пушечками, черно-волосый, невысокий, не быстрый, выслушал внимательно. Университетского аттестата на руках нет, дома остался, но Чубуков сразу поверил.

Подумал.

Думал.

И — как-то ласково:

— Да пожалуй, не в училище ж вас теперь посылать, только время вам терять. А pošлю-ка я вас сразу в АКУКС.

Что-то — очень, страшно важное.

Артиллерийские Курсы Усовершенствования Командного Состава.

— Там есть курсы командиров батарей, подучиваются, кому науки не хватило. А вам будет легко, там одна математика.

И тут же — заказал секретарю: писать направление.

Чудо! чудо! — и так легко совершилось? (Да и все ж чудеса — легко, в том и чудеса.)

Только маленькая оговорочка:

— Направление-то я вам даю, но открепить от батальона не имею права: рядовыми — штаб Округа не распоряжается.

Э-э-э-э, вот ещё что...

Но записал в золотой список: Капитан Горохов! — Майор Чубуков!

Ещё — финчасть осталась, но там дело простое.

А в Сталинграде — что смотреть? нечего и смотреть, город как город. Скорей опять на вокзал, ловить обратные поезда.

.....  
.....

[обрывается]

.....

Лейтенант Титаренко очень остался доволен, как Нержин выполнил поручение и как капитан Горохов обещал совсем вскоре забрать его в мотопехоту. А над бумагой майора Чубукова удивлённо крутил головой:

— Как же это может быть: рядового — и сразу на курсы усовершенствования командиров батарей? Они же все — старшие лейтенанты да капитаны, с какой ты будешь стороны при них? Это — мудро что-то. Они тебя не примут.

И чудесная бумага со штампом Управления артиллерии штаба Округа, которую Нержин с таким ликованием вёз, — теперь в глазах его припомеркла. Но лишь чуть: ведь знал же майор Чубуков, что подписывал. А Нержин — что там мог трудного встретить в баллистических параболах? Да чепуха.

Но и ещё препятствие напоминал Титаренко:

— Теперь — как командир батальона.

В величии и высоте штаба Округа эта оговорка Чубукова казалась мелкой. А вот тут, в штабе обозного батальона, вдруг предстала крупно осязаемой.

А командир батальона и комиссар минут за пятнадцать перед тем прошли в свой кабинет через общие комнаты, под грохот писарского вставания и приветствий. Время к ним и идти.

— Ещё может тебя и не принять, — сказал Титаренко: — Ведь докладывать надо через командира взвода, роты.

— Так они ж на Хопре!

Через Бранта Нержин легко бы доложил, а через того командира роты и не пройдёшь.

— Ладно, пиши рапорт, — дал Титаренко лист. — Командиру батальона. Прошу откомандировать меня... согласно направлению штаба артиллерии Округа...

Нержин написал.

— Так. А направление штаба оставь у меня, целей будет.

— Так он же без него не поймёт...

— Ничего. Меня вызовет — я подтвержу.

И распорядился: дежурному по штабу доложить о Нержине.

Впустили. В новом бушлатике он себя поворотливым чувствовал, а шинель оставил на стуле.

Довольно просторная была комната, где за двумя столами у разных стен сидели два подполковника — для обозного батальона невиданные чины, но в штабе Округа в одной очереди с Нержиным сидели и повыше. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться!» — это Нержин усвоил, но пройти через полкомнаты чеканным шагом и чётко взять руку — это не получилось, как и перед Гороховым, как и перед Чубуковым. Но те простили.

Командир батальона был седой и расслабленный, а по лицу же сразу видно, что глупо вздорный, бывают такие старики. А по расплывчатому белому лицу комиссара не пришлось и взглядом протиснуться, ничего там не было.

Быстро выговорил: высшее математическое образование, направление штаба артиллерии, прошу откомандировать, — ещё шагнул и положил командиру батальона рапорт.

Седые космы командира батальона даже какие-то бабьи были. Сколько военных лиц повидал Нержин за поездку — ну ничего военного в этом лице не было. Стал читать рапорт с каким-то прищуром, и медленно, как неграмотный.

А пока читал — сбоку комиссар тоже каким-то бабьим голосом, вкрадчиво:

— А почему это вы не хотите служить там, где вас поставила страна?

Покосился Нержин на его укус:

— Я думаю, я больше принесу пользы при моих математических знаниях...

— Вы этого не можете знать, — возразил комиссар всё с тем же ехидством. — Командование знает лучше вас.

От комиссара ли или из рапорта — за это время командир батальона усвоил — и разразился сразу криком, но тоже старчески-бабьим:

— Что это за рапорта такие?! Почему не по команде?! Почему минуете? Что вы из себя возомнили?..

И, чувствуя ли, что нестрашно получается и солдат не напугался, — порвал рапорт дважды и метнул клочки — на пол и себе же на стол.

— Отправляйтесь немедленно во взвод, на своё место! — брызгал. — А если ещё раз не по команде... Посажу на гауптвахту. Кругом, марш!

Нержин был совершенно изумлён — и особенно тем, что тут не принимали логических аргументов. Он легко бы мог убедить этого инвалидного подполковника — однако если б тут слушали аргументы!

— Но позвольте... Но ведь в штабе Округа всё взвесили и учли... Но ведь бессмысленно держать меня при обозных лошадях, когда...

Апеллировал ещё раз взглядом к комиссару — а там была замкнутая кислятина.

— Не разговаривать! — истошно кричал командир батальона, как дорвавшись до главного своего врага. — Сказано: кругом марш! Сейчас сразу посажу!!

И ничего ведь не оставалось! — ничего не оставалось, как — да, кругом (уж как там кругом) — и ушагать от них.

И — к начальнику штаба. (Хорошо хоть, следом не выскочили.) С горем.

Но Титаренко не приуныл. Новый лист протянул, близ себя посадил:

— Пиши такой же рапорт опять.

Ещё не успев упасть в мрачную пропасть — Нержин написал второй такой же.

— А теперь — скройся на полчаса. И приходи ко мне. Оставь портфель, не тащи.

Нержин пошёл скитаться за сараями и вне двора. Что за идиотство? После такой блистательной победы, уже у цели — и сорваться на дерьме? И оставаться в обозе?.. Устраиваться санинструктором? О, как это всё было мерзко и гадко.

Прошло больше получаса — осторожно вкрался в штаб, не попадаться подполковникам.

Титаренко ухмылялся:

— Вот твой рапорт.

Размашисто кося была в углу подпись командира.

И уже поднесли начальнику штаба с другого стола со штампом батальона новое командировочное красноармейцу Нержину: в город Семёнов Горьковской области, на курсы усовершенствования командиров батарей.

— Да как же вам это удалось??

Тихо смеялся Титаренко:

— Набрал ему разных десять бумажек и листать ему не дал, только угол отворачивал для подписи. А ему — как раз на обед пора, он и подмахнул.

Уже нёс писарь и распоряжение на продпункт: сухой паёк на три дня.

А дальше-то Нержин теперь и вперёд видел — все эти станции, и все продпункты, и все теплушки, и паровозы, и платформы — все его. И маршрут ясен — через Москву и Нижний Новгород. Но теперь — не неделей пахнет. (Только не знал, что на подножке пассажирского поезда проезжающего авиационного завода Баку — Москва окажется в кондукторской форме один студенческий приятель и впустит его в фантастический мир благополучного закрытого вагонного быта. Только не знал, что в Нижнем Новгороде пойдёт хоть на полночи согреться в театре, уж до утра как придётся, — и ещё один ростовский студенческий приятель встретится там и уведёт досыпать до рассвета в студенческое общежитие. Все кольца жизни перемешались, наложились.)

Вернул Титаренко драгоценное чубуковское направление:

— Прячь в портфель подальше — и исчезай, пока цел. Счастливого.

А — самому Титаренко? Что с ним потом?..

.....  
 .....

[обрывается]

## ИЗ ГЛАВЫ СЕДЬМОЙ

.....  
Розовым обнадёжливым морозным утром Нержин, безсонный, но с чувством достигнутой победы, слез с паровозной сплотки, довольно намахавшись подбросом берёзовых дров с тендера, — и, пошатываясь, в своей короткой изжёванной шинели и с облезлым портфелем в руках, пошёл по малолюдному перрону станции Семёнов.

Уже три недели от обоза он только ездил-ездил, но наконец добрался до курсов командиров батарей. Наконец он был в артиллерии! Через полчаса будет в ней!

— А ну-ка! — скомандовал ему какой-то рослый старшина. И посмотрел люто: — Пойдём!

— Куда? Зачем? — удивился Нержин.

— Пойдём, сказано! — командовал. — Да быстро!

— Ку-да?

Подошёл угрожающе:

— Я — ска-зал. Сейчас в зубы получишь. Иди.

Как же тут объяснишься? — пришлось с ним пойти.

Вошли в станцию — свернул к двери с блеклой надписью ТОГПУ.

Это Нержин понимал, часто прежде на станциях видел, не слишком вникая: Транспортный отдел ГПУ. Но — какое отношение имеет к нему?

Там сидел за столом ещё такой же дюжий. Старшина скомандовал у скамьи:

— Положи портфель, гадина. Положи мешок. Три шага назад! Нержин изумлённо отшагнул.

— Сразу говори: из Унжлага?

— Простите, не понимаю вас.

— Чего не понимаешь? Откуда шинель взял? Будёновку? Где документы?

— В портфеле.

— Стой так! — Старшина сел на скамью, отстегнул портфель, нашёл в картонной обкладке хранимые документы — стал читать молча.

Потом недоумённо поднёс тому, за столом. И тот читал.

— А когда ты приехал, чем?

— Сплоткой паровозной.

— Откуда?

— Из Горького.

Ещё несколько вопросов на проверку.

Отпустили нехотя:

— Ладно, иди, и не попадайся больше.

.....  
.....

[обрывается]

[Дальше был план: Курсы АКУКС в Семёнове — «Без звания» среди лейтенантов-капитанов. — Майор Кожевников и направление в 3-е ЛАУ. — Там. Уровень юношей. Воспитание жестокостью. — Полевые учения, скудость костромских деревень. — Приказ № 227. — Запасной артиллерийский разведывательный полк. — В дивизион прибыли новобранцы. — Слаживание дивизиона. — Доброхотов-Майков, Пашкин. — Лейтенанты Овсянников, Ботнев. — Северо-Западный фронт. — переброска на Брянский. — Стояние под Новосилем. — Орловская битва. — Взятие Орла...]

1948, Марфино

1958, Рязань



## КОММЕНТАРИИ

## ДОРОЖЕНЬКА. ПОВЕСТЬ В СТИХАХ (С. 7)

Над «Дороженькой» Александр Солженицын работал с 1947-го по 1953 г. — сперва в Марфинской спецтюрьме, где его продержали почти три года (9 июля 1947 — 19 мая 1950), затем в Экибастузском особом лагере, где он отсидел ещё два с половиной года (20 авг. 1950 — 13 февр. 1953).

Оказавшись в Экибастузе, А. С. старался выбирать общие работы — был каменщиком и литейщиком, лишь бы не забивать голову хитрыми расчётами и комбинациями в надежде уклониться от тяжёлого физического труда.

«А очищенная от мути голова, — объясняет он в «Архипелаге ГУЛАГе», — мне нужна была для того, что я уже два года как писал поэму<sup>1</sup>. Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом. Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и образов, будто несло меня над колонной по воздуху, — скорей туда, на объект, где-нибудь в уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив» (Т. 6. С. 92)<sup>2</sup>.

Сочинять в лагере А. С. мог лишь устно. Обычно, составив в уме до 20—30 строк, он скрытно записывал их на клочке бумаги, тут же отделял, затем учил наизусть. Чтобы не оставлять улики, рукопись обязательно сжигал.

«А с клочками несожжёнными медлить было нельзя, — рассказывал А. С. — Три раза я крупно с ними попался, и только то меня спасало, что самые опасные слова я никогда не вписывал на бумагу, а заменял прочерками. Один раз я лежал на травке отдельно ото всех, слишком близко к зонному ограждению (чтобы было тише), и писал, маскируя свой клочок в книжице. Старший надзиратель Татарин подкрался совсем тихо сзади и успел заметить, что я не читаю, а пишу.

— А ну! — потребовал он бумажку. Я встал, холодея, и подал бумажку. Там стояло:

---

<sup>1</sup> Поначалу автор называл свою большую лагерную вещь поэмой. И ещё в 1974 г., издавая книгой главу «Прусские ночи», в подзаголовок вынес это жанровое определение: поэма. Но уже в 1976 г., публикуя отрывок из той же большой вещи, определил её жанр иначе: стихотворная повесть.

<sup>2</sup> Ссылки на вышедшие тома настоящего издания (*Александр Солженицын. Собр. соч.*: В 30 т. М.: Время) даются в скобках с указанием только тома и страницы, ссылки на настоящий том — с указанием только страницы.

Всё наше нам восполнится,  
Вернётся нам в отдар.  
Пять суток пеших, помнится,  
Из Остероде в Бродницы  
Нас гнал [конвой] к[азахов] и т[атар].

Если бы “конвой” и “татар” были написаны полностью, поволок бы меня Татарин к оперу, и меня бы раскусили. Но прочерки были немь:

Нас гнал — к — и т —.

У каждого свой ход мысли. Я-то боялся за поэму, а он думал, что я срисовываю план ограждения и готовлю побег. Однако и то, что нашлось, он перечитывал, морща лоб. “Нас гнал” уже на что-то ему намекало. Но что особенно заставило его мозг работать, это — “пять суток”. Я не подумал даже, в какой ассоциации они могут быть восприняты: пять суток — ведь это было стандартное лагерное сочетание, так отдавалось распоряжение о карцере.

— Кому пять суток? О ком это? — хмуро добивался он.

Еле-еле я убедил его (названиями Остероде и Бродницы), что это я вспоминаю чьё-то фронтовое стихотворение, да всех слов вспомнить не могу.

— А зачем тебе вспоминать? Не положено вспоминать! — утрюмо предупредил он. — Ещё раз тут ляжешь — смотри-и!..» (Т. 6. С. 94—95).

Ещё дважды попадали в руки надзирателю и даже начальнику смены не сожжённые вовремя стихи А. С.: из пьесы «Пир победителей» и из «Прусских ночей» (девятой главы «Дороженьки»). С «Прусскими ночами», по словам автора, было так:

«Начальник смены, вполне грамотный старший сержант, прочёл.

— Что это?

— Твардовский! — твёрдо ответил я. — Василий Тёркин.

(Так в первый раз пересеклись наши пути с Твардовским!)

— Твардо-овский! — с уважением кивнул сержант. — А тебе зачем?

— Так книг же нет. Вот вспомню, почитаю иногда» (Т. 6. С. 96—97).

Всего А. С. вынес из лагеря в памяти 12 тыс. строк. Больше половины, около 7 тыс. строк, пришлось на «Дороженьку».

Товарищ А. С. — Д. М. Панин, этапированный вместе с ним из Марфина в Экибастуз летом 1950 г., вспоминал:

«С наступлением тепла (т. е. весной 1951 г. — В. Р.) Солженицын начал читать наизусть своё первое произведение — поэму “Дорога”. Мы собирались под вечер, рассаживались на телогрейках на подсохшей земле и с восторгом слушали. <...> Чтобы не сбиться и ничего не пропу-

стить, Саня откладывал каждый стих на чётках, которые ему подарил кто-то из западных пареньков<sup>3</sup>.

Лет через семь, уже после ссылки, когда Саня проездом был в Москве, я спросил его о судьбе первого детища. Он ответил, что далеко ушёл вперёд, видит в поэме ряд недостатков, в частности растянутость, повторы, и собирается её переделать. Я горячо уговаривал оставить всё как есть, не трогать экибастузский вариант и создать, если у него есть потребность, другую поэму по канонам книжной поэзии пятидесятых годов нашего века. Я крайне огорчён, если он не внял моему совету и уничтожил подлинник уникального и неповторимого памятника тех каторжных лет, переливающегося для меня красками молодости, силы и душевной чистоты»<sup>4</sup>.

Осенью 1953 г., отбывая ссылку в казахском ауле Кок-Терек, А. С. впервые записал целиком хранившуюся в памяти поэму. В стихотворении «Над «Дороженькой»» (1953), обращённом к самой поэме («Дочь моя! Душа моя!»), автор объясняет, что не может привести в дом женшину из опасения, что она станет его поэме не матерью, а мачехой:

Я боюсь, она изменит наш обычай,  
Длить беседы нам вечерние не даст <...> (с. 245).

Вечерние беседы — это, по-видимому, не только припоминание и запись готовых стихотворных глав, но и одновременная их доработка.

В конце декабря 1953 г., перед отъездом в раковую клинику в Ташкент, никак не рассчитывая на исцеление от своей запущенной безнадежной болезни, А. С. закопал рукопись в бутылке из-под шампанского у себя на огороде.

В 1959 г. в Рязани автор перепечатывает «Дороженьку» на машинке. В машинописи он предварил подчёркнуто ритмизированную одиннадцатую главу «Дым отчества» нотной записью, но тут же от неё отказался.

В сентябре 1965 г., после захвата сотрудниками КГБ части архива, А. С. сжёг рукопись «Дороженьки». Но хранившаяся у друзей единственная к тому времени машинописная перепечатка уцелела.

Поначалу поэма называлась «Шоссе Энтузиастов» — по московской улице (до 1919 г. Владимирское шоссе), переходившей за городской чертой в дорогу на Владимир — памятную Владимирку, по которой с XVI в. отправлялись из Москвы, чаще всего в Сибирь, арестантские этапы. Только дворя-

<sup>3</sup> О технике запоминания, которой пользовался А. С., см. в этом томе стихотворение «Хлебные чётки» (с. 230) и примеч. к нему (с. 482—483).

<sup>4</sup> Д. М. Панин. Лубянка — Экибастуз: Лагерные записки // Д. М. Панин. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Радуга, 2001. С. 287—288.

не и бывшие офицеры могли ехать на лошадях. Остальных, приковав наручниками по 8—12 человек к толстому железному пруту, гнали пешком.

След первоначального заглавия сохранился в тексте:

Морошка под тундрным настом,  
Болотных повалов ржа... —  
«Шоссе Энтузиастов» —  
Владимирка каторжан!.. (с. 203)

Это заглавие продержалось долее четверти века. Так, публикуя в 1976 г. отрывок из главы «Дым отечества», автор уточнил: «из стихотворной повести “Шоссе Энтузиастов”»<sup>5</sup>.

Комментарием к окончательному названию воспринимается загадка, которую загадал в «Августе Четырнадцатого» (1937, 1969—1970, 1976, 1980) «звездочёт» Павел Иванович Варсонофьев: «Кабы встал — я б до неба достал; кабы руки да ноги — я б вора связал; кабы рот да глаза — я бы всё рассказал» (Т. 7. С. 376). И его же отгадка в самом конце «Апреля Семнадцатого» (1984—1989): «Это — дорога. <...> Дорога, что есть жизнь каждого. И вся наша История. Самое каждодневное — и из наибольших премудростей. На один-два шага, на малый поворот каждого хватает. А вот — прокати верно всю Дорогу. На то нужны — верные, неуклончивые колёса» (Т. 16. С. 532).

Многие обстоятельства, впечатления и мысли, закреплённые в поэме, позже будут использованы автором в его прозе.

Три фрагмента «Дороженьки» были напечатаны по отдельности (об этом — в пояснениях к соответствующим главам).

Первая полная публикация — в сборнике: Александр Солженицын. Протеревши глаза. М.: Наш дом — L'Age d'Homme, 1999. 3 000 экз. С. 4—177.

Перепечатка (с пропусками) — в сборнике: А. И. Солженицын. Дороженька. М.: Вагриус, 2004. 7 000 экз. С. 7—208.

Здесь «Дороженька» напечатана полностью. После нее впервые опубликован отрывок, вынутый автором из главы одиннадцатой «Дым отечества» при подготовке «Дороженьки» к изданию.

Аудиокнига: Александр Солженицын. Дороженька. Стихи тюремно-лагерных лет / Читает автор. М.: ООО ИД «СОЮЗ», 2010. Общее время звучания: 6 час. 15 мин. 16 с. «Дороженька» звучит 6 час. 02 мин. 05 с.

<sup>5</sup> Вестник Русского Христианского Движения. Париж; Нью-Йорк; М.: YMCA-Press, 1976. № 117. С. 154.

## ЗАРОЖДЕНИЕ (С. 9)

Первая публикация — в газете «Груд-7» (2—8 апр. 1999).

Приметы Экибастузского каторжного лагеря, куда А. С. попадёт только в августе 1950 г., свидетельствуют о том, что «Зарождение» написано позже начальных глав поэмы.

С. 9. ...звонами подъёмов / Задолго до свету ликуют рельсы ржавые. — Прозаическая параллель — в начале рассказа «Один день Ивана Денисовича» (1959): «В пять часов утра, как всегда, пробило подъём — молотком об рельс у штабного барака» (Т. 1. С. 15).

...томительный развод. — Здесь — обыск и пересчёт лагерных бригад перед отправкой на работу за пределы лагеря.

...наша каторга / Четырежды клеймённая... — В Особых лагерях эски ходили под четырьмя номерами: на шапке, на груди, над коленом и на спине. Номера были введены взамен фамилий.

...Бушлаты чёрные, вступаем меж тулупов... — В чёрных бушлатах эски, в тулупах — конвоиры.

Портянка в инее — повязкой у лица... — Повязка, которой Иван Денисович Шухов защищает лицо по дороге на ТЭЦ, подробно описана в «Одном дне Ивана Денисовича»: «Тряпочка на случай встречного ветра у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали эски, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, по низу ушей рубезочки провёл, на затылке завязал» (Т. 1. С. 34). И дальше: «Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный оледеневший развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал» (Там же. С. 40).

С. 10. Едва уснёт — звонок!! И в ослепительно торжественной луне / Мы, как в плащах комических, выходим в одеялах. — Эту «издевательскую ночную проверку», на которую каторжники выходят из барака в одеялах, автор упоминает далее в «Пословии» (с. 208). А позже в «Одном дне Ивана Денисовича» и её впишет в череду бесконечных вечерне-ночных проверок (Т. 1. С. 109).

...бетховенское *largo*. — *Largo* (итал. — широко, протяжно) — один из самых медленных музыкальных темпов величавого, торжественно-скорбного звучания. По словам Игната Солженицына, А. С. имел в виду *largo* из 7-й фортепианной сонаты Людвига ван Бетховена.

Довлеет злота дневи... — из Евангелия от Матфея на церковно-славянском языке (6:34). В обстоятельном пересказе: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы».

*«Но и в цепях должны свершить мы сами / Тот круг, что боги очертили нам!»* — Из стихотворения В. С. Соловьёва «Хоть мы навек незримыми цепями...» (1875)<sup>6</sup>.

С. 11. *А к чуду Божьему, к неустребимой нашей памяти / Вы не дотянете палаческой руки!!!* — Сочиняя в лагере стихи, А. С. мог сохранить их только в уме. «Под конец лагерного срока, — рассказывает он, — поверивши в силу памяти, я стал писать и заучивать диалоги в прозе, маненько — и сплошную прозу. Память вбирала! Шло»<sup>7</sup>.

*...Владимиркой пройдёшь...* — Владимирка здесь: тюремно-лагерный путь, каторга. В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. называет свой первый этап после ареста из армейской контрразведки во фронттовую, от Остероде до Бродниц, «моя пешая Владимирка» (Т. 4. С. 156).

#### ВСТУПЛЕНИЕ (С. 12)

С. 12. *...Знаменья страхов потусторонних...* — приметы ГУЛАГа.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ. МАЛЬЧИКИ С ЛУНЫ (С. 13)

В основе главы — лодочное путешествие друзей студентов, А. С. и Н. Д. Виткевича, по Волге от Казани до Куйбышева (прежде и теперь Самара), продолжавшееся три недели — с 29 июля по 18 августа 1939 г.

Название главы объясняет реплика лохматого грузчика дяди Миши, объявленного в коллективизацию кулаком и высаженного с детьми в тундру. На недоумение Сергея, центрального персонажа поэмы, он отвечает риторическим вопросом: «Ты — с луны?» (с. 21). «Свалился (упал) с луны» говорят о человеке, который не знает того, что известно всем и каждому.

Товарищ А. С. по заключению, Л. З. Копелев, свидетельствует, что автор писал эту главу («большую автобиографическую поэму-повесть о том, как он вдвоём с другом плыл на лодке по Волге от Ярославля до Астрахани»<sup>8</sup>) на шарашке в Марфине.

В середине февраля 1963 г. А. С. прочёл первые две главы «Дороженьки» А. А. Ахматовой. Под 17 февраля Л. К. Чуковская записала:

«Солженицын просил Анну Андреевну прослушать его поэму, “ту, сказал он, которая помогла мне всё перенести, выжить, остаться живым”».

<sup>6</sup> Владимир Соловьёв. Стихотворения и шуточные пьесы Л.: Сов. писатель, 1974. С. 61.

<sup>7</sup> А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни. М.: Согласие, 1996. С. 10.

<sup>8</sup> Лев Копелев. Утоли моя печали. Харьков: Права людини, 2011. С. 34.

Прослушала. Он просил её дать совет: следует ли добиваться печатания или не следует?

— Я его умоляла: спросите у кого-нибудь другого! Я насчёт “печатать — не печатать” совсем не советчица. Я на это не стажировала. Я просто сумасшедшая старуха!

Ответ на свой вопрос — а какова же поэма? не в смысле печатанья, а хороша ли? я получила уклончивый. Не понравилось ей, что ли? И она не хочет признаться из уважения к автору? Нет, на неё не похоже. Ведь бранила же она мне рассказ Солженицына “Случай на станции Кречетовка” (и, между прочим, совершенно зря)<sup>9</sup>.

Рассказ «Случай на станции Кочетовка» Л. К. Чуковская называет так, как он был озаглавлен в «Новом мире» (1963. № 1). Заменить реальную Кочетовку вымышленной Кречетовкой пришлось из-за остроты протистояния «Нового мира» с «Октябрём», где главным редактором был В. А. Кочетов.

С. 13. *В двадцать лет — сопеть на крымском пляже?* — Именно столько было А. С. летом 1939 г.

*Водяной зеленоватой пылью / Обомшелую бударку обдаёт.* — Бударка — здесь: длинная и узкая лодка, нижняя часть которой выдолблена из цельного дерева, а борта нашиты из досок. Обычно длина от 4 м, ширина до 1 м, высота до 0,5 м. Лодку А. С. и Виткевич купили в Казани за 225 руб. и продали в Куйбышеве за 200.

*Примат материц, на слове не лови, / Всё же — Господи, благослови!..* — Шутка над собой, сознательным материалистом, а стало быть, безбожником, который подспудно рассчитывает на Божью помощь.

С. 14. *И деревни целые — плотами / С избами, коровами, бельём и петухами / Медленно спускаются, реку загромоздя.* — В июле 1938 г. был утвержден технический проект Угличского и Рыбинского гидроузлов на Верхней Волге. В частности, предполагалось создать в районе Рыбинска водохранилище площадью 4 580 кв. км. Под воду должны были уйти город Молога и 663 других населённых пункта. 130 тыс. человек нужно было переселить на новые места. По-видимому, вниз по Волге и спускаются плоты с этими переселенцами.

*...теченье выбивает / В мирную воложку...* — Воложка — маленький волжский рукав.

*Солнце западёт за берег горный...* — Горный берег Волги — западный, правый.

---

<sup>9</sup> Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. Т. 3. 1963—1966. М.: Согласие, 1997. С. 28.

...И огни зажгутся в белых знаках створных... — Створные знаки — береговые щиты со световыми сигналами, позволяющими сориентировать судно по оси фарватера. Имеют цвет, контрастирующий с общим фоном местности.

...бакены... — стоящие на якоре поплавки с зажигаемыми на ночь фонарями, которые обозначают границы фарватера.

Проступает точка первая Денеба... — Денеб — звезда 1-й звёздной величины, самая яркая в созвездии Лебеда. Летним вечером видна прямо над головой, близко к зениту.

С. 15. ...По воде прошлёпают неслышно плицы... — Плицы здесь: лопасти парового колеса.

В смуглых отсветах лицо Андрея... — В повести «Люби революцию» и в трагедии «Декабристы без декабря» (1952—1953) это Андрей Холуднев, литературный двойник близкого друга, а затем и однодельца А. С. — Николая Дмитриевича Виткевича (1918—1998).

...Сергей... (далее на с. 79: ...Нержин!) — Работая впоследствии над романом «В круге первом», А. С. заменил в 3-й редакции (1959) имя и фамилию автобиографического персонажа Сергея Кержина на Глеба Нержина. Та же правка была внесена в повесть «Люби революцию». И в «Дороженьке» Кержин стал Нержиным, но вписать Глеба вместо Сергея не позволял стихотворный размер.

Как давно, дружище, мы знакомы... — А. С. и Н. Д. Виткевич учились вместе со 2-го по 5-й класс и затем в 9-м и 10-м классах.

Вместе нас кружил извивами весёлыми / От Байдар к Ливадии велосипед... — Со стороны Севастополя от Байдарского перевала через главную гряду Крымских гор на Южный берег и дальше вдоль моря в сторону Ялты (Ливадия на 3 км ближе) тянулся горный серпантин. Путешествуя в студенческой компании по Украине и Крыму с 15 июля по 27 августа 1938 г., А. С. побывал, в частности, в Севастополе и Ялте. Ялта была конечным пунктом велосипедного похода.

...Подымал Военно-Грузинскую от Ларса. — Летом 1937 г. А. С. вместе с Н. Д. Виткевичем участвует в велосипедном походе по Военно-Грузинской дороге, идущей через Кавказский хребет от Владикавказа (в 1931—1944 и 1954—1990 гг. — г. Орджоникидзе) до Тбилиси (208 км). Труднее всего был подъём от Нижнего Ларса (1 076 м над уровнем моря) в Северной Осетии до Крестового перевала (2 379 м) в Грузии. Это самая высокая точка Военно-Грузинской дороги.

Вместе аттестаты понесли в Университет... — В 1936 г. А. С. был принят на физико-математический факультет Ростовского государственного университета, Н. Д. Виткевич — на химический факультет.

С. 16. *И пошли на исторический в МИФЛИ...* — МИФЛИ (Московский институт философии, литературы и истории) — гуманитарный вуз университетского типа, сформированный в 1931 г. на базе факультета истории и философии МГУ. К обучению всего 230 студентов и 32 аспирантов первого набора были привлечены 29 профессоров, 53 доцента, 25 ассистентов и лекторов. Позднее на новом месте к историческому и философскому факультетам прибавились филологический и экономический.

20 июля 1939 г. четверокурсники-очники Ростовского университета А. С. и Н. Д. Виткевич были приняты без экзаменов в экстернат МИФЛИ: А. С. — на искусствоведческое отделение филологического факультета, Виткевич — на философский факультет. В мае 1940 г. А. С. перевёлся на отделение русской литературы.

*В миллионном городе...* — Речь о Ростове-на-Дону, где в 1939 г. насчитывалось чуть больше полумиллиона человек (510 тыс.). В повести «Люби революцию» город как раз и назван полумиллионным (С. 271).

*Как по Канту время мерь — / он в шесть пройдёт по дворику...* — О феноменальной пунктуальности немецкого философа Иммануила Канта (1724—1804) рассказывает, например, Генрих Гейне в работе «К истории религии и философии в Германии» (1834): «Он жил механически-размеренной, почти абстрактной жизнью холостяка в тихой отдалённой улочке Кёнигсберга <...>. Не думаю, чтобы большие часы на тамошнем соборе бесстрастнее и равномернее исполняли своё внешнее ежедневное дело, чем их земляк Иммануил Кант. Вставание, утренний кофе, писание, чтение лекций, обед, гуляние — всё совершалось в определённый час, и соседи знали совершенно точно, что на часах — половина четвёртого, когда Иммануил Кант в своём сером сюртуке, с камышовой тросточкой в руке выходил из дому и направлялся к маленькой липовой аллее, которая в память о нём до сих пор называется Аллеей философа. Восемь раз проходил он её ежедневно взад и вперёд во всякое время года...»<sup>10</sup>

*Это — то влеченье, род недуга, / О котором написал поэт...* — Из реплики Репетилова, обращённой к Чацкому, в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1824):

Пожалуй, смейся надо мною,  
 Что Репетилов врёт, что Репетилов прост,  
 А у меня к тебе влеченье, род недуга,  
 Любовь какая-то и страсть,

<sup>10</sup> *Генрих Гейне. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 7. М.; Л.: Academia, 1936. С. 102—103.*

Готов я душу прозакласть,  
Что в мире не найдёшь себе такого друга...<sup>11</sup>

*Распадутся волосы-неулежни мои...* — Сквозная в сочинениях А. С. примета автора. См. далее, в повести «Люби революцию»: «...тряхну распадными волосами...» (с. 268).

С. 17. *Всю Историю — от нас до братьев Гракхов, /Высветил прожектор Марксова ума.* — Братья Гракхи: Тиберий (162—133 до н. э.) и Гай (153—121 до н. э.) — римские народные трибуны, погибшие в борьбе с сенатской знатью. По Карлу Марксу, смысл человеческой истории — в последовательной смене общественно-экономических формаций: первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической. А движущей силой перемен служит борьба классов.

*Не блуждать у Лейбница, у Юма, у Декарта...* — Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716) — немецкий философ, математик, основатель современной математической логики, создатель дифференциального и интегрального исчисления, физик, юрист, историк, языковед. Считал, что наш мир состоит из бесчисленных психических деятельных субстанций (монад), которые находятся между собой в отношении предустановленной гармонии.

Дэвид Юм (1711—1776) — шотландский философ, историк, экономист. Сформулировал основные принципы агностицизма. Чувственный опыт (источник знаний) рассматривал как поток впечатлений, причины которых непостижимы. Идеи Юма получили развитие у Иммануила Канта.

Рене Декарт (1596—1650) — французский философ, математик, физик и физиолог. Родоначальник рационализма как универсального метода познания, создатель аналитической геометрии. Постулировал дуализм души и тела, «мыслящей» и «протяжённой» субстанций.

*Всё пройдёт: Сената гнев и курий плеск и пена.* — Сенат в Древнем Риме — коллективный орган верховной власти, оплот родовой аристократии (патрициев). Курии — объединения римских родов, где преобладала беднота (плебей).

*...Гордое отчаянье самнитов...* — Самниты — племена италиков, населявшие горные области Средней Италии (на северо-востоке от Кампании), жесточённо сопротивлялись римскому завоеванию. Но римляне, выиграв у самнитов три войны (343—341, ок. 327—304, 298—290 до н. э.), подчинили себе Среднюю Италию.

<sup>11</sup> А. С. Грибоедов. Полн. собр. соч.: В 3 т. Т. 1. СПб.: Нотабене, 1995. С. 102.

...Умное безилие Эллады... — В Древней Греции (Элладе), состоявшей из группы городов-государств, выделялись Афины, которые достигли при Перикле (443—429 до н. э.) наивысшего могущества, демократического развития и расцвета культуры. Но век спустя, после поражения в битве при Херонее (338 до н. э.), Элладу подчинила себе куда менее успешная, зато гораздо более воинственная Македония. А в 146 г. до н. э. вся Греция оказалась под властью Рима.

...Ярость Брута... — Марк Юний Брут (85—42 до н. э.) — римский сенатор, глава (вместе с Кассием) заговора республиканцев против диктатора Гая Юлия Цезаря. 15 марта 44 г. до н. э., по преданию, одним из первых нанёс ему удар кинжалом.

...Ганнибала гений... — Ганнибал (247/246—183 до н. э.) — карфагенский полководец. В ходе 2-й Пунической войны (218—201 до н. э.) между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье совершил переход через Альпы, одержал победы над римлянами при реках Тицин и Треббия (218), у Тразименского озера (217), при Каннах (216).

Ничего, что б в сторону свернуло. / Ничего? И даже шут Нерон? / И кровавое захлёбыванье Суллы? — Клавдий Цезарь Нерон (37—68) — римский император с 54 г. Коварный самовлюблённый садист. Велел убить мать, тётку и одну из жён, другую убил сам; своего воспитателя и советника Луция Аннея Сенеку заставил покончить с собой. Обрёл на самоубийство и других выдающихся людей, среди которых поэт Марк Анней Лукан и прозаик Гай Петроний. Преследовал христиан. С упоением лицедействовал. Опасаясь расправы, бежал из Рима и по дороге закололся. Сам готовил свои похороны, всхлипывал и выкрикивал: «Какой великий артист погибает!»

Луций Корнелий Сулла (138—78 до н. э.) — римский полководец, консул с 88 г. Победив Гая Мариа в гражданской войне, в 82 г. стал первым бессрочным диктатором. Беспощадно истреблял противников, ввёл проскрипции — списки лиц, объявленных вне закона. Римский писатель Валерий Максим (I в. н. э.) сообщает, что в проскрипции Суллы были внесены 4 700 человек.

С. 18—19. «Э – э – эх, ду – би – на!.. / Ух – нем!! / Зелёная! Сама пойдёт! Сама пойдёт! / Подёрнем! Подёрнем!» — Песенный вариант, по-видимому, коллективного стихотворения «Дубинушка», напечатанного без подписи в 1885 г., которое в свою очередь было переработкой одноимённого стихотворения (1865) В. И. Богданова. Песня получила распространение в драматизированной мелодической версии Ф. И. Шалыпина (1873—1938), который пел «Дубинушку» так, как её поют на Волге, в частности в Казани.

С. 19. *Третьяковка??* — Третьяковская галерея, ядро которой составляют работы передвижников, тяготевших к изображению народной жизни. Названа по имени основателя — предпринимателя и мецената, почётного гражданина Москвы П. М. Третьякова (1832—1898).

*Обогнали Англию в лебёдках, кранах, планах...* — Полемическая отсылка к только что звучавшей «Дубинушке»:

Англичанин-хитрец, чтоб работе помочь,  
Изобрёл за машиной машину,  
А наш русский мужик, коль работа невмочь,  
Так затянет родную дубину.<sup>12</sup>

*Новодевичье...* — село на правом берегу Волги (теперь на берегу Куйбышевского водохранилища) в Среднем Поволжье, на склонах Приволжской возвышенности, примерно в 100 км ниже Ульяновска. С XVII в. принадлежало Московскому Новодевичьему монастырю. Издавна славились яблоневыми садами. От Новодевичья видны Жигулёвские горы.

*...в азиях рваных...* — Азиям — «сермяга, долгий и полный крестьянский кафтан, верхний кафтан халатного покрова»<sup>13</sup>.

*...Сенгилей.* — Как город известен с 1780 г. В 1925-м преобразован в сельское поселение, с 1928-го — рабочий посёлок, с 1943-го — снова город. Располагался, как и село Новодевичье, на правом берегу Волги (теперь это тоже берег Куйбышевского водохранилища). Находится примерно в 50 км ниже Ульяновска.

*Райпартпрос, Райком и Райкомол...* и т. д. — Здесь и далее обыгрывается появление слова «рай» в сокращённых названиях районных учреждений.

*...рубят головы косушкам / Жители.* — До введения метрической системы в России при продаже водки в розлив мерной посудой были, в частности, штоф, полуштоф, косушка и шкалик. В XIX в. появилась водочная бутылка (0,61 л), равная двум косушкам. С конца 1920-х гг. водку начали разливать в бутылки современной ёмкости (литр, пол-литра, четверть литра). Так как в косушке чуть больше 0,3 л, она ближе всего к четвертинке. В зависимости от качества водки пробка в горлышке бутылки запечатывалась белым или красным сургучом. Отсюда — обиходные названия: белая головка (для водки из картофельного сырья) и красная головка (для водки из очищенного древесного спирта). Чтобы особо не заморачиваться извлечением пробки, «жители» просто отбивают горлышки бутылок.

<sup>12</sup> Песни русских поэтов: В 2 т. Т. 2. Л.: Сов. писатель, 1988. С. 229.

<sup>13</sup> Владимир Даль. Толковый словарь / Воспроизведён со 2-го изд. 1880—1882 гг. фотомех. способом. Т. 1. М.: Худож. лит., 1935. С. 7.

*Нет теперь ни кабаков на Волге, / Ни Николки нет, ни монополки...* — Кабаки, торговавшие «голой» водкой, в начале 1880-х гг. были заменены трактирами и корчмами, где полагалось к водке продавать закуску.

При Николае II, с 1894-го по 1902 г., в России последовательно, по регионам, вводилась государственная монополия на производство и продажу спирта и изделий из него. Казённые винные лавки, монопольно торговавшие водкой, называли монополиями или монопольками (монополками). 2 августа 1914 г., вскоре после начала Германской войны, правительство ввело запрет на изготовление и оборот спиртных напитков. «Сухой закон» продержался фактически до 1924 г., когда новые власти сочли, что доход от торговли водкой перекрывает вред от неё. Разрешённая государством водка в обиходе получила название рыковки — от фамилии тогдашнего председателя Совнаркома А. И. Рыкова.

С. 20. *Над столами русский чин трисловьями порхаёт...* — т. е. однообразная безыскусная матерная ругань.

*И режут «Златые горы»...* — Народную застольную песню «Златые горы» («Когда б имел златые горы...») как раз в 1930-е гг. подхватила, умножив её популярность, Л. А. Русланова (1900—1973). В её исполнении песня звучала не только на эстраде и по радио, но и в записи на граммофонных пластинках.

*...оглашая / Чайную Райпо.* — Райпо (районное потребительское общество) — тогово-заготовительная потребительская кооперация. Закупая у населения, колхозов и совхозов сельскохозяйственную продукцию, грибы, ягоды, лекарственные травы, потребкооперация реализовывала их с наценкой. Кооперативные цены были ниже, чем на рынках, но выше, чем в государственной торговле. Упоминание о продаже сушёных грибов через сельпо (сельское потребительское общество) см. далее на с. 26.

*...культуриш руссиш!..* — насмешливая поговорка, имитирующая немецкую речь.

*Ну, скажи, что водка – это а-пи-ум...* — Опиум (лат. *opium* — маковый сок) — болеутоляющее средство в медицине, сильный наркотик. Здесь — дурман. В этом значении слово «опиум» вошло в бытовую речь под влиянием фразы Карла Маркса, вырванной из контекста и ставшей советским агитационным лозунгом: «Религия — опиум для народа». У Маркса, в работе «К критике гегелевской философии права. Введение» (конец 1843 — январь 1844): «Религия — это воздух угнетённой твари, душа бессердечного мира, дух бездушного безвременья. Она — опиум народа»<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 1. М.: Госиздат, 1928. С. 399.

*Ты — тюря!* — Тюря — самая простая еда. Обычно — хлеб, покрошенный в воду с солью. Переносно — рохла, ротозей, разиня.  
...на вышку... — Речь о лагерной вышке.

С. 21. *Ты — с луны? В тридцатом-то? Не знаешь, что да как? / Потому что был сочтён кулак, / Ну и... Ликвидировать. Как класс.* — Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» сформулировало новую политику в отношении кулачества — ликвидацию его как класса.

...*Я за землю, парень, да за волю...* — См. 1-е примеч. к с. 125.

...*Но прошло-то года, слушай, двадцать два!* — Отсчёт от 1917 г.

*Ведь писал Истории законы не Эвклид!* — Эвклид (Евклид) (по некоторым данным, 325—265 до н. э.) — древнегреческий ученый, систематизировавший все накопленные математические знания в фундаментальном труде-учебнике «Начала» (15 книг), не утеравшем значения по сегодня. Астроном, оптик, теоретик музыки. Здесь он представляет точные науки, которые неприменимы к историческим законам.

С. 22. ...*Где на двести вёрст Самарскою лукою / Волгу отшивырнули Жигули.* — Обтекая слева Жигулёвские горы, протянувшиеся на правом берегу Волги примерно на 75 км, Волга образовала Самарскую Луку — дугообразную излучину на участке Ставрополь (с 1964 г. Тольятти) — Куйбышев (до 1935-го и с 1990 г. Самара) — Сызрань. Самая высокая точка — гора Наблюдатель (381,2 м над уровнем моря).

С. 23. *Это будет чудо Третьей Пятилетки — / Перемычка Волжского Узла.* — 3-й пятилетний план был рассчитан на 1938—1942 гг. И уже в 1938 г. эков бросили на строительство Куйбышевского гидроузла в районе посёлка Красная Глинка, недалеко от г. Куйбышева. Но в сентябре 1940 г. стройка была законсервирована. Волжская гидроэлектростанция сооружена в северной части Самарской Луки, в 80 км выше Куйбышева, позже, в 1950—1958 гг., но тоже эками.

*В невесёлом месте, в Красной Глинке...* — В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. замечает, что Красная Глинка — это «тяжёлый режимный лагерь с тоннельными работами, одна Пятьдесят Восьмая» (Т. 5. С. 283). Посёлок Красная Глинка, расположенный к северу от тогдашнего Куйбышева, теперь северный район Самары.

С. 25. *Оба без отцов...* — Отца-поляка Н. Д. Виткевич не помнил. Несколько лет рос в семье отчима-дагестанца, где мальчика звали не Николаем, а Джалилем. Но затем снова остался вдвоём с матерью. О смерти отца А. С. см. 3-е примеч. к с. 38.

*И — промчалο катер.* — Ключевые эпизоды этой главы (пьяная удаль раскулаченного дяди Миши, ночная погоня за лагерными беглецами в Красной Глинке и скользнувший мимо волжский катер, набитый заключёнными) перечислены в повести «Люби революцию» (с. 283).

*А что, сейчас бы к Самому / Молодой, второй явись бы Ленин, — / Он бы — не попал в тюрьму?.. — Сам здесь — И. В. Сталин. По словам Л. Д. Троцкого, ещё в 1926 г. Н. К. Крупская говорила: «Если б Володя был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме»<sup>15</sup>.*

## ГЛАВА ВТОРАЯ. МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ (С. 26)

27 апреля 1940 г. А. С., студент физмата Ростовского университета, и Н. А. Решетовская, студентка химического факультета, зарегистрировали брак в городском загсе Ростова-на-Дону. Через три месяца, 25 июля, в студенческие каникулы, они приехали в Тарусу, дачный городок на Оке в Калужской области, на 101-м километре от Москвы<sup>16</sup>, и провели здесь медовый месяц.

*С. 26. Несу я сознание мира. / Боюсь, что не в силах донести.* — Из стихотворения В. В. Гофмана «На горном пути» (1904)<sup>17</sup>.

*...спорят о Ваське Качалове...* — Панибратское упоминание ведущего актёра МХАТа, народного артиста СССР В. И. Качалова (1875—1948).

*...край ремёсл вышивальньих...* — Как промысел вышивка получила развитие в Тарусе в начале XX в. В 1924 г. была основана знаменитая Тарусская артель вышивальщиц, чьи изделия отмечены золотой медалью на международной выставке в Париже (1924) и дипломами 1-й степени на выставках в Милане (1927) и снова в Париже (1937).

*...Отнеся гонорар к Елисееву...* — Центральный московский гастроном на улице Горького (прежде и ныне Тверской), 14, открытый в 1901 г. и принадлежавший до революции владельцу петербургской фирмы по торговле колониальными товарами Г. Г. Елисееву, сохранял в советское время в обиходной речи имя бывшего хозяина, жившего в эмиграции.

<sup>15</sup> Л. Д. Троцкий. Сверх-Борджиа в Кремле // *Лев Троцкий*. Портреты революционеров. М.: Моск. рабочий, 1991. С. 76.

<sup>16</sup> Запрет на проживание в Москве распространялся и на стокилометровую зону вокруг неё. Опоясывавшим эту зону городам, в которых могли селиться столичные изгои, досталась и эта характеристика: 101-й километр. Реальное расстояние от Москвы до Тарусы несколько больше.

<sup>17</sup> Виктор Гофман. Любовь к далёкой: Поэзия; Проза; Письма; Воспоминания. СПб.: Росток, 2007. С. 74.

С. 26—27. *В ряд их дач, не по чину — бревёнки потешной, / Кругляши нашей маленькой тихой избы.* — Молодожёны сняли домик около леса у Прасковьи Моисеевны Хорькиной (ул. Шмидта, 41). Сообщено В. В. Туркиной.

С. 27. ...*Оправдала ли цену свою Полтава?* — Речь о победе русской армии во главе с Петром I над шведской армией короля Карла XII 27 июня (8 июля) 1709 г. под Полтавой. В Полтавском сражении русские потеряли убитыми 1 345 человек, 3 290 были ранены. В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. писал: «Полтавская победа была несчастьем для России: она потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы — и новых, и новых войн. Полтавское поражение было спасительно для шведов: потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе» (Т. 4. С. 251).

...*разбитые нами на Ворскле шведы...* — На реке Ворскле стоит Полтава.

*Есть у каждого года удачи, / И таким обернулся мне минувший год...* — т. е. последние 12 месяцев, начиная со 2-й половины 1939 г.

С. 28. *Незнакомые девушки письма мне слали...* — В университете А. С. был отличником, редактором стенгазеты, старостой группы. На последнем курсе ему назначили почётную сталинскую стипендию (500 рублей вместо 110). И о нём, сталинском стипендиате, совмещающем учёбу в двух высших учебных заведениях, ростовская кинохроника сняла сюжет, после которого он стал местной знаменитостью.

*Сдрогалась Европа надменная, отдана / Шагу армий, невиданных раньше...* — 1 сентября 1939 г. немецкие войска вторглись в Польшу с запада, положив начало 2-й Мировой войне. 17 сентября, перейдя польскую границу, им навстречу с востока двинулись советские войска. Военный раздел Польши стал центральным событием года. Но в том же 1939 г. Германия окончательно оккупировала Чехословакию (15 марта) и Мемельский край (23 марта), итальянские войска вторглись в Албанию (7 апр.), а Советский Союз начал войну с Финляндией (30 нояб.).

...*Чёрным гневом возмездия небо над Лондоном / Застыло из-за Ла-Манша...* — С августа 1940-го по май 1941 г. Германия вела широкомасштабную воздушную войну против Англии, сосредоточив к началу боевых действий на севере Франции и в Норвегии 2 800 самолётов, в том числе 1 600 бомбардировщиков. Начав с ударов по докам на южном побережье, немецкая авиация обрушилась следом на английские аэродромы. С середины августа целью люфтваффе становится Лондон. 7 сентября 360 бомбардировщиков атаковали город днём и ещё 250 — ночью. С этого дня непрерывные массивные налёты растянулись на

два с половиной месяца — до середины ноября. Целые кварталы столицы были разрушены. Пострадал и Букингемский дворец. Под бомбами погибло более 20 000 человек.

Постоянная рубрика «Известий» «Военные операции европейских держав» видоизменяется с середины августа 1940 г.:

«Крупные воздушные бои над побережьем Англии» (14 авг.);

«Англо-германская война: Крупные воздушные бои над Англией» (17 авг.);

И наконец:

«Англо-германская война в воздухе» (20, 22, 23, 24, 29, 30, 31 авг.).

Несмотря на человеческие жертвы и материальный ущерб, англичане мужественно сопротивлялись. Так, 13 августа они сбили 45 немецких самолётов, через два дня — ещё 75, через месяц, во время самого крупного дневного налёта на Лондон, более 60. Всего с августа по октябрь 1940 г. немецкая авиация потеряла 1 103 машины (английская — почти вдвое меньше, 642). У англичан даже хватило сил на ответные авиаудары по Берлину. В итоге расчёт Гитлера на капитуляцию Британии не оправдался.

...И поехали на Оку. — Таруса расположена на левом берегу Оки, при впадении в неё реки Тарусы.

С. 29—30. ...Как бежал молодой дворянин / Со знаменем, / Как очнулся он навзничь, раненым, / С небесами один на один — / И увидел, какой / Покой / Был по небу высокому разлит. / В суматохе большого боя, / Когда к славе рвалась рука, / Разве / Мог увидеть он над собою / Эти медленные облака?.. — Пересказ того, что произошло с князем Андреем Болконским на Праценской горе в сражении при Аустерлице 2 декабря (20 нояб.) 1805 г.<sup>18</sup>.

С. 31. Вспоминаю: акации спуска Крещенского, / Седину оснежённого Новочеркасска... — Во второй половине 1924 г. пятилетний А. С. несколько месяцев живёт в Новочеркасске у дяди с материнской стороны Романа Захаровича Щербака (1878—1944) и его жены Ирины Ивановны (1889—1980). Они выведены в «Красном Колесе» под именами Романа Захаровича и Ирины Ивановны Томчак.

Крещенский спуск (в советские годы — Красный спуск), прорезанный бульваром, от привокзальной площади поднимается к площади Ермака в центре Новочеркасска, открывая в перспективе громаду Вознесенского кафедрального войскового собора (1805—1905, арх. А. А. Яценко),

---

<sup>18</sup> См.: Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 22 т. Т. 4. Война и мир. М.: Худож. лит., 1979. С. 353—354.

третьего по величине в России после Исаакиевского собора в Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве (высота 74,6 м).

*...И у каждого жёлто манит копьёцо / Недрожаще-горящей свечи. —* Свеча в боковом фонаре — освещение дороги для извозчика.

*Позади пятиглавой громады собора — / Попирающий камень строптивый Ермак...* — Бронзовая четырёхметровая фигура Ермака установлена на высоком гранитном пьедестале (1904, скульптор В. А. Беклемишев, по проекту М. О. Микешина).

*Двудорожным широким проспектом Платова...* — Платовский проспект в Новочеркасске — один из трёх широких проспектов с бульварами посередине.

*...Хохоча и толкаясь, студенты валят...* — В 1920-е гг. Новочеркасск постепенно становится средоточием учащейся молодёжи. К началу 1930-х здесь уже было 14 вузов и техникумов. Каждый седьмой житель учился.

*...Тротуарами улицы Декабристов.* — Переименована из Александровской улицы.

С. 32. *...Стольный город разбитого Войска Донского...* — Новочеркасск был основан в 1805 г. войсковым наказным атаманом М. И. Платовым на правом высоком берегу реки Аксай как центр Земли (с 1870 г. — Области) Войска Донского вместо Черкасска, затоплявшегося весенними разливами Дона. На геноцид, развязанный на Дону после секретной директивы Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 г. о расказачивании, казаки ответили Верхнедонским восстанием. Оно началось 11 марта 1919 г. и длилось более трёх месяцев, но стало последней вспышкой казачьего сопротивления.

*...И не знаю, что в доме, — вот в этом, — ребёнком, / Моя будущая растёт жена.* — Первая жена А. С., Н. А. Решетовская (1919—2003), родилась в Новочеркасске.

*Семилетье российской лихой безвременщины!* — Годы с 1917-го по 1924-й. Далее в повести «Люби революцию» упоминается следующее, «неповторимое семилетие противоречивых надежд, цветения и увядания, космических пыланий и умирающего скепсиса» (с. 321) — семилетие НЭПа.

*...И разыгрывала этюды Черни.* — Карл Черни (1791—1857) — австрийский пианист и композитор (чех по происхождению), автор многочисленных фортепьянных этюдов.

*...посмотришь с холодным вниманьем вокруг...* — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «И скучно и грустно» (январь 1840)<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> М. Ю. Лермонтов. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Т. 2. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 41

С. 33. ...*Духоборы, самосжигатели...* — Духоборы — сектанты крайне протестантского толка, известные в России со 2-й половины XVIII в. Основываясь в своей «борьбе за дух» на внутреннем откровении, отвергают религиозную обрядность — почитание креста, икон и мощей, молитвы святым и таинства. Отсюда поговорки: «Церковь не в брёвнах, а в рёбрах»; «Поклоняются Христу не мазаному, не писаному, а Христу животворному». Под влиянием толстовства с конца XIX в. часть духоборов отказывается от воинской службы, не признаёт государственную власть, публично критикует царя.

Старообрядцы, не приняв церковные реформы (1653—1658) патриарха Никона, либо находили спасение «в древнем благочестии», либо впадали в отчаяние из-за того, что благодать Господня исчезла и сила зла стала непреодолимой. Этим отчаянием были порождены массовые самосожжения во 2-й половине XVII в. Но одновременно росли и протестные самосожжения. Люди погибали в огне, иногда целыми деревнями, лишь бы не подчиняться притеснениям церковных и светских властей.

С. 35. *Дом Поленова.* — На высоком правом берегу Оки, в 4 км ниже Тарусы, художник Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927) заложил усадьбу Борок (с 1931 г. — Поленово). По его проекту среди парка был построен необычного вида белый трёхэтажный дом. Вскоре после смерти хозяина в усадьбе открылся музей. Посетителям показывают жилые комнаты и мастерскую. Помимо картин самого Поленова, здесь можно увидеть работы В. М. Васнецова, К. А. Коровина, И. И. Левитана, И. Е. Репина, И. И. Шишкина и др.

С. 36. *Красные доски вагонов...* — Товарные поезда из вагонов-красных (красных телячьих вагонов) использовались для массовой перевозки заключённых. В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. рассказывает об этих эшелонах и этих вагонах:

«Красные эшелоны всегда выгодны, когда где-то быстро работают суды или где-то пересылка переполнена, — и вот можно отправить сразу вместе большую массу арестантов. <...>

Вагон-заки ходят по пошлому железнодорожному расписанию, красные эшелоны — по важному наряду, подписанному важным генералом ГУЛАГа. Вагон-зак не может идти в пустое место, в конце его назначения всегда есть вокзал, и хоть плохенький городишка, и КПЗ под крышей. Но красный эшелон может идти и в пустоту: куда придёт он, там рядом с ним тотчас подыметесь из моря, степного или таёжного, новый остров Архипелага» (Т. 4. С. 493).

## «НЕТ, НЕ ТОГДА ЭТО НАЧАЛОСЬ...» (С. 38)

С. 38. ...Где-то на хуторе, близ Армавира / Старый затравленный дед мой жил. — Дед писателя по матери, Захар Фёдорович Щербак (1858—1932), сгнувший в недрах ОГПУ, поднялся от чабана до хозяина обширного поместья на окраине станицы Новокубанской, в 20 верстах от Армавира. У деда было две тысячи десятин кубанского чернозёма и овечья отара в 20 тыс. голов. Двухэтажный особняк планировал архитектор из Австрии. Вокруг дома был разбит парк с купальней, с оранжереями, за парком — сад: две сотни фруктовых деревьев. За садом — виноградник. В начале 1920-х годов усадьба была экспроприрована, и дед до конца жизни скитался по родственникам. Жил, в частности, в Гулькевичах, в 60 км от Армавира, на хуторе племянника Михаила Лукьяновича. Выведен в «Красном Колесе» под именем Захара Фёдоровича Томчака.

...вдоль экономии. .. — Экономиями на Украине и на юге России назывались имения.

Может быть, к лучшему умер отец / В год восемнадцатый смертью случайной... — Отец автора, Исаакий Семёнович Солженицын (1891—1918), подпоручик-артиллерист, вернувшись с фронта в конце февраля или начале марта 1918 г., умер от заражения крови 15 июня, через неделю после непроизвольного ружейного ранения на охоте, за полгода до рождения сына.

С. 39. Дядя уже побывал под расстрелом, / Тётя ходила его спасать... — После провозглашения советской власти на съезде народов Терека в Пятигорске (март 1918) Роман Захарович Щербак был посажен в пятигорскую тюрьму, где чекисты расстреливали каждого десятого, но жена, Ирина Ивановна, выкупила его за золото и бриллианты.

В годы, когда десятивековая / Летопись русских была изорвана... — Для новой власти история России была по большей части историей позора. И вместо курса истории в школах ввели обществоведение. «...До 1934 сам термин “патриот” считался в России преступным, — заметил А. С. в интервью журналу «Ле Пуэнь» (декабрь 1975). — Всё русское постоянно подвергалось презрению в выступлениях, в прессе. Эта официальная ненависть к России кажется теперь чем-то невероятным? Однако она существовала. Поворот произошёл в 1934, неожиданно, по тактическим соображениям»<sup>20</sup>.

Лозунги, песни, салюты не меркли: / «Красный Кантон!.. Всеобщая в Англии!»... — Кантон (Гуанчжоу) — город на юге Китая. Вооружённое восстание рабочих и солдат Кантона против гоминьдановского режима,

<sup>20</sup> Александр Солженицын. Публицистика: В 3 т. Т. 2. Ярославль: Верхне-Волжское книж. изд-во, 1996. С. 320—321.

организованное Коммунистической партией Китая, началось в ночь на 11 декабря 1927 г. 12 декабря повстанцы образовали Совет народных комиссаров (Кантонскую коммуну). Были приняты декреты об отмене неравноправных договоров, о передаче крестьянам помещичьей земли, о 8-часовом рабочем дне, о создании Красной армии. Но уже 13 декабря мятеж был подавлен.

Всеобщая стачка английских рабочих, охватившая около 6 млн человек, продолжалась с 4 по 12 мая 1926 г.

*В землю зарыт офицерский Георгий / Папин, и Анна с мечами.* — Военный орден Святого Георгия имел 4 степени. Старшей была 1-я степень, младшей — 4-я. Награждение, как правило, начиналось с младшей, 4-й степени ордена. В отличие от почти всех других орденов, знаки ордена Святого Георгия младших степеней не подлежали возврату, а надевались и после награждения орденами старших степеней. Поскольку у отца автора был один Георгий, то это, очевидно, орден Святого Георгия 4-й степени.

Орден Святой Анны тоже имел четыре степени. Но знак ордена 4-й степени крепился на холодном оружии и мечами не дополнялся. Скрещённые мечи были только на знаках первых трех степеней ордена и означали, что награда получена за боевые заслуги.

*Жарко-костровый, бледно-лампадный...* — осеняемый огнём пионерских костров и светом домашней лампы, теплившейся перед иконой.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ. СЕРЕБРЯНЫЕ ОРЕХИ (С. 40)

С. 40. *Мой милый город!* — Речь о Ростове-на-Дону, где А. С. жил с конца 1924-го до середины августа 1941 г.; был привезён сюда шестилетним и уехал за неполных четыре месяца до 23-летия.

*...Столп Российской Славы...* — Напрашивается Александровская колонна на Дворцовой площади в Петербурге, возведённая в 1834 г., к 20-летию победы в Отечественной войне, по проекту и под руководством О. Р. де Монферрана. Но А. С. имел в виду колонну Славы в центре Круглой площади в Полтаве, сооружённую в 1806—1811 гг. в честь столетия победы в Полтавской битве (скульптор Ф. Ф. Щедрин, арх. Ж. Тома де Томон). Сообщено Игнатом Солженицыным.

*...Место Лобное...* — круглый белокаменный помост с белокаменным же парапетом, построенный в Москве, на Красной площади, в 1534 г. для объявления важнейших указов и для церковных служб. Использовался также для совершения казней.

*...И пауком звезды не бух на картах...* — Звёздочкой на советских политических картах обозначались Москва и столицы союзных республик.

С. 41. ...*Бурел один собор над серой тушей банка, / Белел другой собор над гомоном базара.* — В центре города, на пересечении Большой Садовой улицы и Среднего проспекта, в 1891 г. был заложен и в 1908-м освящён Александро-Невский собор, рассчитанный на полторы тысячи человек (арх. А. А. Яценко, по проекту которого построен и упомянутый выше Вознесенский войсковой собор в Новочеркасске). Это было самое высокое сооружение Ростова-на-Дону. В 1912—1914 гг. по соседству возвели здание Ростовской конторы Государственного банка (арх. М. М. Перетяткович). В 1930 г. собор был разрушен.

Белокаменный собор Рождества Пресвятой Богородицы сооружён на Почтовой улице в 1854—1860 гг. по типовому проекту, ориентированному на проект храма Христа Спасителя в Москве (арх. К. А. Тон). Освящён в 1860 г. В середине 1930-х гг. собор был закрыт. Службы возобновились в 1942 г. Рядом — Центральный городской рынок.

*Звенели старомодные бельгийские трамваи...* — Трамвай в Ростове-на-Дону был пущен 20 декабря 1901 г. по рельсам существовавшей с 1887 г. конки. И конка, и трамвай принадлежали Бельгийскому акционерному обществу, установившему европейскую ширину колеи — 1 435 мм. Естественно, на местных линиях надолго остались вагоны бельгийского производства.

*...Ростов забился, заблистал, едва лишь венул НЭП...* — НЭП — новая экономическая политика, введённая в 1921 г. вместо военного коммунизма. При НЭПе продразвёрстку (конфискацию хлеба и других продуктов у крестьян) заменил менее жёсткий продналог, были разрешены частные артели, на которых заняты до 20 работников, допускались торговля и денежное обращение. Наступление на НЭП началось уже с середины 1920-х гг.: постепенно вытеснялся частный капитал, создавалась жёсткая централизованная система управления экономикой, наконец, пошла в ход насильственная коллективизация.

*...Плескались волны в Греки из Варяг.* — «...Путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру...»<sup>21</sup> — система речных путей в Древней Руси, связывавших Балтийское море с Чёрным. Протяжённость от устья Невы до устья Днепра свыше 2 200 км. По археологическим источникам известен с V—VI вв. Описан в «Повести временных лет» (начало XII в.). Днепровский путь был связан через Десну и Сейм с притоками Дона.

*...И новый Герострат не строил театр-трактор...* — В форме трактора построено в Ростове-на-Дону здание драматического театра со зрительным залом на 2 200 мест (1930—1935, арх. В. А. Шуко, В. Г. Гельфрейх). Театр тут же получил имя М. Горького.

<sup>21</sup> Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси: В 20 т. Т. 1. СПб.: Наука, 2000. С. 67.

...И к пятерым проспектам, пересекшим гребень, / Названья новые не притирались как-то. — Большой проспект (с 1912 г. Большой Столыпинский) был назван Ворошиловским, Средний — проспектом Соколова, Малый — Чехова, Таганрогский — Будённовским, Темерницкий — Сиверса.

Ещё не став «Индустриальных педагогов институтом», / Уже не «Императорский», Универстет стоял. — В 1915 г., когда немцы подошли к Варшаве, Императорский Варшавский университет был эвакуирован в Ростов-на-Дону, где сохранил своё название. В 1917 г., при Временном правительстве, его переименовали в Донской университет, в 1920 г., с приходом Советской власти, — в Северо-Кавказский государственный. В 1930 г. университет был расформирован, и на его базе созданы четыре института. Один из них — Педагогический — расположился в университетском корпусе, рядом со зданиями ОГПУ, на углу улицы Фридриха Энгельса (Большой Садовой) и Почтового переулка.

С. 41, 42. ...В четыре этажа четыре зданья занимало / ПП ОГПУ. / <...> / Я на день сколько раз мальчишкой юлким, / На этажи косясь, там мимо пробегал / И поворачивал Никольским переулком / В крутой и грязный каменный провал. — Полномочное представительство ОГПУ (официальное название местного отделения Госбезопасности) помещалось на улице Фридриха Энгельса, угол Халтуринского (б. Никольского) переулка.

В доме № 52 по этому переулку на девяти квадратных метрах Таисия Захаровна Солженицына прожила с сыном с 1924-го по 1934 г.

С. 42. ...И головой вперёд, сквозь этот звон стекла / Безвестный человек швырнул себя с разгону. — См. в повести «Люби революцию»: «...звоном стёкол и швырком человека из верхнего этажа ростовского ГПУ...» (с. 283).

В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. рассказывает о том, как морозным солнечным утром в марте 1945 г. он сидел на допросе у следователя И. И. Езепова: «Он задавал свои обычные грубые вопросы; записывал, искажая мои слова. Играло солнце в тающих морозных узорах просторного окна, через которое меня иногда очень подмывало выпрыгнуть, — чтоб хоть смертью своей сверкнуть по Москве, размозжиться с пятого этажа о мостовую, как в моём детстве мой неизвестный предшественник выпрыгнул в Ростове-на-Дону...» (Т. 4. С. 134).

С. 43. ...шёл ярый бой в айданы... — Айданы — кости из бараньих коленных суставов. Игра в них напоминала игру в бабки. И те и другие нужно было ставить на кон — прямоугольник, начерченный на земле, и сбивать такой же костью, отойдя метров на десять.

...Где «красных дьяволят» носился резвый крик. — После немого фильма «Красные дьяволята» (1923), снятого режиссёром И. Н. Перестиани (по сценарию П. А. Бляхина) о юных разведчиках, отважно сражающихся за Советскую власть с бандами Махно, дети стали играть в «красных дьяволят».

*В серебряных орехах крохотная ёлка.* — Рождественская ёлка, запрещённая Священным синодом ещё в 1916 г., в общественном обиходе была разрешена светской властью только в середине 1930-х гг. как ёлка новогодняя. Отмашкой послужила заметка в «Правде» (28 дек. 1935) «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку!» за подписью кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) П. Постышева. Но в религиозных семьях и до разрешения и после сохранялась традиция украшать ёлку к Рождеству. Здесь описана ёлка, украшенная в сочельник — канун Рождества, 6 января 1930 г.

С. 44. *Дед начал жизнь с чебанскою герлыгой...* — Герлыга — «посох овчара, с деревянным крюком на конце, для ловли овец за заднюю ногу»<sup>22</sup>.

...*Лишь дочь послал одну — лоск перенять у бар.* — А. С. говорит о своей матери, Таисии Захаровне Щербак, которую отец определил осенью 1909 г. в ростовскую частную гимназию Александры Фёдоровны Андреевой (в «Августе Четырнадцатого» это гимназия Аглаиды Федосеевны Харитоновой). Весной 1913 г. Таисия Захаровна окончила её с золотой медалью.

...*Был Чехов им дороже Цареграда...* — Царьград — русское название столицы Византийской империи Константинополя, в 1453 г. захваченного турками, переименованного в Стамбул и превращённого в столицу Османской империи (до 1918 г.). Имперская идея объединения всех славянских народов под властью России, предполагавшая окончательное освобождение южных славян из-под османского ига с завоеванием Царьграда-Стамбула и черноморских проливов, распространилась во 2-й половине XIX — начале XX в.

*Раскрыла Библию на повести об Иове / Его рука...* — Библейская Книга Иова повествует о невинно страдающем праведнике, со смирением принимающем свои несчастья.

С. 45. *И сбили ёлку локтем неуклюжим.* — Эта деталь, связанная с арестом деда, упомянута в повести «Люби революцию» (с. 283).

*Лицо его чернело, закалев от ветрожога...* — Ветрожог (ветрогар) — «загар на лице, на руках, обветрение тела на воздухе»<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 1. С. 349.

<sup>23</sup> Там же. С. 335.

*Прошло двенадцать лет.* — Двенадцать лет прошло после революции. Привязка к 1930 г.

*...выдавлена проба / Такая — девяносто шесть.* — Проба золота определяется его весовым содержанием в единице сплава. В русской (старой) системе обозначения проб (до 1926 г.) химически чистое золото клеймилось 96-й пробой.

С. 46. *Взял книгу.* — «Лондон. Джек». — По словам А. С., в его детстве среди домашних книг было собрание сочинений Джека Лондона, приобретенное «по советской подписке»<sup>24</sup>.

С. 48. *То — видколы?* — Это — с каких пор? (укр.).

*Вин...* — он (укр.).

*Та хай бы им сказаться...* — Проклятье; по смыслу: пропади они пропадом; бешенство бы на их голову (укр.).

*...Ума възького нэ трэба, мабуть.* — Ума большого не надо, наверно (укр.).

*Пятёрки николаевские!* — После денежной реформы 1897 г., определившей переход к золотому монометаллизму, в дореволюционной России чеканились золотые монеты достоинством в 15, 10, 7 с половиной и 5 рублей.

*Оце? — Это?* (укр.).

С. 49. *И нэ ховав.* — И не прятал (укр.).

*Булы за мэнэ бильш.* — Здесь: были хозяйства и крупнее, чем моё (укр.).

*...николы...* — никогда (укр.).

*Похоронил жену.* — Евдокия Григорьевна Щербак, родившаяся около 1866 г., умерла осенью 1931 г.

*Пиду к остроголовым подыхать.* — Остроголовые — те, кто носит суконный шлем с шишом на темени, названный в конце концов будёновкой. В фольклоре остроголовыми (востроголовыми) предстают черти. Например, в сказке «[Про] дурня»:

Заглянет в подполье, —  
В подполье черти  
Востроголовы...<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Александр Солженицын. Мой Лермонтов: Из «Литературной коллекции» // Что читать. 2008. № 1. Сент.-окт. С. 84.

<sup>25</sup> Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. М.: Наука, 1977. С. 203.

#### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ТУ, КОГО ВСЕГО СИЛЬНЕЙ... (С. 51)

В основе главы — события в семье ростовского профессора, крупного специалиста по теплотехнике Владимира Ивановича Федоровского, его жены Евгении Николаевны, её матери Александры Фёдоровны Андреевой, в чьей гимназии до революции училась Таисия Захаровна Щербак, и детей — Миши и Ирины (дома её звали Лялей). Владимир Иванович назван здесь и в повести «Люби революцию» (с. 283) Олегом Ивановичем, а Евгения здесь — Екатерина.

В главе «Серебряные орехи» вскользь уже упоминалась эта семья (с. 43):

Мы в шумный дом в тот вечер собирались,  
Где в тридцать человек встречали Рождество...

Всесоюзная травля инженеров, объявленных вредителями, виновниками технологического произвола, который на самом деле внедрялся сверху, докатилась и до В. И. Федоровского. Сутки шёл обыск у него на квартире. Хозяин избежал заключения, но его тещу разбил паралич. А тут ещё 13-летний Миша, друг детства А. С. и соавтор его ранних литературных опытов, ударившись на катке затылком об лёд, умер через три дня. А. С. навещал Федоровских в 1936 г. в Новочеркасске, куда они переехали, а в 1939 г. — в Москве.

В повести «Люби революцию» Глеб Нержин встречается с Лялей в конце лета 1941 г., через одиннадцать лет после истории, рассказанной в «Дороженьке» (с. 272—274).

С. 51. *Ту, кого всего сильней / В мире любишь ты, — убей!* — Так приказывает своему рабу тоскующий магараджа, желая развесть его. — Из романа «Магараджа»<sup>26</sup>.

С. 52. *...«Там, где Ганг струится в океан... / Где по джунглям бродит дикий слон...»* — начало романа «Магараджа».

С. 53. *...Вели корабль по Ориноко...* — Ориноко — река в Южной Америке (длина 2730 км). По Ориноко, решая научный спор о её русле, спускаются на пирогах с множеством приключений три венесуэльских географа и их случайные попутчики в романе Жюль Верна «Великолепное Ориноко» («Le superbe Orénoque», 1898; рус. перевод 1907).

*...Грузили пряности Востока / На караваны Марко Поло.* — Марко Поло (ок. 1254—1324) — венецианский купец и путешественник...

<sup>26</sup> Вариант романа «Магараджа» см. в кн.: А я не уберу чемоданчик!: Песни студенческие, школьные, дворовые. М.: Эксмо, 2006. С. 286—288.

...Дуглас Фербенкс... — Американский актёр, продюсер. Дебютировал в кино в 1915 г. В 1921-м снялся в роли д'Артаньяна в фильме «Три мушкетёра» (реж. Фред Нибло).

С. 53—54. ...Хранились кипы чертежей / На кальке, на миллиметровой, / Александрийской и слоновой... — Миллиметровая калька — прозрачная чертёжная бумага для эскизов с нанесенной на неё миллиметровой сеткой. Александрийская бумага большого формата и высокого качества идеально подходит для черчения и рисования. С XV в. использовалась на Руси для ведения ответственной государственной документации. Слоновая бумага появилась у нас гораздо позже — на рубеже XVIII—XIX вв.: гладкая, плотная, желтовато-бежевого цвета, напоминающего слоновую кость. Относится к типу рисовальных бумаг.

С. 55. ...Москва, Козихинский на Бронной... — Пересекающиеся под прямым углом Большой и Малый Козихинские переулки расположены между Большой Бронной и Большой Садовой, между Малой Бронной и Тверской улицами. Всю эту округу окрестили Козихой, а оба переулка — Козихинскими по существовавшему некогда здесь Козьему болоту. На Козихе, неподалёку от университета, традиционно селились студенты. Она, естественно, упоминалась в шуточной студенческой песне:

Есть в широкой Москве  
Один шумный квартал,  
Что Козихой большой  
Называется.  
От зари до зари,  
Лишь зажгут фонари,  
Вереницей студенты  
Шатаются...<sup>27</sup>

...*Fi donc!* — междометие, выражающее здесь пренебрежительно-презрительное отношение к неугодному избраннику дочери (фр.).

*Наш предок в Бархатную Книгу / Записан был!* — Бархатная Книга (название от бархатного переплётa малинового цвета) — официальный свод родословных записей, охватывающих наиболее знатные княжеские, боярские и дворянские фамилии Русского государства. Составлена в Палате родословных дел между ноябрём 1686-го и августом 1688 г. Через столетие издана Н. И. Новиковым в двух частях под заглавием «Ро-

<sup>27</sup> *Сергей Романюк. Переулки старой Москвы: История; памятники архитектуры; маршруты. М.: Центрполиграф, 2014. С. 624.*

дословная книга князей и дворян российских и выезжих...» (М.: Унив. тип., 1787).

С. 56. ...РКИ... — Рабоче-крестьянская инспекция.

...*властной поступью рабфака...* — Рабфак (рабочий факультет) — ускоренные курсы для целевой подготовки в высшую школу рабочей и крестьянской молодёжи, обнаружившей общественную активность, но не получившей необходимого общего образования. Принимали на рабфаки по направлениям предприятий, профсоюзов, партийных и советских органов.

...*С ЛКСМовским значком...* — ЛКСМ — Ленинский коммунистический союз молодёжи (комсомол).

...*в остро-круглых длинных джимми...* — Джимми — мужские туфли модной в 1920—1930-х гг. модели.

*Танцует чарльстон!* — Чарльстон (от названия города в Южной Каролине) — американский бытовой танец с африканскими корнями. Исполняется в быстром темпе — в одиночку, с партнером или в группе. Популярен с 1920-х гг.

С. 57. ...*Фрагмент роденовской «Весны»...* — Скульптурная группа Огюста Родена (1840—1917) «Вечная весна» (основной вариант выполнен в мраморе в 1884 г.) на сюжет из 5-й книги поэмы Публия Овидия Назона (43 до н. э. — 17 н. э.) «Фасты». Вечной весной наслаждается юная нимфа Хлорида в объятиях бога западного ветра Зефира, похитившего её и сделавшего своей женой. Во 2-й половине 1890-х гг. Роден заключил контракт с фирмой Ф. Барбедьена, дав ей право отливать «Вечную весну» в течение 20 лет, что привело к широкому распространению скульптуры.

С. 58. ...*Бином. Арксинус. Вектор поля. / Ламарк. Бензольная основа. / Оторванность «Народной Воли». / «Реакционность Льва Толстого...»* — записи в школьных тетрадках подруги-старшеклассницы.

Бином, или двучлен, — алгебраическая сумма или разность двух одночленов, каждый из которых представляет собою произведение числовых и буквенных множителей.

Арксинус — тригонометрическая функция.

Вектор поля — величина, характеризующая каждую точку любого поля численным значением и направлением.

Жан Батист Ламарк (1744—1829) — французский естествоиспытатель, создавший первое целостное учение об эволюции живой природы. Разграничил животный мир на две основные группы — позвоночных и беспозвоночных.

Бензол — органическое химическое соединение, углеводород.

«Народная воля» — самая крупная революционная народническая организация. Возникла в Петербурге в августе 1879 г. Располагала отделениями в 50 городах, насчитывала около 500 членов. Для достижения демократических целей народовольцы развязали уличный террор против крупных государственных чиновников. Осуществили восемь покушений на Александра II. После его убийства 1 марта 1881 г. «Народная воля», подкошенная арестами и предательствами, продержалась всего два-три года.

След за В. И. Лениным, высоко ценившим художественный гений Л. Н. Толстого, но издававшимся над его идеями нравственного самосовершенствования и непротivления злу насилием, советская идеология последовательно осуждала Толстого-мыслителя.

... Читали «Морица и Макса»... — «Макс и Мориц» («Max und Moritz», 1865) — комикс немецкого поэта и графика Вильгельма Буша (1832—1908) о весёлых, а иногда жестоких шалостях двух сорванцов (рус. перевод 1890).

... Но вот — надстройка. Т — Д — Т. — Исторический материализм рассматривает экономическую структуру общества как его основу, или базис, а надстройкой называет вырастающую на данном базисе и им обусловленную совокупность политических и идеологических отношений и учреждений, включая государство и право, мораль, религию, философию, искусство и т. д.

Т — Д — Т — формула, которой Карл Маркс в 1-м томе «Капитала» (1867) описывает процесс товарно-денежного обмена.

«О Фейербахе» — Карла Маркса... — работа К. Маркса (весна 1845), напечатанная после смерти автора Фридрихом Энгельсом под заглавием «Маркс о Фейербахе» (в предисловии к публикации названа «Тезисами о Фейербахе»). Лозунгом стал последний, 11-й тезис: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»<sup>28</sup>.

С. 59. ...ошельманного НЭПа... — Власть была вынуждена перейти к НЭПу лишь ради самосохранения; ослабив экономический диктат, смягчать режим не собиралась. И пропаганда обрушилась на «гримасы НЭПа». Нэпманов, совбуров, кулаков демонизировали, вышучивали их жадность, тупость и мешанство. На тогдашнем сленге все это называлось «накипью».

... буриме... — сочинение стихов на заданные рифмы.

---

<sup>28</sup> Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинения. Т. 4. М.: ОГИЗ: Госполитиздат, 1938. С. 591.

С. 59—60. *«Ты, кого всего сильнее / В мире любишь ты, — убей! / Ты мне так сказал, / Ты мне приказал, / Ма – га – ра – джа!»* — Так объясняет раб, почему он принёс магарадже голову его жены.

С. 62. *...К столу хозяйка подводила / <...> / Горяинова-Шаховского.* — Так назван Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской (1876—1952) — доктор физико-математических наук, автор более 300 научных работ, в прошлом профессор Варшавского университета, а в студенческие годы А. С. — профессор Ростовского университета. В его переводе (в первом случае с латинского, во втором — с греческого) и с его комментариями, которые по объёму иногда даже превосходят авторский текст, вышли «Математические работы» Исаака Ньютона (М.; Л.: ОНТИ НКТП СССР: Глав. ред. технико-теор. лит., 1937) и «Начала Эвклида» в 3-х томах (М.; Л.: Гос. изд-во технико-теор. лит., 1948—1950). Речь о Дмитрие Дмитриевиче Горяинове-Шаховском заходит также в романе «В круге первом» (1955—1958; 1968) (Т. 2. С. 58—59).

*...Над Маяковским посмеяться / (Задорно Ляля: «А Кузмин?»)*... — Поэт М. А. Кузмин (1872—1936) был знаком с В. В. Маяковским (1893—1930), случалось им играть в карты в общих компаниях, но в стихах гиперболизированная мужественность одного контрастировала с гомоэротической жеманностью другого. Кардинально разошлись они и в отношении к советской власти.

С. 63. *...Поговорить о Лиге Наций...* — Лига Наций (1919—1946; штаб-квартира в Женеве) — международная организация, ставившая целью развивать сотрудничество между странами и обеспечивать мир и безопасность. Первоначально объединила 30 государств, подписавших Версальский мирный договор (кроме США, не ратифицировавших её устав), и 13 приглашённых нейтральных государств. В общей сложности членами Лиги Наций побывали 63 страны. Япония и Германия покинули Женеву в 1933 г., чтобы не сковывать себя при подготовке войны. В 1937 г., после захвата Эфиопии, из миротворческого сообщества удалили Италию. Советский Союз был принят в Лигу Наций 18 сентября 1934 г., исключён 14 декабря 1939-го за агрессию против Финляндии. Советская пропаганда постоянно издевалась над новостями из Женевы.

*...о записках Шульгина.* — См. 6-е примеч. к с. 136.

*...неизменный, / Безпомощный, несовременный / Чудак — учитель ризованья...* — Речь о Германе Германовиче Коске, близком друге матери автора. Назван собственным именем в повести «Люби революцию» (с. 272).

С. 64. ...*Бродить на ощупь в Опанаса...* — При игре в Опанаса одному из играющих завязывают глаза, а остальные прячутся, и он должен руками схватить всех до одного.

...*И в Папу Римского израть.* — Играющие в Папу Римского становятся спиной друг к другу. Затем медленно оборачиваются, глядят глаза в глаза, и один печально сообщает: «Папа Римский болен» или даже: «Папа Римский умер». Другой должен так же печально кивнуть — не фыркнуть, не засмеяться, не скорчить гримасу. Иначе он проиграет.

*«Вам девятнадцать лет, у вас своя дорога, / Вы можете смеяться и шутить!.. / А я старик седой, я пережил так много...»* — из романа «Вам 19 лет» («В мою скучную жизнь вы вплелись так туманно...») Бориса Алексеевича Прозоровского (1891—1937?) на слова Елизаветы Борисовны Белогорской (1890-е — 1941) с изменением в 3-й строке припева («А я старик седой...» вместо «А мне возврата нет...»)<sup>29</sup>.

С. 65. *Лежали в грудах книги после потрошенья / И оползнями рушились к ногам.* — Варварский обыск в кабинете Федоровского упомянут в повести «Люби революцию» (с. 283).

...*Рамзин.* — Леонид Константинович Рамзин (1887—1948) — директор Теплотехнического института (1921—1930), член Госплана и ВСНХ. На сфабрикованном процессе «Промпартии» (25 нояб. — 7 дек. 1930) приговорён к смертной казни, заменённой десятью годами тюрьмы. В заключении в 1931 г. разработал первый советский энергетический прямоточный котёл, введённый в эксплуатацию два года спустя, и в 1934 г. возглавил ОКБ (Опытно-конструкторское бюро) прямоточного теплостроения (рамзинскую шарашку). В 1936 г. амнистирован, а в 1943-м за своё изобретение удостоен Сталинской премии 1-й степени. Награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Полностью реабилитирован в 1991 г.

*Лиха беда — беде прийти, / А пáбедки добыют.* — Пабедки — «беды по бедам, мелкие как хвост большой»<sup>30</sup>.

С. 66. ...*над холмом Темерника.* — Темерник здесь — северо-восточная окраина Ростова-на-Дону, расположенная на левом берегу правого притока Дона — Темерника.

С. 68. *Нас растоптать не сумели Романовы, — / Где же ему, проходиму?* — Ему — Сталину.

<sup>29</sup> Текст в кн.: Русский романс на рубеже веков / Сост. Валентина Мордерер, Мирон Петровский. Киев: Оранта-Пресс, 1997. С. 144.

<sup>30</sup> Русский словарь языкового расширения / Сост. А. И. Солженицын. 3-е изд. М.: Рус. путь, 2000. С. 164.

С. 69. *Этим письмом я с тебя слагаю / Тяжесть нескладной моей любви...* — Александр Джемели (реальная фамилия изменена) упомянут в повести «Люби революцию» (с. 272), и там же дважды упомянуто это его письмо (с. 272, 283).

«История с Джемели, — по словам Н. Д. Солженицыной, — быть может, единственная в “Дороженьке”, где А. И. отступил от реальных фактов. Дело в том, что Ляля Федоровская, старше мальчика Сани на шесть лет, была королевой его детства, и, когда она выбрала себе в женихи рыжлого, немужественного однокурсника, комсорга факультета, он страдал эстетически. Поэтому, сочиняя в лагере “Дороженьку”, дал волю фантазии и определил Ляле в возлюбленные некоего Марцелли, старшего ученика их школы, который был героем и предметом восхищения младших мальчиков. Он действительно замечательно читал стихи на школьных вечерах. А был из семьи обрусевших итальянцев. Потом он исчез, как многие в те годы. Вероятно, был репрессирован. А. И. предполагал, что “за троцкизм”».

«ЧТО ДВАЖДЫ ДВА ТАК ЧАСТО — НЕ ЧЕТЫРЕ...» (С. 70)

С. 70. *Что дважды два так часто — не четыре...* — Уравнение  $2 \times 2 = 4$ , бесспорное для обиходного сознания, на самом деле истинно лишь при некоторых заданных условиях. Здесь оно выступает образчиком догматизма. См. в романе «В круге первом»: «Где было дважды два четыре, они всем хором галдели, что ещё одна десятая и две сотых» (Т. 2. С. 123—124).

...*Я недоумевал речам Смирнова, Радека...* — Иван Никитич Смирнов (1880—1936), в прошлом руководитель революционного подполья Урала и Сибири — член реввоенсоветов республики, Восточного фронта и 5-й армии, член ЦК РКП(б), председатель Сибревкома, нарком почт и телеграфов. С 1933 г. сидел в тюрьме, приговорённый Особым совещанием к пятилетнему сроку как лидер так называемой контрреволюционной нелегальной группы. На процессе «Троцкистско-зиновьевского террористического центра» (19—24 авг. 1936 г.) вместе с новыми, а отчасти и старыми поделчиками обвинялся в убийстве Кирова 1 декабря 1934 г. и в подготовке покушений на Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича, Косиора, Орджоникидзе и Постышева. Следствие утверждало, будто при помощи особого шифра Смирнов из тюремной камеры направлял террористическую деятельность против советской верхушки. Категорически отрицая свою причастность к террору вообще, Смирнов по каким-то причинам уступал в деталях: согласился перевести стрелки на Л. Д. Троцкого, будто бы настаивавшего на терроре, подтвердил свою связь

с ним, посредничество в передаче его инструкций и т. д.<sup>31</sup> На самом процессе 20 августа И. Н. Смирнова допрашивал прокурор А. Я. Вышинский:

**«Вышинский.** Можно считать установленным, что в 1932 году вы получили новую директиву от Троцкого через Гавена?

**Смирнов.** Да.

**Вышинский.** Эта директива содержала прямое указание о необходимости перехода на путь террористической борьбы против руководства партии?

**Смирнов.** Совершенно верно.

**Вышинский.** В первую очередь против кого?

**Смирнов.** Там имена не были указаны.

**Вышинский.** Но вы поняли, что террористическая борьба прежде всего должна быть начата с товарища Сталина?

**Смирнов.** Да, я так понял.

**Вышинский.** Так и передали своим товарищам?

**Смирнов.** Да»<sup>32</sup>.

Карл Бернгардович Радек (1885—1939), партийный публицист, в прошлом член ЦК РКП(б) и секретарь Исполкома Коминтерна, проходил по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». На процессе (23—30 янв. 1937 г.), допрошенный Вышинским, он сообщил, что разделял планы Л. Д. Троцкого: чтобы захватить власть — ускорить войну Германии и Японии против СССР и способствовать поражению своей страны; расплатиться, отдав Германии Украину, а Японии — Дальний Восток; реставрировать в СССР капитализм и установить фашистскую диктатуру.

В последнем слове Радек требовал для себя самого сурового наказания: «После того как я признал виновность в измене родине, всякая возможность защитительных речей исключена. Нет таких аргументов, которыми взрослый человек, не лишённый сознательности, мог бы защитить измену родине. На смягчающие вину обстоятельства претендовать тоже не могу. Человек, который 35 лет провёл в рабочем движении, не может смягчать какими бы то ни было обстоятельствами свою вину, когда признаёт измену родине»<sup>33</sup>.

А всего пятью месяцами раньше, 21 августа 1936 г., по ходу предыдущего процесса Радек напечатал в «Известиях» статью «Троцкистско-зиновьевская фашистская банда и её гетман — Троцкий».

---

<sup>31</sup> Известия. 20 авг. 1936.

<sup>32</sup> Там же. 22 авг. 1936.

<sup>33</sup> Там же. 30 янв. 1937.

...*Стонал перед загадочным молчанием Бухарина.* — Н. И. Бухарин (1888—1938) проходил по делу «Антисоветского “правотроцкистского блока”», которое рассматривалось Военной коллегией Верховного суда СССР 2—13 марта 1938 г. В числе 18 обвиняемых был приговорён к расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Оглашение приговора началось в половине пятого утра 13 марта, а 15 марта Советское правительство объявило, что он приведён в исполнение.

Строго говоря, Бухарин на процессе не молчал. Он давал показания и произнёс пространное последнее слово, категорически отрицая свою связь с иностранными разведками, а также причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова, отвергая обвинения в подстрекательстве к убийству Ленина, Сталина, Свердлова.

Обескураживали самооговоры Бухарина: «Ещё раз повторяю, я признаю себя виновным в измене социалистической родине, самом тяжком преступлении, которое только может быть, в организации кулацких восстаний, в подготовке террористических актов, в принадлежности к подпольной антисоветской организации. Я признаю себя далее виновным в подготовке заговора — “дворцового переворота”. Это суть вещи сугубо практические. Я говорил и повторяю сейчас, что я был руководителем, а не стрелочником контрреволюционного дела. Из этого вытекает, как это всякому понятно, что многих конкретных вещей я мог и не знать, что их я действительно и не знал, но это ответственности моей не снимает». И наконец: «Чудовищность преступления безмерна, особенно на новом этапе борьбы СССР»<sup>34</sup>.

Молчал же Бухарин о главном — о фальсификации процесса, об абсурде судебной инсценировки.

...*В затылок свой я принял их свинец.* — По делу «Троцкистско-зиновьевского террористического центра» (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, И. Н. Смирнов и др.) были расстреляны все 16 обвиняемых. По делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Г. Л. Пятаков, Л. П. Серебряков, К. Б. Радек и др.) — 13 человек (ещё двое приговорены к тюремному заключению) расстреляны спустя два года по заочно вынесенному приговору. По делу «Антисоветского “правотроцкистского блока”» (Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, Г. Г. Ягода и др.) расстреляны 18 человек.

*Сегодня марши слушаю по радио — шагают / Лейб-гвардии Преображенский и Измайловский полки!!* — Идеи интернационализма и тотального отказа от старого мира, с которыми большевики захватили власть, в 1930-х гг. начинают вытесняться идеями национально-патриотическими. Выборочно возносятся осуждаемые прежде исторические собы-

<sup>34</sup> Известия. 13 марта 1938.

тия, государственные деятели и полководцы, канонизируются русские классики, возвращаются в обиход приметы и даже реалии прошлого, в том числе и знаменитые марши царских полков.

«Марш Лейб-гвардии Преображенского полка» (первая четверть XVIII в.; композитор неизвестен) к концу XIX в. стал главным маршем Российской империи. С 1856-го по 1917 г. его мелодию вызывали куранты московского Кремля. После Февральской революции «Преображенский марш» исполнялся как гимн вместо «Боже, Царя храни!...». В этом же качестве он был принят Добровольческой армией и Русским зарубежьем.

С. 71. ...*Вишвалось золото в чиновничьи мундиры позументом...* — Так, Постановлением Совнаркома от 28 мая 1943 г. для руководящего состава наркомата иностранных дел была введена парадная форма с золотым шитьём. Знаками различия служили погоны из серебряного галуна с золотым кантом по краям.

...*вцепясь в трибуны аналой...* — Аналой — высокий церковный столик с наклонным верхом вроде конторки, кафедры или трибуны. На аналой кладут иконы и богослужебные книги.

С. 72. ...*И слышно было, как упал / Стенографистки карандаш...* — Собрание в зале Ленинских мастерских, на котором неожиданно с обличением Сталина выступил старик рабочий, стенографировала мать А. С., Таисия Захаровна Солженицына, и это из её руки выпал карандаш. Выведена в «Красном Колесе» под именем Ксении Захаровны Томчак.

Старый рабочий, выступивший в ростовских Ленмастерских (в начале 30-х гг.), упомянут в повести «Люби революцию» (с. 283—284) и в «Архипелаге ГУЛАГ» (Т. 5. С. 263).

#### ГЛАВА ПЯТАЯ. БЕСЕДЬ (С. 73)

Река Бёсесь — левый приток реки Сож. Берёт начало в России, на юге Смоленской области, далее протекает по краю Могилёвской области Белоруссии и Брянской области России, затем вновь течёт по Белоруссии (Гомельская область), впадая в Сож в 30 км выше Гомеля.

Деревня Бёсесь — на левом, восточном берегу одноимённой реки в Ветковском районе Гомельской области. Подверглась радиоактивному заражению после взрыва на Чернобыльской атомной станции в 1986 г., попала в зону отселения и уничтожена.

В позиционных боях на Соже А. С. участвует поздней осенью 1943 г. См. далее: «Кроткое, неяркое, низко над землёй / Плыло солнце осени, не грея» (с. 77).

С. 73. ...*восстановить каторгу и смертную казнь через повешение*. — Вводя новые виды наказаний, Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 от 19 апреля 1943 г., в частности, предписывал: «Приговоры военно-полевых судов при дивизиях утверждать командиру дивизии и приводить в исполнение немедленно»; «Приведение в исполнение приговоров военно-полевых судов при дивизиях — повешение осуждённых к смертной казни — производить публично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и кто предаёт свою родину».

Указ был объявлен войскам согласно приказу наркома обороны И. В. Сталина № 0283 от того же 19 апреля. Официально не публиковался. Формально не отменён.

...*Только рожь да бульба*. — Бульбой белорусы называют картофель. *млыны...* — мельницы (бел.).

*Свержень...* — белорусская деревня, из названия которой А. С. в несколько приёмов образовал фамилию для автобиографического персонажа: Свержень — Свержин (Свержинин) — Вержин — Кержин — Нержин<sup>35</sup>.

...*Друть*. — См. 3-е примеч. к с. 88.

С. 74. ...*Со змеиным стрепетом катюш...* — См. 3-е примеч. к с. 150.

Тяжек был плацдарм Юрковичи-Шерстин. — Юрковичи и Шерстин — соседние белорусские деревни (расстояние между ними около 2 км) на правом берегу реки Сож, в Ветковском районе Гомельской области.

С. 75. ...*Штык копнёшь — она уже мокра...* — Штык здесь: слой земли на глубину штыковой лопаты.

...*Шестиствольным прошипеть, прорывкать скрипунам...* — Немецкий шестиствольный 150-мм реактивный миномёт Nebelwerfer 41 (Nb Wrf 41) стрелял турбореактивными осколочно-фугасными минами массой 34,15 кг. Дальность эффективной стрельбы 4 000—6 500 м. Устойчивость снаряда в полёте обеспечивалась не оперением, как у советских мин, а вращением при помощи сопел. Отсюда — характерный звук. Огонь вёлся залпами — 6 ракет за 10 сек. Осколки разлетались на 40 м в стороны и на 13 м вперёд от места падения снаряда.

См. в рассказе «Желябугские Выселки» (1998):

«Явственно раздался гнусный хрип шестиствольного миномёта.

<sup>35</sup> См.: М. Г. Петрова. Судьба автора и судьба романа // Александр Солженицын. В кругу пером: Роман. М.: Наука, 2006. С. 692.

Завыли мины — и в частобой шести разрывов, в толкотню» (Т. 1. С. 471—472).

Скрипунами фронтовики называли и этот шестиствольный миномёт (другие прозвища — ванюша, ишак, дурилка), и одномоторный пикирующий бомбардировщик Junkers-87 («Юнкерс-87») с вертушками сирен на стойках шасси (другие прозвища — музыкант, лапотник, лаптёжник) (о нём см. 1-е примеч. к с. 80). Но здесь это немецкое тяжёлое метательное орудие (Schweres Wurfgerät), представлявшее собой наклонную деревянную или металлическую пусковую установку, на которой укладывались в один ряд четыре 280-мм фугасных или 320-мм зажигательных турбореактивных снаряда. Залп продолжался 6 сек. Перезарядка занимала 2,5 мин. Максимальная дальность стрельбы соответственно 1 925 и 2 200 м. 280-мм снаряд содержал 45,4 кг взрывчатки. На месте его разрыва образовывалась воронка диаметром 7—8 м и до 2,5 м в глубину, как от авиабомбы. Зона поражения простиралась на 800 м.

См. далее: «*Прошипит десятиствольный, да скрипун прокрячет...*» (с. 126).

Скрипун упоминается и в «Архипелаге ГУЛАГе», и в том же сочетании с миномётным обстрелом: «И как нежно посвистывают мины. И как всё сотрясается от четырёх кубышек скрипуна» (Т. 4. С. 175).

С. 76. *Где комбат?.. Товарищ старший лейтенант!* — С 21 декабря 1942 г. А. С. — командир батареи звуковой разведки 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. Звание старшего лейтенанта ему было присвоено 15 сентября 1943 г.

*На пору худую блиндажи покрыты / Были в два, и в три, и даже в шесть накатов.* — Каждый накат — это сплошное перекрытие из брёвен или толстых досок, обычно для прочности засыпаемое землёй.

*...аппарели...* — от фр. appareil (въезд).

*...Батарея пушек занимала огневую, / Батарея гаубиц с поляны надрывалась...* — У гаубиц по сравнению с пушками короткие стволы. Пушки ведут настильную стрельбу (по траектории с незначительной крутизной), гаубицы — навесную (т. е. перекидную). Это позволяет устанавливать их на закрытых огневых позициях.

*...Раздавали водку радостной толпе...* — Ежедневная раздача 40-градусной водки по 100 г на человека была установлена Государственным Комитетом Оборона с 1 сентября 1941 г. для красноармейцев и начальствующего состава передовой линии действующей армии. С 3 мая 1943 г. 100 г водки полагались военнослужащим только тех частей передовой линии, которые ведут наступательные операции. Все остальные военнослужащие могли получить свои 100 г лишь по революционным и общественным праздникам — от годовщины Великой Октябрьской со-

циалистической революции до Всесоюзного дня физкультурника (в общей сложности литр водки в год).

С. 77. ...*всё забито в клуных*. — Клуныя — сарай, складская постройка. ...«Папа! Убей немца!»... — плакат М. А. Нестеровой-Берзиной (1942), ставший иллюстрацией вводимой в обиход ключевой идеологемы. «Убей его» (немца, позже заменённого фашистом) — заглавие популярного стихотворения К. М. Симонова, впервые напечатанного 18 июля 1942 г. в «Красной звезде» (позже заглавие было отброшено, и теперь стихотворение называется по первой строчке — «Если дорог тебе твой дом...»). «Убей!» — статья И. Г. Эренбурга в «Красной звезде» (24 июля 1942 г.), с итоговым заклинанием: «Убей немца! — это просит старуха-мать. Убей немца! — это молит тебя дитя. Убей немца! — это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»

...«*Не забудем — не простим!*» — Один из самых распространённых лозунгов военного времени. Первое зафиксированное упоминание — в заголовке корреспонденции П. А. Павленко с Северо-Западного направления («Красная звезда», 14 окт. 1941). Художник Д. А. Шмаринов назвал так серию рисунков (1942; Сталинская премия, 1943).

С. 78. ...*Обер-лёттенант!* — шуточное обращение на немецкий лад к советскому старшему лейтенанту.

...«*Смерть за смерть и кровь за кровь*»... (далее на с. 164). — Клич «Кровь за кровь! Смерть за смерть!» впервые зафиксирован в обращении участников Всеславянского митинга в Москве «Братьям угнетённым славянам» («Правда», 12 авг. 1941). Вошёл в призывы ЦК ВКП(б) к XXIV годовщине Великой Октябрьской социалистической революции («Правда», 31 окт. 1941).

С. 79. ...*лёгкий «виллис»*. — Американский военный джип Willys-MB («Виллис-МБ») был полноприводным четырёхместным автомобилем с открытым кузовом и брезентовым тентом. Двигатель мощностью 54 л. с. развивал скорость до 105 км/ч. По ленд-лизу СССР получил около 55 тыс. американских джипов, главным образом «виллисов» серии «МБ».

С. 80. ...*В очередь пикируя, бомбили, залетя, / Переправу «юнкерсы» одномоторные*. — Пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87» (Junkers-87), или Stuka («Штука»), — от нем.: Sturzkraftflugzeug (пикирующий бомбардировщик). Бомбовый запас до 1 800 кг. Специальное устройство защищало винт от бомб, сбрасываемых при пикировании.

Охота двух «Юнкерсов-87» на человека показана в «Желябугских Выселках» (Т. 1. С. 460).

...лёгкие, проворные / «Яки» с «мессершмиттами» / Дрались... — Одномоторные истребители Як-1, Як-3, Як-7, Як-9, сконструированные А. С. Яковлевым, составляли две трети советской истребительной авиации в годы войны. Самый массовый — Як-9, вооруженный 20-мм пушкой (боезапас 120 снарядов) и 12,7-мм пулемётом (боезапас 200 патронов).

Одномоторный истребитель Messerschmitt Bf 109 имел тоже несколько модификаций. Самая массовая — Messerschmitt Bf 109G («Густав»), вооруженный пушкой того же калибра (но боезапас 200 снарядов) и не одним, а двумя 13-мм пулемётами (да ещё по 300 патронов на ствол). Проигрывая в вооружении, Як-9 был легче и победить мог главным образом в маневренности.

Як-1 описан в повести «Люби революцию» (с. 261).

...«Фокке-вульф сто восемьдесят девять» — / Рама. — Немецкий трёхместный самолёт-разведчик «Фокке-Вульф-189» (Focke-Wulf 189) был двухфюзеляжным, из-за этого фронтовики называли его «рамой». В вермахте получил прозвище «летающий глаз». На его вооружении были четыре 7,92-мм пулемёта плюс бомбовая нагрузка 200 кг. Несмотря на низкую скорость, обладал хорошей манёвренностью и, как правило, благополучно уходил из-под обстрела. «Рама» упоминается в романе «В круге первом» (Т. 2. С. 45) и в рассказе «Желябутские Выселки» (Т. 1. С. 447).

С. 82. ...Как на ниточках невидимых Петрушка... — Петрушка — главный персонаж русских народных кукольных представлений.

«В ДЕНЬ, КОГДА УЗНАЛ Я ВАС ПО ИМЕНИ...» (С. 83)

С. 83. Это было в мае. Из болот, от Ильменя, / Мы пришли к Орлу, на солнечную Неручь. — В конце марта 1943 г. дивизион, в котором служил А. С., был передислоцирован с Северо-Западного фронта на Центральный. Ильмень — озеро с заболоченными берегами в 6 км к югу от Новгорода. Река Ловать, впадающая в озеро Ильмень, упоминается далее на с. 160, а также в романе «В круге первом» (Т. 2. С. 45) и в рассказе «Желябутские Выселки» (Т. 1. С. 453). Приток Ловати, река Редья, также упоминается в романе (Т. 2. С. 45). Неручь — левый приток реки Зуши. На Зуше, километрах в пяти от устья Неручи, на высоком холме расположен город Новосиль, под которым с конца апреля по 12 июля 1943 г. дивизион стоял в обороне.

Край тургеневский, брошенный и дикий... — И. С. Тургенев (1818—1883) родился в Орле, провёл детство, отбывал ссылку и жил наездами в родовом имении Спасское-Лутовиново Орловской губернии. Здешние места запечатлены в «Записках охотника» (1847—1852) и в других произведениях писателя.

...Над крестьянским хлебцем, спеченным из вики... — Вика — травянистое растение семейства бобовых, выращивается для пастбы, на

сено, силос и зерно, идущее в корм скоту. Чтобы повысить плодородие, запахивается в почву как зелёное удобрение.

...под Руссой... — Имеется в виду город Старая Русса на реке Полить — левом притоке реки Ловать. Старая Русса упоминается далее на с. 160.

...Мы сошлись на том, что здесь, за эту землю, / Как-то и не жалко умереть. — См. в «Желябугских Выселках»: «Приходит отчётливо: вот за это-то Среднерусье не жалко и умереть. Особенно — после болот Северо-Западного» (Т. 1. С. 445).

...Камни неживого Новосилья. — Новосиль — древний город на реке Зуше, известный по летописи с 1155 г. как крепость Итиль (Новосиль); районный центр в Орловской области, в 80 км к востоку от Орла. Был оккупирован немцами 13 ноября 1941 г.; освобождён 27 декабря того же года.

...листочки / О какой-то армии РОА... — РОА — Русская Освободительная Армия, инициатором которой был пленный генерал-лейтенант Красной Армии А. А. Власов (1901—1946, казнён).

«Никакой РОА в действительности и не было почти до самого конца войны», — пишет А. С. в «Архипелаге ГУЛАГе» (Т. 4. С. 228). И далее: «Лишь в треске последнего крушения, в сентябре 1944, Гиммлер дал согласие на создание РОА из целостных русских дивизий, даже со своей малой авиацией, <...> и только за 10 дней до конца всей Германии — 28 апреля 1945! — Гиммлер дал согласие на подчинение Власову казачьего корпуса. <...> Всё же к февралю 1945 года 1-я дивизия РОА <...> была сформирована и начинала формироваться 2-я» (Там же. С. 235). Однако «2-я дивизия и запасная бригада, вместе 20 тысяч человек, остались до самого мая 1945 безоружной толпой — не только без артиллерии, но почти без пехотного оружия и даже худо обмундированы. 1-ю дивизию (16 тысяч) назначили для операции безнадёжной и смертной, — и только общий уже развал Германии позволил командиру дивизии Буняченко увести её самовольно с передовой и через сопротивление генералов пробиваться в Чехию. (По пути освобождали советских военнопленных, и те присоединялись — “чтобы русским быть вместе”.) Пришли под Прагу в начале мая. Тут их позвали на помощь чехи, поднявшие в столице восстание 5 мая, дивизия Буняченко 6 мая вступила в Прагу и в жарком бою 7 мая спасла восстание и город. Будто в насмешку, чтобы подтвердить дальновидность самых недалёковидных немцев, первая же власовская дивизия своим первым и последним независимым действием нанесла удар — именно по немцам, выпустила всё ожесточение и горечь, какую накопили на немцев подневольные русские груди за эти жестокие и безтолковые три года» (Там же. С. 236—237).

...О Смоленском Русском Комитете... — 13 января 1943 г. немецкие самолёты разбросали над советским фронтом несколько миллионов

листовок, содержащих «Обращение Русского Комитета к бойцам и командирам Красной Армии, ко всему русскому народу и другим народам Советского Союза». Его подписали председатель комитета генерал-лейтенант А. А. Власов и секретарь генерал-майор В. Ф. Малышкин. Текст датирован 27 декабря 1942 г. Местом пребывания комитета назван Смоленск. В обращении была изложена программа из 13 пунктов:

«1. Ликвидация принудительного труда и обеспечение рабочему действительного права на труд, создающий его материальное благосостояние;

2. Ликвидация колхозов и планомерная передача земли в частную собственность крестьянам;

3. Восстановление торговли, ремесла, кустарного промысла и предоставление возможности частной инициативе участвовать в хозяйственной жизни страны;

4. Предоставление интеллигенции возможности свободнотворить на благо своего народа;

5. Обеспечение социальной справедливости и защита трудящихся от всякой эксплуатации;

6. Введение для трудящихся действительного права на образование, на отдых, на обеспеченную старость;

7. Уничтожение режима террора и насилия, введение действительной свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия неприкосновенности личности и жилища;

8. Гарантия национальной свободы;

9. Освобождение политических узников большевизма и возвращение из тюрем и лагерей на Родину всех подвергшихся репрессиям за борьбу против большевизма;

10. Восстановление разрушенных во время войны городов и сёл за счёт государства;

11. Восстановление принадлежащих государству разрушенных в ходе войны фабрик и заводов;

12. Отказ от платежей по кабальным договорам, заключённым Сталиным с англо-американскими капиталистами;

13. Обеспечение прожиточного минимума инвалидам войны и их семьям»<sup>36</sup>.

Апрелем 1943 г. датирована листовка «Что тебе известно о смоленском обращении “Русского Комитета”?» с выдержками из самого обращения и пропуском в плен.

---

<sup>36</sup> *Екатерина Андреева*. Власов и Русское Освободительное Движение. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1990. С. 330—331.

...*Власов на портрете.* — Об этих листовках, найденных в мае 1943 г. в «высоких, третий год не кошенных травах прифронтовой орловской полосы», А. С. рассказывает в «Архипелаге ГУЛАГ»: «На листовках был снимок генерала Власова и изложена его биография. На неясном снимке лицо казалось сыто-удачливым, как у всех наших генералов новой формации. (На самом деле это не так, Власов был высок и худ, а на подробных фотографиях можно разглядеть: скорее — мужик, который поучился и роговые очки надел.)» (Т. 4. С. 226—227).

С. 84. ...*Помню дымный жаркий полдень под Бобруйском / <... > / Закипающее торжество котла!* — Бобруйская наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта (командующий генерал армии К. К. Рокоссовский) началась мощной артиллерийской подготовкой в 6 часов 24 июня 1944 г. Через три дня, 27 июня, полное окружение бобруйской группировки немцев было завершено. «Ликование бобруйского котла» упомянуто в повести «Адлиг Швенкиттен» (1998) (Т. 1. С. 518).

*Хруст крестов железных под ногами...* — Железный крест — высший военный орден в Германии. Был учреждён прусским императором Фридрихом Вильгельмом III 10 марта 1813 г. Награждение возобновлялось трижды — с началом крупных войн: в 1870, 1914 и 1939 гг.

Особым декретом Гитлер восстановил Железный крест 2-го и 1-го классов и ввёл рыцарские степени ордена (Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями; он же с дубовыми листьями и мечами; с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами; с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами). В итоге Железный крест приобрёл 9 степеней. При этом Большой крест Железного креста получил один Герман Геринг (да и тот был его лишён, когда Гитлер заподозрил рейхсмаршала в измене), а Звезда Большого креста Железного креста так никому и не досталась. Больше же всего награждений пришлось на две низшие степени ордена. За время 2-й Мировой войны в сухопутных войсках было выдано около 2,3 млн железных крестов 2-го класса и 300 тыс. железных крестов 1-го класса.

...*Туши восьмитонков под мостами...* — Восьмитонки — полугусеничные тягачи Sd. Kfz. 7 (Sonderkraftfahrzeug 7) с двигателем мощностью 140 л. с., рассчитанные на перевозку 8 т груза. Использовались для буксировки тяжёлых пушек и гаубиц; служили платформой для зенитных орудий. Экипаж 10—12 человек.

Sonderkraftfahrzeug — специальный автомобиль (нем.).

...*Битюги, потерянно бродящие стадами...* — Битюги — лошади-тяжеловозы особо крупной породы. Увиденное собственными глазами «при освоении (то есть разрабе) бобруйского котла» А. С. передал так же в «Архипелаге ГУЛАГ» (Т. 4. С. 233—234).

...«Фердинандов» обожжённых розовый металл... — «Фердинанд» [Panzerjäger Tiger (P) Ferdinand — «Истребитель танков “Тигр-Порше” “Фердинанд”» (нем.)] — самое знаменитое самоходное тяжёлое штурмовое орудие 2-й Мировой войны — создан на базе танка прорыва VK 4501 («Тигр») конструкции Фердинанда Порше, автора разработки «народного автомобиля» (Volkswagen). Всего было изготовлено 90 машин. Одна осталась в распоряжении военной приёмки для испытания и проверки вооружения, 89 — в конце июня 1943 г. выгрузились на станции Змиёвка (в 42 км к юго-востоку от Орла). Боевая масса «Фердинанда» 65 т. Экипаж 6 человек. Толщина брони до 280 мм. Боекомплект 50—55 снарядов. Бронебойный снаряд пробивал на расстоянии километра 165-мм броню, а подкалиберный — 193-мм броню. Это позволяло «Фердинанду» поразить любой тогдашний танк.

С 5 июля 1943 г. и до конца месяца «фердинанды» участвовали в операции Citadel («Цитадель») (у нас она называется Орловско-Курской битвой) в полосе нашей 13-й армии Центрального фронта. Именно здесь воевал А. С. Под Орлом немцы безвозвратно потеряли 39 «фердинандов». В декабре 1943 г. все остававшиеся к тому времени в строю «фердинанды» (48) были возвращены на завод для модернизации. Усовершенствованные машины получили название Elefant («Слон»).

С. 85. ...под иззелена-серым... — цвет немецкой полевой униформы, которая обычно доставалась бывшим советским солдатам и офицерам, согласившимся воевать против соотечественников.

Робкой группкой, помню, шло вас до десятка... — Этот эпизод позже описан в «Архипелаге ГУЛАГ»: «Одну группу под Бобруйском, шедшую в плен, я успел остановить, предупредить — и чтоб они переоделись в крестьянское, разбежались по деревням приймаками» (Т. 4. С. 233).

...Словно лоб мой не таврэн эмалевой звездой, / Ваша грудь — серебряным орлом. — Советские военные носили на головных уборах красную эмалевую звёздочку, а немцы и те, кто надевал их форму, — справа на груди узкую вытянутую по горизонтали металлическую пластинку или нашивку в виде расплостёршего крылья серебристо-серого орла со свастикой в когтях.

...Вашей жизни, ваших мыслей след / Я искал в берлинских передачах... — См. 3-е и 4-е примеч. к с. 122.

С. 86. ...латынь из моды вышла ныне... — из «Евгения Онегина»<sup>37</sup>.

...Четырьмя изломами черты четыре выгнув, / Кто-то мелом начертит врага эмблему... — т. е. фашистскую свастику.

<sup>37</sup> А. С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 5. Л.: Наука, 1978. С. 10.

...круглым почерком... — Круглый и, значит, растянутый, а не заострённый и плотно сжатый в традициях готического письма почерк подсказывает, что латинскую надпись вывел соотечественник автора.

...«*Hoc signo / Vincemus!*» — Римский церковный писатель и историк Евсевий Памфил (ок. 263—339) рассказывает, что император Константин I Великий (ок. 285—337), поддерживавший христианскую церковь, в 312 г., накануне сражения с противником христиан, последним римским императором-язычником Максенцием, увидел во сне крест с надписью, которая у нас бытует в переводе на старославянский: «Сим победиши!» («С этим знамением победишь!»). По-латыни — «<In> hoc signo vinces».

*Разве / Учат Тита Ливия в гимназиях большевиков?* — Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк, умерший за два с половиной века до рождения императора Константина Великого; автор «Римской истории от основания города» в 142 книгах. В сохранившихся тридцати пяти отражены события III—II вв. до н. э. Но изучение классической латыни базируется, в частности, на исторической прозе Гая Юлия Цезаря, Гая Саллустия Криспа и Тита Ливия.

С. 87. *Я стоял перед девизом древним / Как карфагенянин.* — Карфаген — древний город-государство на севере Африки. После трёх многолетних Пунических войн завоёван Римом и превращен в его провинцию в 146 г. до н. э. Понятно, что у карфагенянина римская надпись способна вызвать противоречивые чувства: не только недоумение, непонимание, неприятие, но и невольное уважение к высокой чужой культуре.

#### ГЛАВА ШЕСТАЯ. ВАНЬКА (С. 88)

С. 88. ...«*Агитатора блокнот*» *сжимая, как сокровище...* — В 1942—1946 гг. этот 32-страничный журнальчик полностью назывался «Блокнот агитатора Красной Армии». Выходил три раза в месяц. Брошюровкой и вёрсткой напоминал настенный отрывной календарь, только был побольше форматом.

...*ДОТы...* — долговременные огневые точки, оборонительные сооружения из железобетона, камня на растворе или железных балок с арматурой и броневого закрытий для ведения огня через амбразуры из боевого каземата (защищённого помещения).

...*за Друтью...* — Друть (первое упоминание на с. 73) — река в Белоруссии, правый приток Днепра. Устье у Рогачёва, километрах в тридцати выше Жлобина.

*В мартовское хилое погodye...* — Речь о марте 1944 г.

С. 89. ...*Сзади нас — рокадные дороги тыловые...* — дороги, идущие параллельно линии фронта.

С. 90. *На задворках развалят бурты...* — Разроют ямы, в которых картофель хранился зимой.

*В тот июнь я приколол к погону / Белую четвёртую звезду.* — 7 мая 1944 г. генерал армии К. К. Рокоссовский подписал приказ о присвоении А. С. звания капитана (четыре звёздочки на погоне с одним просветом).

С. 91. ...*Так, чтобы звенели в шпорах репейки.* — Репейки — металлические с острыми зубчиками колёсики у шпор. Шпоры полагались артиллеристам при использовании конной тяги.

С. 92. *Награжу тебя значками, и медальками, и даже / «Красною Звездой», — / Мне ж на грудь за руководство ляжет / «Знамя красное» и «Ленин» золотой.* — Орден Красной Звезды учреждён 6 апреля 1930 г. для награждения по преимуществу военных, отличившихся в боевых действиях. Изготавливался из серебра. Орден носился на правой стороне груди ниже других орденов. В ходе войны произведено свыше 2 млн 860 тыс. награждений этим орденом.

Общесоюзный орден Красного Знамени учреждён 1 августа 1924 г. для награждения по преимуществу военных, проявивших особую храбрость, самоотверженность и мужество на фронте. Изготавливался из серебра. Носился на левой стороне груди после ордена Ленина. В ходе войны произведено свыше 580 тыс. награждений орденом Красного Знамени.

Орден Ленина был высшим общегражданским орденом в СССР. Учреждён 6 апреля 1930 г. Изготавливался из золота. В середине орден-медальона размещался рельефный профиль В. И. Ленина из платины. За время войны произведено свыше 41 тыс. награждений этим орденом (в том числе более 36 тыс. награждений военнослужащих и партизан).

*К чемодану и к обеду моему / Приловчён послушливый денщик.* — Денщики под названием ординарцев были введены директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 9 октября 1942 г. «для обслуживания личных бытовых нужд и выполнения служебных поручений командного состава»<sup>38</sup>, начиная от командира взвода.

*А ведь я в солдатской вашей коже / Голодно и драно тоже походил...* — Пять месяцев, с 18 октября 1941-го по 18 марта 1942 г., прежде чем получить направление в артиллерийское училище, рядовой А. С. отслужил ездовым в 74-м Отдельном гужевом транспортном батальоне.

<sup>38</sup> Русский архив: Великая Отечественная: Ставка ВГК: Документы и материалы. 1942 год. Т. 16 (5—2). М.: Terra, 1996. С. 420.

С. 94. *NNN-ской пушечной бригады... батареи звуковой...* — На фронте А. С. командовал батареей звуковой разведки 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона, входившего в состав сначала 44-й пушечной артиллерийской бригады, затем 68-й Севско-Речицкой отдельной пушечной артиллерийской бригады.

*Командир штрафной армейской роты...* — Введение штрафных формирований в Красной Армии определил приказ наркома обороны № 227 от 28 июля 1942 г. (см. о нём 4-е примеч. к с. 389). В пределах фронта формировалось от одного до трёх штрафных батальонов из средних и старших командиров и соответствующих политработников, в пределах армии — от пяти до десяти штрафных рот из рядовых бойцов и младших командиров. Командиры и военные комиссары штрафных рот назначались приказом по армии из числа волевых и наиболее отличившихся в боях командиров и политработников. На фронтах Великой Отечественной войны воевало более тысячи штрафных рот.

С. 95. *Ты — не СМЕРШ?..* — Для устрашения военной контрразведке было присвоено название «Смерть шпионам!» (сокр.: СМЕРШ).

*...наливай, Володька (далее на с. 98: ...выпьем, Стёпа...; ниже: ...Алёшка...).* — Обращение к Нержину, которого Уклеяшев сначала называл правильно: Серёжа.

Вы там Бог Войны, а мы — Полей Царица... — соответственно артиллерия и пехота.

С. 96. *...Сам я чистый... ну, не чистый... белокожий... / А бойцы мои завроде негров... / А взводами командиры — полуветки тоже... / Как их?.. полосатые такие... зебры!* — Полуветки здесь: чёрно-белые, но и «...приблатнённые, кто тянется в блатные, перенимает их закон» («Архипелаг ГУЛАГ». Т. 6. С. 505). Зебры — тоже не только животные с характерной расцветкой, но и заключённые тюрем и лагерей с особым режимом<sup>39</sup>.

#### ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ (С. 99)

«Семь пар нечистых» — поговорка, возникшая по аналогии с семью парами чистых животных и семью парами чистых птиц, которых Господь велел Нюю взять на ковчег, чтобы спасти от потопа. Нечистых же птиц и животных нужно было взять только по две пары (Быт. 7:2, 3).

<sup>39</sup> Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона: Речевой и графический портрет сов. тюрьмы. М.: Края Москвы, 1992. С. 91.

С. 99. ...суховершье... — то же, что суховёт, суховёршник, верхосушник, сушняк, сушник, — валежник, то есть «сухой лежащий лес»<sup>40</sup>.

С. 100. *Ехало не едет* — «эх» не повезёт... — См. в Словаре В. И. Даля: «Ехало не едет и ну не везёт»<sup>41</sup>. А. С. рассказывал: «С 1947 года много лет (и все лагерные, так богатые терпением и лишь малыми клочками досуга) я почти ежедневно занимался обработкой далевского словаря — для своих литературных нужд и языковой гимнастики»<sup>42</sup>. В лагере в распоряжении автора было издание, на которое мы здесь постоянно ссылаемся.

— «По указу». — «По какому?» — «Опоздание. На работу». — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» от 26 июня 1940 г. был утверждён 7-й сессией Верховного Совета СССР 1-го созыва 7 августа того же года. 5-м пунктом Указа предусматривалось: «Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из зарплаты до 25%»<sup>43</sup>.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г. устанавливалось, что «дела о прогулах и о самовольном уходе с предприятий и учреждений рассматриваются народными судьями единолично, без участия народных заседателей»<sup>44</sup>.

«При этом претерпело изменение само понятие прогула: вместо отсутствия на работе без уважительных причин в течение хотя бы одного дня (по законодательству 30-х годов) прогулом стало признаваться всякое нарушение продолжительности рабочего времени свыше 20 минут», — констатирует кандидат юридических наук, полковник А. Емелин<sup>45</sup>. И он же сообщает: «...до начала Великой Отечественной войны по Указу от 26 июня 1940 года было осуждено свыше 3 млн. человек, что составляло около 8 проц. общего числа рабочих и служащих СССР, из них за прогулы — 83 проц., за самовольный уход — 16 проц.»<sup>46</sup>.

40 Русский словарь языкового расширения. С. 238, 24.

41 Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 4. С. 661.

42 Русский словарь языкового расширения. С. 3.

43 Известия. 27 июня 1940.

44 Там же. 11 авг. 1940.

45 Военно-исторический журнал. 1991. № 1. С. 17.

46 Там же.

«Полкатушки»... — половина предельного срока по данной статье.

С. 101. *Ряда!* — Здесь: по очереди! в черёд!

...*везли в Таганку*... — О Центральной таганской пересыльной тюрьме (ул. Малые Каменщики, 16) заходит речь в романе «В круге первом»: «Тюрьма эта была не политическая, а воровская, и порядки в ней поощрительные» (Т. 2. С. 263). Снесена в 1958 г.

С. 102. ...*А потом заметили девчёнку*... — В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. рассказывает эту историю со слов своего сокамерника в Бутырках отставного полковника Лунина (Т. 4. С. 465—466).

*С карточек с одних давно бы подвело*. — Речь о карточках, по которым продавались продукты в магазинах, но не свободно, а лимитированно — по нормам не только скудным, но ещё и разным для разных категорий граждан. Очередной раз страна перешла на карточную систему после начала войны, в июле — октябре 1941 г. Отменили карточки только в декабре 1947 г.

С. 103. *До чего ни тронься — всё в сапожках*... — В. И. Даль приводит фразу «Ныне молоко в сапожках шеголяет...» и толкует её: «...дорого, редко»<sup>47</sup>.

С. 104. ...*зადорогой*... — Задорога — «полоса по обе стороны дороги»<sup>48</sup>.

С. 105. *В каждом доме бауэра*... — Bauer (нем.) — здесь: крестьянин. ...*голубые ост'ы*. — Нашивки с немецким словом «Ost» (восток), частью составного слова «Ostarbeiter» (восточный рабочий), — опознавательный знак польских и советских граждан, угнанных в Германию для принудительного труда.

С. 106. ...«*Суворова*» *повесил*. — Орден Суворова учреждён 29 июля 1942 г., на следующий день после знаменитого приказа наркома обороны № 227 (о нём см. 4-е примеч. к с. 389), для награждения командиров соединений и частей — от командующих фронтами и армиями до командиров батальонов (позже и рот) — за отличную организацию и проведение победоносных операций и наступательных боёв. До появления ордена «Победа» (8 нояб. 1943 г.) занимал высшую ступеньку в иерархии полководческих орденов. Представлял собой выпуклую пятиконечную звезду в виде расходящихся лучей. В центре звезды медальон

<sup>47</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 4. С. 137.

<sup>48</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 70.

с профилем А. В. Суворова. Орден имел три степени. Звезда ордена 1-й степени изготовлялась из платины, 2-й — из золота, 3-й — из серебра.

Начальнику штаба танкового корпуса в случае награждения полагался орден 2-й степени — золотой с серебряным портретом в медальоне. В ходе войны произведено 2 863 награждения орденом Суворова 2-й степени.

*И — в фильтрационный лагерь...* — Фильтрационные лагеря создавались с конца 1941 г. для проверки советских военных, вышедших из окружения или бежавших из плена, а также гражданских, побывавших под немцами. Со 2-й половины 1944 г., когда наши войска перешли границу, нарастает поток из Европы — это те, кого немцы угнали на работу в Германию, и узники тамошних лагерей. С декабря 1941-го по июль 1944 г. через проверочно-фильтрационные лагеря НКВД прошло 375 368 человек.

*...Десять — в зубы, пять — намордник...* — Десять (лет) — срок заключения. Намордник здесь — «лишение гражданских прав после отбытия тюремно-лагерного срока» («Архипелаг ГУЛАГ», Т. 6. С. 505).

С. 107. *По пятьдесят восемь один бэ — / К десяти годам!* — А. С. комментирует в «Архипелаге ГУЛАГе» все четырнадцать пунктов 58-й статьи. «Из Первого пункта мы узнаём, — отмечает он, — что контрреволюционным признаётся всякое действие (по ст. 6-й УК — и бездействие), направленное... на ослабление власти... <...>

С 1934 года, когда нам возвращён был термин Родина, были и сюда вставлены подпункты измены Родине — 1-а, 1-б, 1-в, 1-г. По этим пунктам действия, совершённые в ущерб военной мощи СССР, караются расстрелом (1-б) и лишь в смягчающих обстоятельствах и только для гражданских лиц (1-а) — десятью годами.

Широко читая: когда нашим солдатам за сдачу в плен (ущерб военной мощи!) давалось всего лишь 10 лет, это было гуманно до противозаконности. Согласно сталинскому Кодексу они по мере возврата на родину должны были быть все расстреливаемы» (Т. 4. С. 70).

*...Поползли над лесом кукурузники фанерные.* — Кукурузник — шутовское название одномоторного учебно-тренировочного самолёта У-2 (Учебный-2) ОКБ Н. Н. Поликарпова. В серийном производстве с 1930-го до 1953 г. Переименован в 1944-м, после смерти конструктора, в По-2. Одностоечный биплан в основном деревянной конструкции с полотняной обшивкой. Немцы называли его «русс-фанер». Взлетать и садиться мог на крохотных случайных площадках и даже на пахоте. Мощность двигателя 100 л. с. Максимальная скорость у земли 138 км/ч, на высоте — 152. Практический потолок 4 350 м. Максимальная дальность 400 км. На фронте использовался как разведчик, санитарный самолёт,

самолёт связи, снабженец, но главным образом как легкий ночной бомбардировщик. Брал до 350 кг бомб.

С. 108. *Мостами веду их в темноте...* — Мосты здесь — настил из досок в сенях избы.

С. 109. *...А не шути дороже рубля!* — См. в Словаре В. И. Даля: «Не шути более (или дороже) рубля»<sup>49</sup>.

*Фронт-то вроде не в Костроме? / А мы-то невдалеке от Галича.* — Город Галич — районный центр в Костромской области.

С. 110. *...Не родня, а в душу вьётся.* — См. в Словаре В. И. Даля: «Он так и вьётся, так и лезет в душу...»<sup>50</sup>

*Как они город тот назвали?.. Га́га! / Там, видишь, все подписали бумагу: / Пленных, значит, кормить, / С голоду не морить. / Ну, а от нас / Поступил отказ...* — Международная «Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны», принятая в Гааге в 1899 г. при участии 27 государств и поддержанная там же в 1907 г. при участии 44 государств, содержит в приложении главу «О военнопленных». «С ними, — говорится здесь, — надлежит обращаться человеколюбиво»; «Всё, что принадлежит им лично, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остаётся их собственностью»; «Государство может привлекать военнопленных к работам сообразно с их чином и способностями, за исключением офицеров. Работы эти не должны быть слишком обременительными и не должны иметь никакого отношения к военным действиям. <...> Заработок пленных назначается на улучшение их положения, а остаток выдаётся им при освобождении, за вычетом расходов по их содержанию»; «Если между воюющими не заключено особого соглашения, то военнопленные пользуются такой же пищей, помещением и одеждой, как войска Правительства, взявшего их в плен»<sup>51</sup>. Конвенция предусматривала также поддержку военнопленных их соотечественниками.

Правовые нормы о защите жертв войны, закреплённые в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 гг., были развиты в Женевской конвенции 1929 г., которую Советский Союз не подписал, и в Женевской конвенции 1949 г., которая была подписана Советским Союзом только в 1954 г.

<sup>49</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 4. С. 107.

<sup>50</sup> Там же. Т. 1. С. 504.

<sup>51</sup> Международное право: Ведение военных действий: Сб. Гаагских конвенций и иных соглашений. 2-е изд., испр. и доп. М.: Междунар. Комитет Красного Креста, 1999. С. 23, 24.

Выступая в Институте востоковедения (30 ноября 1966), А. С. ответил на вопрос о положении наших военнопленных в немецких лагерях:

«В заключении я долгое время находился вместе с бывшими военнопленными. В начале войны кто-то наверху — Сталин или Молотов — заявил, что наши военнопленные не могут ссылаться на Гаагскую конвенцию, потому что тот, кто попал в плен, то есть кто сдался на фронте, не заслуживает помощи. Все пленные, кроме советских, получали помощь от Красного Креста или из дома через его посредство. Но наши не получали ничего ниоткуда»<sup>52</sup>.

С. 111. *Старый ворон мимо не каркнет.* — То же см. в Словаре В. И. Даля<sup>53</sup>.

*По саже хоть гладь, хоть бей — / Всё будешь чёрен от ей.* — См. в Словаре В. И. Даля: «По саже, хоть гладь, хоть бей — всё черно...»<sup>54</sup>

...*Тринационал запела...* — «Интернационал» (искаж.).

С. 112. — *Жил я всегда, как свеча на ветру.* — «Свеча на ветру» станет подзаголовком пьесы А. С. «Свет, который в тебе» (1960).

*А и всего-то приходится по шкурке с брата.* — См. в Словаре В. И. Даля: «По шкурке с брата...»<sup>55</sup>

С. 113. *Пока под чужой крышей не побываешь, / Где своя течёт — не узнаешь.* — То же см. в Словаре В. И. Даля<sup>56</sup>.

...*понимай, спина, / Во-де-ка, во-де твоя вина.* — См. в Словаре В. И. Даля: «Была бы спина, найдётся и вина»; «Душа согрешила, а спина виновата»<sup>57</sup>.

*За что не доплатишь — того не доносишь.* — См. в Словаре В. И. Даля: «Того не доносишь, чего не доплатишь»<sup>58</sup>.

...*Остатние я насыпал в меру...* — Мера — старинная русская единица ёмкости для сыпучих тел, равная приблизительно одному пуду зерна. Здесь — большое ведро подобной вместимости.

С. 115. *Рядил медведь корову поставлять харчи, / Да чтоб за неустойку самоё не съел?* — См. в Словаре В. И. Даля: «Рядил медведь корову харчи поставлять, да за неустойку самоё съел»<sup>59</sup>.

<sup>52</sup> Александр Солженицын. Публицистика. Т. 2. С. 26.

<sup>53</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 1. С. 244.

<sup>54</sup> Там же. Т. 4. С. 127.

<sup>55</sup> Там же. С. 638.

<sup>56</sup> Там же. С. 153.

<sup>57</sup> Там же. С. 290.

<sup>58</sup> Там же. Т. 1. С. 470.

<sup>59</sup> Там же. Т. 4. С. 125.

...Работать семь дней на дядю, спать на себя... — См. в Словаре В. И. Даля: «На себя спал, на людей встал — до вечера побился, опять свалился»<sup>60</sup>.

...Самогонку в МТС... — МТС — машинно-тракторная станция, государственное предприятие, сдававшее в аренду колхозам сельскохозяйственную технику и обеспечивавшее её кадрами механизаторов.

С. 116. ...Да почему мало? — / Волком захохочешь! — См. в Словаре В. И. Даля: «Захохочешь по-волчьи, или волчьим голосом»<sup>61</sup>.

Кулыбышев должён был... — Среди персонажей трагедии «Пленники», действие которой «происходит в одной из контрразведок СМЕРШ Красной армии 9 июля 1945 года», наряду с Андреем Холуденевым («капитан Красной армии, 26 <лет>») и Львом Григорьевичем Рубиным («майор политической службы Красной армии, 33 <года>»), есть и «Кузьма Егорович Кулыбышев, из военнопленных, солдат штрафной роты, больше 40 <лет>»<sup>62</sup>. Но если у Холуденева и Рубина по одному прямому прототипу, то у Кулыбышева несколько.

...как собаке редька. — См. в Словаре В. И. Даля: «Надоело (мило), как собаке редька!»<sup>63</sup>

В своём-то зубу досадчива боль, / А за чужой щекой не болит ни-сколь. — См. в Словаре В. И. Даля: «Болен зуб у себя во рту»<sup>64</sup>; «За чужой щекой зуб не болит»<sup>65</sup>.

Не снеговая вода с серебра. — См. в Словаре В. И. Даля: «Снеговой водой с серебра умываются для белизны»<sup>66</sup>.

С. 117. ...летошние трудодни. — Трудодни за прошлый год.

С. 118. Умирать, конечно, не находка... — См. в Словаре В. И. Даля: «Жить плохо, да и умереть не находка»<sup>67</sup>.

Повторяется, бездарная. Убого. Примитивно. — Выделяя слово «повторяется», юноша-еврей, по-видимому, отсылает к поговорке о том, что история, или даже всякая история, или вообще жизнь, повторяется как фарс. Источник поговорки — работа Карла Маркса «Восемнадцатое

<sup>60</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 4. С. 288.

<sup>61</sup> Там же. Т. 1. С. 233.

<sup>62</sup> Александр Солженицын. Собр. соч. Т. 8. Пьесы и киносценарии. Вермонт; Париж: YMCA-Press, 1981. С. 127, 128.

<sup>63</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 4. С. 120.

<sup>64</sup> Там же. Т. 1. С. 695.

<sup>65</sup> Там же. Т. 4. С. 652.

<sup>66</sup> Там же. С. 250.

<sup>67</sup> Там же. Т. 2. С. 492.

брюмера Луи Бонапарта» (1852): «Гегель замечает где-то, что все великие всемирно-исторические события и личности, так сказать, появляются дважды. Он забыл прибавить: первый раз как трагедия, второй раз как фарс»<sup>68</sup>.

С. 119. *На заём подписываться.* — См. 3-е примеч. к с. 129.

...*Краткий Курс зубрить до седины...* — «Краткий курс» — подзаголовок и обиходное название канонической и явно мифологизированной «Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)». Как указано на титульном листе, она была подготовлена под редакцией Комиссии ЦК ВКП(б) и одобрена тем же ЦК. Печаталась по главам в газете «Правда» в одиннадцати номерах подряд — с 9 по 19 сентября 1938 г. Отдельным изданием выпущена следом — 1 октября. Через девять лет появилось существенное уточнение: «В 1938 году вышла в свет книга “История ВКП(б). Краткий курс”, написанная товарищем Сталиным...»<sup>69</sup>

В романе «В круге первом» А. С. рассказывает, как на политзанятиях за год (с осени до лета) успевали пройти лишь три главы «Краткого курса» и застрять на четвёртой, чтобы со следующей осени начать всё сначала (Т. 2. С. 626).

...*ни Любки жениха...* — Речь о Степане. Пассию его, свою дочку, отец зовет Танькой (с. 112) и Танюшкой (с. 113).

...*На гранитных набережных Шпрее...* — В Берлине.

*Omnes una atra<ta> manet nox!* — Строка принадлежит римскому поэту Квинту Горацию Флакку (65—8 до н. э.). Так он заканчивает оду, обращённую к Архиту Тарентскому (ок. 428—365 до н. э.) — современнику Платона; древнегреческому математику и астроному, философу-пифагорейцу, теоретику музыки; государственному деятелю и полководцу<sup>70</sup>.

«ПУСТЬ БЬЮТСЯ СТРОКИ — НЕ ШЕПНИ...» (С. 120).

С. 120. *Не дай мне Бог сойти с ума!* — заглавная строчка стихотворения (1833) А. С. Пушкина<sup>71</sup>.

...*Права поэта я жестоко оплатил!* — / <...> / *В труде голодном смертью матери моей...* — Таисия Захаровна Солженицына умерла в Георгиевске 18 января 1944 г. от туберкулёза, соединённого с голодом,

<sup>68</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 8. М.; Л.: Госиздат, 1930. С. 323.

<sup>69</sup> Иосиф Виссарионович Сталин: Краткая биограф. М.: Госполитиздат, 1947. С. 163.

<sup>70</sup> Русский перевод этой оды см. в кн.: Квинт Гораций Флакк. Оды. Этюды. Сатиры. Послания. М.: Худож. лит., 1970. С. 79.

<sup>71</sup> А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 3. Л., 1977. С. 249.

в такой нищете, что нечем было оплатить даже копку отдельной могилы, и её похоронили в свежей могиле брата, умершего двумя неделями раньше.

...*Карьера глиняного рыжей жижей осени...* — 14 августа 1945 г. А. С. был отправлен ближним этапом из Краснопресненской пересыльной тюрьмы в лагерь под Новым Иерусалимом и до 9 сентября работал на глиняном карьере последовательно сменным мастером, откатчиком вагонеток, глинокопом.

...*Зимой на кладке каменной и летом у вагранки...* — Каменщиком и литейщиком А. С. работал в Экибастузском особом лагере. См. стихотворение «Каменщик» (с. 229) и примечания к нему. Труд каменщика развёрнуто показан в «Одном дне Ивана Денисовича» (Т. 1. С. 66—75).

С. 121. *Но если раньше хлеб отравленный дадут?* — См. реплику Герасимовича в романе «В круге первом»: «Когда начнётся война, шарашечных эзков, слишком много знающих, перетравят через хлеб, как делали гитлеровцы» (Т. 2. С. 719).

#### ГЛАВА ВОСЬМАЯ. КАК ЭТО ТКЁТСЯ (С. 122)

После плацдарма на Соже, описанного в главе «Беседь», и переправы через Днепр, упомянутый в главе «Ванька», 48-я армия, в которой воевал А. С., за два месяца, с 23 июня по 29 августа 1944 г., с боями прошла почти всю Белоруссию, вступила в Польшу и выдвинулась к реке Нарев. На рассвете 4 сентября у городка Ружан (в 80 км северо-восточнее Варшавы) передовые части с ходу форсировали реку и захватили на правом берегу небольшой плацдарм, расширенный к 4 ноября до 43 км по фронту и 20 км в глубину. С Ружанского плацдарма наносился главный удар в направлении Восточной Пруссии. Наступление началось утром 14 января 1945 г.

Плацдарм на Нареве — место действия настоящей главы. См. далее: «*Утро роковое. Мы — на переломе. / Не речушку перейдём — мы переступим бездну*» (с. 132.).

С. 122. *Иужели нет пути иного, / Где бы мог пройти я, не губя / Ни надежд, ни счастья, ни былого, / Ни коня, ни самого себя?* — Из журнальной редакции стихотворения И. А. Бунина «На распутье» (1900)<sup>72</sup>.

*Реминорный мяккий вальс Чайковского...* — «Сентиментальный вальс» (соч. 51, № 6). Написан в 1882 г.

<sup>72</sup> И. А. Бунин. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1965. С. 482.

*Радио-шкатулка под столешницей / Скрыта от недружеского взора...* — Постановление Совнаркома № 1750 от 25 июня 1941 г. обязывало всех без исключения граждан, проживающих на территории СССР, сдать на временное хранение в органы наркомата связи все радиоприёмники и радиопередающие установки, находящиеся в индивидуальном пользовании. Тем, кто пытался уклониться, вменялась статья 59-6. Она предусматривала «лишение свободы на срок не ниже шести месяцев, с повышением, при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — расстрела, с конфискацией имущества»<sup>73</sup>. В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С., перечисляя потоки репрессированных, упоминает «поток не сдавших радиоприёмники или радиодетали. За одну найденную (по доносу) радиолампу давали 10 лет» (Т. 4. С. 86). В романе «В круге первом» досиживает 10-летний срок Иван Феофанович Дырсин, в прошлом инженер-радиотехник, посаженный за найденные у него в коробочке «две радиолампы» (Т. 2. С. 586).

Затем последовал устрашающий секретный приказ наркомата обороны № 0316 от 23 августа 1941 г. «О сдаче радиоприёмников и радиоустановок в местные органы связи». Затем — секретный приказ № 0133 от 22 февраля 1942 г. «О мерах по выполнению приказа НКО № 0316 1941 г. “О сдаче радиоприёмников личного пользования”»<sup>74</sup>.

...*Маленькая хитренькая грешница, / Говорунья и певунья «Нора».* — Нора — персонаж драмы Генрика Ибсена «Кукольный дом» (1879). Здесь — название портативного трофейного радиоприёмника, который был у А. С. на фронте.

...*навешень...* — то, «что навешано, напр. на пугале»<sup>75</sup>.

С. 123. *Это — ты бежишь, бежишь ко мне по клавишам...* — Н. А. Решетовская брала уроки игры на фортепьяно и одно время даже собиралась поступать в консерваторию. Работая в лаборатории химического факультета МГУ после защиты диссертации, участвовала в концертах художественной самодеятельности. На одном из таких концертов — для делегатов съезда профсоюзов в Театре Советской Армии 26 апреля 1949 г. — сыграла Двенадцатый этюд Шопена. Концерт передавали по радио, и А. С. слышал её игру в Марфинской спецтюрьме.

<sup>73</sup> Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года: Официальный текст с изменениями на 1 июня 1942 г. и с приложением постановлено-систематизированных материалов. М.: Юриздат НКЮ СССР, 1942. С. 138—139, 34—35.

<sup>74</sup> Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. — 1942 г. Т. 13 (2—2). М.: Терра, 1997. С. 72—73, 155—156.

<sup>75</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 114.

...в треугольнике письма... — Письма можно было отправлять без конверта, дважды сложив лист треугольником, а оставшуюся понизу полоску заправив внутрь. Адрес надписывали на чистом обороте листа.

...Далеко, за чёрной пеной Каспия... — С сентября 1942 г. Н. А. Решетовская жила с матерью в эвакуации в г. Талды-Кургане Казахской ССР.

Рычажок — Европа безпокойная / Мечется от Мозеля до Вислы! — Мозель — левый приток Рейна — протекает во Франции, Люксембурге и на западе Германии. Висла — самая большая река Польши — пересекала и тогдашний северо-восток Германии. Таким образом, радиоприёмник позволяет слушать всю Европу — от Франции до Германии и Польши.

Ручкой лакированной на Нареве / Поворачиваю шар земной. — Так обозначено место действия. Нарев — река в Польше, правый приток Западного Буга.

С. 124. Вот, и речь последнюю рождественскую Геббельса / Где услышишь ты потом, потомок? — См. в романе «В круге первом»: «И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Геббельса» (Т. 2. С. 26). «Тот сочельник» — 24 декабря 1944 г.

...слезливый бормот / Третьего июля поутру. — 3 июля 1941 г., на 12-й день войны, наконец, по радио выступил Сталин. См. далее 2-е примеч. к с. 267.

Ваш поручик младше, чем у них фельдфебель... — В германской армии между фельдфебелем и оберлейтенантом (поручиком) было три ступеньки: оберфельдфебель, штабс-фельдфебель и лейтенант.

Как раз сейчас / Время вам съезжаться в Прагу!.. / И транслировать из замкового зала, / Как ослабился ваш вождь и что сказал он... — 14 ноября 1944 г. в Праге, в Испанском зале Пражского града, прошло двухчасовое учредительное собрание Комитета освобождения народов России (КОНР). Комитет ставил целью уничтожение сталинской тирании и власти большевиков, прекращение войны и заключение почётного мира с Германией, создание демократической государственности в России. Председателем КОНРа был избран А. А. Власов. Манифест, принятый на собрании, в основном повторял принципы Смоленского обращения двухгодичной давности. «Весь манифест и сопровождающие передачи слышал я тогда на фронте по радио — и впечатление ото всего было, что: спектакль — несовременный и обречённый», — рассказывает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГ» (Т. 4. С. 236).

...Как презижий зондер-фюрер — то-то славно! — / Вас назвал союзниками равно. — На собрании в Праге с приветствиями выступили протектор Богемии и Моравии Карл Герман Франк и берлинский гость, представлявший правительство Рейха, обергруппенфюрер СС, начальник Главного управления по делам этнических немцев Вернер Лоренц.

«Господин генерал, — сказал он, обращаясь к Власову, — я приветствую Вас от имени имперского правительства как друга и союзника в борьбе против большевиков»<sup>76</sup>.

С. 125. *Оркестровый гимн, не исполнявшийся дотоле, / И в него заплетено злопамятной судьбой: / За землю, за волю, / За лучшую долю / Готовы на смертный бой*. — Приведены строки из боевой походной песни «От края и до края, от моря и до моря...», звучащей в финале оперы И. И. Дзержинского «Тихий Дон» (1935) (слова Л. И. Дзержинского и А. Д. Чуркина). На торжественных актах в частях Русской освободительной армии эта песня исполнялась наряду со старинным «духовным гимном» «Коль славен наш Господь в Сионе...» (слова М. М. Хераскова, музыка Д. С. Бортнянского). Был у РОА и свой гимн — «Мы идём широкими полями...» (1943) — слова А. Флорова (А. Я. Флауме), музыка М. Давыдова.

...«*Что ж тебя заставило связаться с лягашами, / И иттить работать в губЧЕКа?*» — из «Мурки», одесской блатной песни<sup>77</sup>.

У Пултуска <...> из-под Макува... — Пултуск — город на правом берегу Нарева, в 20 км юго-западнее Ружана. Макув-Мазовецкий — городок в 12 км западнее Ружана.

С. 126. *Прошипит десятиствольный, да скрипун прокрячет...* — Немецкий десятиствольный 150-мм реактивный миномёт (15 cm Panzerwerfer), созданный в 1942 г., в отличие от буксируемого шестиствольного, монтировался на полугусеничном грузовом автомобиле Opel Maultier (мощность двигателя 75 л. с., скорость на шоссе 40 км/ч, запас хода 130 км). Снаряды те же. Боекомплект 20 штук. В 1943—1944 гг. было выпущено всего 300 таких миномётов. О скрипуне см. 2-е примеч. к с. 75.

...*Груженные «студебеккеры»...* — Американские автомобили Studebaker US-6 с двигателем мощностью 95 л. с. перевозили по грунтовым дорогам до 2 500 кг груза, по шоссе — до 3 500 (US-6x4 — до 5 000). Максимальная скорость 69 км/ч. Все шесть колёс ведущие.

«Студебеккер» (с двумя «к») — историческое написание этого слова.

*Шутка ли?* — три армии стянули на удар... — С Ружанского плацдарманемцев атаковали три общевойсковые армии: 2-я Ударная, 3-я и 48-я, а также 5-я гвардейская танковая армия, 8-й механизированный и 8-й гвардейский танковые корпуса.

<sup>76</sup> Борьба (Мюнхен). 1948. № 15. С. 18—19.

<sup>77</sup> Один из вариантов см. в кн.: Любимые песни. М.: АСТ, 2009. С. 367—370.

*Всей округи шорохи, движения и шумы / На бумажной ленте спутались клубком.* — Работа Центральной станции звуковой артиллерийской разведки описана в рассказе «Желябугские Выселки».

*Дешифровщик Липников откинулся в раздумьи / И решенья ищет карандашным остриём.* — В «Желябугских Выселках», где своих сослуживцев А. С. называет подлинными именами, это сержант Михаил Лонгинович Липский, инженер-технолог, единственный в батарее человек, кого комбат зовёт по имени-отчеству. И описан он сходно:

«Белые мягкие руки Липского — на ленте, разложенной вдоль стола. Левой придерживает её, правой, с отточенным карандашом, как пикой, метит, метит, куда правильно уколоть, где вертикальной тончайшей палочкой отметить начало вздрoga» (Т. 1. С. 461).

*Балагур Евлашин, на уши по трубке, / У центрального щитка и коммутатора.* — В «Желябугских Выселках» это Енько: «Енько с двумя трубками на голове, а балагур» (Т. 1. С. 458).

С. 127. ...*смотр в Браунау!*.. — Смотр русского пехотного полка, прошедшего тысячу вёрст из России в Австрию, был предпринят М. И. Кутузовым 12 октября 1805 г. в полумиле от крепости Браунау, где размещалась главная квартира полководца. Описан в самом начале 2-й части 1-го тома «Войны и мира» (гл. 1—2)<sup>78</sup>.

Прибывший из Вены генерал требовал от Кутузова как можно скорее идти на соединение с австрийской армией, но Кутузов считал это соединение невыгодным и, чтобы оправдать свою медлительность, намеревался показать иностранцу, в каком печальном положении приходят войска из России. Узнав о предстоящем смотре, но не догадываясь о замысле главнокомандующего, командир полка и батальонные командиры решают показать полк в парадной форме. И после тридцативёрстного перехода солдаты всю ночь, не смыкая глаз, чистятся и чинятся. Но за час до смотра приходит распоряжение переодеться в походную форму, и все бросаются выполнять новый приказ. Пафос показухи, торжество бестолковщины, восторг субординации неотделимы от армии в этих сценах у Л. Н. Толстого.

С. 128. *Эт-то вам не святцы Александра Невского.* — Имеется в виду исполненный патетики фильм С. М. Эйзенштейна «Александр Невский» (1938) по сценарию П. А. Павленко. В заглавной роли — Н. К. Черкасов.

...*прочти-ка им рассказ / Здржинского о подвиге Раевского...* — В «Войне и мире» (т. 3, ч. 1, гл. 12) офицер Павлоградского полка Здржинский, вернувшись из штаба, напыщенно рассказывает Николаю

<sup>78</sup> Л. Н. Толстой. Собр. соч.: В 22 т. Т. 4. М.: Худож. лит, 1979. С. 143—154.

Ростову про «достойный древности» поступок генерала Раевского. В Салтановском сражении он «вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошёл в атаку»<sup>79</sup>. Как человек, побывавший под огнём, Николай Ростов понимает всю фальшь этого рассказа, стыдится его, но научен опытом, что возражать не следует. «Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нём»<sup>80</sup>.

С. 129. *Ячменников, с поста передового.* — Ячменниковым прозрачно назван Виктор Васильевич Овсянников (1923—2010) — командир линейного взвода в батарее А. С. В мае 1995 г. вместе с ним А. С. побывал в Орле и под Орлом, в тех местах, где они воевали в июле — августе 1943 г. в ходе Орловской операции, составной части Курской битвы. Выведен как Ячменников в комедии «Пир Победителей» (1951) и под своим именем в рассказе «Желябугские Выселки», упоминается в «Архипелаге ГУЛАГ» (Т. 4. С. 160) и в «очерках изгнания» «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»<sup>81</sup>.

*Дважды в день мы с ним по своду древних правил / Не клонясь, из котелка таскаем не спеша.* — См. в рассказе «Матрёнин двор» (1959): «Ел я дважды в сутки, как на фронте» (Т. 1. С. 123).

...*Добровольность займов...* — Государственные займы выпускались при советской власти с мая 1922 г. Только за годы предвоенных пятилеток они увеличили государственные ресурсы на 50 млрд рублей. Уже в 1939 г. число подписчиков на госзаймы превысило 50 млн человек. Хотя покупка заёмных облигаций издевательски объявлялась сугубо добровольной, была она откровенно принудительной. Обязательная годовая подписка на заём обычно достигала размера месячной заработной платы.

...*цену трудодня...* — За день работы от рассвета до темна колхознику в среднем начислялся один трудодень. Оплачивался он поздней осенью. Когда колхоз, погашая налоги и расплачиваясь за аренду техники, отдавал самую весомую часть урожая государству, часть придерживал на корм скоту и еще часть закладывал на семена, остаток делили на общее количество трудодней, заработанных всеми колхозниками за год. На трудодень могло приходиться 200—300 г зерна. Если в удачные годы добавляли денег, то в копейках.

...*И что «тигры» гибнут от бутылок.* — О «тиграх» см. 1-е примеч. к с. 150.

<sup>79</sup> Там же. Т. 6. С. 61

<sup>80</sup> Там же. С. 62.

<sup>81</sup> Новый мир. 1999. № 2. С. 122—124.

С. 130. *Спорили в училище.* — А. С. и Овсянников знали друг друга с апреля 1942 г. — начала совместной учёбы в 3-м Ленинградском артиллерийском училище. Об этом училище см. 2-е, 3-е и 5-е примеч. к с. 389.

...эренбурговский придурковатый фриц... — Само прозвище фриц (а не ганс, хотя и это прозвище было в ходу) для немецких солдат закрепил своей публицистикой И. Г. Эренбург.

...володимерский... — от древнего названия: Володимерь (город Владимира).

*Синтетический бензин немецкий в порошке / Подержал раздумчиво в руке — / Ни полслова больше о ресурсах...* — См. в «Желябугских Выселках»:

«Овсянников смотрит мирно. Помалкивает. С тех пор как он нашёл у немцев бензинный порошок, — уже не верит, как пишут в газетах, что немцы вот-вот без горючего останутся» (Т. 1. С. 454—455).

С. 131. *У меня, вишь, сумка полная — отвинченных взрывателей / Минных-то, немецких!* — В доказательство того, что он действительно обезвредил немецкие мины, сапёр должен был представить отвинченные взрыватели.

С. 132. ...*Солнце Аустерлица* (далее на с. 140: *Выклик Бонапарта: / «Это — солнце Аустерлица!»*). — Под Аустерлицем 2 декабря (20 нояб.) 1805 г. Наполеон одержал победу над русско-австрийскими войсками. Перед Бородинским сражением 26 августа (7 сент.) 1812 г. ему казалось, что успех обеспечен. «На рассвете, когда солнце только начало всплывать над линией горизонта, он весело воскликнул: “Вот солнце Аустерлица!”»<sup>82</sup>

С. 133. *А посылки? / А с посылочками как, товарищ капитан?* — Государственный Комитет Оборона постановлениями № 7054 от 1 декабря 1944 г. и № 07192 от 23 декабря 1944 г. разрешил красноармейцам, лицам сержантского состава, офицерам и генералам действующих фронтов отправлять домой личные посылки. Всем одинаково полагалась одна посылка в месяц, но разного веса: «для рядового и сержантского состава — 5 кг, для офицерского — 10 кг и для генералов — 16 кг»<sup>83</sup>. Инструкция по приёму, обработке, пересылке и доставке воинских по-

<sup>82</sup> *Е. Тарле.* Наполеон. М.: Жургазобъединение, 1936. С. 382.

<sup>83</sup> Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР. 1943—1945 гг. Т. 13 (2—3). М.: Терра, 1997. С. 344.

сылки с действующих фронтов в тыл страны, утверждённая постановлением ГКО от 23 декабря, уточняла:

«Максимальный размер посылки не должен превышать 70 см в каждом из трёх измерений.

Воинские посылки от красноармейцев и сержантского состава принимаются бесплатно, от офицерского состава и генералов за плату по 2 рубля за килограмм. Посылки, по желанию отправителей, могут подаваться также и с объявленной ценностью: от рядового и сержантского состава — 1 000 рублей, от офицеров — до 2 000 рублей и от генералов — до 3 000 рублей с взиманием страхового сбора по действующему тарифу»<sup>84</sup>.

...мадепалан... — Правильно: мадаполам (от названия города Madaralam в Индии). Плотная хлопчатобумажная бельевая ткань, глянцеви́тая и жёсткая на ощупь.

С. 134. ...«А приёмник можно?» — «Вообще-то можно... / Хрен его... а может и нельзя?..» — См. 3-е примеч. к с. 122.

С. 136. ...*to be or not to be?* — быть или не быть? (англ.). Из монолога Гамлета в одноимённой трагедии (1601) Уильяма Шекспира.

На столе — процесс Бухарина-Ягоды / И четырнадцатый съезд ВКПб... — Книги: Судебный отчёт по делу антисоветского «правотроцкистского блока», рассмотренному Военной коллегией Верховного суда Союза ССР 2—13 марта 1938 г. <...>: Полн. текст стеногр. отчёта. М.: Юриздат НКЮ СССР, 1938. — 708 с.; XIV съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б): Стеногр. отчёт. <М.; Л.:> Госиздат, 1926. — 1029 с.

Холодно-жестокий Савинков? — Борис Викторович Савинков (1879—1925) — с 1903 г. в «Боевой организации» эсеров, вскоре один из её руководителей. Устроитель и участник многих публичных политических убийств. Во Временном правительстве 2-го и 3-го составов — управляющий военным министерством. В эмиграции готовил выступления против большевиков. В 1924 г. был схвачен при переходе советской границы, приговорён к расстрелу, заменённому 10-летним заключением. То ли выбросился, то ли был выброшен из окна следователя или в пролёт лестницы. Автор «Воспоминаний террориста» (1909), повестей «Конь бледный» (1909) и «Конь вороной» (1923), романа «То, чего не было» (1912—1913).

Князь Кропоткин, снова нелегальный? — Князь Пётр Алексеевич Кропоткин (1842—1921) — теоретик и практик анархизма. Родона-

<sup>84</sup> Там же. С. 346.

чальник концепции анархического коммунизма, предусматривавшей объединение свободных производственных общин (коммун). Отсидев два года в Петропавловской крепости, бежал за границу и вернулся в Россию только через сорок с лишним лет, в 1917 г., после Февральской революции. Жил в Дмитрове. Был противником диктатуры пролетариата. Основные книги Кропоткина выходят на родине лишь с 1906 г., когда цензура ослабевает, и чаще всего сразу после революции. Это и «Современная наука и анархия», и «Великая французская революция. 1789—1793», и «Этика», и «Дневник П. А. Кропоткина». Неоднократно перепечатываются «Записки революционера», но только до 1933 г. Далее наступает 33-летний перерыв — и следующее издание появляется лишь в 1966 г.

В «Раковом корпусе» упомянута книга Кропоткина, в русском переводе получившая название «Взаимопомощь среди животных и людей» (Т. 3. С. 371). В 1921—1993 гг. его именем называлась улица Пречистенка в Москве. Сам же он на уличных табличках был представлен как географ и путешественник.

*Карл Радек, талмудист опальный?* — См. 2-е примеч. к с. 70.

*Пламенно пророческий Шульгин?..* — Василий Витальевич Шульгин (1878—1976) — монархист, один из лидеров правого крыла 2—4-й Государственных дум. В 1917 г. член Временного комитета Государственной думы; 2 марта вместе с А. И. Гучковым принимал отречение от престола Николая II. Участвовал в создании Добровольческой армии. С 1920 г. в эмиграции. В 1944-м схвачен в Югославии и вывезен в СССР. Сидел в тюрьме до 1956 г. Мемуарные книги Шульгина «Дни: Записки» и «1920 год: Очерки» издавались у нас в 1922—1927 гг.

С. 137. ...*Под Орлом на Неручи я повстречал его...* — Первая фронт-овая встреча А. С. и Н. Д. Виткевича состоялась 12—15 мая 1943 г.

...*на «опель-блице»...* — Opel Blitz («Опель-Блиц») здесь: трофейный немецкий двухосный трёхтонный грузовик с задней парой ведущих колёс, с трёхместной кабиной и кузовом в виде бортовой платформы с тентом; один из шести, которые к концу войны были в батарее А. С. (см. с. 143). Двигатель мощностью 70 л. с. развивал скорость до 90 км/ч. Запас хода на шоссе 400 км. Blitz — молния (нем.). См. далее: «С батареей нас затёрло, / И в машине головной — / «Опель-блиц» из Веермахта, / Плавный ход и формы гнуты, / Утонов в сиденьи мягком, / Я сижу, в тулуп закутан» (с. 168—169).

...*Запись отточённая о выводе последнем.* — Речь о «Резолюции № 1», составленной друзьями 1—3 января 1944 г., когда они восьмой раз встретились на фронте. В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает: ««Резолюция» эта была — энергичная сжатая критика всей системы об-

мана и угнетения в нашей стране, затем, как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить, и кончалась фразой: «Выполнение всех этих задач невозможно без организации» (Т. 4. С. 132).

...Пахан... — Так А. С. и Н. Д. Виткевич в переписке шифровали Сталина.

С. 138. — *Почему я не был в Петрограде / Двадцать восемь лет тому назад?* — т. е. в 1917 г.

*Жили вы в Швейцариях — жилали ли в народе?* — Лидеры большевиков надолго оседали в эмиграции. Сам В. И. Ленин, например, в общей сложности более четырнадцати с половиной лет (июль 1900 — ноябрь 1905, декабрь 1907 — апрель 1917) прожил за границей и о том, что происходило с Россией, конечно, знал лишь понаслышке.

С. 139. ...*Чуть не год приходится писать...* — Полтора года переписывались друзья, не принимая всерьёз военную цензуру, и последние месяцев десять их письма вылавливала из почтового потока и копировала контрразведка.

#### ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ПРУССКИЕ НОЧИ (С. 141)

30 сентября 1965 г. А. С. прочитал «Прусские ночи» К. И. Чуковскому в его доме в Переделкине. В тот же день Чуковский записал в дневнике:

«Поразительную поэму о русском наступлении на Германию прочитал А. И. — и поразительно прочитал. Словно я сам был в этом потоке озверелых людей. Читал он 50 минут. Стихийная вещь, — огромная мощь таланта.

Он написал поэму 15 лет назад. Буйный водопад слов — бешеный напор речи — вначале, — а кончается тихой идиллией: изнасилованием немецкой девушки»<sup>85</sup>.

Осенью 1965 г., после захвата Госбезопасностью 11 сентября той части архива А. С., которая находилась у В. Л. Теуша и И. И. Зильберберга, писателю удалось через Л. З. Копелева передать «Прусские ночи» (вместе со сценарием «Знают истину танки!») Генриху Бёллиу, и он вывез их на Запад и тем спас. «Уж как я радовался, как благодарен был!» — восклицает А. С.<sup>86</sup>.

Первая публикация — отдельное издание: А. Солженицын. Прусские ночи: Поэма. Paris: YMCA-Press, 1974. 64 с.

<sup>85</sup> *Корней Чуковский. Дневник. 1936—1969.* М.: ПРОЗАИК, 2011. С. 419.

<sup>86</sup> *А. Солженицын. Бодался теленок с дубом.* С. 523.

В том же году в Цюрихе (Швейцария) вышла пластинка: А. Солженицын. Прусские ночи: Поэма, написанная в лагере в 1950 г. / Читает автор. Запись 1969 г.

С. 141. *Потоптали храбрые поганых... / По полю рассыпавшись, что стрелы, / Красных дев помчали половецких.* — Из «Слова о полку Игореве» в переводе (1866—1870, 1893) А. Н. Майкова<sup>87</sup>.

*Шестьдесят их в ветрожоге...* — В батарее А. С. было 60 человек. 31 из них поименован в «Желябугских Выселках». О ветрожоге см. 2-е примеч. к с. 45.

С. 142. *...Что саша — через деревню, / Что деревня — на саше.* — Саша, саше (искаж.) — шоссе.

С. 143. *...Кляйн Козлау, Гросс Козлау...* — Через эти приграничные немецкие деревни батарея А. С. вошла в Восточную Пруссию.

С. 145. *Добро ль, худо ль, янки-дудль!* — Обыгрывается американская песенка «Янки Дудль», известная с XVIII в. («Yankee Doodle went to town / Riding on a pony, / Stuck a feather in his hat / And called it macaroni...»). В переводе С. Я. Маршака: «Янки Дудль к нам верхом / Приезжал на пони. / Шляпу круглую с пером / Звал он макарони»<sup>88</sup>. Дудль здесь — имя собственное. Исходное значение: дурак, олух, простофиля.

*«Ра-азменяйте мне сорок миллионов / И купите билет до Сергача!..»* — одесская блатная песня с реалиями Гражданской войны. В исполнении Аркадия Северного вместо Сергача был Бердичев (Бердичё, Бердич) и не сорок миллионов, а десять. Третий город фигурирует в варианте, приведённом Л. З. Копелевым: «Разменяйте мне десять миллионов / И купите билет на Ростов...»<sup>89</sup> Но сумма всё та же, возможно, под влиянием песенки о деньгах, потерявших свою цену: «Залетаю я в буфет, / Ни копейки денег нет, / Разменяйте десять миллионов...»<sup>90</sup>

*Локоть — мостик — поворот...* — Локоть здесь: «угол, ломаный сгиб, колено, исходящий зубец и расстояние или пространство от излома до излома»<sup>91</sup>.

<sup>87</sup> Слово о полку Игореве. Л.: Сов. писатель, 1985. С. 101.

<sup>88</sup> С. Я. Маршак. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1968. С. 181.

<sup>89</sup> Лев Копелев. Хранить вечно: В 2 кн. Кн. 1. Харьков: Права людини, 2011. С. 227.

<sup>90</sup> Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой телёнок // Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1961. С. 56.

<sup>91</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 2. С. 264.

С. 146. «Знаешь, там этил, метил...» — И этиловый спирт, и метиловый спирт — бесцветные горючие жидкости со спиртовым запахом. Но этиловый спирт — основа спиртных напитков, а метиловый спирт — яд, поражающий нервную и сосудистую системы. Даже 5—10 г могут привести к тяжёлому отравлению, слепоте, а 30 — к смерти. См. в повести «Аддиг Швенкиттен»:

«А к утру 26-го семеро бригадских шофёров — кто с тягачей, кто с ЗиСов — скончались в корчах от метилового спирта. И несколько из расчётов. И несколько — схватились за глаза» (Т. 1. С. 488).

...И мотив из Сарасате / <...> / «Этот веер чёрный! / Веер драгоценный!» (далее на с. 172—173). — романс «Чёрный веер» испанского композитора и скрипача-виртуоза Пабло де Сарасате (1844—1908). Русский текст Г. Гнесина.

С. 147. ...«Ну какое сердце / Устоять сумеет?..» (далее на с. 158, 173) — из «Чёрного веера».

Я пройду, тебя не тронув, / Как Пилат, омыв персты... — Римский прокуратор (наместник) Иудеи в 26—36 гг. Понтий Пилат, обычно отпускавший на праздник Пасхи одного узника, предложил народу на выбор Иисуса Христа или разбойника Варавву и даже вступался за Иисуса, но народ требовал его казнить. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы» (Мф., 27:24). Так Варавва был отпущен, а Иисус предан на распятие.

...Меж тобой и мной Самсонов... — генерал от кавалерии Александр Васильевич Самсонов (1859—1914). Корнетом участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.; на русско-японской войне 1904—1905 гг. в звании генерал-майора командовал Уссурийской конной бригадой, затем 1-й Сибирской казачьей дивизией. С 1909 г. был Туркестанским генерал-губернатором и войсковым атаманом Семиреченского казачьего войска. 23 июля (5 августа) 1914 г., на 4-й день после начала русско-германской войны, принял 2-ю армию, которой предстояло почти без подготовки включиться в наступательную Восточно-Прусскую операцию вместе с 1-й русской армией генерал-адъютанта П. К. Ренненкампа против 8-й армии немцев, которой с 9 (22) августа командует генерал пехоты Пауль фон Гинденбург. Успешное поначалу продвижение русских армий из-за несогласованных действий, ошибочных приказов командования фронтом и собственных просчётов закончилось катастрофой. 2-я армия была окружена, и лишь немногим частям и группам удалось прорваться через кольцо. Самсонов выходил из окружения со своим штабом. Но из-за пережитых потрясений 17 (30) августа застрелился.

Выведен в «Августе Четырнадцатого».

С. 147—148. *Там, унас, погребено / Пыльюлет, архивов тайной / То, что вами внесено / Спесью башен в Хохенштайне...* — Между Хохенштайном и Уздау, неподалёку от деревушки Танненберг, где в дни решающих боёв против армии Самсонова располагался командный пункт Гинденбурга, в 1927 г. был сооружён мемориал в знак немецкой победы в августе 1914 г. и в честь погибших. Восемь тяжёлых четырёхугольных башен высотой 20 м, соединённых стеной, образовывали внутренний двор диаметром около 100 м, который использовался для массовых церемоний. Внутри башен были устроены экспозиции, посвящённые танненбергским полкам. Со всей Германии сюда свозили останки старых генералов. В 1934 г. здесь был похоронен и сам Гинденбург, уже президент Германии, генерал-фельдмаршал.

Л. З. Копелев говорит, что ещё до начала нашего январского наступления 1945 г. задался целью взорвать этот символ прусской военщины. Но, проехав через Хохенштайн, издали увидел, что крепость уже взорвана. «Когда осенью 1947 года в подмосковной спецтюрьме, так называемой шарашке, — продолжает он, — я познакомился с А. Солженицыным, он рассказал, что был там едва ли не в тот же день»<sup>92</sup>.

В августе 1971 г. А. С. надписал Копелеву экземпляр первого издания «Августа Четырнадцатого» (Paris: YMCA-Press, 1971):

«Другу моему Лёвушке Копелеву, одному из двух советских офицеров в Восточной Пруссии, кто в 45-м году знал о танненбергском памятнике, искал его и к нему прорвался через запреты “Мины”»<sup>93</sup>.

После войны Хохенштайн отошел к Польше. Сейчас это Ольштынец.

С. 148. *...За Париж, за чудо Марны / Гнали слепо и бездарно / Сгусток русских корпусов...* — Крупнейшее сражение между главными французскими и германскими силами во время 1-й Мировой войны на реке Марне (5—12 сент. по н. ст. 1914), в котором участвовало с обеих сторон свыше 115 пехотных и кавалерийских дивизий (около 2 млн человек, более 6 600 орудий), выиграли французы, защитив Париж от немцев.

В «Августе Четырнадцатого» А. С. приводит обращение посла Франции Палеолога к императору Николаю II от 23 июля (5 авг.) 1914 г.: «...Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов. Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной» (Т. 7. С. 20). В ответ, чтобы вырчить союзников,

<sup>92</sup> Лев Копелев. Хранить вечно. Кн. 1. С. 117.

<sup>93</sup> «Дар бесценный»: «Судьба сплела его с Германией и ветвями мира, и прутьями войны...»: Лев Копелев — герой романа А. И. Солженицына «В круге первом». М.: Гос. лит. музей, 2010. С. 56.

Николай II «приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин» (Там же. С. 21).

В результате было предпринято отвлекающее жертвенное наступление русских войск в Восточной Пруссии в августе 1914 г. Немецкому командованию пришлось перебросить с Западного фронта на Восток два армейских корпуса и одну кавалерийскую дивизию.

...*Гнали в ноги Людендорфу...* — Эрих Людендорф (1865—1937), служивший в германском Генштабе с 1894 г. (в 1908—1912 г. начальником оперативного отдела), в начале русско-германской войны был оберквартирмейстером немецкой 2-й армии, а с 10 (23) августа до ноября 1914 г. — начальником штаба 8-й армии при Гинденбурге. Будучи его прямым помощником, Людендорф с августа 1914 г. фактически руководил немецкими войсками на Восточном фронте, а с августа 1916 -го — всеми вооружёнными силами Германии. Упоминается в «Августе Четырнадцатого».

*Шедший выручить, от смыка / Был отозван Нечволодов...* — Генерал-майор Александр Дмитриевич Нечволодов (1864—1938?) в августе 1914 г. командовал 2-й бригадой 4-й пехотной дивизии. Посланный к Вилленбергу, он был уверен, что именно здесь, где свои пытались пробиться через немецкое окружение изнутри, встречным ударом извне сможет разорвать вражеское кольцо. Но, когда считанные минуты оставались до назначенной ночной атаки, пришёл приказ боя не начинать ввиду предстоящего отхода всего корпуса на русскую территорию.

Этот эпизод описан в «Августе Четырнадцатого» (Т. 8. С. 36—41). Сам Нечволодов выведен под собственным именем.

С. 149. ...*Небо всулошь кроют «иль»...* — Здесь — штурмовики Ил-2 и Ил-10 (конструктор С. В. Ильюшин) с бронекорпусом, защищавшим пилотов. Непосредственно поддерживали сухопутные войска, атакуя на поле боя танки, артиллерию и пехоту противника с малых высот (400—1 000 м) на пологом пикировании или с бреющего полёта на высотах 15—50 м. Ил-2 начал поступать в воинские части в 1941 г., за считанные недели до войны. Разработчики называли своё детище «летающим танком». Мощность двигателя 1 750 л. с. Максимальная скорость 420 км/ч. На вооружении: 2 пушки 23-мм скорострельностью до 800 выстрелов в минуту; 2 крыльевых пулемёта 7,62-мм; 1 кормовой пулемёт 12,7-мм; 8 реактивных снарядов; 400—600 кг бомб.

Ил-10 выпускался с августа 1944 г. Уже в октябре появился на фронте. Мощность двигателя 2 000 л. с. Максимальная скорость на высоте 551 км/ч, у земли — 507.

*Пушки-гаубицы едут / Ста-пятидесяти-двух.* — 152-мм гаубица-пушка образца 1937 г. (МЛ-20), созданная под руководством Ф. Ф. Пе-

трова на артиллерийском заводе в деревне Мотовилихе (под Пермью). От названия деревни — индекс МЛ. Калибр 152,4 мм. Максимальная дальность стрельбы 17 230 м. Скорострельность 3—4 выстрела в минуту. Вес снаряда 43,6 кг. Расчёт из девяти человек.

...«Студбекеры» проносят / Лёгкой стайкой трѣхдѳюмовки... — О «студбекерах» см. 2-е примеч. к с. 126.

Трѣхдѳюмовки — дивизионные пушки калибра 3 дм, или 76,2 мм. На фронте доминировали 76-мм пушки образца 1942 г. (ЗИС-3) конструкции В. Г. Грабина.

...«Эй, труба! Конец держи!» — насмешка при обгоне над артиллеристами (труба — одно из их прозвищ).

На три четверти «доджи» / Прут и прут сорокапятки — / Те, что с горечью ребятки / «Прощай, родина!» зовут. — Сорокапятка — 45-мм противотанковая пушка, модернизированная в 1942 г. (М-42), выпускалась с января 1943 г. Скорострельность 15—20 выстрелов в минуту. Ширина орудия при сдвинутых станинах 1 634 мм. Толщина щита 7 мм. Для сравнения: у появившихся в 1942—1943 гг. немецких тяжѣлых танков T-V Panther («Пантера») и T-VI Tiger («Тигр») толщина лобовой брони достигала 100 мм. К тому же они развивали скорость соответственно до 46 и 38 км/ч. Выкатывались сорокапятки на прямую наводку, и если, обнаруживаясь, первым же выстрелом цель не поражали, то шансов орудийного расчёта почти не оставалось.

Для буксировки 45-мм пушек, особенно во 2-й половине войны, широко использовались американские 8-цилиндровые автомобили повышенной проходимости Dodge WC-51 (в Красной Армии они получили прозвище Додж Три Четверти), тягачи средних артсистем. Мощность двигателя 92 л. с. Грузоподъѳмность 750 кг, или три четверти тонны (отсюда и прозвище). Максимальная скорость на шоссе 86,8 км/ч. С сорокапятками на буксире скорость снижалась до 50—60 км/ч.

В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает о поэте Борисе Гаммерове, который «повоевал сержантом-противотанкистом на сорокапятках “прощай, Родина!”» (Т. 4. С. 527).

...Миномѣты-коротышки / За задками «шевроле». — Из семейства американских автомобилей «Шевроле» на фронте чаще других встречался Chevrolet G-7107, армейский двухосный грузовик высокой проходимости, рассчитанный на полторы тонны полезного веса, с 6-цилиндровым карбюраторным двигателем мощностью 93 л. с. Служил, в частности, тягачом лёгких артсистем. Развивал скорость до 90 км/ч.

...Тянут янки-автотраки / Пушки русских «БС-три»... — 100-мм полевая пушка образца 1944 г. (БС-3), сконструированная под руководством В. Г. Грабина, использовалась в основном как противотанковое орудие. На испытаниях броня «Тигра» была пробита с расстояния

1 500 м. При обстреле «Фердинанда» пробойны не было, но самоходка вышла из строя из-за откола брони с внутренней стороны. Скорострельность 8—10 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы 20 650 м. Дальность прямого выстрела 1 080 м. За полкилометра пушка пробивала 160-мм броню, за километр — 150-мм.

Пушки БС-3 упоминаются в романе «В круге первом» (Т. 2. С. 219).

Для буксировки тяжёлых артсистем использовался, в частности, американский дизельный тягач МАК NR-4 грузоподъёмностью 10 т, с 6-цилиндровым двигателем мощностью 130 л. с. и пневматическим приводом тормозов.

Американские Studebaker US-6 (их наша армия за годы войны получила 150 000), Dodge WC-51 («Додж 3/4»), Chevrolet G-7107, МАК NR-4 — всё это грузовики-тягачи, доставшиеся Советскому Союзу по ленд-лизу. Если за всю войну наши заводы выпустили только 30 тыс. автомобилей, то союзники передали нам 477 785 автомашин более 50 моделей 26 фирм.

С. 150. ...«Тигра» на два километра / Прошибают лобовую. — В конце февраля 1943 г. на экстренном совещании в Ставке Верховного Главнокомандования, вызванном применением немцами на Тихвинском фронте тяжёлого танка «Тигр», начальник артиллерии Красной Армии Н. Н. Воронов докладывал: «У нас нет пушек, способных бороться с этими танками»<sup>94</sup>. Но уже в июле — августе 1943 г., в ходе Орловско-Курской битвы, 122-мм корпусная пушка А-19 справлялась с «Тиграми» на всех дистанциях, несмотря на то что толщина лобовой брони «Тигра», как уже говорилось, достигала 100 мм.

*Поздний плод большой науки, / Прут «И-эСь», танки-щуки.* — Тяжёлые советские танки ИС, названные по инициалам Иосифа Сталина, должны были стать нашим ответом на применение немцами с февраля 1943 г. танка «Тигр». Однако первое боевое столкновение танков ИС с «Тиграми» зафиксировано только 4 марта 1944 г. под украинским городом Старокопачинском (Каменец-Подольская, теперь Хмельницкая, область).

Для порядка тяжёлые танки ИС-85 и ИС-122 (цифры после инициалов означали калибр орудия) — истребители танков и танки прорыва — весной 1944 г. были переименованы в ИС-1 и ИС-2. Их артиллерийский боекомплект был соответственно 80 и 28 выстрелов. Боевой вес доходил до 44 160 кг и 46 080 кг. Толщина брони корпуса (лоб-борт-корма) составляла 120-90-60 мм и 120-90-90 мм. Броня башни была одинаковой:

---

<sup>94</sup> Михаил Свиринов. Тяжёлые танки ИС. М.: Экспринт, 2005. С. 8.

110-90-90 мм. Одинаковой была и скорость: на шоссе — 22 км/ч, по просёлку — 17, по целине — 15.

Танки ИС упоминаются в повести «Адлиг Швенкиттен»:

«А тут, по свободной дороге сзади, вдруг подкатил наш танк с угловатым носом, И-эС, новинка, сильнейшая броня, из дивизионной по нему стрелять — что семячки бросать. Стал между пушками — и бабахнул предупредительно раза три по мотоколонне, два раза — по дороге на Адлиг.

И оттуда — не совались.

Моторы — оттянули немцы в лес.

А сзади ещё два И-эСа подошли.

Вот когда polegчало» (Т. 1. С. 525).

Угловатым, или «щучьим», носом отличался танк ИС-3. Он разрабатывался на ЧКЗ (Челябинском Кировском заводе) с 1944 г. Особые литейные технологии и сферически-приплюснутая башня танка позволили уменьшить её массу, хотя толщина брони на лобовых участках башни достигла 250 мм (вместо 110 мм на танках ИС-1 и ИС-2). Усиление брони достигалось также уточнением углов наклона брони. В результате танк ИС-3 был защищён гораздо больше, чем его предшественники, однако в серию запущен не был.

*Снявши с рельс своих полотна, / <...> / С полным грузом спелых мин / Три восьмёрки катерин.* — Боевые машины полевой бесствольной реактивной артиллерии БМ-13 («катюши») — это миномёты залпового огня, смонтированные на шасси грузового автомобиля ЗИС-6 (с весны 1942 г. в этом качестве чаще всего использовались «студебекеры» US-6). Пусковые установки «катюш» имели по 16 направляющих в виде рельсов, расположенных с подъёмом вдоль оси автомобиля. Рельсы, обычно затянутые брезентом, при отправке на огневую позицию расчехлялись. Чтобы развернуться из походного положения в боевое, «катюшам» требовалось 2—3 минуты. Продолжительность залпа (16 снарядов) 7—10 с. Калибр реактивного снаряда 132 мм. Масса 42,5 кг. Дальность стрельбы 8 470 м. Отстрелявшись, «катюши» тут же уезжали, избегая ответного удара. См. в рассказе «Желябугские Выселки»:

«Не докурил я, как слева, от главной сюда дороги, — колыхаются к нам, переваливаются на ухабинках — много их! Да это — “катюши”!

Восемь машин полностью заряженных, дивизион, они иначе не ездят. Сюда, сюда. Не наугад — высмотрел им кто-то площадку заранее. И становятся все восьмеро в ряд, и жерла — поднимаются на немцев. <...>

Залп! Начинается с крайней — но быстро переходит по строю, по строю, и ещё первая не кончила — стреляет и восьмая! Да “стреляют” — не то слово. Непрерывный, змееподобный! — нет, горынычеподобный оглушающий шип. Назад от каждой — огненные косые столбы, ухо-

дят в землю, выдвигая нацело, что растёт, и воздух, и почву, — а вперёд и вверх полетели десятками ещё тут, вблизи, зримые мины — а дальше их не различишь, пока огненными опахалами не разольются по немецким окопам. Ах, силища! Ах, чудища! <...>

А крайняя машина едва отстрелялась — поворачивает на отъезд. И вторая. И третья... И все восемь уехали так же стремительно, как появились, и только ещё видим, как переколыхиваются по ухабам дороги их освобождённые наводящие рельсы» (Т. 1. С. 454).

...Танков «Т-тридцать четыре» / Безшабашный эшелон... — Средний танк Т-34, созданный коллективом конструкторов во главе с М. И. Кошкиным, Н. А. Кучеренко и А. А. Морозовым, считается лучшим средним танком 2-й Мировой войны. Был оснащён 76-мм пушкой и двумя 7,62-мм пулемётами. Масса 30,9 т. Максимальная толщина лобовой брони 45—52 мм. Скорость до 55 км/ч. В начале 1944 г. на фронте появилась модификация тридцатьчетвёрки — Т-34-85 с 85-мм пушкой и усиленной лобовой бронёй (до 90 мм).

К Найденбургу! — В августе 1914 г. в Найденбурге несколько дней располагался штаб А. В. Самсонова. После 2-й Мировой войны Найденбург отошёл к Польше. Сейчас это Нидзица.

С. 151. ...А на ратуше, на башне, / Прорываясь в дымном небе, / Уцелевшие часы / Так же честно меряют время / <...> / Лишь дрожат едва-едва / Древних стрелок кружева. — См. в «Августе Четырнадцатого»: «С потягом тяжёлой гари возник перед ними и Найденбург. Ещё издали виднелся в зелёном шпиле крупный белый циферблат с кружевными стрелками...» (Т. 7. С. 155).

С. 152. ...В сто пудов валун скалистый. / Из него, сечён резцом, / Выступает хмурый Бисмарк / С твердокаменным лицом. — Отто фон Шёнхаузен Бисмарк (1815—1898), князь (1871), 1-й рейхсканцлер Германской империи в 1871—1890 гг. Осуществил объединение Германии. Памятник Бисмарку в Найденбурге описан также в «Августе Четырнадцатого»: «...Командующий задержался перед памятником Бисмарку. Обсаженный цветами, стоял на ребре скалистый необработанный коричневый камень, обломистым ребром вверх. А из него в треть плоти выступал в острых линиях и углах — чёрный Бисмарк, как чёрною душой затянутый» (Т. 7. С. 277).

А ну, пошпрехай! — А ну, поговори! (русифицированный нем.).

Их бин коммунист, геноссен! — Я коммунист, товарищи! (нем.).

Хёхсте фрёйде! Роте фаан'... / КПД унд ВКП... — Высококочтимые друзья! Красное знамя... Коммунистическая партия Германии и Всесоюзная Коммунистическая партия... (нем.).

С. 153. *Вен их мёхте майне лебен, / Майне крэфте... их... зоэбен... — Если бы я мог свою жизнь, свои силы... я... только что... (нем.).*

*Гнэдиг' хэрр! <...> / Геринг-штрассе цвай-унд-цванциг... / Диз' унвюрдиг' комёди... — Милостивый государь! <...> Улица Геринга, двадцать два... Это — недостойная комедия (нем.).*

С. 154. *Тёте мих, зольдат! — Убей меня, солдат! (нем.).*

*Жил да был партай-геноссе... — Партай-геноссе — член партии, букв.: товарищ по партии (нем.).* Историю найденбургского пекаря, члена КПГ, вышедшего с документами и подносом свежих булок к нашим солдатам, рассказывает Л. З. Копелев, разговорившийся с ним в контрразведке<sup>95</sup>.

*...Под колёса Коминтерна.* — Коммунистический, или Третий, Интернационал, основанный в Москве в 1919 г. для поддержки коммунистического движения по всему миру, был формально распущен в 1943 г., чтобы угодить союзникам.

*...Всякой жёсткости и цвета / Триста три карандаша... — В Архипелаге ГУЛАГе»* А. С. рассказывает о своём состоянии после ареста: «Я не только не готов был перерезать тёплые связи с миром, но даже отнятые при аресте сотни трофейных фаберовских карандашей ещё долго меня жгло» (Т. 4. С. 130).

*Кох-и-Нор...* — название знаменитых карандашей чешского производства. Выпускаются с 1790 г. Их тонкий грифель закреплён в оболочке из дерева: сначала в дело шёл можжевеловый, его заменил кедр. Эти карандаши легко чинятся и приятно пахнут.

*...почтенный Фабер — / Век Европе послужил.* — Самая известная в мире фирма по производству карандашей Faber-Castell была основана в 1761 г. баварским столяром Каспером Фабером. Его правнук Лотар фон Фабер в середине XIX в. наладил выпуск фирменных шестигранных карандашей и впервые определил технические стандарты карандаша (длина, диаметр, жёсткость грифеля).

С. 155. *Грифель — глина... — По традиционной технологии грифель формируют, добавляя к графиту глину. Чем больше глины, тем грифель твёрже.*

*...Купишь мягкий, «В», зараза, — / Режь им стёкла, как алмазом!* — Чем мягче грифель, тем след его темнее. Поэтому мягкие карандаши маркируются латинской буквой «В» (от англ. blackness, чернота). А возрастание мягкости передаётся цифрами от 2 до 9. Очень мягкий карандаш — 8В, самый мягкий — 9В. Соответственно на твёрдость ка-

<sup>95</sup> Лев Копелев. Хранить вечно. Кн. 1. С. 111—115.

рандаша указывает буква «Н» (от англ. hardness). Самый твёрдый карандаш — 9Н.

С. 156. *В Алленштайн!* — Город и железнодорожная станция на линии Берлин — Торунь — Инстербург, связывавшей Восточную Пруссию с центральной Германией. После войны Алленштайн отошёл к Польше. Теперь это Ольштын.

С 158. *Алленштайновский вокзал...* — Сцена на вокзале в Алленштайне написана с опорой на рассказы Л. З. Копелева на шарашке. См. в его мемуарах: «В Алленштайн приехали вечером. Город был взят почти без боя. Настолько неожиданно, что уже после того, как казаки генерала Осликовского заняли вокзал, туда ещё в течение полутора-двух часов продолжали прибывать составы из Кёнигсберга, Инстербурга, Лика — воинские эшелоны, товарные и товарно-пассажирские, с эвакуированными жителями. Наш офицер сидел в диспетчерской, положив автомат на стол, курил, стараясь не заснуть от усталости; немецкий диспетчер, полумёртвый от ужаса и стыда, произносил заученные привычные формулы...»<sup>96</sup> Сам Копелев был не участником, а свидетелем этой сцены.

С. 159. *...И домашние консервы / Оживают в кипятке...* — В немецких домах наши военные находили «неисчислимые (на советский взгляд) запасы продуктов в погребах, более всего домашние консервы всех видов; разогрев в воде банку, оттянув резиновую прокладку, можно было вывалить на тарелку шипящие, будто только что сжаренные котлеты»<sup>97</sup>.

С. 160. *...Разложение войск противных.* — См. в романе «В круге первом» о Льве Рубине: «Он был майором “отдела по разложению войск противника”» (Т. 2. С. 25). Л. З. Копелев (о нём см. 1-е примеч. к с. 161) уточняет, что был отчислен из Политуправления 2-го Белорусского фронта с должности «старшего инструктора по работе среди войск и населения противника»<sup>98</sup>.

С. 161. *Левин <...> Яков.* — Под этим именем выведен Лев Зиновьевич Копелев (1912—1997), с которым А. С. познакомился на шарашке в Марфине в декабре 1947 г. Сразу же выяснилось, что они воевали

<sup>96</sup> Там же. С. 117—118.

<sup>97</sup> Александр Солженицын. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов // Новый мир. 1999. № 2. С. 122.

<sup>98</sup> Лев Копелев. Хранить вечно. Кн. 1. С. 13.

рядом на Северо-Западном фронте. В пьесе «Декабристы без декабря» (1952—1953) майора с биографией Копелева зовут Яков Зак. В переименованной из «Декабристов» трагедии «Пленники» (1973) и в романе «В круге первом» он — Лев Григорьевич Рубин.

— <...> Я — запас. / — И я — запас. — А. С., как и его литературный двойник Глеб Нержин, весной 1941 г. на медицинском осмотре в военкомате был отправлен в запас с существенным ограничением: «В мирное время — не годен, в военное — нестроевая служба» (с. 254).

*Где уж кадрам, entre nous, / Без запасников, без нас, / Эту б выиграть войну!* — К началу войны в Красной Армии под ружьём находилось 4 826 907 военнослужащих. Только за шесть месяцев и девять дней 1941 г. безвозвратные и санитарные потери составили почти столько же — 4 473 820 человек. Это — убитые и умершие от ран и болезней, пропавшие без вести и попавшие в плен; раненые, контуженные, обожжённые, заболевшие и обмороженные. Конечно, продолжать войну можно было лишь за счёт массовой мобилизации запасников и очередников. Они-то и пополняли армию в ходе войны. Их набралось 29 574 900 человек<sup>99</sup>.

— *Я доцент литературы / Из московского ИФЛИ.* — В 1938 г., окончив Московский институт иностранных языков, Копелев поступил в аспирантуру МИФЛИ. 20 мая 1941 г. защитил диссертацию «Драматургия Шиллера и проблемы буржуазной революции» (слово «буржуазной» вынужден был вписать в чистовой экземпляр и автореферат). Читал лекции параллельно с обучением в аспирантуре.

С. 162. *...век Бентама!..* — Иеремия Бентам (1748—1832) — английский философ и юрист, идеолог либерализма. Нравственным идеалом считал наибольшее счастье наибольшего числа людей, а критерием морали — достижение пользы, выгоды, удовольствия, добра и счастья.

С. 163. *Генерал из интендантов / С ординарцем, с адъютантом / Ходит с палочкой, хромой. / Остриём её как щупом / Чуть брезгливо между трупов / Отбирает, что — домой. / <...> / Чемоданов с ними три, / Всё поместится в сумки.* — Подобную сцену опишет в мемуарах и Л. З. Копелев:

«На всех путях по вагонам рыщут в одиночку и группами такие же, как мы, охотники за трофеями. У кучи приёмников сияют красные лампасы — генерал, с ним офицер-адъютант и двое солдат, волокущих че-

<sup>99</sup> Все цифры из справочника: Великая Отечественная без грифа секретности: Кн. потерь / [Авторский коллектив: Г. Ф. Кривошеев (руководитель), В. М. Андроников, П. Д. Буриков, В. В. Гуркин]. М.: Вече, 2010. С. 10, 59.

моданы и тюки. Генерал распоряжается, тычет в воздух палочкой с серебряным набалдашником»<sup>100</sup>.

С. 165. *В дом! Хохочут: «Матка, яйки!»* — Советские солдаты возвращают немцам пресловутый выкрик немецких солдат, вошедших в Советский Союз через Польшу: «Матка, яйки! Матка, млеко!» (польск.).

С. 167. *Спины промечены едкими метками (далее на с. 188: ...едким клейстером...)*. — На спинах советских военнопленных крупно выводили несмываемой белой краской: SU (от нем. Sowjetunion — Советский Союз).

*Под брезента долгий болок / Скрывши утварь и семью...* — Болок здесь: то, «что оболакивает»<sup>101</sup>.

С. 169. *Светит зелено двухвёрстка / В целлулоиде планшетки.* — Двухвёрстка — подробная топографическая карта, исполненная в масштабе двух вёрст в одном дюйме, что при переводе на метрическую систему мер составит: в 1 см — 840 м. На двухвёрстке изображались все населённые пункты, дорожная и водная сеть, очерчивались контуры почвенно-растительного покрова и показывались основные формы рельефа. Обычно карта печаталась в четыре цвета: лес — зелёным, вода — синим, рельеф — коричневым, остальное — чёрным.

*«Битте, шнапс».* — «Пожалуйста, водка» (нем.).

С. 172. *...окна «РОСТА»...* — Речь об «Окнах ТАСС», агитационно-политических плакатах, выпускавшихся с 27 июня 1941 г. до конца Великой Отечественной войны в традициях «Окон РОСТА», которые создавались в годы Гражданской войны В. В. Маяковским и близкими ему художниками и текстотвиками. Вышло свыше 1 200 «Окон ТАСС».

*...Жданов с платным аппаратом...* — Андрей Александрович Жданов (1896—1948) — с 1934 г. секретарь ЦК ВКП(б), с 1939-го член Политбюро. С 1944 г. ведал в ЦК идеологией.

*...Полевой, Сурков, Горбатов...* — Прозаик Борис Николаевич Полевой (1908—1981), поэт Алексей Александрович Сурков (1899—1983), прозаик Борис Леонтьевич Горбатов (1908—1954) — в годы войны штатные сотрудники фронтовых и центральных газет.

*...Старший фокусник Илья...* — Илья Григорьевич Эренбург (1891—1967), писатель, журналист. В годы Великой Отечественной войны самый знаменитый публицист. Работал в «Красной звезде», печатался

<sup>100</sup> Лев Копелев. Хранить вечно. Кн. 1. С. 134.

<sup>101</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 20.

также в «Правде» и «Известиях», во фронтовых и армейских газетах. В 1942—1944 гг. собрал статьи и очерки в три тома под общим названием «Война».

...Как учил индус Чарваки: / А мои плоды и злаки? / А моя когда же часть? — Чарваки (Чарвака) — имя мифического основателя «материалистической» школы философии в древней Индии. Последователи этой школы (этого учения), не признавая никаких внеположных человеку авторитетов, полагали, что жизнь даётся человеку только раз и поэтому надо стремиться прожить её с максимально возможным удовольствием.

С. 173. *Словно волосы Медузы / Голова войны лохмата.* — Медуза — в греческой мифологии одна из трёх сестёр горгон, крылатых женщин-чудовищ со змеями вместо волос. Взгляд Горгоны превращал в камень всё живое.

С. 175. ...*Erlkoenig*... — от названия баллады И. В. Гёте, в переводе В. А. Жуковского, озаглавленной «Лесной царь». Немецкий вариант датского *Elbenkonige* — король эльфов.

С. 176. *До черёмухи ль?..* — поговорка, возникшая под влиянием рассказа П. С. Романова «Без черёмухи» (1926). См. примеч. к рассказу А. С. «Настенька» (1993; 1995) (Т. 1. С. 643).

«ГДЕ ТЫ, ДЕТСТВА ЧИСТОГО СВЕТИЛЬНИК?..» (С. 178)

С. 178. *Дрожь лампы? Ёлки серебро?..* — Рождественская ёлка, украшенная в сочельник 6 января 1930 г., упоминается в главе «Серебряные орехи» (с. 43, 44, 45).

#### ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. И ТЕБЕ, БОЛВАН ТМУТАРАКАНСКИЙ (С. 179)

Обстоятельства своего ареста, рассказанные в этой главе, А. С. изложил потом в «Архипелаге ГУЛАГ» (Т. 4. С. 35—36).

С. 179. *И тебе, болван тмутараканский!* — из «Слова о полку Игореве» в переводе А. Н. Майкова<sup>102</sup>. Эта строка повторена в переводе (1946, 1958) Н. А. Заболоцкого<sup>103</sup>.

*Про альфу, дельта-омегу...* — Греческий алфавит использовался звуковиками при обозначении целей для подавления.

<sup>102</sup> Слово о полку Игореве. С. 100.

<sup>103</sup> Там же. С. 169.

С. 180. ...сам Грузнов. — Так назван полковник Захар Георгиевич Травкин (1904—1973), командир 68-й Севско-Речицкой отдельной пушечной артиллерийской бригады, в которой служил А. С. 6 июля 1963 г. А. С. встретился с ним в Ленинграде и надписал ему «Один день Ивана Денисовича» («Роман-газета». 1963. № 1): «Дорогому Захару Георгиевичу Травкину, моему бывшему комбригу, — человеку, мужественному не только в бою».

...ТТ... — 7,62-мм самозарядный пистолет конструкции Ф. В. Токарева, производившийся на Тульском оружейном заводе. Предназначался для ближнего боя. Прицельная дальность 50 м. Скорость стрельбы 30—40 выстрелов в минуту. В магазине 8 патронов. В годы войны был основным личным оружием офицеров и генералов. Расшифровка — Тульский Токарева.

С. 181. ... «У вас на Украинском фронте — кто?» — Так комбриг подсказал арестованному причину ареста: переписка с Н. Д. Виткевичем.

С. 182. ...Ждёт «эмочка»... — «Эмочка», «эмка» — обиходные названия легковых автомобилей М-1, которые с 1936-го до 1943 г. выпускал Горьковский автозавод. М-1 — пятиместная машина с двигателем мощностью 50 л. с., развивавшим скорость до 105 км/ч.

С. 183. «...Вопрос крестьянский... НЭП... / Что значит смена лозунгов...» — После перехода в 1921 г. от военного коммунизма, с национализацией всех предприятий, изъятием продовольствия, трудовой повинностью, государственным распределением сырья и готовой продукции, к новой экономической политике, допуская товарно-денежные отношения, существенно менялся жизненный уклад. В частности, знаменитый призыв Н. И. Бухарина «Обогащайтесь!» при военном коммунизме был бы невыносим. Излюбленной пропагандистской поговоркой стало, что НЭП — это всерьёз и надолго. Если так, то кардинальная смена экономического курса могла означать либо многолетнее отступление от революционных принципов, либо реставрацию капитализма.

«Лжедоговодов убожество... / Коровьим языком... / Растянутостей множество...» / Что? Что? — о Ком? — Об И. В. Сталине.

С. 183—184. ...Вопрос я ощущаю в глубине / Извечный: «Что есть истина?» / Как на картине Ге. — Николай Николаевич Ге (1831—1894) — один из основателей Товарищества передвижников. На картине «Что есть истина?» (1890) Иисус Христос стоит перед Пилатом, написанным со спины. И это Пилат спрашивает: «Что есть истина?» Сюжет — из Евангелия от Иоанна (18:35).

С. 184. *Едем мы / К Пассарге, к немцам пряменько на мост!* — И река Пассарге, и мост через неё не раз упоминаются в повести «Адлиг Швенкиттен». Например, так:

«Мост через Пассарге оказался железобетонный, целёхонький, и проверять проходимость не надо. Левый западный берег крутой, с него уклонный съезд на мост» (Т. 1. С. 495). Оттуда, из-за реки, с восточного берега, и пытались прорваться немцы январской ночью, описанной в повести. Там они и оставались ещё в начале февраля.

С. 185. *...товарищ капитан...* — от испуга обращение по всей форме к тому, с кого сами сорвали погоны.

С. 188. *...Под третью четверть выщерблен, / Блеснул печально лунный облонок...* — А. С. был арестован 9 февраля 1945 г. Под утро 10 февраля луна проявилась на небе в виде чуть утолщенной, но исчезающе бледной буквы «С». Новолуние пришлось уже на 12 февраля.

*...Из Остероде в Бродницы / Нас гнал конвой казахов и татар.* — Арестованный армейской контрразведкой СМЕРШ под городом Вормдиттом в Восточной Пруссии, А. С. в ночь на 10 февраля был посажен в карцер в городе Остероде, а затем 10-го, 11-го и 12 февраля его и ещё семерых арестантов конвой гнал пешком из Остероде в Бродницы, в контрразведку фронта.

С. 190. *...Вязанка Яну Гусу на костёр...* — Ян Гус (1371—1415) — идеолог чешской Реформации, вдохновитель народного движения в Чехии против немецкого засилья и католической церкви. Приговорён церковным собором к сожжению. По преданию, увидев старушку, принёсшую для костра свою вязанку хвороста, воскликнул: «О, святая простота!»

#### ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. ДЫМ ОТЕЧЕСТВА (С. 191)

Заголовок «Дым отчества» взят из реплики Чацкого в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Когда ж постранствуешь, воротись-ся домой, / И дым Отчества нам сладок и приятен!»<sup>104</sup> Выделив строку курсивом, Грибоедов указал на её заимствованный характер. О тяге с чужбины «к дыму родных очагов» писал ещё Овидий<sup>105</sup>, используя мотив из «Одиссеи» Гомера: «Но, напрасно желая / Видеть

<sup>104</sup> А. С. Грибоедов. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 28.

<sup>105</sup> Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. М.: Наука, 1978. С. 92.

хоть дым, от родных берегов вдалеке восходящий, / Смерти единой он молит»<sup>106</sup>. Грибоедов не вполне точно цитирует более близкий источник — стихотворение Г. Р. Державина «Арфа» (1798): «Мила нам добра весть о нашей стороне: / Отечества и дым нам сладок и приятен»<sup>107</sup>.

Отрывок из главы «Дым отечества» (от: «Всё ближе и ближе граница...» до: «Сегодня рождаюсь сызнова / Вот здесь, на твоём краю...») был напечатан под заголовком «На советской границе: Из стихотворной повести “Шоссе Энтузиастов”» в «Вестнике Русского Христианского Движения» (Париж; Нью-Йорк; М., 1976. № 117. С. 148—154.). Под отрывком — дата сочинения: 1951 и место: Экибастуз, Степлаг.

С. 191. *Москва... как много в этом звуке / Для сердца русского слилось! / Как много в нём отозвалось!* — Из «Евгения Онегина»<sup>108</sup>.

*То крест раздорожный, то бчеп / За синим дымком февраля.* — «Раздорожье — ...перекресток»<sup>109</sup>. Раздорожный крест — столб-указатель на развилке дорог. «бчеп, журавец — слега на перевесе»<sup>110</sup>. Здесь — колёзный журавль.

*Я еду — как Кюхельбекер / На царский пристрастный допрос.* — В. К. Кюхельбекер (1797—1846) — участник декабристского восстания, дважды стрелявший на Сенатской площади: сначала в великого князя Михаила Павловича, затем в одного из генералов, и оба раза неудачно; бежал в Польшу, но 19 января 1826 г. был схвачен в Варшаве, под конвоем увезён в Петербург и 25 января водворён в Петропавловскую крепость.

С. 192. *...Кто в коже дублёной зипунной...* — в полушубках из кожи грубой выделки.

*Кружась, проплывают фольварки...* — Фольварк (польск. folwark) — хутор, помещичье хозяйство, небольшая усадьба, в частности в Польше.

С. 193. *...«Живите, живите, ребята, / Пока не узнала Москва!..» — «Живи, живи, ребята, пока Москва не проведала (старин. урал. каз.)»*<sup>111</sup>.

<sup>106</sup> Гомер. Одиссея / Перевод В. А. Жуковского. М.: Наука, 2000. С. 6.

<sup>107</sup> Г. Р. Державин. Сочинения. СПб.: Акад. проект, 2000. С. 443.

<sup>108</sup> А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 134.

<sup>109</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 209.

<sup>110</sup> Там же. С. 163.

<sup>111</sup> Пословицы русского народа: Сб. пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч. В. Даля. Изд. Импер. об-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1862. С. 344.

А нас, недомык... — Недомыка — «простофиля, несмышленный, простоватый человек»<sup>112</sup>.

*Сольдау, и Млава, и Прасныш, / И Острув, и Белосток...* — Прусский город Сольдау (неоднократно упоминается в «Августе Четырнадцатого») после войны отошёл к Польше. Теперь это Дзялдово. Прасныш — ныне Пшасныш. Острув — это Острув-Мазовецка. Города перечислены по ходу поезда.

*...поезд красный...* — См. примеч. к с. 36.

*Остались недели до мира...* — Спецконвой этапировал А. С. из Восточной Пруссии в Москву с 15 по 19 февраля 1945 г.

С. 194. *Три звёздочки на погонах / У старшего.* — Старший — в звании старшего лейтенанта.

*Погонов уж нет, но — петлицы, / И пуговицы золоты, — / Кажусь чудачком-офицером, / Не ставящим в грош устав.* — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает, как выглядела на нём шинель, когда его после ареста гнали этапом из армейской контрразведки во фронтовую: «...шинель моя была нова, долга, облегающе сшита по фигуре, ещё не спороты были петлицы, в проступившем солнце горели дешёвым золотом несрезанные пуговицы» (Т. 4. С. 157).

*Теперь я, теперь понимаю, / Как мог, заворожен петлёй, / Так странно молчать Николаев...* — См. описание казни в главе «Беседа» (с. 79—82).

С. 195. *...зреймо...* — Здесь: страж, надсмотрщик. Буквально — «растаянье, на какое видит глаз»<sup>113</sup>.

С. 197. *Цыплёнку хочется жить.* — Парафраз из песни, известной во многих устных вариантах, «Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный...» со строчкой «Цыплёнки тоже хотят жить!»<sup>114</sup>.

С. 198. *...А женщины — в Котлас и в Вятку, / И в Кемерово, и в Читту...* — Перечислены пересыльные тюрьмы. Речь о них заходит в «Архипелаге ГУЛАГе» (глава «Порты Архипелага»):

«Напряжённей и откровенней многих была Котласская пересылка. Напряжённее потому, что она открывала пути на весь европейский русский Северо-Восток, откровеннее потому, что это было уже глубоко в Архипе-

<sup>112</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 2. С. 528.

<sup>113</sup> Там же. Т. 1. С. 718.

<sup>114</sup> См., напр.: Михаил Шелег. Споём, жиган: Антология блатной песни. СПб.: ЛИК, 1995. С. 186—187.

лаге и не перед кем хорониться. Это просто был участок земли, разделённый заборами на клетки, и клетки все заперты» (Т. 4. С. 472); «Пересылка — Кировская! Возьмём не такой особенный год, возьмём 47-й, — а на Кировской впихивали людей в камеру два вертуха сапогами, и только так могли дверь закрыть. На трёхэтажных нарах в сентябре (а Вятка — не на Чёрном море) все сидели голые от жары — потому сидели, что лежать места не было: один ряд сидел в головах, один в ногах. И в проходе на полу — в два ряда сидели, а между ними стояли, потом менялись. Котомки держали в руках или на коленях, положить некуда. <...> Клопов было столько, что кусали днём, пикировали прямо с потолка. И вот так по неделе терпнешь и по месяцу» (Там же. С. 471); «В 51-м году создаются новые Особлаги в Кемеровской области (Камышлаг) — вот где, оказывается, нужен женский труд! И злополучных женщин мордуют теперь в Кемеровские лагеря через ту же заклятую Свердловскую пересылку» (Там же. С. 485); «В Чите? Тюрьма № 1» (Там же. С. 469).

С. 199. *...Сержанты везут — трофеи, / Я — приговор, я — Магадан.* — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает:

«На одиннадцатый день после моего ареста три смершевца-дармоёда, обременённые тремя чемоданами трофеев больше, чем мною (на меня за долгую дорогу они уже положились), привезли меня на Белорусский вокзал Москвы. Назывались они спецконвой, на самом деле автоматы только мешали им тащить тяжелейшие чемоданы — добро, награбленное в Германии ими самими и их начальниками из контрразведки СМЕРШ 2-го Белорусского фронта и теперь под предлогом конвоирования меня отвозимое семьям в Отечество. Четвёртый чемодан безо всякой охоты тащил я, а в нём везлись мои дневники и творения — улики на меня» (Там же. С. 33).

С. 200. *Земля сорока поколений!* — тысячелетняя Россия. Если каждому поколению отпускается 25 лет, то 40 поколений как раз и сложатся в тысячелетие.

С. 201. *...Московско-грузинское княжество / У самых столичных стен...* — Здесь и далее описан образ жизни Сталина и самого тесного его окружения с регулярными застольями на Ближней даче в подмосковном Кунцеве.

*...имени Сталина премии / Для тех, кто не смеет смеяться.* — Премии имени Сталина (впоследствии — Сталинские премии) по науке, технике и искусству были учреждены в ознаменование 60-летия Сталина постановлением СНК СССР 20 декабря 1939 г., по литературе — 1 февраля 1940. Присуждались с 1941 г. При обсуждении кандидатур решающее

слово оставалось за самим Сталиным. Разумеется, в гуманитарной области надёжно поощрялось только обслуживание государственной идеологии. Премии были трёх степеней. Лауреат премии 1-й степени по литературе и искусству получал 100 тыс. рублей, 2-й степени — 50 тыс., 3-й — 25 тыс. Премиальный фонд формировался из гонораров Сталина.

*Чекистами и сексотами / Червящие города.* — Чекисты — штатные сотрудники ЧК, ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД и т. д.; сексоты (секретные сотрудники) — тайные пособники Госбезопасности, стукачи.

*...Священников, благословляющих / С амвона большевиков...* — Ещё в 1923 г. по требованию ОГПУ патриарх Тихон распорядился о поминовении за богослужениями гражданских властей. Эту норму подтвердил циркулярный указ митрополита Сергия и Временного Патриаршего синода от 21 октября 1927 г. Священники были обязаны возглашать на великой ектенье: «О стране нашей и о властях ея Господу помолимся», а на сугубой: «Еще молимся о стране нашей и о властях ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте»<sup>115</sup>.

С. 202. *...Когда бастовали Ореховы, / На бомбах рвались князья...* — Орехово — село на востоке Подмосковья. В 1917 г. вместе с соседними сёлами Зуево, Никольское и посёлком Дубровка объединено в город Орехово-Зуево. Задолго до этого, в 1797 г., зуевский крестьянин С. В. Морозов открыл шелкоткацкое предприятие в Зуеве, в 1847 г. — бумагопрядильную мануфактуру в Никольском. В 1885 г. на Никольской мануфактуре десять дней, с 7 по 17 января, продолжалась Морозовская стачка. Бастовали около 8 тыс. рабочих.

После убийства Александра II (1 марта 1881 г.) самым громким было убийство московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича (4 февр. 1905 г.) бомбометателем И. П. Каляевым (1877—1905).

*Не вынес насилия грубого / Надворный советник Герцен...* — А. И. Герцен (1812—1870), вышедший в 1842 г. в отставку в чине надворного советника (7-й класс по Табели о рангах, равный подполковнику в армии), первый раз был арестован ещё в июле 1834 г. и в апреле 1835-го сослан в Пермь, а уже в мае переведён в Вятку. Благодаря ходатайству В. А. Жуковского в конце 1837 г. получил разрешение переехать во Владимир. Только в марте 1840 г. смог вернуться в Москву и вскоре переехал в Петербург. Но 30 июня 1841 г. выслан в Новгород и пробыл там до июля 1842-го. После снятия полицейского надзора (ноябрь 1846 г.)

<sup>115</sup> См.: Богословский сборник. Вып. 9. М.: Православ. Свято-Тихоновский богосл. ин-т, 2000. С. 300—303.

получил заграничный паспорт и 31 января (12 февр.) 1847 г. вместе с семьёй навсегда покинул Россию.

...*Белинские, Добролюбовы / Стяжали единоверцев...* — В. Г. Белинский (1811—1848) и его младший современник Н. А. Добролюбов (1836—1861) — литературные критики и публицисты, которые (Белинский под конец жизни, Добролюбов с первых шагов в журналистике) главным назначением литературы провозгласили критику реальности. По просьбе Добролюбова его похоронили на Волковом кладбище в ногах у Белинского.

...*Страшал детей Салтычихами / Любой семинарский гусь...* — Салтычиха — Дарья Ивановна Салтыкова (1730—1801), помещица-изверка. Замучила насмерть 139 крестьян. В 1768 г. была приговорена к смертной казни, заменённой пожизненным заключением в монастырской тюрьме. Отсидела 11 лет в подземелье Ивановского монастыря в Москве.

Очень часто разночинцы, в их числе Н. Г. Чернышевский и Добролюбов, проникались радикальными идеями в духовных семинариях. Ссылаясь на Салтычиху, они исключительный случай выдавали за всеобщий.

В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. замечает:

«В Монголии, в Гулжедээсовском лагере (наши эки строили там дорогу в 1947—50 годах), двух расконвоированных девушек, пойманных на том, что бегали к дружкам на мужскую колонну, охранник привязал к лошади и, сидя верхом, прогнал их по степи. Такого и Салтычихи не делали. Но делали Соловки» (Т. 5. С. 187).

*Вы сеяли с нетерпением — / Взгляните же на колосьбу!* — Идейных просветителей крестьянства вдохновляла демократическая литература, в частности Н. А. Некрасов стихотворением «Сеятелям» (1876):

Сейте разумное, доброе, вечное,  
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное  
Русский народ...<sup>116</sup>

Травили вы чуткого Гоголя... — Беспощадному критическому разному Н. В. Гоголь был подвергнут за исповедальную книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Особенно неистовствовал Белинский сначала в рецензии («Современник». 1847. № 2), а затем в письме к Гоголю от 15 июля 1847 г. из Зальцбрунна: «Проповедник кнута, апостол невежества, наборник обскурантизма и мракобесия, панегирист

---

<sup>116</sup> Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 3. Л.: Наука, 1982. С. 180.

татарских нравов — что Вы делаете!.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною...»<sup>117</sup>

С. 203. *Потацат в ненастье из затишка — / Голосим: — Кому повем?.. — Приведён зачин духовного стиха «Плач Иосифа, по продаже в Египет»:*

Кому повем печаль мою,  
Кого призову ко рыданию?  
Токмо Тебе, Владыко мой,  
Известна печаль моя...<sup>118</sup>

*Не вечно, мол, виться вервю, / Ему оборваться стать, — / Эх, юноши правоверные! / Не мы ль помогли ссукать? — Ссукать — «...свивать нити, пряди»<sup>119</sup>.*

*Жилось мне поверху, сполагоря... — Сполагоря — «...льготно, вольно, с заботами небольшими»<sup>120</sup>.*

*...проживши двадцать шесть... — Двадцать шесть лет исполнилось А. С. 11 декабря 1944 г.*

*...«Шоссе Энтузиастов» — / Владимирка каторжан!.. — «Выход на старый Владимирский большак в советское время назван Шоссе Энтузиастов»<sup>121</sup>.*

С. 204. *То избный порядок мелькучий / Вдоль прясельной городьбы... — Ряд изб мелькает за сквозным жердяным забором.*

*Изгнившая вышка — призрак / С провалами чёрных дыр — / Да! Призраком Коммунизма / По Марксу вошла ты в мир. — Обыграна первая фраза из «Манифеста Коммунистической партии» (1848): «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма»<sup>122</sup>.*

С. 205. *...По линии Минск — Москва. — Далее следовали 126 строк, которые А. С. вынул из текста «Дороженьки» и определил им место в приложении (см. с. 209—212).*

*Снуёт вокзал людовитый. — Белорусский вокзал в Москве.*

<sup>117</sup> В. Г. Белинский. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 10. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 214.

<sup>118</sup> Калики перехожие: Сб. стихов и исследование П. Бессонова. Ч. 1. М.: В тип. А. Семена, 1861. С. 187.

<sup>119</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 233.

<sup>120</sup> Там же. С. 232.

<sup>121</sup> Примеч. автора к публикации в «Вестнике Русского Христианского движения».

<sup>122</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 5. М.; Л.: Госиздат, 1929. С. 483.

*Дубовый и мраморный налоск / И тёплые струи метро...* — Чтобы добраться от Белорусского вокзала до площади Дзержинского (бывшей и нынешней Лубянки, давшей название центральному карательному учреждению), нужно было сначала проехать на метро от «Белорусской» (радиальной) до «Площади Свердлова» (ныне «Театральной»).

*...Сейчас в воронке на Пресню...* — т. е. в Краснопресненскую пере-  
сильную тюрьму (1-й Силикатный пр., д. 11, корп. 1).

*Сверкает вокзал Белорусский! / Сверкает Охотный ряд!* — В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. рассказывает о своих конвоирах: «Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были...» (Т. 4. С. 34).

Провезя конвоиров две остановки на метро — от «Белорусской» до «Площади Свердлова» (станции «Тверская» ещё не было), А. С. вышел вместе с ними на площадь перед Большим театром и пешком повёл их поверху мимо «Метрополя», мимо памятника первопечатнику Ивану Фёдорову до самой тюрьмы.

*...Огни Совнаркома горят!* — Здание Совнаркома (прежде Совета труда и обороны, позже Госплана СССР, ныне Государственной Думы) построено в 1933—1936 гг. (Охотный ряд, 12; арх. А. Я. Лангман). дом Совнаркома упомянут в повести «Люби революцию» (с. 255).

С. 206. *...Вот этого только театра / Четвёрку коней мне жаль.* — См. 8-е примеч. к с. 259.

*Во мгlistом туманце согнулся / Принесший России печать.* — Бронзовая фигура Ивана Фёдорова, напечатанного вместе с П. Т. Мстиславцем «Апостол» (1564) — первую русскую датированную наборную книгу, на пьедестале из тёмного гранита с красной искрой была установлена в 1909 г. в Театральном проезде, близ бывшего Печатного двора (скульптор С. М. Волнухин, арх. И. П. Машков). На «забытого старика-первопечатника» оборачивается Глеб Нержин в повести «Люби революцию» (с. 259).

*Лжат две прекрасные нимфы / Над Домом Конца Дорог...* — Пятиэтажное здание, построенное на Лубянской площади в 1897—1898 гг. (арх. А. В. Иванов) для страхового общества «Россия», с 1919 г. стало средоточием репрессивно-карательных служб: сначала ВЧК, затем ГПУ, ОГПУ, НКВД и НКГБ и т. д. В середине 1940-х гг. здание надстраивалось тремя этажами. Заодно были убраны купола по бокам фасада и обе фризовые скульптуры, расположенные по центру между ними.

*...аленький вымпел, / Как гарниновский цветок.* — Для душевнобольного персонажа из рассказа В. М. Гаршина «Красный цветок» (1883), целью своей жизни наметившего уничтожение зла, оно причудливо во-

плотилось в цветке мака. «В этот яркий красный цветок собралось всё зло мира. <...> Цветок в его глазах осуществлял собою всё зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слёзы, всю жёлчь человечества»<sup>123</sup>. «Гаршиновский красный цветок, вобравший в себя зло мира» упоминается и в романе «В круге первом» (Т. 2. С. 658).

*Кругом, — где темнее. Там пропуск / Кому-то показан наш. — Тюремные ворота расположены сбоку здания, со стороны Фуркасовского переулка.*

#### ПОСЛОВИЕ (С. 207)

С. 207. *На Кавказе, в ущельи реки Бзыбь...* — Река Бзыбь протекает на севере Абхазии, двумя рукавами вливается в Чёрное море. В бассейне Бзыби расположено озеро Рица. А. С. был здесь летом 1937 г., когда в группе из семи студентов путешествовал на велосипеде по Кавказу.

#### [ОТРЫВОК] (С. 209)

В 1993 г. в Вермонте, имея в виду будущее издание «Дороженьки», А. С. вынул из главы одиннадцатой «Дым отечества» 130-строчный отрывок, описывающий устройство вагона для перевозки заключённых, условия, в которых содержатся эски на этапе, обращение охраны с эсками и эсков между собой. Сама же глава повествует о том, как три конвоира, стараясь не обнаруживать перед попутчиками своей специфической роли, в обычном вагоне, сначала товарном, затем пассажирском, обычного поезда везут арестанта из фронтовой контрразведки в Москву на Лубянку. И снаряжён этот спецконвой, чтобы заодно доставить семьям воинских начальников чемоданы с награбленным в Германии имуществом. Именно так везли в Москву на следствие самого автора в феврале 1945 г.

А обычным этапом в вагон-заке, описанном в «Отрывке», А. С. был отправлен из Бутырок в Экибастуз через пять с лишним лет, в конце июня 1950 г., и эта дорога, не считая промежуточной отсидки на Куйбышевской пересылке, заняла целый месяц. Этот свой более поздний мучительный железнодорожный опыт автор закрепил в стихах, которые вначале входили в «Дороженьку», а потом из неё были изъяты для отдельной, но сопутствующей ей публикации.

«Отрывок» начат строфой, которая оставлена в основном тексте «Дороженьки» (с. 205). После этой строфы в «Дороженьке» следует:

<sup>123</sup> В. М. Гаршин. Сочинения. М.; Л.: ГИХЛ, 1934. С. 198.

Под полночь на стрелках, на скрестьях  
 Всё чаще колёсный гром,  
 Всё ярче, всё чаще предместья  
 Сверкают белым огнём.

С. 209. ...*Советский вагон-зак*. — Эти вагоны и все условия содержания в них подробно описаны в «Архипелаге ГУЛАГе» (ч. 2, гл. 1. «Корабли Архипелага») (Т. 4. С. 435—467). См. также комментарий к стихотворению «С верхней полки “вагон-зака”» (с. 480—481).

*Совсем как в международном...* — См. 2-е примеч. к с. 359.

*Да ходит краснопогонник...* — Краснопогонник — боец конвойной команды. Повседневные погоны солдат и сержантов внутренних войск изготовлялись из сукна крапового (т. е. алого) цвета с васильковыми кантами.

С. 210. *Снимай сапоги, фашист!* — См. в «Архипелаге ГУЛАГе»: «...“фашисты” — это кличка для Пятьдесят Восьмой, введенная зоркими блатными и очень одобренная начальством <...> нужно меткое клеймо» (Т. 5. С. 133).

*«Карзубый! / Пульни нам курить и бацилл!»* — Карзубый — беззубый. Бациллы — «жиры» (Т. 6. С. 503).

*...курочить бобров...* — «...отнимать еду, одежду, вещи <...>; отбирать ценное» (Там же. С. 505) у тех, у кого всё это ещё оставалось.

*...тискает рбман...* — рассказывает «в камере авантюрно-любовную историю» (Там же. С. 506).

*...Надел шикарный лепень...* — Лепень — здесь: костюм.

*...Начищены прохоря...* — Прохоря — сапоги.

*...с заначки / Приехала от царя...* — Заначка здесь: «место упрятки» (Там же. С. 504).

С. 211. *Кто в первом военном позоре / Был родиной предан впервые... / <...> / Кто в третий раз родиной предан / Под клятвой, что прежнего нет...* — См. в «Архипелаге ГУЛАГе»: «Не они, несчастные, изменили Родине, но расчётливая Родина изменила им, и притом трижды.

Первый раз бездарно она предала их на поле сражения — когда правительство, излюбленное Родиной, сделало всё, что могло, для проигрыша войны: уничтожило линии укреплений, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило толковых генералов и запретило армиям сопротивляться. Военнопленные — это и были именно те, чьими телами был принят удар и остановлен вермахт.

Второй раз безсердечно предала их Родина, покидая подохнуть в плену.

И теперь третий раз безсовестно она их предала, заманив материнской любовью («Родина простила! Родина зовёт!») и накинув удавку уже на границе» (Т. 4. С. 217).

...порфириносная шляха!.. — оскорбительный посыл с опорой на строку из поэмы «Медный Всадник» (1833): «...И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфириносная вдова»<sup>124</sup>. Порфира — пурпурная мантия, надеваемая в торжественных случаях, одна из царских регалий.

### ТЮРЕМНЫЕ — ЛАГЕРНЫЕ — ССЫЛЬНЫЕ СТИХИ (С. 213)

Эти стихи, по словам автора, «все написаны устно, в памяти — от 1946 до 1952, так и вывезены из лагеря. В 1953 в ссылке добавлено ещё несколько стихов. Все они записаны осенью 1953 и зарыты в землю. Эту запись тоже пришлось сжечь в сентябре 1965, но уже имелись перепечатки. Последнее стихотворение “Смерть — не как пропасть...” — написано в Джалбуле, в декабре 1953, после врачебного приговора»<sup>125</sup>.

В декабре 1961 г., после благожелательного обсуждения в редакции «Нового мира» рассказа «Один день Ивана Денисовича», А. С. привёз показать главному редактору журнала А. Т. Твардовскому, вместе с «Крохотками» и рассказом «Не стоит село без праведника», «несколько лагерных стихотворений». «Крохотки» Твардовский забраковал, рассказ, получивший вскоре название «Матрёнин двор», вынес на обсуждение. «О стихах сказал: “Иные печатать можно, но выстрела не получится, а хочется выстрела”»<sup>126</sup>.

18 ноября 1962 г., сразу после выхода в свет «Нового мира» с рассказом «Один день Ивана Денисовича», А. С. в разговоре с Твардовским напомнил: «Вы мне сказали при первой встрече (12 декаб. 1961 г. — В. Р.), что говорили бы о моих стихах, если бы не знали прозы, “Ивана Денисыча”. Но я хочу вам подобрать цикл, что захотите — возьмёте, не захотите — ладно. Но для меня они дороги»<sup>127</sup>. Твардовский записал эти слова в дневник, однако предложенные стихи отклонил.

<sup>124</sup> А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 4. Л., 1977. С. 275.

<sup>125</sup> Александр Солженицын. Протеревши глаза. Клапан суперобложки.

<sup>126</sup> А. Солженицын. Бодался телёнок с дубом. С. 30.

<sup>127</sup> Александр Твардовский. Новомирский дневник: В 2 т. Т. 1. 1961—1966. М.: ПРОЗАИК, 2009. С. 130.

Два стихотворения вошли в текст «Архипелага ГУЛАГа». Они же и ещё десять стихотворений печатались по отдельности и в подборках (об этом — в пояснениях к каждому такому стихотворению).

Первая сводная публикация — в сборнике: *Александр Солженицын. Протеревши глаза*. М.: Наш дом — L'Age d'Homme, 1999. С. 178—210.

Перепечатка — в сборнике: *А. И. Солженицын. Дороженька*. М.: Вагриус, 2004. С. 209—246.

Аудиокнига: *Александр Солженицын. Дороженька. Стихи тюремно-лагерных лет / Читает автор*. М.: ООО ИД «СОЮЗ», 2010. Общее время звучания: 6 ч. 15 мин. 16 с. Стихи тюремно-лагерных лет («Воспоминание о Бутырской тюрьме», «Мечта арестанта», «Через две решётки», «Ванька-Встанька», «Романс», «Когда я горестно листаю...», «Вечерний снег») звучат 13 мин. 11 с.

#### ВОСПОМИНАНИЕ О БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЕ (С. 215)

Написано на авиационной шарашке в г. Щербакове (Рыбинск до 13 сент. 1946 г. и с 30 окт. 1957-го) в конце года. В самом стихотворении упомянут завтрашний праздник — то ли Седьмое ноября, годовщина Октябрьской революции, то ли Пятое декабря, День Сталинской конституции. На шарашке в г. Щербакове А. С. пробыл с 27 сентября 1946 г. по 21 февраля 1947-го.

С. 215. *Николаю Андреевичу Семёнову*. — Н. А. Семёнов (1906—1996) — инженер-электротехник. Добровольцем пошёл на фронт. Безоружный, попал в плен, трижды бежал. После немецкого концлагеря успел повоевать. Был награждён орденом Красной Звезды. Но следом получил за плен десять лет лагерей и три года поражения в правах.

А. С. познакомился с Семёновым в июле 1946 г. в Бутырской тюрьме. Там, в камере № 75, они вдвоём устно нафантазировали новеллу «Улыбка Будды», которая легла в основу одноимённой главы в романе «В круге первом».

В романе Семёнов выведен под именем Андрея Андреевича Потапова. Включён в список свидетелей, чьи «рассказы, письма, мемуары и поправки» использованы при создании «Архипелага ГУЛАГа» (Т. 4. С. 19).

*Были тусклы намордники камеры мертвой...* — Намордник здесь — «тюремное наоконное устройство, загораживающее вид из окна» (Т. 6. С. 505).

— *Почему не стрелялся?!* — претензия советского следователя к побывавшему в плену соотечественнику.

...*Когда в «юнkersах», в «хеншелях» небо черно...* — О пикирующем одномоторном бомбардировщике «Юнкерс-87» см. 1-е примеч. к с. 80.

С первых дней войны с Советским Союзом, помимо «Юнкерса-87», немцы использовали и более совершенный средний двухмоторный «горизонтальный» бомбардировщик «Юнкерс-88» (Junkers-88), который постепенно вытеснял своего предшественника.

«Хеншель-129» (Henschel-129) — двухмоторный цельнометаллический штурмовик, истребитель танков. Стандартное вооружение состояло из двух пулемётов калибра 7, 92 мм и двух 20-мм пушек со 125 снарядами на ствол.

...комиссарские шпалы... — Помимо командного состава — от капитана до полковника — шпалы (вытянутые прямоугольники) носили в петлицах старшие политруки (одна шпала), батальонные комиссары (две шпалы), старшие батальонные комиссары (три шпалы) и полковые комиссары (четыре шпалы).

С. 216. ...июльскими тёмными долгими днями... — В Бутырской тюрьме, где Семёнов и А. С. оказались в одной камере, А. С. просидел в тот раз с 18 июля по 27 сентября 1946 г.

...Атом. Гоголь. Барокко. Наследственность. Рим. — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает, как в июле 1946 г. по просьбе генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского, представившегося президентом научно-технического общества 75-й камеры (в Бутырях), сделал после утренней пайки сообщение о первой атомной бомбе. Исходил он из официального отчёта военного министерства США, напечатанного в книге, которую недавно в лагере на две ночи ему передали с воли. «Одно я забывал, другого не мог допонять, — отмечает писатель, — Николай Владимирович, хоть год уже сидел в тюрьме и ничего не мог знать об атомной бомбе, то и дело восполнял пробелы моего рассказа» (Т. 4. С. 518). «По вечерам <...>, — продолжает А. С., — устраивались лекции или концерты. И тут опять блистал Тимофеев-Ресовский: целые вечера посвящал он Италии, Дании, Норвегии, Швеции. Эмигранты рассказывали о Балканах, о Франции. Кто-то читал лекцию о Корбюзье, кто-то — о нравах пчёл, кто-то — о Гоголе» (Т. 4. С. 521).

#### МЕЧТА АРЕСТАНТА (С. 217)

Написано в конце 1946 г. на шарашке в г. Щербакове.

С. 217. Мне б теперь — да в село Алтай... — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает: «На иерусалимском глиняном карьере я слушал петухов из соседней деревни — и мечтал о ссылке. И с крыши Калужской заставы смотрел на слитную чуждую громаду столицы и заклинал: подальше от неё, подальше бы в ссылку! И даже послал я наивное прошение в Верховный Совет: заменить мне 8 лет лагерей

на пожизненную ссылку, пусть самую далёкую и глухую. Слон в ответ и не чихнул. (Я не соображал ещё, что пожизненная ссылка никуда от меня не уйдёт, только будет она не вместо лагеря, а после него.)» (Т. 6. С. 358). «Вечная» ссылка после лагеря в приговоре не упоминалась, но пристёгивалась автоматически, если обвинение по 58-й статье в качестве дописка включало 11-й пункт. Этот пункт не имел самостоятельного содержания, а означал: действовал не в одиночку, а в группе. Так, у А. С. формула обвинения была: 58-10 (антисоветская агитация), 11 (в составе организации). Сама же «организация» трактовалась весьма произвольно. «Нас было двое, — рассказывает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГе», — тайно обменивавшихся мыслями, — то есть зачатки организации, то есть организация!» (Т. 4. С. 76). Характерно, что поделщик А. С. — Н. Д. Виткевич, которого судили военным трибуналом в Германии, по месту службы, в «организацию» зачислен не был и ссылки не получил.

...«Меньше знаешь — больше спишь». — См. в Словаре В. И. Даля: «Кто больше знает, тот меньше спит»<sup>128</sup>.

Мне б — избёнку понижее. — В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. вспоминает эту фразу из своего тюремного стихотворения, когда в ссылке находит себе «домик-курятник — с единственным подслеповатым окошком и такой низенький, что даже посередине, где крыша поднимается выше всего», он не может «выпрямиться в рост» (Т. 6. С. 371).

#### ЧЕРЕЗ ДВЕ РЕШЁТКИ (С. 218)

Первая публикация: «Книжное обозрение». 18 окт. 1999.

Обращено к жене Н. А. Решетовской. По её словам, свидание, вызвавшее эти стихи, было в Бутырках 2 сентября 1946 г. «Нас разделяли две решётки, между которыми прогуливался вооружённый конвоир»<sup>129</sup>.

...сними, родная, / Обручальное наше кольцо. — Через три года жена пришла на свидание без обручального кольца. Об этом — стихотворение «Отречение» (с. 226—227).

Ведь не год. Ведь не три. Ведь не пять! / А с войною — пятнадцать! — В армии А. С. с 18 октября 1941 г. Арестован на фронте 9 февраля 1945-го. Приговорён к восьми годам лагерей и после окончания срока, 13 февраля 1953 г., этапом отправлен в ссылку. Справку об освобождении из ссылки получил только 16 апреля 1956 г. Однако о том, что после лагеря будет ссылка и что она продлится больше трёх лет, в 1947 году, которым датиро-

<sup>128</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 4. С. 288.

<sup>129</sup> Наталья Решетовская. В круге втором. М.: Алгоритм, 2006. С. 43.

вано стихотворение, А. С. знать не мог. И сначала вместо пятнадцати лет в рукописи было двенадцать (фронт и лагерь)<sup>130</sup>.

*Даже сказочный срок — семь лет. / Даже в сказках не ждут по столько... — Семь лет — столько служил Иаков, чтобы получить в жёны Рахиль*<sup>131</sup>.

#### ВАНЬКА-ВСТАНЬКА (С. 219)

С. 219. *Когда было мне годика три, / Принесла забавушку мне нянька.* — Сыну шёл третий год, когда Т. З. Солженицына в поисках работы уехала в Ростов-на-Дону, оставив его в Кисловодске на попечение родных.

#### РОМАНС (С. 220)

С. 220. А. Б. — инициалы Анны Бреславской (р. 1923), отбывавшей срок в лагере на Калужской заставе, где А. С. пробыл с 9 сентября 1945 г. по 18 июля 1946-го. В драме «Республика труда» (1954) стоит посвящение «Ане Бреславской», там она выведена под именем Любы Негневицкой. Включена в список свидетелей, чьи «рассказы, письма, мемуары и поправки» использованы при создании «Архипелага ГУЛАГа» (Т. 4. С. 14), упомянута там же, в главе «Музы в ГУЛАГе» (Т. 5. С. 398).

#### «КОГДА Я ГОРЕСТНО ЛИСТАЮ...» (С. 222)

Первая публикация: Труд-7. 2—8 апр. 1999.

С. 222. *...Я — тех царей благословляю, / При ком войны мы не вели.* — Если не считать тех, кто лишь промелькнул на троне, то это Пётр III (император в 1761—1762 гг.), сразу же по воцарении прекративший войну против Пруссии, и Александр III (император в 1881—1894 гг.), при котором Россия ни с кем не воевала.

#### ВЕЧЕРНИЙ СНЕГ (С. 223)

Написано в декабре 1949 г. (см. ниже: «В такой вот вечер декабря...») на шарашке в Марфине. В тексте видны приметы Марфинской спецтюрьмы (старые липы, тюремный двор, где зэк может пройтись, с наслаждением погрываясь в воспоминания, и др.), запечатлённые позже в ро-

<sup>130</sup> Наталья Решетовская. В круге втором. с. 43.

<sup>131</sup> Быт. 29: 8, 20—21.

мане «В круге первом» (на 24—26 декабря 1949 г. приходится действие романа). В стихотворении автор обращается к Н. А. Решетовской.

#### ОТСЮДА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ (С. 224)

Это стихотворение — отклик на этапирование автора 19 мая 1950 г. из Марфина в Бутырскую тюрьму.

Первая публикация: Труд-7. 2—8 апр. 1999.

С. 224. *Редко я писал вам — и всё реже, реже, — / А теперь и вовсе замолчу...* — В Особом лагере, куда отправляют А. С., разрешались два письма в год. Тот же лимит на письма у Ивана Денисовича Шухова, заглавного персонажа рассказа «Один день Ивана Денисовича» (Т. 1. С. 35).

#### ОТРЕЧЕНИЕ (С. 226)

Тюремное свидание, о котором рассказывается здесь, описано также в романе «В круге первом» (глава «Свидание») (Т. 2. С. 269—277).

С. 226. *...старшина / С голубую погонной каймой.* — Голубой цвет, пусть и сжатый до узких ободочков, униформа сотрудников Госбезопасности заимствовала у офицерских мундиров корпуса жандармов. Кстати, главу о следователях в «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. назвал «Голубые канты». См. также 2-е примеч. к с. 209.

С. 227. *...на скудной тюремной вагонке...* — Вагонка здесь — приспособление из деревянных щитов для спанья четырёх человек в два этажа.

#### С ВЕРХНЕЙ ПОЛКИ «ВАГОН-ЗАКА» (С. 228)

А. С. был отправлен этапом из Москвы 25 июня 1950 г. в вагоне, прицепленном к поезду «Москва — Новосибирск», и после месяца на Куйбышевской пересылке прибыл в Экибастузский каторжный лагерь 20 августа.

Первая публикация — под названием «С верхней полки столыпинского вагона»<sup>132</sup>. Причина замены «столыпинского вагона» на «вагон-зак» понятна из объяснений А. С. в «Архипелаге ГУЛАГе»:

«Вагон-зак» — какое мерзкое сокращение! Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это — вагон для заключённых. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось.

<sup>132</sup> Александр Солженицын. Протеревши глаза. С. 191.

Усвоили арестанты называть такой вагон “стольпинским” или просто “стольпинным”. <...>

История вагона такова. Он действительно пошёл по рельсам впервые при Столыпине: он был сконструирован в 1908 году, но — для переселенцев в восточные области страны, когда развилось сильное переселенческое движение и не хватало подвижного состава. Этот тип вагонов был ниже обычного пассажирского, но много выше товарного, он имел подсобные помещения для утвари или птицы (нынешние “половинные” купе, карцеры) — но он, разумеется, не имел никаких решёток, ни внутри, ни на окнах. Решётки поставила изобретательная мысль, и я склоняюсь, что большевицкая. А называться досталось вагону — стольпинским... <...>

И ведь не обвинишь гулаговское начальство, чтоб они пользовались термином “стольпин” — нет, всегда “вагон-зак”. Это мы, ээки, из чувства противоречия казённому названию, чтобы только называть по-своему и поглубей, обманно повлеклись за кличкой, подsunутой нам арестантами предыдущих поколений, как легко рассчитать — 20-х годов. <...> Это, безусловно, могли быть только “революционеры”, вдруг, для себя неожиданно завлечённые в чекистскую мясорубку: или эсеры, или анархисты (если кличка возникла в ранних 20-х), или троцкисты (если в поздних 20-х). Когда-то змеиным укусом убив великого деятеля России, ещё и по-смертным гадким укусом осквернили его память» (Т. 4. С. 436, 437).

С. 228. *Едем на каторгу, в медные копи. / Вытравит лёгкие в месяцы медь.* — Поезд «Москва — Новосибирск» указывал только на восточное направление, выбранное для этапа. А местом назначения могли быть и Среднее Поволжье, и Южный Урал, и вся Сибирь, и, как замечает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГ», «наш Казахстан с джезказганскими медными рудниками» (Т. 4. С. 453). О них он услышал осенью 1941 г. в Морозовске от старого инженера Николая Герасимовича Броневицкого. «Он потерял здоровье в тюрьмах, знал больше, чем одну посадку, и лагерь не один — но со вспыхнувшей страстью рассказал только о раннем Джезказгане — о воде, отравленной медью; об отравленном воздухе; об убийствах; о бесплодности жалоб в Москву. Даже самое это слово *Джезказган* подирало по коже тёркой, как безжалостные те истории» (Т. 6. С. 21). В повести «Люби революцию» Броневицкий выведен под именем Иллариона Феогностовича Диомидова (с. 280—284).

#### КАМЕНЩИК (С. 229)

Написано осенью 1950 г., вскоре после того как А. С. попал в Экибастусский лагерь, на кладке барака усиленного режима в лагерной зоне.

«Мы, четверть сотни новоприбывших, большей частью западные украинцы, — рассказывает А. С. в «Архипелаге ГУЛАГе», — сбились в одну бригаду <...> Получилась из нас бригада смиренная, работающая (западных украинцев, недавно от земли, ещё не коллективизированной, не подгонять надо было, а в пору, пожалуй, удерживать). Дней несколько мы считались чернорабочими, но скоро объявились у нас каменщики-мастера, а другие взялись подучиться, и так мы стали бригадой каменщиков. Кладка получалась хорошо. Начальство это заметило и сняло нас с жилого объекта — с постройки дома для вольных, оставило в зоне. Показали бригадире кучу камней у БУРа <...> пообещали, что камни с карьера будут подвозить непрерывно. И объяснили, что тот БУР, который стоит, это только половина БУРа, а нужно теперь пристроить такую же вторую половину, и это сделает наша бригада.

Так, на позор наш, мы стали строить тюрьму для себя» (Т. 6. С. 66).

Стихотворение включено в «Архипелаг ГУЛАГ» (Там же. С. 67). Перепечатано: Труд-7. 2—8 апр. 1999.

С. 229. *Вот — я каменщик. Как у поэта сложено, / Я из камня дикого кладу тюрьму.* — Отсылка к стихотворению В. Я. Брюсова «Каменщик» (16 июля 1901): «— Каменщик, каменщик в фартуке белом, / Что ты там строишь? кому? / — Эй, не мешай нам, мы заняты делом, / Строим мы, строим тюрьму»<sup>133</sup>.

*Был майор. Стена не так развязана. / Первых посадить нас обещал.* — Майор Максименко, начальник Экибастузского лагеря. Неоднократно упоминается в «Архипелаге ГУЛАГе» (См. именной указатель в т. 6).

### ХЛЕБНЫЕ ЧЁТКИ (С. 230)

В «Архипелаге ГУЛАГе» А. С. рассказывает, как в тюрьме и лагере для верности раз в месяц повторял всё, что успел сочинить и заучить. Поначалу он выстраивал на портсигаре в два ряда двадцать спичечных обломков: верхний ряд — десять единиц, нижний — десять десятков. Произнеся про себя строчку, перемещал одну верхнюю спичку в сторону. Переместив десять верхних спичек, перемещал одну нижнюю. Каждая пятидесятая и сотая строки запомнились особо — как контрольные. Затем он перешёл на хлебные чётки. «На Куйбышевской пересылке, — продолжает писатель, — я увидел, как катлики (литовцы) занялись изготовлением самодельных тюремных чёток. Они делали их из размоченного, а потом промешанного хлеба, окрашивали (в чёрный цвет — жожёной резиной, в белый — зубным порошком, в красный — красным стрептоцидом), нанизывали во влажном виде на ссушенные

<sup>133</sup> Валерий Брюсов. Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1973. С. 329.

и промышленные нитки и давалидосохнуть на окне. Я присоединился к ним и сказал, что тоже хочу молиться по чёткам, но в моей особой вере надо иметь бусинок вкруговую сто штук (уж позже понял я, что довольно — двадцатки, и удобней даже, и сам сделал из пробки), каждая десятая должна быть не шариком, а кубиком, и ещё должны на ощупь отличаться пятидесятая и сотая. Литовцы поразились моей религиозной ревности (у самых богомольных было не более чем по сорок бусинок), но с душевным расположением помогли составить такие чётки, сделав сотое зерно в виде тёмно-красного сердечка. С этим их чудесным подарком я не расставался потом никогда, я отмеривал и пересчитывал чётки в широкой зимней рукавице — на разводе, на перегоне, во всех ожиданиях, это можно было делать стоя, и мороз не мешал. И через обыски я проносил их так же в ватной рукавице, где они не прощупывались. Раз несколько находили их надзиратели, но догадывались, что это для молитвы, и отдавали. До конца срока (когда набралось у меня уже 12 тысяч строк), а затем ещё и в ссылке помогало мне это ожерелье писать и помнить» (Т. 6. С. 94).

На Куйбышевской пересылке А. С. пробыл месяц — с конца июня по 29 июля 1950 г.

#### ПРАВО УЗНИКА (С. 231)

Первая публикация: Труд-7. 2—8 апр. 1999.

С. 231. *Мы в числе том — ноли, и ноли, и ноли...* — Ноли, повторенные трижды, формируют число как минимум с шестью нулями, подсказывая, что счёт идёт на миллионы.

#### «ЧТО-ТО СТАЛИ ФРОНТОВЫЕ ВЁСНЫ...» (С. 232)

Первая публикация: Книжное обозрение. 18 окт. 1999.

С. 232. *...Побеждал всегда я неохотно.* — См. в романе «В круге первом» реплику Глеба Нержина: «Даосская этика говорит: «Оружие — орудие несчастья, а не благодетельства. Мудрый побеждает неохотно»» (Т. 2. С. 45).

#### СЕДЬМАЯ ВЕСНА (С. 233)

Первая публикация: «Книжное обозрение». 18 окт. 1999.

Как вспоминала Е. Ц. Чуковская, осенью 1965 г. А. С. прочитал ей несколько стихотворений из своего рукописного сборника «Сердце под бушлатом». Среди них — «Седьмая весна» и «Триумвирам» (с. 246)<sup>134</sup>.

<sup>134</sup> Елена Чуковская. «Чукоккала» и около: Статьи, интервью. М: Русский Мир: Жизнь и мысль, 2014. С. 320.

С. 233. *Шесть кряду лет...* — все отбытые на тот момент тюремно-лагерные годы (1945—1951).

#### РОССИЯ? (С. 235)

Первая публикация: журнал «Вестник Русского Христианского Движения» (Париж; Нью-Йорк; М.: УМСА-Press, 1976. № 117. С. 155—157). Перепечатано: Труд-7. 2—8 апр. 1999. В журнале под стихотворением указана не только дата сочинения, но и место: Экибастуз, Степлаг.

С. 236. *...людское юро...* — т. е. толпа (от «юрить — 1) метаться, суетиться; 2) кишеть, толпиться»<sup>135</sup>).

*Где нет азиатской опеки / За волосы к небесам?* — Парафраз поговорки: «В рай за волоса не тянут»<sup>136</sup>.

С. 237. *...Что наше одно гожо.* — В 1948—1953 гг. в СССР велась шумная псевдопатриотическая кампания, в ходе которой все достижения мировой культуры и цивилизации приписывались России.

В журнальной публикации далее следовала строфа:

О, Русь без славян и проливов!  
О, Русь без святого меча!  
Не надо для жизни счастливой  
Ни воина, ни палача!<sup>137</sup>

*...С помоями смыл в лохань.* — В журнале далее следовала строфа:

Мы стали всем ненавистны,  
Нас будут везде распинать,  
Нас будут резать на Висле!  
Нас будут в Пекине сжигать!<sup>138</sup>

*В двухсотмиллионном массиве...* — Численность населения СССР дана в округлении. По данным Госкомстата, в 1952 г. она составляла 184,8 млн человек. И только в 1957 г. 200-миллионный рубеж был достигнут и превзойдён.

<sup>135</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 265.

<sup>136</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 1. С. 235.

<sup>137</sup> Вестник Русского Христианского Движения. С. 156.

<sup>138</sup> Там же. С. 157.

## АКАФИСТ (С. 238)

Стихотворение вошло в «Архипелаг ГУЛАГ» (Т. 5. С. 493). Перепечатано: Книжное обозрение. 18 окт. 1999.

Акафист — церковное хвалебное песнопение в честь Иисуса Христа, Богородицы, святых либо церковного праздника, исполняемое молящимися стоя («неседальная песнь»).

## ПРОЩАНИЕ С КАТОРГОЙ (С. 239)

Стихотворение написано в конце лагерного срока, А. С. ещё не знал, что после лагеря получит вечную ссылку.

С. 239. *Читайте, / завидуйте, / я — гражданин / Советского Союза!* — концовка «Стихов о советском паспорте» (1929) В. В. Маяковского<sup>139</sup>. У Маяковского воспета «краснокожая паспортница» — не внутренний, а заграничный паспорт.

...*Но оливково-мутный суют мне паспорт...* — Освобождённый от ссылки, А. С. получил внутренний паспорт только 5 мая 1956 г.

## ПЯТОЕ МАРТА (С. 240)

5 марта 1953 г. в 21 ч. 50 мин. умер Сталин. А. С., привезённый 3 марта в ссылку в Кок-Терек, узнал об этом среди дня 6 марта, когда на площади заговорил два дня молчавший репродуктор.

С. 240. ...*смерть Великого Могола.* — Великие Моголы — династия, созданная тюрками после завоевания ими Индии, правившая более 300 лет: с 1526-го по 1858 г. Основателем империи Великих Моголов был Захир-ад-дин Мухаммед Бабур (1483—1530) — потомок Чингисхана по материнской линии и Тамерлана по отцовской. Государство Великих Моголов было самым крупным и развитым в истории феодальной Индии.

*Безмысленная Азия рябого чтит Юсупа...* — Юсуп (тюрк.) — Иосиф.

*Ты проскочил и первомартовские царские календы / И не дожил до цезаревских мартовских же ид!* — Календы у древних римлян — название первого дня месяца. Здесь — отсылка к годовщине убийства Александра II (1 марта 1881). Иды у тех же древних римлян — день в середине месяца: 15-е число в марте, мае, июле, октябре и 13-е число остальных месяцев. Здесь — отсылка к годовщине убийства Юлия Цезаря (15 марта 44 г. до н. э.).

<sup>139</sup> Владимир Маяковский. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1958. С. 71.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЗВЁЗДАМ (С. 241)

Первая публикация: Книжное обозрение. 18 окт. 1999.

С. 241. ...*Увидеть алмазный осколок Денеба, / В ночной черноте — перемиги Альголя.* — О Денебе см. 6-е примеч. к с. 14.

Альголь — переменная звезда, вторая по яркости в созвездии Персея. Её видимый блеск изменяется от 2,2 до 3,5 звёздной величины<sup>140</sup>. Представляет собой двойную звезду, более яркий её компонент затмевается менее ярким с периодом в двое суток 20 ч. 49 мин.

*Мой прежний, мой запертый стиснутый мир / Забыл про тебя, голубой Альтаир.* — Альтаир — звезда 1-й звёздной величины, самая яркая в созвездии Орла. В средних широтах Альтаир виден весной, летом и осенью.

*...Но тех же Плеяд озаренье над нами, / Того же Стрельца польхающий грозд.* — Плеяды — галактическое рассеянное звёздное скопление, расположенное в созвездии Тельца. Невооружённым глазом можно видеть 6—9 самых ярких звёзд скопления из, вероятно, пяти сотен.

Стрелец — одно из 12 созвездий зодиака, расположенное в южном полушарии звёздного неба. Лучше всего видно в конце весны и летом. В направлении Стрельца расположен центр Галактики.

*...Кипяще, немислимо белая Вега / И факел Юпитера в Божьем огне!* — Вега — звезда нулевой (0,14) звёздной величины, самая яркая в созвездии Лиры. Цвет Веги голубовато-белый.

Юпитер — пятая по порядку от Солнца и самая крупная по размерам планета солнечной системы. Имеет вид яркой желтоватой звезды, блеском своим превосходящей все звёзды и планеты, за исключением Венеры.

## «ВОТ И ВОЛИ КЛОЧОК...» (С. 242)

С. 242. *Новоселье / В бурой степи да в голых стенах...* — Отдельный «домик-курытник» А. С. снял в Кок-Тереке 4 марта 1953 г. Сам Кок-Терек расположен на краю Северной Голодной степи — пустыни Бетпак-Дала.

*...Не женюсь для мясного борща...* — В основе пословица: «Для щей люди женятся, а для мяса (во щах) замуж идут»<sup>141</sup>. Позже приведена в романе «В круге первом»: «“Для мяса люди замуж идут, для щей женятся” — вспомнил Нержин пословицу» (Т. 2. С. 715).

<sup>140</sup> С уменьшением яркости цифровое выражение звёздной величины повышается. Напротив, у самых ярких звёзд — отрицательная звёздная величина.

<sup>141</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 2. С. 374.

...Как я с досок нестланных шепчу... — Положив на земляной пол лагерную телогрейку, А. С. устроил себе постель. Но тут товарищ по ссылке, в прошлом преподаватель Бауманского института, Александр Климентьевич Зданюкевич одолжил ему пару дощатых ящиков — и они стали кроватью.

**«ПОД ДУХМЯНОЙ, ДУРМАНЯЩЕЙ СЕНЬЮ ДЖИДЫ...» (С. 243)**

Стихотворение написано не раньше мая 1953 г., когда начинают цвести джидда и джингиль.

Джида (джидда) — дикорастущее листопадное дерево с узкими серебристыми листьями и жёлтыми остро пахнущими цветочками, дважды распускающимися за весну и лето. Достигает 10-метровой высоты. Часто растёт вдоль рек. Здесь — на правом берегу реки Чу, в пяти километрах от Кок-Терека. Упоминается в повести «Раковый корпус» (Т. 3. С. 229).

С. 243. *В эту зарость колючих кустов джингиля...* — Джингиль — кустарник, достигающий двух-трёх метров, с длинными колючками, расположенными на стебле у основания листьев. Растёт главным образом вдоль русла рек. В мае покрывается фиолетовыми цветами. Используется как колючая живая изгородь и на топливо. Упоминается в повести «Раковый корпус» (Там же).

...как / Мог забыть я опухших больных доходяг? / И расстрел? и трёх тысяч три дня голодовку? — В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. рассказывает, как 22 января 1952 г. на 1-м лагпункте Экибастуза эки бросились ломать заплот вокруг БУРа, чтобы через окошко залить бензином и поджечь камеру спрятанных там стукачей. С угловых вышек по зоне стали садить из пулемётов. И среди убитых и раненых были даже те, кто находился в бараке. Затем на лагпункт взводом вошли автоматчики конвоя, веером сеча во все стороны, а за ними — разъярённые надзиратели с железными трубами и дубинками. С утра 24-го все три тысячи зэков лагпункта остались в бараках и начали голодовку, продолжавшуюся трое суток.

«Этих трёх суток нашей жизни, — продолжает писатель, — никому из участников не забыть никогда. <...>

Голодовку объявили не сытые люди с запасами подкожного жира, а жилистые, истощённые, много лет каждодневно гонимые голодом, с трудом достигшие некоторого равновесия в своём теле, от лишения одной стограммовки уже испытывающие расстройство. И доходяги голодали равно со всеми, хотя три дня голода необратимо могли опрокинуть их в смерть. <...>

Голодовку объявили люди, десятилетиями воспитанные на волчьем законе: «умри ты сегодня, а я завтра!» И вот они переродились, вылезли из вонючего своего болота и согласились лучше умереть всем сегодня, чем ещё и завтра так жить» (Т. 6. С. 229—230).

#### ТРИ НЕВЕСТЫ (С. 244)

С. 244. ...*девушки из Ярославля, / Жили три учительницы, жили три невесты.* — Три девушки — Валя Трантина, Лида Ладыгина, Люся Ломтева — окончили Ярославское педучилище и были посланы по распределению в Казахскую ССР, в аул Кок-Терек. Сообщено Н. Д. Солженицыной.

*Клеткам счёт не потеряли...* — т. е., вышивая, на стихи не отвлекались. Вышивали девушки крестиком, заполняя каждую клеточку, образованную вперекрест натянутыми нитками канвы. Закончив вышивку, эти нитки выдёргивали.

#### НАД «ДОРОЖЕНЬКОЙ» (С. 245)

Стихотворение написано в 1953 г., но название более позднее, потому что долее четверти века у самой «Дороженьки» было другое заглавие — «Шоссе Энтузиастов».

С. 245. *Я боюсь, она изменит наш обычай, / Длится беседы нам вечерние не даст...* — По-видимому, свидетельство того, что работа над поэмой продолжалась в ссылке.

*...двенадцать лет спустя...* — Автор исключает войну и лагерь из опыта личной жизни.

#### ТРИУМВИРАМ (С. 246)

С. 246. ...*Что в мире нет виноватых, / Хотел я провесть, как Толстой...* — За два года до смерти Л. Н. Толстой начал писать прозу, озаглавленную «Нет в мире виноватых». Остались три начала, совершенно отличные друг от друга. О своём замысле писатель рассказывал: «Мне вот именно, если Бог приведёт, хотелось бы показать в моей работе, что виноватых нет. Как этот председатель суда, который подписывает приговор, как этот палач, который вешает, как они естественно были приведены к этому положению, так же естественно, как мы теперь тут сидим и пьём чай, в то время как многие зябнут и мокнут»<sup>142</sup>.

---

<sup>142</sup> Н. Н. Гусев. Два года с Толстым. М.: Худож. лит., 1973. С. 152.

## «ПОЭТЫ РУССКИЕ! Я С БОЛЬЮ ОДИНОКОЙ...» (С. 247)

Стихотворение написано в ноябре-декабре 1953 г. В 1966 г. А. С. записал его для «Чукоккалы» (в автографе дата — 1952). Печаталось: «Наше наследие». 1989. № 4. С. 75 (факсимиле в публикации Е. Ц. Чуковской «Мемуар о “Чукоккале”»); «Ставропольская правда». 13 окт. 1990 (автограф из «Чукоккалы»); Чукоккала: Рукописный альманах Корнея Чуковского. М.: Премьера, 1999. С. 344 (факсимиле); То же. М.: Рус. путь, 2006. С. 540—541; 2-е изд., испр. Там же, 2008.

С. 247. *Пришёл и мой — мой ранний, мой жестокий / Час истребления, уничтоженья час.* — В последних числах ноября 1953 г. в Дзямбульской областной больнице А. С. узнал от врачей, что при его запущенной опухоли жить ему осталось не больше трёх недель.

...*Когда со слов спадёт горячности туман...* — В записи для «Чукоккалы» сбоку от этой строчки помета рукой К. И. Чуковского: «окончательная редакция:> спадает с нас».

...*Два наших первенца застрелены в дуэлях, / Растерзан третий в рёве мусульман.* — На дуэли смертельно ранен А. С. Пушкин и убит М. Ю. Лермонтов; растерзан в Тегеране А. С. Грибоедов.

...*перед пушкинскую гранью...* — Пушкинская грань — неполные 37 лет, которые прожил Пушкин. Самому А. С. в декабре 1953 г. исполнилось 35 лет.

...*Многоголово гибель стерегла: / Безумием, гниением, зелёным умираьем, / Мгновенным ли пыланием чела...* — Самый известный случай безумия среди поэтов — судьба К. Н. Батюшкова (1787—1855). Наследственное расстройство психики с несомненностью проявилось у него уже в середине 1822 г., в возрасте 35 лет. Отказом кишечника и гниением заживо закончилась жизнь В. В. Хлебникова (1885—1922). Жертвой «зелёного змия» стал А. А. Григорьев (1822—1864). От «гнилой горячки» в несколько дней умер А. А. Дельвиг (1798—1831).

...*Повешен тот, а этот сослан в рудник...* — Повешен К. Ф. Рылеев (1795—1826), к каторжным работам был приговорён А. И. Одоевский (1802—1839), содержащийся с марта 1827-го по ноябрь 1832 г. сначала в Читинском остроге, затем в Петровском Заводе.

...*Иных подбил догладливый черкес...* — В стычке с горцами погиб А. А. Бестужев-Марлинский (1797—1837).

...*Да желть бензинная лубянская небес...* — В записи для «Чукоккалы» слово «лубянская» заменено девятью точками.

*Один — в петлю, другой — из пистолета...* — Повесился С. А. Есенин (1895—1925), застрелился В. В. Маяковский (1893—1930).

...К расстрелу — третьего, четвёртого — в Нарым. — Расстрелян Н. С. Гумилёв (1886—1921), отправлен в лагерь и погиб там О. Э. Мандельштам (1891—1938).

С. 248. Она выросла в груди тарантулом мохнатым / И шупальцами душит... — о раковой опухоли и её метастазах.

#### НАПУТСТВИЕ (С. 249)

Первая публикация: Книжное обозрение, 22 дек. 1998 (в статье А. Н. Щуплова «Многобедное наше счастье: Заметки с премьеры и чествования А. Солженицына в Театре на Таганке»). Перепечатано: Там же. 18 окт. 1999.

С. 249. ...ЭС-ЭС-Пэ... — Союз советских писателей. С 1954 г. — Союз писателей СССР (СП СССР).

«СМЕРТЬ — НЕ КАК ПРОПАСТЬ, А СМЕРТЬ — КАК ГРЕБЕНЬ...» (С. 250)

Стихотворение написано в Джамбуле, в декабре 1953 г., после смертельного диагноза.

С. 250. И, обернувшись... — т. е. глядя с юга в сторону севера.

...Вижу Россию до ледяных венцов — / Взглядом, какой высекали на стелах / Мудрые элины у мертвецов. // Вижу прозрачно — без гнева, без клятвы... — В романе «В круге первом» А. С. снова напомнит об изображениях на античных надгробиях, когда речь пойдёт о поднадзорных свиданиях заключённых с родственниками: «Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стел — плит-барельефов, где изображался и сам мертвец, и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стелах всегда маленькая полоса, отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мёртвого, а мёртвый смотрел в Аид, смотрел не весёлым и не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом» (Т. 2. С. 250).

#### ЛЮБИ РЕВОЛЮЦИЮ НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ (С. 251)

Повесть «Люби революцию», по словам А. С., «задумывалась как прозаическое продолжение “Дороженьки”. Предполагалось и дальше большое протяжение — с историей создания и боевой жизни “одного

разведдивизиона». Главы 1—5 написаны в 1948 на шарашке Марфино. При этапе из Марфина в 1950 автор оставил эти листки у сотрудницы марфинского института А. В. Исаевой<sup>143</sup>. Воротясь из ссылки, с благодарностью получил их от неё в 1956. В Рязани в 1958 главы 1—5 ещё раз переписаны, к ним добавлены малые отрывки для глав 6 и 7. Дальше работа не пошла<sup>144</sup>.

Первоначальное заглавие — «История одного дивизиона». Название «Люби революцию» возникло десятью годами раньше: короткое время в 1937—1938 гг. А. С. примерял его к будущему «Красному Колесу», но тогда же совсем отбросил. И лишь когда широко задуманную повесть о своём разведывательном дивизионе автор оставил задолго до появления в ней самого дивизиона, её начаток он назвал по-старому — «Люби революцию». «...Такой мотив ведь и остался у Нержина, возящего с собой Энгельса»<sup>145</sup>.

В романе «В круге первом» изложен отчасти осуществлённый, отчасти предполагаемый сюжет повести «Люби революцию». По ходу этого сюжета Глеб Нержин, центральный персонаж повести, выясняет свои отношения с тем идеальным Народом, который был создан русской литературой XIX в., и тем реальным народом, который окружает его, Глеба, в лошадином обозе и в артиллерийском дивизионе: «В городе рос юноша Глеб, на него сыпались успехи из рога наук, он замечал, что соображает быстро, но есть соображающие и побыстрее его и подавляющие обилием знаний. И Народ продолжал стоять на полке, а понимание было такое: только те люди значительны, кто носит в своей голове груз мировой культуры, энциклопедисты, знатоки древностей, ценители изящного, мужи многообразованные и разносторонние. И надо принадлежать к избранным. А неудачник пусть плачет.

Но началась война, и Нержин сперва попал ездовым в обоз и, давясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтоб их обротать или вспрыгнуть им на спину. Он не умел ездить верхом, не умел ладить упряжи, не умел брать сена на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером. И чем горше доставалось Нержину, тем гуще ржал над ним вокруг небритый, матерщинный, безжалостный, очень неприятный Народ.

---

<sup>143</sup> Об Анне Васильевне Исаевой (1924—1991) см. воспоминания её дочери: Т. А. Жидкова. «Моя мама, Анна Васильевна Исаева...» // Солженицынские тетради: Материалы и исследования. Вып. 3. М.: Рус. путь, 2014. С. 171—173.

<sup>144</sup> Александр Солженицын. Протеревши глаза. Клапан суперобложки.

<sup>145</sup> А. Солженицын. Ответы на вопросы М. Г. Петровой // Александр Солженицын. В круге первом: Роман. М.: Наука, 2006. С. 625

Потом Нержин выбился в артиллерийские офицеры. Он снова помолодел, половчел, ходил обтянутый ремнями и изящно помахивал сорванным прутиком, другой ноши у него не бывало. Он лихо подъезжал на подножке грузовика, задорно матерился на переправах, в полночь и в дождь был готов в поход и вёл за собой послушный, преданный, исполнительный и потому весьма приятный Народ. И этот его собственный небольшой народ очень правдоподобно слушал его политбеседы о том большом Народe, который встал единой грудью» (Т. 2. С. 483—484).

Маршрут тылового подразделения, в которое осенью 1941 г. попадает Глеб Нержин в повести «Люби революцию», проходит по двум областям — Ростовской и Сталинградской. Сначала призывников часа два везут на грузовиках от военкомата в Морозовске до станицы Обливской, в 60 км к востоку. На следующий день в пешей колонне гонят в поле. Через два с лишним километра колонна подходит к балке, заполненной лошадьми и телегами. Расхватав их, обозники правят по степному большаку на север, где примерно в 100 км на правом, западном, берегу Дона расположена станица Клетская. В полусотне километров выше по течению, в станице Усть-Медведицкой (её советское название — город Серафимович — ни разу не упоминается в повести), по наплавному мосту лошадиный обоз переправляется на левый, восточный, берег Дона. На третий день после переправы, покрыв более 100 км, подводы добрались до хутора Дурновского (Дурновки) на левом, ближнем, берегу реки Бузулук. Здесь взвод Глеба Нержина простоял до февраля 1942 г. Затем Нержину вместе с ещё двумя обозниками пришлось перебраться за 7 км в хутор Мартыновку (Мартыновский) на правом берегу Бузулука. А уже в марте со станции Филоново (при станице Ново-Анненской) — до неё от Мартыновки напрямик 25 км — Нержин отправляется в полную железнодорожных приключений командировку в Сталинград, в 254 км к юго-востоку.

За одним исключением (см. 2-е примеч. к с. 323), географические названия в повести подлинныe.

Отдельные мотивы, образы и детали повести «Люби революцию» получили развитие в рассказе «Случай на станции Кочетовка» (ноябрь 1962).

Первая публикация повести — в сборнике: *Александр Солженицын. Протеревши глаза*. М.: Наш дом — L'Age d'Homme, 1999. С. 212—342.

Перепечатка — в сборнике: *А. И. Солженицын. Дороженька*. М.: Вагриус, 2004. С. 247—412.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ. РАЗМОЛОТНЫЕ НЕДЕЛИ

С. 252. *Мальчишка! Люби революцию! Во всём мире одна она достойна любви!* — чуть изменённая реплика машиниста французского

пассажирско-грузового парохода «Женераль Жилляр», революционера-анархиста мсье Мишеля из автобиографического рассказа Б. А. Лавренёва «Марина» (1923). В рассказе: «Мальчишка! Люби революцию! Во всём мире она одна стоит любви! Остальное — богатство, слава, женщины — je m'en fiche<sup>146</sup>. Тьфу!»<sup>147</sup>

С. 253. ...*Нержин...* (ниже — *Глеб*). — Имя автобиографического персонажа, установившееся только в работе над романом «В круге первом» (3-я ред., 1959). В рукописи повести «Люби революцию» это сначала Северцев, потом Олег Веретеников, потом Сергей Кержин. О том, как автор пришёл к фамилии Нержин, см. 3-е примеч. к с. 73. Первоначально повествование велось от первого лица.

...*свои 23 года...* — Нержин то ли немного моложе самого А. С., которому 23 года будет лишь 11 декабря 1941 г., то ли просто избегает уточнять: неполные 23 года.

...*со своим ещё школьным другом Андреем...* (далее, на с. 262, — *Андрей Холуднев*). — См. 2-е примеч. к с. 15.

...*досрочно сдав у себя в Ростове последний государственный экзамен на физмате...* — 25 июня 1941 г. Государственная экзаменационная комиссия Ростовского университета, рассмотрев материалы об успеваемости за 5 лет обучения и результаты госэкзаменов, присвоила А. С. квалификацию научного работника 2-го разряда в области математики и преподавателя высших учебных заведений, высших технических учебных заведений, техникумов. Диплом с отличием выписан 5 июля 1941 г.

...*заветный МИФЛИ — прославленный Московский Институт Филологии, Литературы и Истории.* — См. 1-е примеч. к с. 16.

*Нержин не знал и не желал отдыха, не раз с благодарностью проверяя на себе правило Ламарка, что отдых состоит в смене работы.* — Ни в сочинениях французского естествоиспытателя Жана Батиста Ламарка (см. 1-е примеч. к с. 58), ни в литературе о нём обнаружить это правило не удалось, хотя он вполне мог ему следовать, так как уже в античном мире оно было известно. Для русского читателя гораздо ближе пример Рахметова — героя романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1862—1863):

«Он успевал делать страшно много, потому что и в распоряжении временем положил на себя точно такое же обуздание прихотей, как в материальных вещах. Ни четверти часа в месяц не пропадало у него на

<sup>146</sup> Плевать мне на это (*фр.*).

<sup>147</sup> Борис Лавренёв. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М.: Шихино, 1995. С. 57.

развлечение, отдыха ему не было нужно. “У меня занятия разнообразны; перемена занятия есть отдых”<sup>148</sup>.

...несчастливая смерть отца в 27 лет. — См. 3-е примеч. к с. 38.

*А Лермонтов? А Эварист Галуа?* — М. Ю. Лермонтов (1814—1841) был убит на дуэли на 27-м году жизни. Французский математик Эварист Галуа (1811—1832) умер в парижской больнице от ранений, полученных на дуэли, на 21-м году жизни. Среди довоенных сочинений А. С. была поэма «Эварист Галуа» (1937—1938), написанная четырёхстопным амфибрахием, — 248 попарно рифмующихся строк. Две строки автографа можно прочитать в каталоге выставки, которая прошла в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (9 декабря 2013 — 3 марта 2014). Еще несколько строк процитированы там же<sup>149</sup>.

С. 254. ...изобрёл: одновременно, заочно, учиться и в МИФЛИ — о самом существовании которого, по провинциальной оторванности, и узнал-то слишком поздно. — О существовании МИФЛИ А. С. почти случайно узнал от ростовчанина Эмилия Александровича Мазина, с которым познакомился и подружился уже на физмате, и его жены.

С того же второго-третьего курса уже несколько раз пересекал его путь — отвылок в армию. Приезжали вербовщики от одного, другого, четвёртого военных училищ и заманивали переходить туда, бросив университет. — См. в «Архипелаге ГУЛАГе»:

«Я вспоминаю третий курс университета, осень 1938 года. Нас, мальчиков-комсомольцев, вызывают в райком комсомола раз, и второй раз и, почти не спрашивая о согласии, суют нам заполнять анкеты: дескать, довольно с вас физматов, химфаков, Родине нужней, чтобы шли вы в училища НКВД. <...>

Годом раньше тот же райком вербовал нас в авиационные училища. И мы тоже отбивались (жалко было университет бросать), но не так стойко, как сейчас» (Т. 4. С. 153).

«Это может быстро переродиться в опасную опухоль»... — 12 февраля 1952 г. в лагерьной больнице хирург-заключённый К. Ф. Донис удалил А. С. злокачественную опухоль. Но через год с небольшим проявились её метастазы. Ход болезни и лечения описан в повести «Раковый корпус».

С. 255. ...пронести Революцию с шестой части Земли на всю Землю. — Считалось, что Советский Союз занимает шестую часть земной суши.

<sup>148</sup> Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 11. М.: Худож. лит., 1939. С. 202.

<sup>149</sup> Александр Солженицын: Из-под глыб: Рисунки, документы, фотографии. М.: Рус. путь, 2013. С. 77, 75.

*Двенадцатью вечными знаками зодиака встречали старинные часы Казанского вокзала...* — На башенке, посреди главного фасада Казанского вокзала, в середине 1920-х гг. были установлены часы с колоколом, вынесенным на крышу. На их круглом голубом циферблате, между цифрами, расположены бронзовые накладные знаки зодиака, отлитые по эскизам архитектора А. В. Щусева. Часы прослужили до осени 1941 г., когда взрывом фугасной бомбы был повреждён их механизм, а колокол сброшен. Полная реставрация часов завершилась только через 30 лет, когда колокол вернули на место, но ещё через 30 отключили, мотивируя тем, что от городского шума всё равно ничего не слышно.

*Поезд метро гулко понёс Нержина от Комсомольской площади к Сокольникам.* — С Казанского вокзала, расположенного на Комсомольской площади (станция метро «Комсомольская»), Нержин едет в МИФЛИ (Ростокинский проезд, д. 13-а), куда от станции метро «Сокольники» добирались на трамвае. См. ниже на этой же странице: «...милое Ростокино...».

*Старой Москвы — с Китайгородской стеной, Храмом Христа и Иверской часовней — Нержин никогда не видел и не знал...* — Китайгородская стена была построена в 1533—1538 гг. под руководством итальянского зодчего Петрока (Петра) Малого. Начиналась от Угловой Арсенальной башни Кремля, шла вдоль Воскресенской (ныне площади Революции) и Театральной площадей, Охотного ряда, Лубянской площади, Новой и Старой площадей, по Китайгородскому проезду и Москворецкой набережной до Беклемишевской (Москворецкой) башни Кремля. Длина около 2,6 км, высота свыше 6 м, толщина около 6 м. Из четырнадцати башен шесть были воротными. В 1934 г. в ходе реконструкции центра столицы Китайгородскую стену разобрали, оставив лишь несколько фрагментов, в частности вдоль Китайского (с 1992 Китайгородского) проезда. Значит, до 1934 г. Нержин в Москве не бывал.

Лишь в 1995 г. были воссозданы Воскресенские ворота Китайгородской стены, а в 1997-м с участка между Третьяковским проездом и Лубянской площадью началось её фрагментарное восстановление.

Храм Христа Спасителя в память о войне 1812 г. (арх. К. А. Тон) был заложен 10 сентября 1839-го, а освящен 26 мая 1883 г. Пятиглавый собор высотой 102 м перерос колокольню Ивана Великого (81 м) — самую высокую московскую постройку с начала XVII в. Взорван 5 декабря 1931 г., чтобы освободить место для претенциозного Дома Советов. После решения о восстановлении Храма строительство началось 7 января 1995 г. Освящен 19 августа 2000-го.

Иверская часовня — самая известная и почитаемая в Москве — была построена в 1781 г. перед Воскресенскими воротами Китайгородской стены для присланного с Афона списка чудотворной Иверской иконы

Богоматери «Вратарницы». В 1929 г. часовню закрыли и разобрали. В 1995 г. она построена заново вместе с Воскресенскими воротами.

...с двумя линиями метро... — Первая линия (точнее — очередь) московского метро с тринадцатью станциями — от «Сокольников» до «Парка культуры» и ответвлением от «Охотного ряда» к «Смоленской» введена в эксплуатацию 15 мая 1935 г. Вторая очередь с восемью новыми станциями — от «Улицы Коминтерна» (ныне «Александровский сад») до «Курской» и от «Площади Свердлова» (ныне «Театральная») до «Сокола» — соответственно 13 марта и 11 сентября 1938 г.

...домом Совнаркома... — См. 6-е примеч. к с. 205.

...корпусами А, Б, В, Г по улице Горького. — Корпусами А и Б назывались нынешние здания 4—6 по Тверской улице (1937—1939, арх. А. Г. Мордвинов), протянувшиеся от Охотного ряда до Советской (ныне Тверской) площади; корпусами В и Г — нынешние дома 15—17, продолжающие их ряд на другой стороне Тверской от тогдашнего Моссовета (теперь Тверская ул., 13) до Тверского бульвара (1939—1940, архитектор тот же).

...парк, милое Ростокино с малодвижной Яузой... — Парк — «Сокольники». Ростокино — местность на северо-востоке Москвы, за рекой Яузой. Здесь — не собственно Ростокино, а Ростокинский проезд, названный по нему и расположенный по соседству, но по эту сторону Яузы. В Ростокинском проезде и помещался МИФЛИ. См. далее: «По Ростокинскому проезду...» (с. 258).

...стандартное здание МИФЛИ... — В этом сером компактном асимметричном особняке в стиле конструктивизма четыре этажа и девять окон вдоль по фасаду. Здание строилось для биологической лаборатории.

С. 256. ...в Центральном Студенческом городке... — Речь об общежитии на улице Стромынке, 32 (теперь 20), которое делили МГУ и МИФЛИ. С началом войны оно поступило в распоряжение Московского военного округа. 4 июня 1946 г. возвращено Московскому университету и оставалось за ним до сентября 1961-го. Об истории строительства здания см. 4-е примеч. к с. 259.

Студенческий городок на Стромынке станет местом действия четырёх глав романа «В круге первом» («Жизнь — не роман», «Старая дева», «Огонь и сено», «За воскресение мёртвых!»).

Да уже бывали такие веские опровержения ТАСС — за Германию, что она не враждебна нам и не готовит войны... — В Сообщении ТАСС, опубликованном за восемь дней до начала войны, говорилось, что, «по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по

мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы»<sup>150</sup>.

*Дождь за окном перестал, но ещё не все подсохли капли на стёклах.* — На знаменитом снимке Е. А. Халдея, сделанном через считанные минуты на Никольской улице (тогда улица 25 Октября), где люди слушают сообщение по радио о начале войны, те же погодные приметы, что и в повести. Дождя уже нет, но во всю длину улицы видны лужицы на мостовой вдоль тротуара. См. далее 3-е примеч. к с. 258.

С. 257. *...кто-то бастовал в Порто-Рико...* — Забастовки за рубежом — излюбленная тема советской пропаганды. В «Правде» за 22 июня 1941 г. сообщалось о завершении продолжавшейся два месяца забастовки тысячи ста рабочих и служащих китайской издательской фирмы «Коммершл пресс» (Шанхай): «Издательство уволило значительную часть рабочих, мотивируя это сокращением масштабов деятельности».

*...безработные в Бразилии захватили машину с молоком, но не выпили его, как можно было ожидать, а вылили в канаву...* — Ср.: «В Бразилии не прекращается уничтожение кофе, и во второй половине мая там было сожжено 53 тыс. мешков. С 1931 г. количество уничтоженного в Бразилии кофе определяется в 71 427 тыс. мешков»<sup>151</sup>.

*...безжалостные колонизаторы в Индии опять наживаются.* — Под одинаковым заголовком «Забастовки в Индии» вышли заметки в «Правде» 14 и 19 июня.

*...диктор объявил речь Молотова.* — 22 июня 1941 г. в 12 час. 15 мин. с обращением к народу в связи с нападением Германии на Советский Союз выступил по радио заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов.

*Мир <...> раскололся, дал зияющую трещину, не покрываемую хлипким мостиком Нашего Правого Дела...* — Выступление Молотова заканчивалось словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»<sup>152</sup>.

*...надо ли было затевать в тридцать девятом году дружбу с Германией?..* — В ночь с 23 на 24 августа 1939 г. тогда ещё председатель Совнаркома, нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов и личный представитель Адольфа Гитлера министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп подписали в Кремле Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Риббентропа — Молотова). Вместе с ним был подписан Секретный дополнительный протокол

<sup>150</sup> Известия. 14 июня 1941.

<sup>151</sup> Правда. 22 июня 1941.

<sup>152</sup> Там же. 23 июня 1941.

о разграничении сфер государственных интересов обеих стран в Восточной Европе. Ближайшим следствием его стал раздел Польши в сентябре 1939 г. между Германией и СССР.

В ночь с 27 на 28 сентября там же теми же лицами был подписан новый советско-германский договор — Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, два секретных дополнительных протокола и один доверительный протокол, а также совместное заявление.

Советская пропаганда утверждала, что Советский Союз благодаря установлению дружеских отношений с Германией выиграл почти два года для подготовки к войне, но те же сроки в тех же целях использовала и Германия.

С. 258. *Преображенскую заставу нельзя было узнать.* — Студенческий городок располагался на правом берегу Яузы у Матросского моста. На левом берегу от моста берёт начало короткая Преображенская улица, которая вливается в Преображенскую площадь (по-старому Преображенская застава).

О разительной перемене в поведении москвичей 22 июня 1941 г. вспоминал и Д. С. Самойлов: «Москва была неузнаваема, когда мы вышли на улицу Горького после известной речи. Народ куда-то спешил встревоженно и понуро»<sup>153</sup>.

...и сам институт *Философии-Литературы ещё будет ли?* — В декабре 1941 г. в эвакуации, в Ашхабаде, все четыре факультета ИФЛИ — исторический, философский, филологический и экономический — влились в МГУ.

*Разведрилось. Подсохло. Забирала июньская жара.* — Во второй половине дня 22 июня погода в Москве переменялась, и у многих людей мрачное известие о начале войны соединилось не с дождём, который шёл с утра, но перестал к полудню, а с прояснившимся небом и ярким летним солнцем. См., например, позднее стихотворение К. М. Симонова: «Тот самый длинный день в году / С его безоблачной погодой...»<sup>154</sup> (1971). Здесь, правда, нет привязки к Москве. Но именно о ней речь в мемуарном свидетельстве Д. С. Самойлова: «...Где-то я читал, что день 22-го июня был пасмурным. У меня в памяти солнечное утро»<sup>155</sup>.

*Соседи Нержина по комнате глухой ночью ушли пешком через всю Москву на комсомольское собрание на Моховую.* — На Моховой улице (в домах 9 и 11) располагались тогда два главных здания Московского

<sup>153</sup> Давид Самойлов. Памятные записки. М.: Междунар. отношения, 1995. С. 187.

<sup>154</sup> Константин Симонов. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов писатель, 1982. С. 302.

<sup>155</sup> Давид Самойлов. Памятные записки. С. 186.

государственного университета, только что (в 1940-м) получившего имя М. В. Ломоносова. Расстояние от общежития до учебных корпусов около 8 км.

С. 258—259. ...слушал вереницу указов: о всеобщей мобилизации; о введении военного положения... — Один из указов Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. объявлял мобилизацию военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северо-Кавказскому и Закавказскому военным округам. В Указе, в частности, говорилось: «Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Первым днём мобилизации считать 23 июня 1941 года»<sup>156</sup>.

Ростовская область относилась к Северо-Кавказскому военному округу.

Другой Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. объявлял военное положение в Белорусской, Карело-Финской, Латвийской, Литовской, Молдавской, Украинской и Эстонской ССР, в Крымской АССР, в Москве и Московской области, Ленинграде и Ленинградской области, в Краснодарском крае, а также в Архангельской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калининской, Курской, Мурманской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях.

С. 259. ...об уголовном наказании сеятелям слухов и паники. — См. 3-е и 4-е примеч. к с. 267.

*И надо — в артиллерию; как отец: из университета — в артиллерию.* — И. С. Солженицын поступил в 1911 г. в Харьковский университет, через год перевёлся на 2-й курс Московского университета. В августе 1914-го, едва началась война, пошёл учиться на артиллериста и осенью 1915 г. был выпущен на фронт подпоручиком.

*Перед концом ночи война оглушающе затрясла Москву — словно вся авиация Гитлера прилетела бомбить столицу. <...> А оказалось потом — это были одни наши зенитки <...>. Били до самого алого восхода, когда выяснилось, что немцы вообще не прилетали, а тревога — учебная.* — В ночь с 23 на 24 июня московские зенитчики приняли возвращавшиеся свои самолёты за немецкие и открыли огонь. В городе звывли сирены воздушной тревоги. К утру, спасая лицо, военные сделали вид, что тревога была не боевой, а учебной. Москвичей успокоили

<sup>156</sup> Правда. 23 июня 1941.

«Извещением»: «Штаб противовоздушной обороны г. Москвы сообщает, что 24 июня в 3 часа утра в Москве была объявлена учебная воздушная тревога и проведено ученье по противовоздушной обороне г. Москвы»<sup>157</sup>. Первый раз немецкие самолёты бомбили Москву только через месяц, 22 июля.

*И будто покачивались недолговечные стены студгородка, выстроеного на скорую руку пятилеток. —* Ещё при Петре I в конце улицы Стромынка, на правом берегу Яузы, были построены два двухэтажных корпуса для фабрики, делавшей корабельную парусину. Затем при Екатерине II к ним добавляются такие же корпуса, почти замкнувшие каре. К этому времени здесь уже вместо фабрики помещался Екатерининский, или Матросский, богадельный дом для ветеранов флота. В ранние советские годы богадельню переименовали в Инвалидный дом им. Радищева. В начале 1930-х гг. двухэтажные корпуса нарастили двумя этажами и передали под студенческое общежитие.

*...ещё вчера была между строк молчаливая взаимная дружественность с Германией, и никто не подозревал, о чём кричали сегодня мрачные чёрные шапки непререкаемой «Правды»: что прекрасная Европа стонет, распотпанная сапогами немецких оккупантов. —* В «Правде» 23 июня появились заметки «Репрессии германских властей против норвежских общественных деятелей» и «Германские оккупанты обрекли на голод народ Бельгии». В изложении речи по радио премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля сохранены слова о том, что «вся Европа находится у него (Гитлера. — В. Р.) под каблуком или запугана и доведена до различных форм унижительного подчинения». А на следующий день, 24 июня, помещён обзор иностранной печати под заголовком «Гнёт фашистских захватчиков». Здесь собраны свидетельства того, как издеваются гитлеровцы над народами Норвегии, Дании, Польши, Чехословакии да и самой Германии.

*В глухом переулке Арбата, куда Нержин зашёл поклониться памяти Скрябина... —* В октябре 1912 г. А. Н. Скрябин поселился в Большом Николопесковском переулке, 11. В 1916 г., через год после смерти композитора, на его доме по постановлению Городской думы была установлена памятная доска. В 1922 г. здесь открыт мемориальный музей.

*Тёмно-кирпичные башни Кремля над Александровским садом... —* Над Александровским садом, разбитым на склоне Боровицкого холма, вдоль западной стены Кремля, расположены восемь башен: Угловая Арсенальная, Средняя Арсенальная, Кутафья, Троицкая, Комендантская, Оружейная, Боровицкая и Водовзводная.

---

<sup>157</sup> Там же. 24 июня 1941 г.

...четвёрка коней Большого... — Квадрига Аполлона (скульптор П. К. Клодт) на аттике Большого театра появилась при его перестройке в 1855—1856 гг. (арх. А. К. Кавос) после пожара 1853 г.

...не оборачивался на забытого старика-первопечатника. — См. 2-е примеч. к с. 206.

С. 259—260. ...чутко трепетал красный флаг меж двумя лежащими, из камня иссечёнными нимфами над стройным многоэтажным зданием, назначения которого Нержин не знал, и прочесть его зеркальные вывески не подошёл, а так почему-то понял, что это — министерство иностранных дел. — См. 3-е и 4-е примеч. к с. 206. Наркомат иностранных дел располагался тогда неподалёку — в бывшем доходном доме 1-го Российского страхового общества (1905—1906, арх. Л. Н. Бенуа, А. И. Гунст) на углу Кузнецкого моста и улицы Дзержинского (до 1926 г. и с 1991-го Большой Лубянки).

С. 260. Переведенный реформой Тимошенко из офицерского состава в сержантский... — С. К. Тимошенко (1895—1970), Маршал Советского Союза (1940), Герой Советского Союза (1940, 1965), участник 1-й Мировой, Гражданской и Советско-финляндской войн, с 7 мая 1940-го по 18 июля 1941 г. был наркомом обороны СССР. 22 декабря 1940 г. подписал секретный приказ № 0362 «Об изменении порядка прохождения службы младшим и средним начальствующим составом ВВС Красной Армии», по которому лётчики от командира звена и ниже переводились из среднего начальствующего состава в младший, к сержантам и старшинам, а прежние лейтенантские должности стали сержантскими. При этом за действующими лейтенантами сохранялось прежнее звание, но, если они прослужили меньше 4 лет, как попутчик Нержина, самих лётчиков возвращали из квартир в казармы, а их семьи выселяли из военных городков.

С. 261. ...четыре новые боевые машины, только что с завода, ещё экспериментального, а не серийного выпуска, с хорошей скорострельностью, с хорошей маневренностью на подъёме... — Описан одномоторный истребитель Як-1 (см. 2-е примеч. к с. 80).

...десятки летающих гробов «И-16», прозванных «И-шаками», с низким потолком, с ничтожной скоростью. — Перед войной самолёт конструкции Н. Н. Поликарпова И-16, впервые поднятый в воздух 30 декабря 1933 г., составлял основу истребительного парка советской авиации. Фюзеляж — деревянный с обшивкой из берёзового шпона. Максимальная скорость 489 км/ч. Практический потолок 9 800 м. Дальность полёта 440 км. К началу войны И-16 значительно уступал по техниче-

ским характеристикам немецким военным самолётам. Был на вооружении вплоть до 1943 г.

...хвастливые фильмы вроде «Эскадрилья № 5»... — Речь о фильме (1939) А. М. Роома по сценарию И. Л. Прута с Ю. В. Шумским в роли Командарма.

...узелки с подорожниками... — Подорожники здесь — выпечка: лепёшки, калачи, пироги, которые берут в дорогу.

С. 262. ...последние известия <...> с анекдотиками о жизни Чехии и Норвегии под оккупацией... — По всей видимости, по радио читали публикации «Правды». Уже 25 июня здесь напечатана статья Н. Сергеевой «Порабощённый чешский народ», написанная с чужих слов, которые невольно проецируются на Советский Союз: «Уровень жизни быстро снижается. Кожаные подмётки заменены деревянными. Материалов для платьев и костюмов нет. Мыло и жиры очень трудно достать. На дорогах почти не видно автомобилей...» Иные пассажи вызывают недоумение: «Фашистские вандалы закрыли прекрасную картинную галерею в Праге...», но при этом «фашистская клика, господствующая в Чехии, вынуждена признать, что именно сейчас чешские национальные театры, книги, выставки пользуются колоссальным успехом». Как же «фашистская клика», способная на крайний произвол, терпит, что в пику ей театры работают, книги издаются и выставки открыты?

Заметка «Репрессии в Норвегии» появилась в «Правде» днём раньше, 24 июня:

«Осло, 23 июня. (ТАСС). Норвежская газета «Афтенпостен» опубликовала официальное распоряжение властей, в котором говорится: «В связи с имевшими место в городе Ашим антигерманскими демонстрациями учащихся власти закрыли местную гимназию».

Осло, 23 июня. (ТАСС). Как сообщила норвежская газета «Дагпостен», знаменитый норвежский конькобежец Баллангруд был назначен властями без его согласия на одну из должностей в национал-социалистическом спортивном комитете. Однако он отказался от этой работы. Сообщают, что Баллангруд в связи с этим арестован».

В первом случае «официальное распоряжение властей» почему-то не приводится дословно, как сгоряча обещано, а лишь пересказывается: «...власти закрыли...» И что же: закрыли гимназию и только? А гимназистов, участвовавших в антигерманских демонстрациях, наказали, просто распустив по домам? Во втором случае невинный текст о назначении конькобежца на должность и его отказе от неё дан со ссылкой на газету. А обличительное известие об аресте спортсмена почему-то анонимно: «Сообщают...»

С. 263. ...*фокстрот «Рио-Рита»*. — Испанец Энрике Сантеухини написал эту мелодию в 1932 г. для ночного клуба «Рио-Рита» в Берлине. В Советском Союзе она впервые прозвучала на пластинке с записями оркестра Марека Вебера в 1937 г.

С. 264. *Всё станет дальше яснее, и никто не помешает нам систематически обсуждать это в письмах*. — Об этой переписке друзей, ставшей причиной их ареста, см. главу «Как это ткётся» в «Дороженьке» (с. 137—139).

С. 265. ...*блистательного военкома, годного для командорской статуи...* — Статуя командора (высшего лица в рыцарском ордене) — персонаж средневековой испанской легенды о Дон Жуане, послужившей источником многих произведений искусства и литературы (пьеса Мольера и опера В. А. Моцарта «Дон Жуан», маленькая трагедия «Каменный гость» А. С. Пушкина и др.).

...*из уст начальника 1-й части военкомата*. — Первая часть в советских учреждениях — это отдел кадров.

...*получат там скоро кубики...* — Кубики в петлицах (от одного до трёх) — знаки различия лейтенантов.

С. 266. ...*карточки ещё не были учреждены*. — Карточное распределение устанавливалось в СССР неоднократно. После начала войны карточки на покупку основных продуктов и промышленных товаров (от хлеба, муки, крупы и макарон до мыла хозяйственного и туалетного) вводились по стране поэтапно — с 17 июля (Москва), 18 июля (Ленинград) и 19 июля (города и пригородные районы Московской и Ленинградской областей)<sup>158</sup> по октябрь 1941 г. См. далее: «...свободной продажи хлеба не было уже, хлебных карточек не было ещё...» (с. 278). На этот раз карточки были отменены только через шесть лет — в середине декабря 1947 г.

...*Глеб, с детства, с первой пятилетки спортивно натренированный в очередях и в безочередьях, в рывках и «доставаниях»...* — На 1-ю пятилетку (1928—1933) пришлось принудительная коллективизация, вызвавшая чудовищный голод, от которого преимущественно в деревнях, по наиболее аккуратным подсчётам, погибло около 7 млн человек<sup>159</sup>. В городах за хлебом стояли часами, а чтобы удачно отовариться, нужны были, помимо

<sup>158</sup> Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: В 5 т. Т. 3. 1941—1952 годы. М.: Политиздат, 1968. С. 42—44.

<sup>159</sup> См., например, Заявление Государственной Думы пятого созыва от 2 апр. 2008 г. «Памяти жертв голода 30-х годов на территории СССР» // Парламентская газета. 10 апр. 2008. № 24.

везучести, и расторопность, и ловкость, и опытность. Декларировались достижения тяжёлой промышленности, но ни одежды, ни обуви не хватало. «При торжестве материализма, — съязвил Андрей Белый, — совершенно исчезла материя: нечего есть, не во что одеваться».

С. 267. ...толсто-брызжущее перо-рондо... — тупое перо с шишечкой на конце, пишущее без нажима.

...позавчера была несуразная, с братьями и сёстрами чуть ли не во Христе <...> речь Сталина... — Выступление Сталина по радио утром 3 июля 1941 г. начиналось обращением, к которому руководители СССР не прибегали никогда: «Товарищи! Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»<sup>160</sup>

Для сравнения — одиннадцатью днями ранее, 22 июня, Молотов начал речь о германской агрессии с привычной отстранённостью: «Граждане и гражданки Советского Союза!»<sup>161</sup>

Несуразным было ключевое утверждение Сталина, будто «лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения», поскольку тут же говорилось о том, что дело по-прежнему идёт о «жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР». Несуразной была попытка оправдать пакт о ненападении тем, что наша страна обеспечила себе «возможность подготовки своих сил для отпора»<sup>162</sup>, поскольку не только дать отпор, но и просто остановить немецкое наступление не удавалось.

...подхвачены новые словечки — «сеятели паники», «распространители слухов»... — Из выступления Сталина: «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникёрами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всём этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитёр, опытен в обмане и распространении ложных слухов. Нужно учитывать всё это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникёрством и трусостью мешают делу обороны, невзирая на лица»<sup>163</sup>.

...и издан же такой Указ... — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения» от 6 июля 1941 г. предписывал:

---

160 Правда. 3 июля 1941.

161 Известия. 24 июня 1941.

162 Правда. 3 июля 1941.

163 Там же.

«Установить, что за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, виновные караются по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если это действие по своему характеру не влечёт за собой по закону более тяжкого наказания»<sup>164</sup>.

С. 268. ...*тряхнув распадными волосами...* — См. 5-е примеч. к с. 16. ...*мотодивизии неслись в прорывах со стокилометровыми скоростями...* — В начале войны немецкие танковые соединения преодолевали до нескольких десятков километров за день. Так, по свидетельству командующего 2-й танковой группой генерал-полковника Хайнца Вильгельма Гудериана, 23 июня 1941 г. на своём командирском танке он был уже в Пружанах, в 70 км от границы, а 24-го — в Слониме, углубившись ещё на 80 км.

«Корпус Манштейна прошёл 255 км от границы до Даугавпилса (Двинска) за четыре дня. Средний темп продвижения 64 км в день.

Корпус Рейнгардта прошёл от границы до городка Крустпилса на Западной Двине за пять дней. Средний темп продвижения 53 км в день.

<...> Двое суток на марш от Пскова до Гатчины (200 км по прямой) потребовалось и дивизиям элитного 1-го мехкорпуса»<sup>165</sup>.

...*вместе с 206-й статьёй об окончании следствия...* — 206-я статья Уголовно-процессуального кодекса предоставляла подследственному возможность по окончании предварительного разбирательства осмотреть всё производство по делу и при желании дополнить свои показания.

С. 269. ...*обещала Эллочке Довнер, давней школьной подруге Глеба...* — Эллочкой Довнер названа одноклассница А. С., аспирантка литфака Ростовского пединститута Лидия Александровна Ежерец.

...*без всезапрещённого теперь радиоприёмника...* — 25 июня 1941 г. Совнарком потребовал, чтобы граждане немедленно сдали радиоприёмники и радиопередающие установки (см. 3-е примеч. к с. 122). См. в повести «Адлиг Швенкиттен»: «...не сдашь — в тюрьму» (Т. 1. С. 499). Радио, которое сначала гонит одни «марши, марши, военные марши» (с. 262), а затем «стало разбавлять военные марши вальсами и фортепьянными отрывками» (с. 272), — радио, которое слушают «вечером <...> в душных, занавешенных квартирах» (с. 262), чтобы узнать последние известия, — радио, каждую сводку которого жадно ло-

<sup>164</sup> Известия. 7 июля 1941.

<sup>165</sup> Марк Солонин. 22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война? М.: Эксмо; Яуза, 2005. С. 47—48.

вит Нержин (с. 275), — это всего лишь репродуктор проводной трансляции, обычно так называемая тарелка: чёрный круглый картонный раструб.

...папа-Довнер... — Отцом Л. А. Ежерец был Александр Михайлович Ежерец.

С. 270. ...три шпалы краснели в петлицах... — Три шпалы носили подполковники. См. далее: «Глеб смотрел на подполковника Довнера...» (с. 271). С 1 августа 1941 г. приказом наркома обороны № 253 для всех родов войск был установлен единый — защитный — цвет петлиц, эмблем и знаков различия.

С. 271. Все командные высоты должны быть в руках у пролетариата. — Довнер иронизирует над демагогическим советским лозунгом.

С. 272. ...чудака-художника Германа Германовича Коске. — Имя подлинное. О нём, близком друге матери, А. С. рассказывает в «Дороженьке»: «...неизменный / Безпомощный, несовременный / Чудак — учитель рисованья...» и далее (с. 63).

Он был немец (сорок лет уже живший в Ростове) и как таковой в первые же дни войны был забран. — По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» и целой серии постановлений Государственного Комитета Обороны (о переселении немцев из Ленинграда и Москвы, из Ростовской области и Краснодарского края, из автономных республик Северного Кавказа и союзных республик Закавказья, из Запорожской, Сталинской и Ворошиловградской областей и т. д.) за время войны были депортированы, в основном в Сибирь и Казахстан, почти 950 тыс. этнических немцев.

Об этом Глеб узнал от Ляли. — Ляля (Ирина) — дочь профессора Федоровского (см. в «Дороженьке» главу «Ту, коговсего сильней...») (с. 51—69).

Он встретил её днём неподалёку от городского сада, и они зашли туда посидеть. — Это парк им. Горького, расположенный между Большой Садовой и Пушкинской улицами. См. далее: «Они прощались у нижнего фонтана — ей было на Садовую, ему — на Пушкинскую» (с. 274). См. также 2-е примеч. к с. 274.

Белели вдоль аллеи нагие античные статуи... — Одна из них упомянута далее: «Гипсовый дискобол швырял свой диск» (с. 270). «Дискобол» здесь — широко растиражированная копия знаменитой статуи древнегреческого скульптора Мирона (середина V в. до н. э.), которая сама сохранилась в копиях.

С. 272. *Звенела музыка в саду / Таким невыразимым горем...* — первые строки стихотворения А. А. Ахматовой «Вечером» (март 1913)<sup>166</sup>.

...письмо, заученное наизусть перепуганным мальчиком. — Письмо Александра Джемелли см. на с. 67—69.

...над Темерником... — См. примеч. к с. 66.

С. 273. ...*Лялин отец Олег Иванович...* — О прототипе О. И. Федоровского, Владимире Ивановиче Федоровском, см. заметку перед примечаниями к главе «Ту, кого всего сильнее...» в поэме «Дороженька» (с. 415—416).

*Вы знаете, профессор, уж вам придётся пойти мне навстречу.* — Столь же успешно вымаливает зачёт рабфаковец Коноплёв в рассказе «Молодняк» (1993) (Т. 1. С. 336).

С. 274. *А Миша вытянулся бы ещё выше...* — О Мише, брате Ляли, см. в «Дороженьке» с. 52—54, 63, 65.

*Эти последние дни Глеб снова жил у мамы...* — Далее А. С. описывает квартиру (Ворошиловский просп., 32, кв. 5; угол Пушкинской ул.), в которую он с мамой въехал в начале 1937 г.

С. 275. ...*уехала в школу в Морозовск, Ростовской же области.* — Морозовск (город с 29 мая 1941 г.) — районный центр в 265 км к северо-востоку от Ростова-на-Дону. Станция Морозовская — узел железнодорожных линий.

## ГЛАВА ВТОРАЯ. УТЛОЕ

С. 276. ...*да ведь ещё и Киев был не сдан!* — Киевская оборонительная операция войск Юго-Западного фронта продолжалась с 7 июля по 26 сентября 1941 г. Киев был сдан 19 сентября.

С. 277. ...*установив Галилееву трубу...* — Галилеева труба (по имени изобретателя — профессора университета в итальянском городе Падуе Галилео Галилея) — простейший телескоп, состоящий из собственно трубы с двумя линзами по концам: одной выпуклой предметной, т. е. обращённой к предмету (объектив), другой — вогнутой глазной (окуляр). Изготовив в мае 1609 г. зрительную трубу с троекратным увеличением, Галилей уже в августе достиг увеличения в 32 раза. С этой трубой он сделал все свои телескопические открытия.

<sup>166</sup> Анна Ахматова. Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. М.: Эллис Лак, 1998. С. 120.

...показывал им кольца Сатурна... — Сатурн — шестая по порядку от Солнца большая планета Солнечной системы. Яркие концентрические кольца Сатурна находятся в плоскости его экватора. Внешний диаметр колец около 300 000 км. Кольца состоят из миллиардов отражающих солнечный свет твёрдых (ледяных) тел размером от 1 см до 10 м. Толщина колец менее километра.

...учил находить многоцветный Антарес... — Антарес — звезда 1-й звёздной величины, самая яркая в созвездии Скорпиона. Диаметр Антареса примерно в 300 раз больше диаметра Солнца.

С. 277—278. ...голубое сердце Орла — Альтаир... — Альтаир — звезда 1-й звездной величины, самая яркая в созвездии Орла. Об Альтаире см. примеч. к стихотворению «Возвращение к звёздам» (с. 239). Вместе с Вегой (альфа Лиры) и Денебом (альфа Лебеда) Альтаир (альфа Орла) образует так называемый большой летний треугольник.

С. 278. ...в клюве у Лебеда — Денеб. — См. 6-е примеч. к с. 14. В переводе с арабского Денеб — хвост курицы.

...писал новые и новые безумные письма — то Ворошилову, то маршалу Воронову... — К. Е. Ворошилов (1881—1969) — Маршал Советского Союза (1935), член Государственного Комитета Оборона и Ставки Верховного Главнокомандования (1941—1944). Н. Н. Воронов (1899—1968) — начальник артиллерии РККА — заместитель наркома обороны СССР (с июля 1941 г.), командующий артиллерией РККА (с марта 1943 г.), генерал-полковник артиллерии (июнь 1941 г.), маршал артиллерии (январь 1943 г.), Главный маршал артиллерии (февраль 1944 г.).

...ГУНАрт... — Главное управление начальника артиллерии Красной Армии.

...рассказы о смотрах на Марсовом поле, о золотых, раздававшихся по одному на рыло в дни посещения полка его величеством или его высочеством, о наступлении за Карпаты и о мадьярском вольготном плене. — Марсово поле (первоначально Царицын луг) — площадь для военных церемониалов в Санкт-Петербурге между Невой, Летним садом, Мойкой и казармами лейб-гвардии Павловского полка по имени римского бога войны Марса стала называться с 1818 г. — в подражание Риму и Парижу.

Государь и великий князь, посещая полк, раздавали, по всей видимости, золотые пятирублёвые монеты (см. 5-е примеч. к с. 48).

Наступление за Карпаты — операция прорыва через карпатские перевалы с выходом на Венгерскую равнину, осуществлённая силами Юго-Западного фронта Русской армии (январь — апрель 1915 г.). Наши потери — около миллиона человек убитыми, ранеными и взятыми

в плен. За все годы 1-й Мировой войны в австро-венгерский плен попали примерно 850 тыс. российских солдат и офицеров. В соответствии с международными соглашениями в плену офицеры могли не работать. Солдат использовали в сельском хозяйстве и промышленности, в коммунальных службах и армейских тыловых частях.

*...разобрать и собрать затвор винтовки 1891 года...* — Речь о пятизарядной трёхлинейной (7,62-мм) винтовке, разработанной С. И. Мосиным на Тульском оружейном заводе и в 1891 г. принятой на вооружение. Оставалась (с небольшими усовершенствованиями) на вооружении армии и во время Великой Отечественной войны. Официально именовалась 7,62-мм винтовкой образца 1891/1930 гг. Масса 4,5 кг. Прицельная дальность 2 000 м. Скорострельность 10—12 выстрелов в минуту.

*...сучебной ручной гранаты сорвать и снова надеть кольцо...* — В боевой ручной противопехотной (осколочной) гранате Ф-1, состоявшей перед войной на вооружении Красной Армии, предохранительная чека с кольцом блокировала боёк, не давая ему ударить по капсюлю-детонатору. Если, выдернув чеку, попытаться вернуть её на место, то граната взорвётся в руках через 3,2—4,2 сек.

*...рассказ об устройстве бутылки с горючей смесью...* — Бутылки с зажигательными веществами, прозванные «коктейлем Молотова», в ближнем бою должны были заменить противотанковую артиллерию. Обыкновенная стеклянная бутылка, наполненная горючей смесью на основе бензина, снабжалась запалом, который срабатывал, когда стекло разбивалась.

С. 280. *...Илларион Феогностович Диомидов и жена его Нина Матвеевна.* — См. примеч. к стихотворению «С верхней полки “вагон-зака”» (с. 228).

С. 281. *Сдан Днепропетровск...* — Советские войска оставили Днепропетровск 25 августа 1941 г., но часть города на левом берегу Днепра удерживали до конца сентября. Для Нержина субъект действия — Красная Армия.

*И Полтава взята.* — Немецкие войска взяли Полтаву 18 сентября 1941 г. Для Диомидова субъект действия — Вермахт.

*Обложенный Ленинград...* — 8 сентября 1941 г., захватив Шлиссельбург, немецкие войска блокировали Ленинград с суши.

*...павший Киев...* — См. примеч. к с. 276.

*...дотла спалённый Чернигов...* — Советские войска оставили Чернигов 9 сентября 1941 г. Немецкая авиация и артиллерия уничтожили здесь 70% жилых домов, все промышленные предприятия, большинство больниц и школ. Центр города был разрушен целиком.

*Но твёрдое решение вызревало в Глебе: он не покорится! Если наши армии уйдут за Урал — уйдёт за Урал, если падёт Сибирь — уйдёт в Китай, уйдёт за океан, найдёт на земле такой клочок, где будет же биться свободное человеческое сердце; подобные ему соберутся там и другие — осколки разбитого вдребезги красного материка, и остаток жизни они посвятят тому, чтобы словом и оружием помочь восстановлению ленинского огня... — См. в рассказе «Случай на станции Кочетовка»: «Но если бы немцы дошли до Байкала, а Зотов чудом бы ещё был жив, — он знал, что ушёл бы пешком через Кяхту в Китай, или в Индию, или за океан — но для того только ушёл бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу» (Т. 1. С. 163).*

С. 282. *Как тяжело ходить среди людей / <...> / Повествовать ещё не жившим...* — Первая строфа стихотворения (10 мая 1910; 27 февр. 1914) из цикла «Страшный мир»<sup>167</sup>.

*В мошкаре и Васюганских болотах гиблый Нарымский край...* — Нарымский край — историческое название северной части Томского уезда по обоим берегам Оби. Из-за сурового климата эта местность издавна служила средоточием политической ссылки. Васюганье, 70% площади которого занимают болота, располагается на западе Нарымского края (в междуречье Иртыша и Оби).

*...в знойно-жёлтом песке адовый Джезказган...* — Джезказган — посёлок (с 1954 г. город) на реке Сарысу (с 1967 г. на берегу Кенгирского водохранилища) в Казахстане. Основное производство — добыча и переработка медной руды. Запасы медных руд сосредоточены в залежах первичных сульфидных руд на глубине 300—350 м.

*...за неприятие обновленческой церкви.* — Обновленческая церковь сформировалась после революции внутри Русской православной церкви в пику ей самой. Обновленцы настаивали на глубоких переменах — от модернизации религиозного культа до признания советской власти и лояльного отношения к ней.

*...осталась там с Диомидовым, которого полюбила «за муки», как он её — «за состраданье к ним».* — Закавычены слова Отелло о Дездемоне: «Она меня за муки полюбила, / А я её — за состраданье к ним»<sup>168</sup>.

С. 283. *...лёгкие рабочих в два месяца съедает силикоз...* — Силикоз (от лат. *silex* — кремь) — профессиональное заболевание лёгких у людей, вынужденных вдыхать кремниевую пыль, которая сопутству-

<sup>167</sup> А. А. Блок. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т. 3. М.: Наука, 1997. С. 17.

<sup>168</sup> Шекспир Уильям. Отелло. / В перев. П. И. Вейнберга. — М.: ПРОЗАИК, 2014. С. 50—51. — (Великие трагедии в русских переводах).

ет многим производствам, в том числе бурению в медных рудниках. При силикозе в лёгких на фоне общего склероза развивается эмфизема, образуются каверны или, напротив, плотные узелки с участками омертвевшей ткани. Слабеет сердце. Нередко силикоз осложняется туберкулёзом. Больные чаще всего погибают от прогрессирующей лёгочно-сердечной недостаточности, но при щадящих условиях труда и благодаря респиратору только через 10—15 лет после начала болезни.

*Сланцевой горой Жигулей, усеянной каменоломами; пьяной удалью, хмельной отрыжкой раскулаченного дяди Миши; ночной погоней за лагерными беглецами в Красной Глинке; утренним волжским катером, набитым заключёнными...* — См. главу «Мальчики с луны» в поэме «Дороженька» (с. 23, 20—21, 23—25).

*...печальными женщинами у лючных стоков ростовского Никольского переулка...* — См. главу «Серебряные орехи» в поэме «Дороженька» (с. 43).

*...звоном стёкол и швырком человека из верхнего этажа ростовского ГПУ...* — См. там же с. 42, а также 2-е примеч. к с. 42.

*...непрозрачными, толсто-стеклянными пузырями решётчатых окон там, вделанных под ногами в асфальт...* — См. там же с. 42.

*...локтями чекистских тулупов, сбивающих серебряные орехи с ёлки, когда уводили деда...* — См. там же с. 45.

*...варварски расстрéпанным книжным ворохом обыска в кабинете Олега Ивановича...* — См. главу «Ту, кого всего сильнее...» в поэме «Дороженька» (с. 65).

*...письмом любви, сгорающим в сумерках до обжога пальцев...* — См. там же с. 67—69.

С. 283—284. *...то железным стариком, в ростовских Ленмастерских предающем с трибуны анафеме обманутую рабочую веру...* — См. стихотворение «Что дважды два так часто — не четыре...» в «Дороженьке» (с. 71—72), а также примеч. к с. 72.

С. 285. *...чёрная глотка репродуктора у базарной площади бормотала о напряжённых боях <...> на Орловском направлении — и потрясла Морозовск рождением ещё нового, ощутимо-близкого направления — Таганрогского.* — Совинформбюро не спешило сообщать о захваченных немцами городах. Сначала вместо потерянного города появлялось в сводках названное его именем направление. Орёл был оставлен советскими войсками 3 октября, Таганрог, входивший, как и Морозовск, в состав Ростовской области, — через две недели, 17 октября 1941 г.

С. 287. *«Им не победить России!»* — горячо и гневно писал Эренбург. — Далее этот призыв повторяется на с. 292, 338, 339. Ближе всего к нему

закливание И. Г. Эренбурга в статье «Выстоять»: «Гитлеру не уничтожить Россию! Россия была, есть и будет»<sup>169</sup>.

«Россия теперь одета в телогрейку», «Россия теперь трясётся в теплушках»... — Из статьи Эренбурга «Мы выстоим!»: «Россия теперь в солдатской шинели. Она трясётся на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и теплушках»<sup>170</sup>.

«Перевести дыхание с дней на годы»... — Из той же статьи: «Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней, мы перевели дыхание на другой счёт. Мы смело глядим вперёд: там горе и там победа».

...«С испугом смотрит Гитлер за океан — дымятся трубы заводов». — Из статьи Эренбурга «В суровый час» о Гитлере: «Он в страхе смотрит на океан: оттуда идёт снабжение для нас и для Англии. Он в страхе смотрит на Америку: дымятся трубы заводов»<sup>171</sup>.

Прямо над головой чистым белым светом сверкала Вега, на востоке встала светящаяся толчая Плеяд. — О Веге и Плеядах см. 2-е и 3-е примеч. к стихотворению «Возвращение к звёздам» (с. 241).

На стене была большая карта Персии — и красные флажки отмечали наше доблестное продвижение к Тегерану. — Совместная англо-советская операция под названием «Сочувствие» по оккупации Ирана продолжалась с 25 до 30 августа 1941 г. В итоге советские войска, наступавшие из Закавказья, вышли на линию Мехабад — Казвин, а части, ударившие из Средней Азии, заняли рубеж Сари — Дамган — Сабзевар и продвинулись за Мешед.

С. 288. То, что Гегель называл рефлексией, — мысль, обращённая сама на себя и на свой субъект, — насмешливо и разрушительно представляла ему, как это брать и вести под руку? — В философии Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831) рефлексия духа о самом себе предстаёт как движущая сила развития духа, как форма его саморазвёртывания.

«Соотношение с собою, в сущности, есть форма тождества, рефлексии внутрь себя; последняя заняла здесь место непосредственности бытия; оба представляют собою одни и те же абстракции соотношения с собой»<sup>172</sup>.

Разумеется, рефлексия внутрь себя, занявшая место непосредственности бытия, могла только отвлечь от ухаживания за девушками.

169 Красная звезда. 12 окт. 1941.

170 Там же. 28 окт. 1941.

171 Там же. 10 окт. 1941.

172 Гегель. Сочинения. Т. 1. М.; Л.: Госиздат, 1929. С. 195.

А «Диалектика природы»? — работа (1894) Фридриха Энгельса<sup>173</sup>.

«Наука требует от человека всей его жизни»... — из «Письма к молодежи» (1935) академика И. П. Павлова, написанного в ответ на просьбу ЦК ВЛКСМ высказаться о задачах молодых учёных накануне X съезда комсомола<sup>174</sup>.

С. 289. ...заметно повернулся Лебедь. — Лебедь — созвездие Северного полушария неба. Денеб (альфа Лебеда) вместе с тремя другими, менее яркими звёздами этого созвездия составляет фигуру, имеющую форму удлинённого креста.

И был летний медовый месяц... — См. главу «Медовый месяц» в поэме «Дороженька» (с. 26—37).

...зафыркала «эмочка». — См. примеч. к с. 182.

С. 290. ...на столах, застеленных «Беднотой». — Ежедневная газета «Беднота», будучи органом ЦК ВКП(б), служила проводником политики партии в деревне. Издавалась в Москве в 1918—1931 гг. В 1931 г. слилась с газетой «Социалистическое земледелие».

С. 292. К оружию, квириты! — Квириты — полноправные граждане в Древнем Риме.

С. 293. ...в нашем Театральном парке... — Парк им. Октября на границе Ростова-на-Дону и Нахичевани, самый большой в городе, возле трактора. См. о нём 5-е примеч. к с. 41.

...в Университетском городке в Мадриде... — За Университетский городок в Мадриде ожесточённые бои шли в ноябре 1936 г. См. 4-е примеч. к с. 338.

С. 294. И правда, Надя, как созрела, осталась лежать. — См. в «Марте Семнадцатого» (1977—1986): «Тоже было ещё темно, проснулись по будильнику. И Георгий сказал Алине: “Да ты не вставай, зачем тебе?”, зачем ей терять постельное тепло (а сам-то хотел, чтобы проводила). Но Алина легко согласилась и осталась лежать, натягивая одеяло, — то ли ещё заспать горькие часы, то ли понежиться» (Т. 12. С. 284).

<sup>173</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 14. М.; Л.: Соцэкгиз, 1931. С. 389—630.

<sup>174</sup> Полный текст письма выбит в граните на тыльной стороне надгробного памятника Павлову на Литераторских мостках в Ленинграде.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕЧЕНЕГИ

С. 295. *Когда Глеб выходил за ворота, белый серп ущербной луны ещё полным светом светил с востока — утро едва брезжило.* — А. С. был мобилизован 18 октября 1941 г. В этот же день уходит на призывной пункт Глеб Нержин, через два дня после «дикой паники» в Москве (см. 3-е примеч. к с. 302) и за два дня до новолуния.

...Орион запрокинулся к западу, а стрела трёх звёзд его пояса неслась на Сириус... — Орион — экваториальное созвездие, которое лучше всего видно в средних широтах осенью и зимой. Три его звезды, Минтака, Альнилам и Альнитак (все 2-й величины), расположенные в ряд, образуют так называемый пояс Ориона, направленный одним концом на Сириус — самую яркую из звёзд, находящуюся в созвездии Большого Пса в Южном полушарии неба.

...в родном Ростове, на Ткачёвском или на Соборном... — Ткачёвский переулочок (до 1898 г. — Острожный) — теперь, на карте 2015 г., Университетский. Соборный переулочок, побывавший переулочком Подбельского, на той же карте снова Соборный. Оба переулочка — в центре города. Университетский пересекает Большую Садовую, Соборный уходит от неё в сторону Дона.

С. 299. ...марш из «Весёлых ребят»... — «Весёлые ребята» (1934) — музыкальная кинокомедия (реж. Г. В. Александров, комп. И. О. Дунаевский, в главных ролях Л. О. Утёсов и Л. П. Орлова) о пастухе Косте Потехине, ставшем дирижёром джазового оркестра, и домработнице Анюте, ставшей певицей. Слова «Марша весёлых ребят» («Легко на сердце от песни весёлой...») написал В. И. Лебедев-Кумач.

...что-то из Блантера. — М. И. Блантер (1903—1990) — композитор-песенник («Песня о Щорсе» и «Партизан Железняк» на слова М. С. Голодного, 1935—1936; «Катюша» на слова М. В. Исаковского, 1938).

...монолог Шукаря. — Дед Шукарь — неутомимый балагур из «Поднятой целины» М. А. Шолохова, первая книга которой вышла в 1932 г.

*Позарастали стёжки-дорожки...* — народная песня.

С. 300. ...«летучая мышь»... — переносной керосиновый фонарь с толстым ламповым стеклом, прикрытым проволочной сеткой.

...на брезгу́ дня... — Брезг — «начало рассвета»<sup>175</sup>.

С. 301. ...зубоскалили, предлагая нести мешки исполу... — Исполу — из половины, т. е. вдвоём, вместе.

<sup>175</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 22.

...взвешить мешка уже не смог... — Взвешить — «поднять вагою, рычагами»<sup>176</sup>. Здесь — просто поднять, взвалить на плечи.

С. 302. ...кричал: «подсекает! подсекает!»... — т. е. задевает копытом или подковой другую ногу.

...в эти дни сдана была Одесса, германские войска штурмовали Перекоп, наседали на Харьков, углубились по Таганрогско-Ростовской дороге, дрались за Горбачёво на Орловско-Тульской... — Одесса была сдана 16 октября 1941 г. Немецкие войска овладели Перекопом и вторглись в Крым 28 сентября. Бои на дальних подступах к Харькову начались во 2-й половине октября, город был взят 25 октября. Таганрог немцы захватили 17 октября, а 21 ноября впервые ворвались в Ростов-на-Дону. После того как 3 октября пал Орёл, полевая и танковая немецкие армии устремились на Тулу. Но смогли подойти к городу только 29 октября. До 24 октября их удалось удерживать у Мценска, в 49 км от Орла. Ожесточённые бои шли и за узловую станцию Горбачёво, в 75 км от Тулы.

...Москва ещё не очнулась от дикой паники три дня назад... — В самом угрожаемом положении Москва оказалась 16 октября 1941 г.

См. в рассказе «Случай на станции Кочетовка»: «Но приезжали из Москвы железнодорожники, кто побывал там в середине октября, и рассказывали какие-то чудовищно-немыслимые вещи о бегстве заводских директоров, о разгроме где-то каких-то касс или магазинов...» (Т. 1. С. 163).

...из штаба Северо-Кавказского военного округа... — К началу войны Северо-Кавказский военный округ располагался на территории Краснодарского и Орджоникидзевского краёв, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской, Чечено-Ингушской и Калмыцкой АССР, Астраханского административного округа, а также Ростовской и Сталинградской областей. Управление — в Ростове-на-Дону, с 18 октября 1941 г. — в Армавире.

С. 303. ...одна голова не бедна, а и бедна, так одна. — То же см. в Словаре В. И. Даля<sup>177</sup>.

С. 305. Жалуйтесь в Осовиахим!.. — Правильно: Осовиахим — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР (1927—1948). В 1951 г. выделенные из Осовиахима ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ объединены в ДОСААФ СССР — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Поговорка «Жалуйтесь

<sup>176</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 29.

<sup>177</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 1. С. 367.

в Осоавиахим» была издевательской, потому что никакой властью Осоавиахим не обладал.

*Сидор Поликарпович!*.. — презрительно-издевательское лагерное прозвище интеллигента-горожанина.

С. 306. ...пальцы на руке и те неровны... — См. в Словаре В. И. Даля: «И пальцы на руках не равны»<sup>178</sup>; «На руке и пальцы не равны»<sup>179</sup>.

*Десять лет у них не было своих лошадей и своих телег...* — т. е. с коллективизации.

...два хомута... — См. 3-е примеч. к с. 330.

...нашильники... — См. 5-е примеч. к с. 327.

С. 307. ...припрячь их по две в пристяжку... — т. е. одиночную упряжку превратить в тройчную: с коренной лошастью в оглоблях и двумя по бокам в пристяжке.

...к копылкам тележных ящиков. — Копылки здесь — тележные стойки.

...барки... — Бáрок (бáрка) здесь — поперечная палка с зарубками на концах для привязывания постромок к запряжке. См. далее: «...цеплялись барками и примирённо матерились» (с. 341); «...где-то две телеги столкнулись и у одной треснули барки» (с. 347). См. в «Августе Четырнадцатого»: «...подводы сцепляются барками, рвут упряжь...» (Т. 7. С. 317).

*Ещё много лошадей оставалось без обротей...* — Обротъ — «недоуздок, конская узда без удил и с одним поводом, для привязи»<sup>180</sup>.

С. 308. *Училась кума, да рехнулась ума.* — Ср.: «Добрая кума прибавит ума», «Добрая кума живёт и без ума»<sup>181</sup>, «Кума, сойди с ума: купи вина!»<sup>182</sup>.

*А сидор где?* — Сýдор — «мешок (особенно с продуктами)» (Т. 6. С. 505).

С. 309. ...*Старая? Я на зубы не посмотрел.* — Как будто он умел на них смотреть. — См. в Словаре В. И. Даля: «Поглядеть кому в зубы, дозвать лета его...»<sup>183</sup>.

<sup>178</sup> Там же. Т. 3. С. 12.

<sup>179</sup> Там же. Т. 4. С. 6.

<sup>180</sup> Там же. Т. 2. С. 616.

<sup>181</sup> Там же. С. 218.

<sup>182</sup> Там же. Т. 4. С. 495.

<sup>183</sup> Там же. Т. 1. С. 695.

*У нас, как в Польше, тот пан, у кого больше.* — См.: «И в Польше нет хозяина больше»; «У нас не Польша: есть и больше, т. е. больше тебя, своевольника»; «У нас не в Польше: муж жены больше»<sup>184</sup>.

*Высыпали звёзды. Отчётливо видны были даже некрупные — овал Северного Венца и причудливые плети Дракона.* — Северная Корона — небольшое созвездие Северного полушария. Дракон — околполярное созвездие Северного полушария, огибающее созвездие Малой Медведицы. Оба созвездия видны в средних широтах круглый год.

С. 310. *Там хобот надо ворочать. Хобот у пушки десять пудов. И двадцать бывает.* — Хобот здесь: задняя удлинённая часть лафета полевого артиллерийского орудия, служащая для ручной наводки на цель.

С. 311. *...после Покрова — на дрова.* — Ср.: «Батюшка Покров, натопи нашу хату без дров!»<sup>185</sup>

С. 313. *Он хорошо помнил в 1936 в Ростове праздник возврата казачеству его формы и звания.* — В 1920 г. казачество как сословие было упразднено, расказачивание сопровождалось репрессиями. Но 20 апреля 1936 г. ЦИК СССР принял Постановление: «Отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в отношении их службы в рядах Рабоче-Крестьянской Красной армии, кроме лишённых прав по суду»<sup>186</sup>.

23 апреля 1936 г. вышел приказ наркома обороны об организации казачьих дивизий<sup>187</sup>. Казакам позволили носить традиционную одежду (донцам, например, — папахи, казакины, шаровары с лампасами и т. д.). В Ростов-на-Дону приехал С. М. Будённый, чтобы провозгласить возврат казачества.

Из школьного окна А. С. видел, как на параде казаки скакали верхом в разрешённых мундирах с красными лампасами.

С. 314. *И голова колонны и хвост её скрывались за бвидью...* — Овидь — «озор, кругозор, огляд»<sup>188</sup>.

*...объездчики, сидище бхлябью на лошадиных спинах.* — Охлябь — «верхом без седла»<sup>189</sup>.

<sup>184</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 1. С. 113.

<sup>185</sup> Там же. С. 493; Т. 3. С. 247

<sup>186</sup> Известия. 21 апр. 1936.

<sup>187</sup> Там же. 24 апр. 1936.

<sup>188</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 147.

<sup>189</sup> Там же. С. 163.

*Вот так же, наверное, кочевали по этой степи печенеги и половцы — <...> ничего не изменилось за эти маленькие восемь столетий... — Печенеги появились в южно-русских степях в IX в. Разбиты Ярославом Мудрым в 1036 г. Частью переселились в Венгрию. Половцы обосновались в их местах в XI в. Совершали набеги на Русь до начала XIII в. Разгромленные монголо-татарами, тоже частью откочевали в Венгрию.*

Ср. в рассказе «Желябугские Выселки»: «...все поля заросли дикими травами, как в половецкие века» (Т. 1. С. 445).

С. 315. *...жил же 16 лет в Ростове...* — В Ростов-на-Дону Таисия Захаровна Солженицына привезла ещё пятилетнего сына в конце 1924 г. И он прожил здесь полных 16 лет.

*...перезжали какую-то немалую реку Чир...* — Чир — река в Ростовской и Сталинградской (Волгоградской) областях, правый приток Дона. Дорога из Морозовска в станицу Обливскую проходит по мосту через Чир.

*...сейчас будет станица Клетская и скоро Дон.* — Станица Клетская на правом берегу Дона, в 116 км от железнодорожной станции Суровикино. Теперь — посёлок Клетский.

*...в станицу Усть-Медведицкую.* — Основанная в 1589 г., станица Усть-Медведицкая в 1933 г. была переименована в г. Серафимович к 70-летию писателя А. С. Серафимовича (1863—1949), жившего здесь в 1874—1883 и 1890—1892 гг. Располагается на правом берегу Дона, в 84 км к юго-западу от железнодорожной станции Себряково, в 260 км к северо-западу от Волгограда.

*...на Ново-Анненскую...* — См. 1-е примеч. к с. 350.

С. 318. *Несчастливая привычка открывать рот прежде, нежели глаза...* — См. в «Дороженьке»: «...Он мне тихо, мудростью Востока: / “Прежде, нежели открыть свой рот, / Друг, открой глаза!”» (с. 16).

С. 319. *...энгельсовская «Революция и контрреволюция в Германии»...* — Цикл статей под общим названием «Революция и контрреволюция в Германии» был написан в основном Фридрихом Энгельсом, но публиковался с октября 1851-го по декабрь 1852 г. в американской газете New York Daily Tribune за подписью Карла Маркса. В 1940 г. в СССР под обоими именами эта работа вышла тремя отдельными изданиями, подписанными в печать соответственно 19 января, 26 сентября и 21 октября. Общий тираж 165 000 экз. Все книжки небольшие: 123 с., 128 с., 148 с.

С. 320. *...пока конница Мамонтова прошла через их деревню...* — Очевидно, дело было в августе — сентябре 1919 г., когда 4-й Донской

конный корпус генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова (ок. 6 тыс. сабель, 3 тыс. штыков, 12 орудий, 7 бронепоездов, 3 бронеавтомобиля), прорвав фронт северо-западнее Новохопёрска, пронёсся по тылам советских войск Южного фронта: через Бурнак, Тамбов, Козлов (Мичуринск), Раненбург (Чаплыгин), Лебедянь, Елец, Задонск, Касторное, Грязи, Усмань, Воронеж, Гремяче и после сорокадневного рейда соединился с 3-м Кубанским корпусом генерал-лейтенанта А. Г. Шкуро северо-западнее посёлка Лиски.

...*Чемберлен*... — Остин Чемберлен (1863—1937), министр иностранных дел Великобритании в 1924—1929 гг., один из инициаторов разрыва дипломатических отношений с СССР в 1927 г. В 1920-е гг. был излюбленной мишенью Агитпропа.

...он вспоминал <...> и первую лампочку Ильича под <...> белёным потолком... — Обычную лампу накаливания с нитью из вольфрама, предложенную А. Н. Лодыгиным ещё в 1890-х гг. и служившую уже более двух десятилетий, после поездки В. И. Ленина в 1920 г. в деревню Кашино на запуск местной электростанции официоз выпренно окрестил лампочкой Ильича.

См. в рассказе «Матрёнин двор»: «Электричество же в деревне было — его ещё в двадцатые годы подтянули от Шатуры. В газетах писали тогда — “лампочки Ильича”, а мужики, глаза тараща, говорили: “Царь Огонь!”» (Т. 1. С. 120).

С. 322. *Правду говорят: казаки — обычаем собаки.* — См. в Словаре В. И. Даля: «Казаки обычем собаки»<sup>190</sup>.

*Где казакí, дура? русские...* — В самосознании казаков исторически сложилось представление о казачестве как об отдельной нации.

С. 323. — *Какой земли? / — Земли Войска Донского!* — Административно-территориальная единица Российской империи, населённая донскими казаками и управлявшаяся по особому положению, с 1786-го по 1870 г. официально называлась Землёй Войска Донского, но уже в 1870—1920 гг. — Областью Войска Донского. В 1920 г. упразднена и большей частью вошла в Донскую область, в 1924 г. — в Северо-Кавказский край, в 1936—1937 гг. — в Ростовскую и Сталинградскую области.

— *Какого округа? / — Усть-Хопёрского. / — Какой станицы? / — Кумылженской. / — Какого хутора? / — Серебровского.* Станица Кумылженская входила в Хопёрский округ с центром в станице Усть-Хопёр-

<sup>190</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 2. С. 73.

ской. Однако хутора Серебровского в юрте станицы Кумылженской не числилось.

*На бурсак!* — В донских говорах, по В. И. Далю, бурсак — «род пшеничного сухаря на масле»<sup>191</sup>.

...*собор в станице Усть-Медведицкой...* — Собор в честь Иконы Божией Матери Казанской расположен в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре, возвышающемся на уступе гористого берега Дона. Построен в 1875—1885 гг. по проекту петербургского профессора, академика архитектуры И. И. Горностаева (1821—1874). Освящён в сентябре 1885 г. В соборе два храма — нижний и верхний.

С. 324. ...*сбился нарытник...* — О нарытнике см. 6-е примеч. к с. 330.

С. 326. ...*экономя «газ», казаки зажигали лампу ненадолго и не поднимали высоко фитиля.* — Газ здесь: керосин<sup>192</sup>.

С. 329. *Речка тут близко текла* — Бузулук... — Бузулук — река в Сталинградской (Волгоградской) области, левый приток р. Хопёр. Течёт в широкой долине. Длина 314 км.

С. 330. *Порядин же был чистый Платон Каратаев...* — Крестьянин Платон Каратаев — персонаж «Войны и мира». Встретился Пьеру Безухову в плену у французов.

*Беды мучат, уму учат.* — То же см. в Словаре В. И. Даля<sup>193</sup>.

...*хомут когда надеваешь — клещами вверх надевай, не вниз, а потом переворачивай на шею.* — Хомут — часть упряжи, надеваемая на шею лошади.

*Засупонивать не забывай.* — Засупонивать — стягивать ремнем (супонью) хомутные клешни под шеей лошади.

*Нашильник подцепляешь — смотри, чтоб обем лошадям одинаково тянуло...* — Нашильник — «в русской дышловой упряжи: широкий ремень, идущий от хомута или гужа к переднему концу дышла»<sup>194</sup>.

...*нарытники зачем?* — Нарытник — ремень с поддерживающими ремешками, который в шлеечной упряжи обхватывает лошадь сзади.

*На Иртыше, такой город Камень не слышал?* — Очевидно, это город Усть-Каменогорск с пристанью на Иртыше в Казахстане, центр Восточно-Казахстанской области. Основан в 1720 г. как крепость Усть-Каменная.

<sup>191</sup> Там же. Т. 1. С. 144.

<sup>192</sup> Словарь русских народных говоров. Вып. 6. М.; Л.: Наука, 1970. С. 93—94.

<sup>193</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 2. С. 363.

<sup>194</sup> Там же. Т. 2. С. 499.

С. 331. ...не выпячивайся, не осаживайся, но и в серёдке не мотайся. — См. в Словаре В. И. Даля: «Господи Иисусе, вперёд не суйся, назади не оставайся, а в серёдке не болтайся (т. е. не угодишь)»<sup>195</sup>.

...правда твоя, мужичок, а полезай-ка в мешок. — То же см. в Словаре В. И. Даля<sup>196</sup>.

Не летит пчела от мёду, а летит от дыму. — То же см. в Словаре В. И. Даля<sup>197</sup>.

...замужем не бывав, девушке верится. — См. в Словаре В. И. Даля: «Не бывав, девушке замуж хочется»<sup>198</sup>.

...на долгую дорогу удила не закладывай, невзнузданной лошади легче. — Удила — «двузвенное железко, с одним глухим, а с другим отстёжным кольцом по концам; нащёчные ремни уздечки пришиваются к кольцам; зануздывая лошадь, удила вкладывают ей в рот и застёгивают кляпышком»<sup>199</sup>.

#### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. НА БУЗУЛУКЕ

С. 332—333. Собрав ужинать постояльцам — щей, тыквенной каши или разведенного в воде сухого кислого молока... — Сухое кислое молоко — это небольшие шарики, скатанные из смеси муки с откидным кислым молоком, подсолённые, поперченные и высушенные на солнце.

С. 335. ...он отличал только серых от белых и гнедых... — Гнедая — «рыжая, бурая, а навис чёрный»<sup>200</sup>.

...какая повадка у саврасой и куда лучше запрягать пегую со звёздочкой... — Саврасая — «рыжая впрожелть, навис чёрный; светлогнедая с желтизною»<sup>201</sup>. Пегая — «пятнастая, в больших белых пятнах (или тёмных пятнах по светлomu), двуцветная»<sup>202</sup>.

...лучшего шорника во взводе... — Шорник — мастер по изготовлению ременной упряжи.

С. 336. ...каурую кобылку... — Каурая — «рыжая впрожелть, навис такой же или светлей»<sup>203</sup>.

195 Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 4. С. 176.

196 Там же. Т. 2. С. 357.

197 Там же. С. 313.

198 Там же. Т. 1. С. 605.

199 Там же. Т. 4. С. 473.

200 Русский словарь языкового расширения. С. 268.

201 Там же. С. 270.

202 Там же. С. 269.

203 Там же.

С. 337. *Искру надо было запрягать под правую руку и грозить ей кнутом незаметно для Мелодии, чтоб не обидеть ту...* — См. в романе «В круге первом»: «Даже издали украдкой показать Гривне кнут было бы обидеть её» (Т. 2. С. 530—531).

*Рысь её была нехороша <...>. Зато <...> галоп её был мягок и ладен.* — Рысь — бег лошади, средний между галопом и шагом, когда лошадь поднимает ноги накрест: левую переднюю и сразу же правую заднюю. Галоп — быстрый бег, при котором лошадь идёт вскачь, выкидывая попеременно передние и задние ноги. Обычно рысистый бег более ровен и менее трясок, чем галоп.

С. 338. *Носились слухи дичей один другого: то будто наши отдали Тулу, то будто взяли назад Киев.* — Тулу немцы не заняли. 29 октября 1941 г. немецкие танковые дивизии подошли к ней и в течение трёх дней пытались захватить, но город удалось отстоять. Киев взяли назад только 6 ноября 1943 г.

*...от пионерского листика «Ленинских внучат» до огромных — не хватало детских рук держать развёрнутый лист — «Известий»...* — «Ленинские внучата» — ростовская областная детская газета, организованная в сентябре 1924 г. по инициативе А. И. Микояна, работавшего тогда секретарём Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). О тяге Глеба Нержина к «Известиям» с детских лет см. в романе «В круге первом»: «Глеб вырос, не прочтя ни единой книги Майн Рида, но уже двенадцати лет он развернул громадные “Известия”, которыми мог бы укрыться с головой <...>» (Т. 2. С. 255).

*В маленькой нетопленной почте добрая душа — милая эвакуированная киевлянка — выкладывала перед Нержиным, и то не всегда, сразу пачку пришедших с недельным опозданием областных сталинградских газет. Нержин читал, стоя у стойки, проминаясь мёрзнущими ногами в нетопленной почте...* — См. в рассказе «Случай на станции Кочетовка»: «На почту, если выдавалось время, Вася ходил читать свежие газеты (пачками за несколько дней, они опаздывали). <...> Конечно, почта — не читальня, и никто не обязан был давать ему читать, но Полина понимала его и все газеты выносила ему к концу прилавка, где он стоя, в холоде их читал» (Т. 1. С. 176).

*...в дни Испании, первой революционной любви их поколения...* — Речь о гражданской войне в Испании (июнь 1936 — март 1939) между республиканцами, которых негласно поддерживал Советский Союз, и мятежниками во главе с генералом Франсиско Франко, на стороне которых открыто выступили Италия и Германия.

*Если Ленина дело падёт в эти дни, / Для чего мне останется жить?..* — См. ранее: «Для чего останется Глебу жить, если будет раз-

давлено самое светлое в истории человечества? О, когда же мы остановим их наступление?!» (с. 281).

См. также в рассказе «Случай на станции Кочетовка» (Т. 1. С. 163):

«Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочёл свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нём оттуда строчки. И теперь <...> Зотов повторял и перебирал эти слова, как свои:

Наши сёла в огне и в дыму города...  
И сверлит и сверлит в иступленьи  
Мысль одна: да когда же? когда же? когда  
Остановим мы их наступленье?!

И ещё так, кажется, было:

Если Ленина дело падёт в эти дни –  
Для чего мне останется жить?»

С. 339. ...*нескончаемый гимн*... — здесь — «Интернационал» («Вставай, проклятьем заклеименный...»), служивший гимном Советского государства с 1917-го до 1944 г. Французское стихотворение Эжена Потье перевёл на русский язык А. Я. Коц (Данин) в 1902 г. В переводе — шесть строф и шесть раз повторяющийся припев. Обычно исполнялись три восьмистрочные строфы и трижды повторялся четырехстрочный припев. С 1944 г. место «Интернационала» занял новый государственный гимн («Союз нерушимый республик свободных...») на слова С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана (три четверостишия и трижды повторяемый четырёхстрочный припев). В романе «В круге первом», действие которого приходится на декабрь 1949 г., один из эзков возмущается: «Никакого чувства юмора: пять минут сплошь дуют гимн. Все кишки вылезают: когда он кончится? Неужели нельзя было ограничиться одной строфой?» (Т. 2. С. 80). Из одной строфы (шести строк) состоял последний государственный гимн Российской империи «Боже, Царя храни!..» — положенная на музыку «Русская народная песня» (1833) В. А. Жуковского.

...уже сданный Ростов стал *первым* городом, отнятым назад у немцев... — Ростов-на-Дону, сданный советскими войсками 21 ноября 1941 г., был возвращён 29 ноября. Вторично был сдан 24 июля 1942 г. Окончательно отвоеван у немцев 14 февраля 1943 г.

...некая, до сих пор и неизвестная, но такая умная «Ивнинг Стандарт»... — «Ивнинг Стандарт» (The Evening Standard) — лондонская городская газета, основанная в 1929 г. политиком и предпринимателем, близким другом Черчилля — У. М. Э. Бивербруком. Авторская ирония объясняется тем, что, давая не общий обзор высказываний зарубежной печати, а лишь тщательно отобранные отдельные отклики, советская пресса, по сути, подменяла чужие мнения своими.

...о Перл Харборе, о том, что, значит, Соединённые Штаты не сегодня-завтра начнут войну и против Германии... — Пёрл-Харбор (Pearl Harbor) — военно-морская база США на Гавайских островах. 7 декабря 1941 г. японская авиация нанесла внезапный удар по Пёрл-Харбору и уничтожила основные силы американского Тихоокеанского флота. На следующий день США и Великобритания объявили войну Японии. 11 декабря Германия и Италия объявили войну Соединённым Штатам. Наряду с военными действиями против Японии в Тихом океане, англо-американские войска с осени 1942-го по весну 1943 г. провели несколько успешных операций против итало-немецких войск в Северной Африке и в мае заставили их капитулировать. В июле — августе 1943 г. наши союзники отвоевали Сицилию и с сентября по декабрь продвигались с юга Италии до Неаполя. 6 июня 1944 г. высадкой англо-американских экспедиционных соединений в Нормандии был открыт Второй фронт против Германии в Западной Европе.

С. 340. ...на Дерибасовской. — Дерибасовская — центральная улица Одессы, средоточие парадной жизни города, гордость одесситов.

С. 341. С хлебных зародов в поле снявши верхнюю смёрзшуюся корку, молотили хлеб стоячим комбайном. — Зарод — «стог немолоченного хлеба»<sup>204</sup>.

...возили зерно за 25 вёрст на элеватор на станцию Филоново... — См. 1-е примеч. к с. 353.

Холоднó, холодно, на ком платице одно, а и вдвое да худое — всё одно. — См. в Словаре В. И. Даля: «Худо тому (холодно), на ком платье одно; а и двое да худое, не лучше (или не теплее) того!»<sup>205</sup>

С. 342. ...идут под руку 16 девушек, изображая 16 республик... — Со 2 августа 1940 г., когда была образована Молдавская союзная республика, по 16 июля 1956 г., когда Карело-Финская союзная республика была

<sup>204</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 76.

<sup>205</sup> Владимир Даль. Толковый словарь. Т. 2. С. 651.

превращена в автономную, в составе Советского Союза числились 16 союзных республик.

С. 344. ...*в нашем — втором в мире по красоте, а первый где-то в Италии — одесском театре!* — Нынешнее здание Одесского оперного театра — одно из самых красивых в Европе — построили в 1884—1887 гг. в стиле барокко венские архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер.

...*профессор Столярский — мировая величина!* — был моим хорошим знакомым. — Пётр Соломонович Столярский (1871—1944) — скрипач, педагог; одесская знаменитость. В 1911 г. открыл в Одессе собственную музыкальную школу (с 1933 г. государственная средняя специальная музыкальная школа для одарённых детей). С 1920-го — преподаватель, в 1923—1941 гг. — профессор Одесской консерватории. Народный артист УССР (1939).

С. 344—345. ...*заголовок одной из январских «Правд»: «Расколошматить немца за зиму так, чтоб весной он не мог подняться!»* — Такого заголовка в «Правде», цитадели языкового пуризма, нет. По словесной раскованности ближе всего к этой фразе пассаж из статьи И. Г. Эренбурга «Вперёд!» в газете «Красная звезда» от 17 февр. 1942 г.: «Мы должны уложить зимой немецкие дивизии, заготовленные на лето. Фриц, подстреленный в феврале, не запляшет в мае».

С. 345. ...*политрук роты...* — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1941 г. в полки, дивизии, корпуса, военно-учебные заведения и учреждения армии были возвращены военные комиссары, а в роты, батальоны, эскадроны и равные им подразделения — политруки (политические руководители). Политрук, на которого возлагалась главным образом воспитательная работа, вместе с командиром нёс ответственность за свою часть и обладал одинаковыми с командиром правами. Воинское звание политрук соответствовало званию старшего лейтенанта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1942 г. должности военных комиссаров и политруков упразднились. Вместо них вводилась должность заместителя командира по политической части (замполита).

*При желтоватом свете семилинейной лампы...* — В семилинейной керосиновой лампе ширина фитиля всего 17,78 мм. Линия — русская мера длины, равная 0,1 дюйма, или 2,54 мм.

С. 346. ...*будто не он кричал только что, а его <...> помощник, тремя чинами ниже...* — Тремя чинами ниже младшего лейтенанта — сержант.

С. 347. ...не гнушался метаться, как Александр Невский на поле боя... — т. е. подражая Н. К. Черкасову, игравшему Александра Невского в одноимённом фильме С. М. Эйзенштейна (1938; Сталинская премия 1941).

*Брант <...> стоял, скрестив руки, в позе Петра Великого, когда он задумывал основание Петербурга.* — См. заставку (1916) А. Н. Бенуа перед «Вступлением» к поэме «Медный Всадник»<sup>206</sup>. Художник впрямую иллюстрирует начальные строки поэмы: На берегу пустынных волн / Стоял Он, дум великих полн, / И вдаль глядел. <...> // И думал Он: / Отсель грозить мы будем Шведу. / Здесь будет город заложен / На зло надменному соседу<sup>207</sup>.

С. 348. *На Хопёр.* — Хопёр — левый приток Дона. Река Бузулук, на которой стоит хутор Дурновский, впадает в Хопёр слева примерно в 30—35 км по прямой от хутора.

С. 349. ...отдыхал на свежеспленном голомени... — Голомень здесь: «часть дерева без сучьев»<sup>208</sup>.

С. 350. ...побежал к добротной пятистенке... — Пятистенка — большая изба, разделённая на две части капитальной (пятой) стеной.

С. 351. ...с чёрными петлицами... — См. примеч. к с. 383.

С. 352. ...санинструктор с четырьмя треугольниками в петлицах... — Четыре треугольника в петлицах носил старшина.

С. 353. *Приехали в станицу Ново-Анненскую, при станции Филоново.* — Станица Ново-Анненская в 1956 г. преобразована в город Новоаннинский. Он расположен в 254 км к северо-западу от Волгограда (Сталинграда) на левом берегу реки Бузулук. Железнодорожная станция (Филоново) на линии Поворино — Волгоград.

*Штаб 74-го Отдельного гуж-транспортного батальона...* — 74 ОГТБ — точное название воинской части, в которой начинал службу А. С.

<sup>206</sup> Медный Всадник: Петербургская повесть А. С. Пушкина. СПб.: Комитет популяризации худож. изданий при Рос. акад. истории материальной культуры, 1923. С. 15; Репринтное воспроизведение: М.: Прогресс-Плеяда, 2008.

<sup>207</sup> Там же.

<sup>208</sup> Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М.: Прогресс, 1986. С. 431.

## ГЛАВА ПЯТАЯ. КОМАНДИРОВКА

С. 354. ...у них в петлицах были треугольники, и не по одному... — Треугольники в петлицах (от одного до четырёх) носили младший сержант, сержант, старший сержант и старшина.

...с двумя шпалами в петлицах! — По две шпалы в петлице полагались майору.

С. 355. ...два кубаря... — По два квадрата (в разговоре — кубика, кубаря) в петлице полагались лейтенанту.

Начальник ОВС здесь? — ОВС здесь — отдел вещевого снабжения.

— Никак нет. <...> — Так точно. — Революционная «Декларация прав солдата», которую ввёл в жизнь армии и флота военный и морской министр А. Ф. Керенский приказом от 9 мая 1917 г., в частности, предписывала: «Особые выражения, употребляющиеся как обязательные для ответов одиночных людей и команд вне строя и в строю, как например, “так точно”, “никак нет”, “не могу знать”, “рады стараться”, “здравия желаем”, “покорно благодарю” и т. п., заменяются общепотребительными: “да”, “нет”, “не знаю”, “постараемся”, “здравствуйте” и т. п.»<sup>209</sup>.

На 28-м году советской власти, 24 июля 1945 г., Сталин утвердил Устав внутренней службы Вооружённых Сил СССР, который обязывал вместо «да» и «нет» отвечать так, как было принято в царской армии:

«Когда на вопрос начальника или старшего нужно дать утвердительный ответ, военнослужащие отвечают: “Так точно”, а когда нужно дать отрицательный ответ — “Никак нет”»<sup>210</sup>.

С. 356. ...по одной шпале в петлицах! — Одну шпалу носил капитан.

С. 359. ...бланки новых командирских денежных аттестатов... — Выплаты, полагавшиеся в действующей армии, фиксировались в денежных аттестатах военнослужащих. Все эти средства или часть их переводились в тыл родственникам, и они получали свою долю в райвоенкоматах. См. в «Дороженьке», в главе «Как это ткётся», отрывок из письма, которое получил сержант Липников от жены из Ташкента: «Пишет: “Получила семьдесят твоих рублей / И купила тазик ржи немолотой. / Помнишь ли недуг, каким страдал Чарлей?” / (А Чарлей-собачка умер с голоду.)» (с. 128).

<sup>209</sup> Н. Н. Головин. Российская контрреволюция в 1917—1918 гг. Т. 1.

М.: Айрис-пресс, 2011. С. 84.

<sup>210</sup> Устав внутренней службы Вооружённых Сил Союза ССР. М.: Воениздат Министерства Вооружённых Сил Союза ССР, 1946. С. 21.

...с одним коричневым «международным». — Международные вагоны — наиболее комфортабельные и редкие пассажирские вагоны в скорых поездах, курсировавших между крупными городами, с двухместными купе и мягкими пружинными спальными местами. В составе «Красной стрелы», курсировавшей между Москвой и Ленинградом, был один такой вагон.

С. 361. *На телячьих вагонах не написано чёрными буквами по белой эмали: «Москва — Минеральные Воды».* — См. в рассказе «Случай на станции Кочетовка»: «А товарные — когда уже тронутся, тогда садиться поздно, а пока стоят без паровоза — в какую сторону они пойдут, не догадаешься. Эмалированной дощечки “Москва — Минеральные Воды” на них нет» (Т. 1. С. 192).

С. 362. ...*керженские леса...* — южнотаёжные хвойные и подтаёжные хвойно-широколиственные леса в Нижегородской области, в бассейне реки Керженец — левого притока Волги.

«В окрестностях Керженца проживает значительное число старообрядцев. Слово “Керженец” употреблялось также для обозначения историко-территориальной общности старообрядцев тех мест»<sup>211</sup>.

Впечатления от старообрядческих керженских скитов легли в основу романов П. И. Мельникова (Андрея Печерского) «В лесах» (1871—1875) и «На горах» (1975—1881).

В глубине керженских лесов находится город Семёнов (см. далее 1-е примеч. к с. 387 и 1-е примеч. к с. 389).

...*вы видели картину «Чапаев»?* — «Чапаев» (1934; Сталинская премия, 1941) — фильм братьев Васильевых (псевдоним однофамильцев Георгия Николаевича и Сергея Дмитриевича Васильевых), снятый с опорой на одноимённый роман Д. А. Фурманова.

С. 363. *Диспетчер, как чеховский бухгалтер, готовый на преступление, молча смотрит на незнакомца с нарастающей мутью взгляда.* — Бухгалтер банка, старик Кузьма Николаевич Хирин из пьесы А. П. Чехова «Юбилей» говорит: «Я человек вспыльчивый... Я, брат, под горячую руку могу и преступление совершить... Да!»<sup>212</sup> И затем повторяет: «У меня такой характер, что я могу из тебя на весь век калеку сделать! Я могу преступление совершить!»<sup>213</sup>; «Бейте её! Лупите! Режьте! <...>

<sup>211</sup> С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков. Старообрядчество: Лица, события, предметы и символы: Опыт энциклопед. словаря. М.: Изд-во журн. «Церковь», 1996. С. 138.

<sup>212</sup> А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 12. М.: Наука, 1978. С. 205.

<sup>213</sup> Там же. С. 215.

Дайте мне её! Преступление могу совершить!»<sup>214</sup> Первая публикация — отдельное литографированное издание (М., 1892).

*А Петьку из «Чапаева» помните? Петьку-пулемётчика? Так вот я есть тот Петька.* — Петьку в фильме «Чапаев» сыграл Леонид (Алексей) Александрович Кмит (1908—1982), ставший в 1935 г. заслуженным артистом РСФСР. А уж роль Кмита в привокзальной диспетчерской мог сыграть не только он сам, но и кто угодно.

*Слушает Филоново...* — Из этой фразы следует, что весь монолог диспетчера услышан Нержиным на первой же станции, с которой началась его поездка в Сталинград.

*...Панфилово — это не фамилия, а станция, следующая к Сталинграду...* — Генерал-майор И. В. Панфилов (1893—1941), прославивший свою фамилию, командовал 316 стрелковой дивизией, которая в октябре — ноябре 1941 г. отличилась в оборонительных боях под Москвой на волоколамском направлении. Погиб в бою 18 ноября. Станция Панфилово находится в 24 км от Филонова по дороге на Сталинград.

*Есть Себряково, а есть Серебряково? может, одно и то же, может, разное...* — Железнодорожная станция Себряково находится на линии Поворино — Волгоград (Сталинград), расстояние до Волгограда — 210 км. Станция Серебряково (г. Михайловка) — на той же ветке, но на 20 км ближе к Волгограду.

С. 365. *Нержин вспоминает Джека Лондона: как у него зимовщики, оставшись с глазу на глаз в тесном одиночестве, молчат неделями и месяцами.* — См. рассказ «В далёкой стране» (июнь 1899). Обыкновенный клерк Картер Уэзерби и знаток искусства, занимавшийся живописью, Перси Кетферт вдвоём остались зимовать в хижине на безлюдном Севере. «Дошло до того, что они перестали выносить присутствие друг друга и проводили время в угрюмом молчании, становившемся со дня на день упорнее»<sup>215</sup>. Во сне Уэзерби видел мертвецов и кричал от ужаса. «Кетферт не понимал в чём дело — они по-прежнему не говорили между собой, — и, разбуженный этими криками, он каждый раз хватался за револьвер»<sup>216</sup>. В конце концов зимовщики убивают друг друга.

*...в корень перемешают все очереди...* — Вбкорень — «вкорень, вконец, дотла, вовсе»<sup>217</sup>.

<sup>214</sup> А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем. Т. 12. С. 219.

<sup>215</sup> *Джек Лондон*. Собр. соч.: В 12 т. 2-е изд. Т. 8. М.; Л.: Госиздат, 1927. С. 50.

<sup>216</sup> Там же. С. 51.

<sup>217</sup> Русский словарь языкового расширения. С. 35.

*Куда? На Сталинград? На Поворино?* — В разные концы.

С. 367. ...на Тихорецкую... — Станица Тихорецкая, с 1926 г. — город Тихорецк, в 136 км к северо-востоку от Краснодара. Железнодорожный узел на пересечении линий Ростов-на-Дону — Баку и Сталинград — Новороссийск.

...с куриной слепотой. — Куриная слепота — обиходное название болезни, при которой человек частично или полностью теряет зрение в сумерках и вообще при слабом свете. Одна из причин приобретённой куриной слепоты — авитаминоз.

С. 367—368. ...с чистоголосым медным колоколом... — Станционный колокол оповещал пассажиров о том, что с их поездом: один удар означал, что он готов к отправке; два удара — что он вот-вот тронется; после трёх ударов состав уходил.

С. 368. ...п о л у в а г о н. Довольно странное слово, и как же себе представить: как же он едет? Но что-нибудь же в нём есть и от вагона? — См. в рассказе «Случай на станции Кочетовка»: «Полувагон» — я считал, в нём должно же быть что-то от вагона, ну, хотя бы полкрыши. Я залез туда по лесенке, а там просто железная яма, капкан, и сесть нельзя, прислониться нельзя: там прежде был уголь, и на ходу пыль взвихривается и всё время кружит» (Т. 1. С. 192).

С. 369. ...читал: «Тормаз Казанцева», «тормаз Матросова»... — Автоматический железнодорожный тормоз с воздухораспределителем конструкции паровозного машиниста Ф. П. Казанцева (1877—1940), обеспечивавший ступенчатое торможение длинных составов, устанавливался с 1925 г. на грузовых вагонах взамен тормоза, запатентованного американским инженером и предпринимателем Джорджем Вестингаузом. А с 1931 г. повсеместно внедряется автоматический тормоз с воздухораспределителем конструкции тоже машиниста, а затем техника путей сообщения И. К. Матросова (1886—1965), более экономный, послушный и надёжный.

С. 370. ...на тендер... — Тендер здесь — соединённая с паровозом платформа с запасом топлива, воды, смазочных материалов и т. д.

С. 371. ...жезл поменял... — Железнодорожный жезл — металлический стержень или кольцо с наименованием станций, ограничивающих перегон. На перроне машинист отдаёт жезл в подтверждение того, что поезд освободил оставшийся позади перегон, и получает другой жезл, разрешающий занять следующий перегон.

...в этом вагоне сложены были сотни новеньких стёганных ватных одеял. — См. в рассказе «Случай на станции Кочетовка»: «И вдруг смотрю — какой-то товарищ вылез, постоял по надобности и опять лезет в незакрытый холодный вагон. Я — за ним. А там, представляете, — полный вагон ватных одеял!» (Там же. С. 193).

С. 373. ...надпись, чёрными, от многих лет измывшимися буквами: «Конная». — Это разъезд Конный. От него до вокзала в Сталинграде 31 км. Но до самого города ближе. Старик кондуктор говорит: «От поворота двадцать одна верста» (с. 378).

...сюда пришли парламентёры генерала Паулюса — сложить оружие Шестой германской армии. — В ультиматуме от 8 января 1943 г., направленном представителем Ставки Верховного Главнокомандования, генерал-полковником Н. Н. Вороновым и командующим войсками Донского фронта, генерал-лейтенантом К. К. Рокоссовским командующему окружённой под Сталинградом 6-й немецкой армией генерал-полковнику Фридриху Паулюсу или его заместителю, говорилось:

«Ваш ответ ожидается в 15 часов 00 минут, по Московскому времени, 9 января 1943 года в письменном виде через лично Вами назначенного представителя, которому надлежит следовать в легковой машине с белым флагом по дороге разъезд КОННЫЙ — станция КОТЛУБАНЬ.

Ваш представитель будет встречен русскими доверенными командирами в районе “Б” 0,5 км Юго-Восточнее разъезда 564 в 15 часов 00 минут 9 января 1943 года»<sup>218</sup>.

От Конного разъезда до станции Котлубань (Самофаловка) около 15 км.

Командование окружённых немецких войск этот ультиматум отклонило. Паулюс сдался советским войскам только 31 января 1943 г., после того как они блокировали в центре Сталинграда здание центрального универсама, в подвале которого размещался штаб 6-й армии.

С. 374. Руки в малицах... — Малицы здесь: «рукавицы, меховые внутри, а снаружи кожаные» (с. 377).

С. 376. Я от Арчеды его веду. — Арчеда — в 124 км от Конного в сторону Поворина.

С. 378. ...бил себя по голенищу тросточкой «память Кавказа». — Сувенирная тросточка с выжженной надписью «Память Кавказа» (или

<sup>218</sup> История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945: В 6 т. Т. 3. М.: Воениздат Министерства Обороны Союза ССР, 1964. С. 57.

«Память о Кавказе») — из тех, что в мирное время предназначались для курортников.

С. 381. *Следующая оказалась немалая станция Гумрак.* — От Конного разъезда до станции Гумрак 9 км.

#### ИЗ ГЛАВЫ ШЕСТОЙ

С. 383. *...на всех ожидающих командирах петлицы были заветные чёрные и с завидными скрещёнными пушечками.* — Чёрные петлицы были у артиллеристов, но также у представителей автобронетанковых и инженерных войск. Зато скрещённые пушечки — только артиллерийская эмблема.

С. 387. *...в город Семёнов Горьковской области...* — Город Семёнов — районный центр в Горьковской (Нижегородской) области, в 69 км к северо-востоку от Горького; один из центров старообрядчества. Железнодорожная станция Семёнов (с. 388) расположена на линии Горький (Нижний Новгород) — Котельнич.

*...Нижний Новгород.* — С 1932-го по 1991 г. — город Горький.

С. 388. *Сразу говори: из Унжлага?* — Унжлаг — исправительно-трудовой лагерь в Горьковской области. Назван по реке Унже, протекающей по Вологодской и Костромской областям, — левому притоку Волги.

Об Унжлаге, правда уже послевоенном, подробно рассказывает в воспоминаниях Л. З. Копелев<sup>219</sup>.

С. 389. *Курсы АКУКС в Семёнове.* — «Без звания» среди лейтенантов-капитанов. — На Артиллерийские курсы усовершенствования командного состава (АКУКС) в Семёнове А. С. прибыл 8 апреля 1942 г. Но, конечно, усовершенствовать знания и навыки офицера-артиллериста, не будучи ни тем, ни другим, не мог.

*Майор Кожевников и направление в 3-е ЛАУ.* — Начальник курсов майор Кожевников, по-видимому, обязан был завернуть ездового в обозную команду, но, оценив его математическую подготовку и упорное стремление в артиллерию, направил несостоявшегося курсанта в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, которое с начала войны находилось в Костроме. Несколько дней ушло на железнодорожные мытарства, однако уже 14 апреля А. С. представился начальнику училища полковнику Слепакову и сразу же был определён в батарею звуковой разведки.

<sup>219</sup> Лев Копелев. Хранить вечно: Кн. 2. С. 375—454.

*Воспитание жестокостью.* — В «Архипелаге ГУЛАГ» А. С. рассказывает:

«Постоянно в училище мы были голодны, высматривали, где бы тяпнуть лишний кусок, ревниво друг за другом следили — кто словчил. Больше всего боялись не доучиться до кубиков (слали недоучившихся под Сталинград). А учили нас — как молодых зверей: чтоб обозлить больше, чтоб нам потом отыграться на ком-то хотелось. Мы не высыпались — так после отбоя могли заставить в одиночку (под команду сержанта) строевой ходить, это в наказание. Или ночью поднимали весь взвод и строили вокруг одного нечищеного сапога: вот! он, подлец, будет сейчас чистить, и пока не до блеска — будете все стоять» (Т. 4. С. 154).

*Приказ № 227.* — Приказ Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 г. «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», получивший обиходное название по единственной фразе из него с восклицательным знаком «Ни шагу назад!». От имени Верховного Главнокомандования Красной Армии нарком приказывал снимать с поста и предавать суду командующих армиями, командиров и комиссаров корпусов, дивизий, полков и батальонов за самовольный отход воинских частей с занимаемых позиций. Заодно предписывалось формировать штрафные батальоны и роты, а также заградительные отряды<sup>220</sup>.

*Запасной артиллерийский разведывательный полк.* — 2 ноября 1942 г., выслушав приказ о выпуске из училища и производстве в лейтенанты, А. И. и курсанты его потока выехали в Саранск, в запасной артиллерийский разведывательный полк. В Саранске формируется 794-й ОАРАД (Отдельный армейский разведывательный артиллерийский дивизион), и 5 декабря А. С. был назначен заместителем командира одной из его батарей — звуковой.

*В дивизион прибыли новобранцы.* — 13 декабря А. С. принимал пополнение батареи. В основном это были призывники в годах. А 21 декабря, после разделения батареи звуковой разведки на две, А. С. стал командиром одной из них — БЗР-2.

*Доброхотов-Майков, Пашкин.* — Лейтенант Александр Сергеевич Доброхотов-Майков (1918—1945) был помощником начштаба дивизиона. Под своим именем выведен в комедии «Пир Победителей», действие которой происходит 25 января 1945 г. Здесь он уже капитан, начальник

<sup>220</sup> См.: Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. — 1942 г. Т. 13 (2—2). С. 276—279.

штаба. О политруке майоре Арсении Алексеевиче Пашкине А. С. писал с фронта 30 декабря 1944 г.: «Приехал из отпуска Пашкин очень усталый и очень грустный. Его рассказы лишний раз убеждают меня в правильности и нужности того общего направления, которое я придал своей жизни за последний год. Мы с ним иногда говорим о вещах, которых я никому, кроме близких, не доверял. Широчайшего ума человек!»<sup>221</sup> Пашкин упомянут в очерках «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»<sup>222</sup>.

*Лейтенанты Овсянников, Ботнев.* — В. В. Овсянников — командир линейного взвода в батарее А. С. См. о нём в главе «Так это ткётся» и 1-е примеч. к с. 129 и 130. Фёдор Ботнев — командир измерительно-вычислительного взвода. Многократно упоминается в рассказе «Желябугские Выселки».

*Северо-Западный фронт.* — 13 февраля 1943 г. дивизион А. С. из резерва выдвигается на Северо-Западный фронт и 4 марта развёртывается в районе рек Редь и Ловати, в 11 км от переднего края, но стоит здесь меньше месяца. Эти места упоминаются в разговорах Глеба Нержина и Якова Левина (Льва Рубина) в поэме «Дороженька» (с. 160—161) и в романе «В круге первом» (Т. 2. С. 45).

*Переброска на Брянский.* — В конце марта 1943 г. дивизион отправляют на Центральный фронт, но вскоре подчинят Брянскому фронту.

*Стояние под Новосилем.* — О Новосиле, под которым дивизион А. С. стоял в обороне с конца апреля до 12 июля 1943 г. — дня прорыва на орловском направлении, см. 1-е и 6-е примеч. к с. 83. В Новосиле 12—15 мая А. С. впервые встретился на фронте с Н. Д. Виткевичем. Их последующая переписка стала причиной ареста обоих.

*Орловская битва.* — Стратегическая наступательная операция войск Брянского, Центрального и левого крыла Западного фронтов, проведённая 12 июля — 18 августа 1943 г. (кодовое наименование «Кутузов»); часть Курской битвы 1943 г. В результате Орловской операции советские войска продвинулись на запад до 150 км. Четвёртый день наступления (15 июля 1943 г.), в котором участвует звуковая батарея А. С., выбравшая место для своей центральной станции рядом с неприметной орловской деревенькой, он опишет в рассказе «Желябугские Выселки».

*Взятие Орла...* — Орёл был отбит у немцев 5 августа 1943 г. В этот день вошла в город и батарея А. С.

---

221 Письмо хранится в Домашнем архиве Александра Солженицына (Троице-Лыково).

222 Новый мир. 1999. № 2. С. 124.



## **СОДЕРЖАНИЕ**

## ДОРОЖЕНЬКА

Зарождение .....	9
Вступление .....	12
Глава 1. Мальчики с луны .....	13
Глава 2. Медовый месяц.....	26
«Нет, не тогда это началось...» .....	38
Глава 3. Серебряные орехи.....	40
Глава 4. Ту, кого всего сильнее .....	51
«Что дважды два так часто — не четыре...» .....	70
Глава 5. Беседа .....	73
«В день, когда узнал я вас по имени...» .....	83
Глава 6. Ванька.....	88
Глава 7. Семь пар нечистых .....	99
«Пусть бьются строки...».....	120
Глава 8. Как это ткётся.....	122
Глава 9. Прусские ночи .....	141
«Где ты, детства чистого светильник?..».....	178
Глава 10. И тебе, болван тмутараканский! .....	179
Глава 11. Дым отчества.....	191
Пословие .....	207
[Отрывок] .....	209

## ТЮРЕМНЫЕ — ЛАГЕРНЫЕ — ССЫЛЬНЫЕ СТИХИ

Воспоминание о Бутырской тюрьме.....	215
Мечта арестанта .....	217
Через две решётки .....	218
Ванька-встанька .....	219
Романс.....	220
«Когда я горестно листаю...» .....	222
Вечерний снег.....	223
Отсюда не возвращаются .....	224
Отречение.....	226

С верхней полки «вагон-зака».....	228
Каменщик .....	229
Хлебные чётки .....	230
Право узника .....	231
«Что-то стали фронтовые вёсны...» .....	232
Седьмая весна.....	233
Россия?.....	235
Акафист.....	238
Прощание с каторгой .....	239
Пятое марта .....	240
Возвращение к звёздам .....	241
«Вот и воли клочок...» .....	242
«Под духмяной, дурманящей сенью джиды...» .....	243
Три невесты .....	244
Над «Дороженькой».....	245
Триумвирам .....	246
«Поэты русские! Я с болью одинокой...» .....	247
Напутствие.....	249
«Смерть — не как пропасть...» .....	250

## ЛЮБИ РЕВОЛЮЦИЮ

Глава 1. Размолотные недели.....	253
Глава 2. Углое .....	276
Глава 3. Печенеги.....	295
Глава 4. На Бузулуке.....	332
Глава 5. Командировка .....	354
Из главы шестой .....	382
Из главы седьмой.....	388
Комментарии . Владимир Радзиевский .....	391



Литературно-художественное издание

**Александр Исаевич Солженицын**

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Том 18

РАННЕЕ

Редактор

*Наталья Загозина*

Художественный редактор

*Валерий Калныньш*

Верстка

*Валерий Калныньш*

Подписано в печать 18.12.2015.

Формат 60х90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 34.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 3000 экз. Заказ № 1243.

«Время»

115326, Москва, ул. Пятницкая, 25

Телефон (495)954 1082

<http://books.vremya.ru>

e-mail: [letter@books.vremya.ru](mailto:letter@books.vremya.ru)

Отпечатано в соответствии

с предоставленным оригинал-макетом

в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)

**Солженицын А. И.**

С60 Собрание сочинений в 30 томах. Т. 18. Раннее. — М.: Время,  
2016. — 544 с.

ISBN 978-5-9691-1357-2

В восемнадцатый том 30-томного собрания сочинений А. И. Солженицына вошли его повесть в стихах «Дороженька», неоконченная повесть «Люби революцию», стихи. Их публикации предпослано авторское пояснение: «Здесь помещены мои ранние произведения тюремно-лагерно-ссылных лет. Я складывал их в уме и нёс в памяти все лагерные года, не доверяя бумаге. Они были моим дыханием и жизнью тогда. Помогли мне выстоять». Тексты снабжены обширными комментариями.

ISBN: 978-5-9691-1357-2



